

Н О В Ы Й  
М И Р

*N M I V R Y*

3



1994

3

Н О В Ы Й  
М И Р

1994

# НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 3(827)

Март, 1994 г.

## УЧРЕДИТЕЛИ:

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР», АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ „АРМАН”»,  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА  
«БИОТЕХНОЛОГИЯ», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”»

## СОДЕРЖАНИЕ

КОНСТАНТИН ГАДАЕВ — После утреннего ливня, стихи	3
АЛЕКСАНДР ХУРГИН — Дверь, повесть	7
ГЕНРИХ САПГИР — Этюды в манере Огарева и Полонского, стихи	41
ДАУР ЗАНТАРИЯ — Енджи-ханум, обойденная счастьем. Из исторических хроник. Перевел с абхазского автор	46
БОРИС СЛУЦКИЙ — Из неопубликованного, стихи. Предисловие и публикация Юрия Болдырева. <i>А. Коган</i> — Инобытие поэта. Памяти Юрия Болдырева	66
<b>ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ</b>	
ТРИ ЖИЗНИ — Мария Конясская. Старые фотографии; Борис Гусев. Уготованная судьба; Михаил Мамонтов. Как я узнавал пословицы	73
<b>ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ</b>	
Б. ЕКИМОВ — В дороге. Продолжение	156
<b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>	
АНДРЕЙ БЫСТРИЦКИЙ — Приближение к миру. Субъективные заметки	172
<b>РЕЛИГИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР</b>	
АЛЕКСАНДР ШМЕМАН. Духовные судьбы России. Вступительное слово и публикация С. А. Шмемана	186
<b>ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ</b>	
«...ПИШУ Я ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС...». Письма К. П. Победоносцева к сестрам Тютчевым. Публикация, составление, вступительная статья и комментарий Ольги Майоровой	195
<b>ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ</b>	
АЛЛА МАРЧЕНКО — Сапоги всмятку	224

(См. на обороте)

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВИКТОР КАМЯНОВ — Космос на задворках 227

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 239

Андрей Василевский. Дар пристойного стиля.

Павел Басинский. Другой Алешковский.

Олег Ларин. По фене ботаешь?

### ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Т. КОЖЕМЯКИНА — Самый дешевый способ избежать войны? 247

РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ 253

КНИЖНАЯ ПОЛКА 254

SUMMARY 256

Редакция журнала «НОВЫЙ МИР» еще раз уведомляет зарубежных книгораспространителей, что законным образом отправляются зарубежным читателям только номера «НОВОГО МИРА» в специальном экспортном исполнении — в белой (а не голубой) обложке с эмблемой «NOVY MIR».

### ВНИМАНИЮ Г.Г. ЗАРУБЕЖНЫХ ПОДПИСЧИКОВ!

Вы можете подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР»  
через фирму  
**EAST VIEW PUBLICATIONS (США).**

Вам предоставляется возможность:

- \* Оформить подписку в удобное для Вас время на один год, шесть месяцев или три месяца. Вы будете получать журнал незамедлительно. Имеются в наличии и комплекты прошлых номеров.
- \* Получать журнал авиапочтой в любой стране мира.
- \* Организациям и оптовым распространителям предоставляется скидка.
- \* При этом Вы ничем не рискуете. Если Вас что-то не устроит, мы вернем всю сумму в течение 30 дней подписки, а по прошествии 30 дней гарантируем возврат денег за все неотправленные номера.

Частные лица, организации и оптовые распространители могут обращаться по адресу:

EAST VIEW PUBLICATIONS, INC.  
3020 Harbor Lane North  
Minneapolis, MN 55447 USA

АО «ИВП-Интернэйшнл, Лгд.»  
121108, Москва  
ул. Герасима Курина, 10

(612) 550-0961  
fax (612) 559-2931  
TOLL FREE IN USA 800-477-1005  
E-Mail: eastview@mr.net

тел. (095) 144-00-55  
факс. (095) 144-00-54

---

---

## КОНСТАНТИН ГАДАЕВ



### ПОСЛЕ УТРЕННЕГО ЛИВНЯ

\* \*

\*

Скрип качелей. Зелень. Май.  
Город моет окна.  
Гром вверху. Внизу трамвай.  
Прокатилось — смолкло.

Ты хватаешь воздух ртом.  
Солнце стрелы мечет.  
На паркете золотом  
брошенные вещи:

юбка-шорты, поясок  
крокодильей кожи,  
белый фирменный носок,  
пара босоножек.

Я хватаю воздух ртом.  
Двигаюсь все резче.  
На паркете золотом  
брошенные вещи:

джинсы в латках, ремешок  
с пряжечкою медной,  
синий штопанный носок,  
порванные кеды.

Скрип качелей. Зелень. Май.  
Вымытые окна.  
Забывается зима.  
Нынче в гости кто к нам?

Две синички, воробей,  
А потом голубка.  
Ну-ка, Гебушка, пролей  
нам грозу из кубка!

\* \*

\*

Размоют контур бытия,  
и без того, увы, нечеткий,  
дожди осенние... Где я?  
Кто я? В застиранной пилотке  
бреду ль бурятским холодам  
навстречу взлетной полосой?

Иль кромкой моря по следам  
спешу за девушкой босою?  
Страдаю? Радуюсь? Пою?  
Нет, милая, — скучней и глуше.  
Мир нем. Томителен уют.  
Газ выключен и свет потушен.

\* \*  
\*

Поеживаясь от тоски  
и хлада, все ж не улетаем —  
наш воздух бережно латаем,  
тобой разорванный в куски.  
Нашептываем, говорим,  
поем, выкрикиваем, плачем,  
в окошках желтеньких маячим  
да латки новые кроим.  
Все продолжается, пока  
нам мусикийский внятен шорох —  
покуда ветер твой на просторах  
заводит речь издалека.

\* \*  
\*

*Артему Рондареву.*

В сад Мандельштама заглянувши  
(поэта? — нет, большевика),  
о лете, только что минувшем,  
черкни, не смерклося пока.  
А смеркнется — пройдишь, петляя,  
до набережной, где река  
струит огни, исподтишка  
печаль вином усугубляя.  
Тут осень взглянет свысока  
на сгусток тени у причала,  
твой уголек приняв сначала  
за выжившего светляка.

\* \*  
\*

Два зонтика, цветной и черный,  
плывут вечернею Москвой:  
то девичий смешок задорный,  
то кашляющий смех мужской.  
Под козырьком кафе — калека,  
с ним рядом хмурый гармонист,  
и вдруг, сквозь дождь, как призрак лета —  
согбенный велосипедист.  
Над перекрестком желтым глазом  
моргнул уныло светофор —  
и наступила осень разом,  
и прояснился смутный взор.

\* \*  
\*

Что будет? Видимо, зима.  
Снег. Обоюдность отдаленья.  
Порой сводящая с ума  
тоска, оплавленная ленью.  
Мы пристрастимся до весны  
к сомнительному развлеченью:  
не опасаясь уличенья,  
зажигать друг другу в сны.  
И в них уже, быть может, вновь  
возникнет просто и печально  
рассчитанная изначально  
на сновидения любовь.

\* \*  
\*

Под вечер, вербным воскресеньем,  
тыходишь, чувственно-тиха,  
с каким-то грустным опасеньем  
в пустую комнату стиха.  
Апрельской мгле приоткрываешь  
окно. Отстоянной водой  
зацветший кактус поливаешь  
из кружки с красною каймой.  
Волос каштановых струенье,  
цветок и воздух молодой  
исчезнут с первой звездой —  
останутся в стихотворенье.

\* \*  
\*

Коньковской кухоньки ночной  
и поднебесной толь приветны  
хмельному сердцу голоса.  
Лети, презренный четвертной,  
в карман ханыги! Безответный  
ноябрьский морок ест глаза.  
А там в окне чернеет лес,  
за ним мерцающая россыпь —  
Беляево иль Теплый Стан?  
Очарование очес!  
Дымящиеся папиросы.  
И полн грядущего стакан.

\* \*  
\*

Все рощи наголо обрей,  
но до конца не будь жесток:  
не тронь оставшийся листок  
на тополе моем, Борей!

Ты был на ледяном плацу  
любого дембеля лютей —  
хлестал, не спрятавши когтей,  
шершавой лапой по лицу.

И я — такой же вот листок —  
от смерти был на волосок,  
но кто-то за меня молил,  
и до весны хватило сил.

А в эту зиму я в тепле  
(горячий душ, пять батарей),  
а он — на холоде, во мгле...  
Не погуби его, Борей!

\* \*  
\*

Запах жареного лука  
из соседнего окна.  
Дочку с криком «ах ты, сука!»  
пьяный папа в дом загнал.

После утреннего ливня  
подсыхает дворик наш.  
Из руки моей ленивой  
выпадает карандаш.

Сочинить бы стих прекрасный,  
чтоб от сердца отлегло,  
чтоб не билась понапрасну  
мысль, как муха о стекло,

чтоб без лампы в день ненастный  
стало в комнате светло.



---

---

АЛЕКСАНДР ХУРГИН

\*

## ДВЕРЬ

Повесть

И. К.

**О**н пришел к ней, да, теперь — к ней домой, чтоб, может быть, все вернуть обратно из прошлого в настоящее и в будущее. Думал, попробую, может, удастся и мы все, что имели в своем активе, вернем в прежний вид и все будет как было. И он сидел на табуретке, а табуретка стояла посреди комнаты, под люстрой из белой пластмассы. И она, эта примитивная люстра, разливала по комнате скучный тяжелый свет, и он ложился и оседал на плечи Сараева и на колени и покрывал все вокруг, включая диван и письменный детский стол. И еще он отсвечивал молоком от экрана телевизора и от стекол и полировки стенки отечественного производства, грубой и устаревшей морально, но вместительной и удобной в эксплуатации, особенно когда комната всего одна-единственная и места в ней мало и недостаточно ни для чего. И так всегда, даже имея в доме эту вместительную стенку, приходилось вещи развешивать в кладовке и за дверь на вбитых в стену крючках и крупных гвоздях, и на спинках кресел-кроватей, и на гладильной доске, потому что людей здесь, в комнате, проживало четыре человека плюс кот, а сейчас, с некоторого недавнего времени, живет три человека. За вычетом, значит, его самого, здесь теперь не живущего, так как грянул как снег среди ясного неба, без достаточных веских причин разрыв между Сараевым и Марией и развел их в разные стороны и по разным углам жизни. И вот он пришел по собственному желанию и сидит на табуретке один посреди комнаты, а Мария говорит в кухне по телефону. Она говорила уже, когда он пришел, и открыла ему дверь и сказала:

— Подожди там, я сейчас закончу.

И она взяла телефон и пошла в кухню, таща за собой длинный шнур, и стала продолжать и заканчивать там свой разговор, а он, этот ее разговор, никак не заканчивался. И детей дома не было. Ушли, надо думать, на свою легкую атлетику, тренироваться. А Сараев им по шоколадке принес. Жене — «Сникерс», а Юле — «Марс». Принес, а отдать их не в состоянии, потому что некому. Ушли они, дети, оба. На тренировку по бегу и прыжкам. И он положил шоколадки на стол и сел в центре комнаты на табуретке, которая стояла под люстрой, и к нему на колени запрыгнул кот Венька и устроился на них со всеми удобствами и, мурлыкнув три раза, уснул. И из кухни пришла с телефоном Мария и села на диван и сказала:

— Ну что?

А Сараев сказал:

— Вот. Пришел.

А Мария сказала:

— Вижу, что пришел. А детей нету. Ушли на свою атлетику.

А Сараев сказал:

— Я не к детям. — И: — Вернее, — сказал, — не только к детям.

А Мария сказала:

— погоди, я газ выключу. У меня там суп гороховый варится, на плите.

И она встала с дивана и опять ушла на кухню, чтобы выключить газ, и выключила его, и приоткрыла крышку кастрюли, чтоб суп не задышался, а остывал, и пошла обратно, в комнату. Но до комнаты она не дошла, так как

в дверь постучали костяшками пальцев. А стучала в дверь обычно соседка по этажу Дуся, чтоб, значит, знали, кто пришел, потому что все остальные, они в дверь звонили, а Дуся — стучала. Мол, свои это. И муж ее Геннадий тоже стучал. И сын. И Мария открыла ей, Дусе, дверь, и Дуся прошла на кухню и там села, и Мария тоже прошла на кухню за ней, и Дуся эта стала что-то говорить, чтоб провести свое ненужное время, так как ей, она сказала, делать совсем нечего и неохота. И Сараев сидел в комнате и не давал о себе знать и признаков своего неуместного присутствия не обнаруживал, потому что не имел он никакого желания видиться с этой нахальной во всех отношениях Дусей. Не любил ее Сараев и не хотел, чтоб знала она о его приходе. А не любил он ее с того случая, когда она Марию к своему врачу отвела, аборт сделать. А у Сараева с Марией не было общего ребенка в их браке. У нее, у Марии, был свой — Женя, и у него была дочка — Юлия. А совместного не было у них никого. А тогда мог бы появиться и быть. А эта Дуся взяла и отвела Марию к знакомому своему врачу-гинекологу, который и ее, Дусю эту, постоянно чистил и выскребал и спал с ней тоже, конечно. Так что он и не знал никогда достоверно, чьего ребенка из Дуси достает и уничтожает — своего или ее мужа Геннадия. И Мария, забеременев, раздумывала и колебалась, рожать ей или не рожать, а она, Дуся, сказала ей:

— Ты что, пьяная или дура, в наше неустойчивое время третьего рожать? — и отвела ее к этому своему другу и врачу.

И с тех, значит, самых пор, как пришел он домой вечером, Сараев в смысле, а Мария ему сказала, что сделала сегодня себе аборт, и не любил он эту соседку Дусю и общества ее избегал. А она, как будто бы так и надо, ходила к ним в любое время дня и суток, как к себе все равно домой, и сидела на кухне или в комнате и говорила без конца и умолку о своих делах, а Мария ее слушала. И она не могла отдохнуть после работы и ничего не могла делать по дому, пока Дуся у них сидела. Дети иногда говорят Марии:

— Ма, кушать.

А она им:

— Сейчас.

И сидит дальше, слушает то, что Дуся ей рассказывает и что ей совсем безразлично и неинтересно знать, потому что неудобно ей было встать и, допустим, начать детей кормить в ее присутствии, а сама она, Дуся, ничего этого не понимала и в толк не брала и сидела сколько хотелось ей и нравилось. И Сараев не любил ее все больше с каждым прожитым днем и почти уже стал ненавидеть. Но это было, когда он тут жил с Марией, а сейчас, конечно, ему эта Дуся была до одного места и не играла роли. И он сидел на табуретке и ждал, пока она там, в кухне, выговорится полностью и уйдет, и показываться ей и тем более видеть ее не хотелось ему ни на грамм, потому что она могла и была способна изменить ему своим видом сложившееся настроение, и тогда он забыл бы все слова, которые должен был и намеревался сказать Марии, и все логические доводы и аргументы могли у него из головы выветриться и исчезнуть или перепутаться с другими, не относящимися к сути дела, мыслями и стать неубедительными и не важными. И вот, значит, сидел Сараев на табуретке под люстрой и одной рукой поглаживал лежащего на коленях кота Вениамина, а других посторонних движений он не делал, чтоб не стукнуть случайно чем-нибудь или не зашуметь еще каким-нибудь способом. А в кухне в это время Дуся медленно рассказывала Марии, что она видела, ходя по государственным и коммерческим магазинам города, и что в них купила, а что нет из-за сумасшедших и бешеных цен. И она говорила, что сейчас принесет и покажет Марии колготки и юбку и домашние зимние тапочки на меху. А Мария говорила — не надо, я потом, попозже, зайду к тебе и посмотрю, а Дуся просила одолжить ей сколько-нибудь денег, так как свои она все растратила в магазинах, и говорила — заходи, и говорила — я позвоню, и звонила по телефону, произнося в трубку простейшие слова и звуки, такие, как алло, да, нет, и опять — да и угу и ну, и она смеялась чему-то, сказанному ей, и чем-то возмущалась, и еще кому-то звонила, чтобы произносить те же самые упрощенные слова и сочетания из этих слов и смеяться над кем-то в

трубку. И так истек, наверно, целый час времени, и она наконец встала и потянулась, треща суставами костей, и сказала:

— Ну, я пошла.

И по пути заглянула она в комнату и, конечно, увидела Сараева, сидящего изваянием на табуретке, и сказала:

— А, у тебя гости? — и еще постояла в коридоре, говоря, что хочет связать себе свитер по журналу «Бурда» и нитки у нее уже есть подходящей расцветки, а вязальной машины нет, но Геннадий, сказала, обещал мне ее купить со дня на день или даже еще раньше, и он ее уже заказал, и ему вот-вот привезут ее по приемлемой и доступной цене. И она еще и еще раз сказала Марии, что ты ж заходи обязательно, колготки посмотреть и юбку, и ушла к себе или, может, к другой какой-нибудь соседке по длинному коридору девятого этажа. И Сараев подумал, что вот сейчас он скажет Марии, что так все-таки нельзя и что дети не виноваты ни в чем и что давай что-нибудь придумаем совместными усилиями и найдем разумный компромисс как руководство к действию. Правда, он опасался услышать от Марии опять, что все ей надоело и опротивело и что Юлю она не держит. А она, Юля, когда уходил Сараев, сказала ему, что ты иди, а к нам будешь приходить в гости и на день рождения, а я, сказала, буду тут жить, дома. С Женей и с мамой. А когда он попробовал и постарался ей что-то объяснить и ее увести с собой, она стала плакать. И Мария вмешалась в их разговор и сказала:

— Не мучь ее, пусть с нами остается.

А Сараев сказал:

— Как это с вами?

А Мария сказала:

— Ну ты же слышал.

И Юля осталась жить с Марией и с Женей, а Сараев ушел. А теперь он пришел, чтоб еще раз поговорить с Марией серьезно и сознательно и прийти все же к какому-то общему знаменателю и пониманию друг друга, так как она достаточное и ошутимое время пожила сама с детьми и должна была почувствовать на собственной шкуре, как это трудно и безответственно и что самой ей не лучше, а хуже и никаких положительных последствий и сдвигов от развала их семьи и общей жизни не произошло, и не замечать этого она, Мария, как женщина умная и любящая мать, конечно, не могла и не имела права. Хотя бы из-за детей. И думать только о себе и о своем чисто женском начале, основанном на непостоянстве чувств и порывов, было сейчас, можно сказать, преступно и недопустимо. Так, значит, мыслил и понимал Сараев и на основании своего этого восприятия окружающей действительности собрался он и пришел к Марии. И вот Мария наконец-то освободилась от соседки Дуси и проводила ее и заперла дверь на задвижку и вернулась на диван. И она помолчала, ничего не спрашивая у Сараева, и он помолчал, приводя в надлежащий порядок свои раздробленные и разбросанные мысли перед тем, как начать разговор, и, помолчав, сказал:

— Я по такому делу и поводу.

И после этих его начальных слов в дверь — как специально назло — позвонили, и Мария сказала, что это еще кто-нибудь из соседей, наверно, позвонить хочет по телефону, потому что телефон на этаже один, а автоматы нигде не работают. И сосед вошел в дверь и сказал:

— Я позвоню?

А Мария сказала:

— Да-да. Звони.

И сосед стал звонить. А Сараев и Мария сидели, пока он звонил, напротив друг друга и ничего не говорили, потому что как они могли говорить, когда рядом находился чужой человек, можно сказать, с улицы, тем более что говорил он по телефону на повышенных тонах и доходя до крика. Видно, там его было плохо слышно. А по следующему номеру у него было все время занято, и, может быть, даже это не занято было, а какая-нибудь неисправность на линии или повреждение в кабеле. Но он все равно звонил, набирая номер, потому что, говорил, мне жизненно надо дозво-

ниться, а автоматы нигде в ближней округе не работают. Я всё обошел. И возле хлебного, и возле хозяйственного, и к универсаму ходил. И нигде, говорил, ни один автомат не работает. И:

— То, — говорил, — трубка вырвана с мясом и с потрохами, то диск сломан, то гудка никакого в трубке нет, ни короткого, ни длинного. — И он набирал свой номер и повторял набор медленнее, а Сараев сидел под светом люстры с котом на коленях, а Мария, чтобы не сидеть без дела, вязала Юле шарф к шапке, которую она связала ей раньше и в которой Юля ушла сейчас на тренировку с Женей. А Сараев следил за ее пальцами и лицом, и было похоже, что она не слышит соседа и не видит Сараева, и когда сосед сказал: «Ладно, зайду потом еще раз, занято» — и Сараев встал, переложив кота на диван, чтоб запереть дверь, Мария так и осталась вязать шарф и никакой реакции на перемещения Сараева и соседа не проявила. А коту не понравилось лежать на диване, и он подождал, пока Сараев вернется из коридора и сядет на табуретку, чтобы снова устроиться на его коленях спать. И Сараев хотел начать говорить с Марией о главном, ради чего пришел, так как момент сложился подходящий, а она продолжала вязать шарф, и шарф понемногу удлинялся и, шевелясь, свисал с нее и с дивана, а Мария от монотонности и однообразия своей работы стала задремывать и засыпать. И вот руки ее остановились и спицы перестали двигаться в заданном ритме друг относительно друга, и Мария, опершись спиной и затылком о стену, а ноги вытянув поперек дивана, замерла и обмякла. И Сараев сидел на табуретке, а у него на коленях спал кот, а на диване в сидячем положении и с шарфом в руках спала Мария.

«Наверно, устает она на двух работах и не высыпается ежедневно, — думал про нее Сараев, — поэтому и заснула сейчас как сурок не к месту».

И он, конечно, не стал ее будить для того, чтоб сказать то, что он пришел сказать, а подумал:

«Ничего, пускай она поспит, а я посижу. Время у меня есть».

И Мария поспала сидя, правда недолго, и ее лицо в это время сна было неживое и рыхлое. А не смогла она поспать какое-то продолжительное время, потому что пришел мужик с ее основной работы и принес ей палку сырокопченой колбасы с городского мясокомбината. У него кто-то был там свой и знакомый и продавал эту колбасу ворованную. Мария и раньше, живя с Сараевым вместе в замужестве, такую колбасу приносила домой, так как она была и свежая всегда, и стоила дешевле, чем в магазине. А если и не дешевле, то все равно в магазине она бывала далеко не всегда и очереди за ней обычно выстраивались большие и длинные, несмотря на цену, и в них часто, в очередях этих нервных, доходило до драки и до оскорбления личности и до криков о помощи. А тут прямо на работу, значит, ее приносили или как теперь — домой. Но сейчас, в данном случае, этот мужик с работы Марии, видимо, еще зачем-нибудь пришел, зная, что она с Сараевым уже не живет и разводится. Может, личные он какие-то имел на нее виды и планы. И он пришел, разбудив Марию, и отдал ей принесенную колбасу и, увидев сидящего на табуретке Сараева, сказал:

— Ну, я пойду. Дел у меня еще много есть.

А Мария сказала:

— Посиди, выпей кофе.

А мужик сказал:

— Спасибо, не откажусь.

И она сделала ему чашку крепкого кофе, и он выпил ее в кухне, а Мария с ним там побыла как бы за компанию, и они говорили о чем-то тихо и вполголоса, и Сараев слышал звучание их голосов, а слов не слышал и не разбирал. Хотя он к словам и не прислушивался, а только сидел и ждал, чтоб этот мужик напился кофе и ушел и чтоб можно уже было поговорить ему с Марией о самом главном и нужном. И ему, Сараеву, нужном, и ей, Марии. И детям, конечно. А то выходило как-то, что и она ни с чем осталась и на бобах, и он, Сараев то есть, все в жизни потерял из того небольшого, что было у него до этого. И ее, Марию, жену свою, и дочку Юлю, и сына Марии Женю, который был ему как будто бы собственный —

без различий. А мать Юли, первую, значит, жену свою, Сараев давно потерял. Потому что она спилась. И Юля Марию за мать свою принимала, родную. Ей же три года всего было, когда Сараев с Марией сошелся, и стали они жить у нее, а та его жена, спившаяся, она на Юлю и не претендовала и прав своих не отстаивала, а отдала ее Сараеву с радостью и с легким сердцем. А квартиру он, Сараев, тогда отдал ей, своей пьющей жене. А теперь он туда, в эту загаженную и заброшенную квартиру, вернулся жить, потому что жена его бывшая в ней не появлялась, а прописан он там как был, так и остался и ключ имел свой. И он отмыл кое-как и отскреб свою прежнюю квартиру и врзал в дверь новый замок и стал жить в этой квартире без никого. И конечно, такая пустая жизнь его мало чем устраивала и не согласен он был так жить. И вот, значит, сейчас ему нужно было об этом Марии сказать, чтоб она выслушала его и поняла, тем более что тут и понимать было нечего и все лежало на поверхности событий. И Сараев сидел на табуретке и ждал своего часа терпеливо, и у него не было никакой другой цели, кроме как сказать Марии задуманное и сделать так, чтоб она его слушала не перебивая до конца. И как только дверь Мария закрыла за мужиком, колбасу принесшим, Сараев сказал себе, что вот сейчас она зайдет и он сразу начнет говорить без промедления и все скажет. Но опять не удалось Сараеву начать разговор по существу, потому что возвратились с тренировки дети, Женя и Юля, и были они, конечно, голодные, и их надо было быстро кормить. И Мария пошла давать им гороховый суп и колбасу с хлебом, а есть шоколад до ужина, тот, который принес им Сараев в подарок, она запретила, чтоб не портили себе аппетит сладким. И она приготовила ужин и посадила детей за стол и сказала Сараеву:

— Пойдем поужинаем с нами.

А Сараев сказал:

— Ужинайте, я не хочу, я ел.

И он подождал еще, пока все они ужинали, и кот тоже, конечно, ушел от Сараева в кухню, разбуженный и привлеченный запахами еды. А после ужина дети мыли посуду, так как в этот день было их дежурство ее мыть и вытирать, а потом они делали уроки, заданные на завтрашний день в школе, и Мария им помогала и проверяла то, что они выучили. Стихи о родине по литературе, правила по языку и еще что-то по географии и по истории. Потом дети посмотрели телевизор и разложили свои кресла-кровати и постелили себе постели. И Юля легла первой, и кот лег у нее на подушке, и Женя лег тоже и сказал:

— Мама, полежи возле меня.

А Юля сказала:

— И возле меня.

А Женя сказал:

— Возле тебя Венька лежит.

И Мария прилегла с Женей рядом на его кресло-кровать, а Юля сказала, что раз так, то на завтра она первая занимает очередь, чтоб мама с ней полежала. И они скоро уснули на креслах-кроватях — и Юля и Женя. И кот Вениамин с ними. И Мария уснула рядом с Женей в неудобной позе на краю узкого кресла. И Сараев посидел еще немного и посмотрел на них спящих, а потом тихо оделся и, выключив свет в прихожей, ушел.

\* \* \*

И он шел и шел, специально и намеренно оттягивая неизбежное свое возвращение в пустое и неустроенное жилище. Шел в обход, выписывая круги и петли, отклонялся от прямой дороги и опять на нее выходил. То есть он шагал, наматывая бессмысленные километры пути, как бы гуляя перед сном, чтоб устать и, придя наконец домой без задних ног, сразу же лечь и уснуть.

\* \* \*

А Мария, как только вышел Сараев и лягнула замком входная дверь, конечно, поднялась с кресла-кровати, потому что она и не спала по-настоящему, а так, дремала и слышала сквозь дремоту, как он, Сараев,

вставал с табурета, и как приближался к ним — к детям и к ней, наверно, чтоб посмотреть на их спящие лица поближе, и как одевался он, слышала Мария, и как свет в прихожей гасил, уходя.

И когда ушел он, Мария встала, отряхнулась от дремы и пошла заниматься своими привычными обязанностями по кухне. Еду готовить на завтра детям, чтоб после школы было им чего поесть. А то они в школе есть отказывались безоговорочно, говорили, невкусно и тарелки жиром обмазанные дают. А Женя говорил, что у него после еды школьной в животе как ножом режет и во рту пахнет кислым и тухлым. Поэтому и давала Мария им с собой бутерброды с колбасой или с мясом или просто хлеб, маслом намазанный. А на после школы она им обед обычно готовила полноценный и оставляла утром на газовой плите. Первое — в кастрюльке алюминиевой, с ручкой, чтоб наливать из нее суп или борщ было детям удобнее, а второе на сковороде она им оставляла, с маргарином уже на дне. И дети, придя, зажигали газ и разогревали эти кастрюльку и сковороду и ели то, что она им оставляла. Обедали. И посуду после себя грязную мыли по очереди через день. А в выходные день Мария мыла посуду, а день они вдвоем. Чтобы, значит, по-справедливому было и никому не завидно. Это так они, дети, придумали и постановили.

И Мария пошла, значит, приготовить им к завтрашнему обеду второе блюдо. Потому что на первое суп гороховый она уже между делом сварила в течение дня. Хоть ей и мешали все кому ни лень: и Сараев, пришедший и застрявший у нее до позднего вечера, и Дуся, и соседи со своими безотлагательными телефонными звонками и разговорами. И второе, таким образом, осталось у нее неприготовленным, и ей нужно было приготовить его сейчас, а потом уже и спать можно будет ложиться.

И Мария достала из стенного шкафа-кладовки мешок небольших размеров, полотняный, с гречкой. Ей мать этот мешок в виде посылки прислала. А к гречке, подумала, нажарю котлет из фарша, вчера купленного. Она всегда фарш покупала, если он был в мясокомбинатовской расфасовке, потому что из него котлеты ничего получались, съедобные. И тефтели тоже неплохие получались, и голубцы. Но тефтели с голубцами возни гораздо больше требуют, и Мария, конечно, на ночь глядя не стала с ними связываться и заводиться, а взялась нажарить котлет по-быстрому.

Но до котлет надо было ей кашу гречневую на огонь поставить варить, и она зачерпнула из мешка стакан крупы и рассыпала ее на столе, перебрать чтоб. Рассыпала, смотрит, а она, гречка, вся шевелится, как живая. Жуки в ней то есть завелись в диком количестве, долгоносики. И Мария сказала: «Черт» — и налила в большую миску воды из-под крана и всыпала всю крупу из мешка в эту миску и со стола тоже ее сгребла и в миску высыпала.

И крупа в воде утонула и легла на дно миски толстым слоем, а жуки, будучи легкими и живыми, на поверхность водную всплыли, как и хотела Мария, чтоб слить их в унитаз и крупу таким способом от них очистить и уберечь. А слив жуков, Мария оставшуюся воду с гречкой через дуршлаг пропустила и в духовку мокрую гречку запихнула на противне, сохнуть. И после этих профилактических мер и действий приступила она к котлетам — лепить их и жарить и, значит, не сидеть без работы, пока гречка в духовке просыхает и прокаливается. И время за этими ее хозяйственными занятиями подошло незаметно к двенадцати часам, и опять, подумала Мария, и снова не светит мне выспаться и придется завтра ходить полдня опухшей и с синяками вокруг глаз.

А тут еще, стоило начать ей котлеты делать и руки в фарш опустить, телефон раззвонился и каждые пять минут звонил. Причем звонили не ей, а попадая не туда. В горсеть люди звонили, и она по каждому звонку вытирала руки о полотенце и брала трубку. А у нее спрашивали, например, почему на автостоянке света нет или когда подадут высокое напряжение на насосную станцию котельной. И она говорила, что это квартира, а ее ругали матом и кричали, что умней врать она не может, чтобы не работать, и угрожали жаловаться в аппарат представителя президента и чуть ли не в Совет Министров. А после серии этих безумных звонков еще кто-то позво-

нил и попросил позвать к телефону соседа из сто сорок восьмой квартиры. И даже не извинился за то, что ночью звонит. И не поздоровался. И Мария ему ответила, что поздно уже. А он ей говорит:

— Ничего, он не спит.

И тогда она сказала, что он, может, и не спит, а я вот сплю, и выдернула телефонный шнур из розетки. И гречку из духовки бросилась вынимать, так как она уже подгорать с одного края, где огонь всегда был сильнее, начала, судя по запаху. А котлеты пока Мария бросила. И гречкой снова занялась. Часть небольшую перебрала по крупинке, черные зерна и сорняки отделив, и варить поставила, а всю остальную крупу она снова в мешок полотняный ссыпала, вывернув его навыворот и вытряхнув. И мешок она на подоконник поставила не завязывая, чтоб остыла гречка до комнатной температуры и не запотела. А за то время, что каша на медленном огне варилась, Мария котлет нажарить успела одну сковородку. А сырые котлеты, все, какие из фарша получились, она в сухарях панировочных густо обваляла и в судок эмалированный сложила, а судок в холодильник поставила, на верхнюю, самую холодную, полку. И при первой надобности их можно было теперь быстро изжарить и съесть.

И вот Мария закончила все свои сегодняшние хлопоты и, как всегда, ужаснулась позднему часу. И она сказала себе: «Спать» — и даже под душ не пошла, а лишь умылась, смыв тушь с ресниц и почистив зубы.

И еще она кремом густо намазала лицо и руки, так как в последние года два кожа у нее стала сухой и на лице и на руках и шелушилась, если за ней не ухаживать с помощью питательного крема для сухой кожи. Поэтому Мария на ночь обязательно смазывала себе лицо и руки кремом, втирая его в кожу, и квартира наполнялась удушливым его запахом, и дети от него, от этого крепкого запаха, начинали ворочаться во сне, а кот Вениамин просыпался, чихал и с удивлением и недовольством смотрел на Марию из-под батареи парового отопления, где спал до тех пор, пока Мария не ложилась на свой раздвижной диван. А когда она ложилась, Вениамин переползал из-под батареи к ней и сворачивался на одеяле в ногах. Он с детства своего в ногах у нее прилаживался спать. Это когда Мария с первым еще мужем в браке состояла. И когда Сараев у нее жил, тоже Вениамин всегда с ними на диване спал и всегда у нее именно в ногах. Днем — это пожалуйста, мог и к Сараеву и к другому на колени влезть и тереться мог о всякого, кто в дом зайдет, а ночью только Марию признавал и больше никого. У Юли вот тоже мог изредка на подушке поваляться, но недолго. Потому что она во сне вскидывалась и вертелась и спать ему, Вениамину, спокойно не давала, а он этого не любил.

И вылез Вениамин из-под теплой батареи отопления, учув во время сна, что Мария постель себе стелит, и нырнул под простыню. А Мария вытащила его, сказав, что не до игр ей, и закончила стелить и легла, вытянувшись под одеялом до хруста в спине и в коленях. И Вениамин свернулся в бублик, обнял всего себя хвостом и задышал редко и слабо. А Мария, она лечь легла, а сна ни в одном, как говорится, глазу нет. Хоть опять вставай. Но вставать она, конечно, не думала, а думала, что устала она сегодня и легла слишком уж поздно. А у нее это было обычным явлением — бессонница в случае чрезмерной усталости и если ложилась она к тому же не вовремя. И она лежала с закрытыми глазами на спине и не спала, и ей лезли в голову беспорядочные нечаянные мысли и их обрывки: о Сараеве и о завтрашнем рабочем дне понедельнике, который всегда бывает тяжелым, и зачем-то о Дусе приходили к ней мысли и о Толике, приносящем ей колбасу, и еще о чем-то, что вспоминалось или представлялось ей в потемках и в тишине проходящей без признаков сна ночи.

И она, конечно, поняла сразу же и знала наверняка доподлинно, зачем сегодня приходил Сараев и зачем просидел без какого бы то ни было толку весь длинный сумбурный вечер. Опять он хотел затеять с ней разговор о том, что зря она и напрасно противится дальнейшему их семейному сосуществованию и что надо перетерпеть и пережить эту черную полосу препятствий, и приложить все усилия, и начать все с самого начала и с чистого

листа, потому что ей без него хуже, а не лучше и ему без нее и без детей плохо на этом свете и невозможно, а детям тоже не следует жить без отца и мужчины в доме. Тем более что они, дети, ни в чем не виноваты и ответственности за поступки взрослых нести не должны. Ну, в общем, предвидела Мария наперед все слова, которые мог бы сказать ей Сараев. И нового ничего в этих заготовленных им словах и доводах для Марии не было и не содержалось, и она сама все это знала и понимала не хуже, чем Сараев. Но она же и не надеялась что-нибудь выгадать, живя без него, и знала, что не легче ей придется, а тяжелее, и заблаговременно вторую работу себе нашла по совместительству. Так как не способна была больше Мария с Сараевым жить. Она б, может, и хотела, чтоб остался он с ней, а не могла. Организм ее этому противился, а ему, организму, не прикажешь, он сам по себе, часть природы.

И довела, значит, Мария их жизнь до логического разрыва и, можно сказать, выжила Сараева своим к нему жестоким и безразличным отношением. И он ушел, не выдержал. И живет Сараев после ухода сам, в старой своей квартире, находясь в неотступном страхе и в боязни возможного возвращения туда бывшей жены Милы, потерявшей давным-давно человеческий облик и все женские черты и отличия. Он, Сараев, и с Марией будучи и живя вечно боялся, что Мила появится вдруг из небытия и вмешается как-нибудь грубо и бесцеремонно в его частную жизнь. Он так Марии и говорил в минуты слабости, что вот живу с тобой уже сколько, а как подумаю о ней, так страшно мне становится, и ничем я это свое чувство страха и ужаса перед ней подавить в себе не могу. Боюсь я ее и друзей ее этих со дна и изнанки жизни.

Так это же он говорил живя с Марией в ее квартире, местонахождение которой Миле его несчастной известно не было. А теперь-то он сам живет, один, и бывшая его жена опустившаяся в любовь, что называется, момент к нему нагряться может без предисловий и предупреждения. И главное же, Юлия с ним ни за что не захотела уходить, как он ее ни уговаривал, чего Мария, конечно, ожидать не могла. Но все равно не отступила она и не отреклась от своих возникших намерений и на развод подала в народный суд. Потому что жить каждый день в присутствии Сараева после жуткой беременности своей от него, абортom прерванной, она никак не была в состоянии и не смогла бы себя заставить.

А до аборта все вроде у них, у Марии с Сараевым, шло более-менее. Пять лет почти что жили они в согласии и, смело можно сказать, в любви. А как сделала она аборт у Дусинога врача частного, так и настал их общей жизни полный и последний конец. Или точнее если быть, он раньше несколько настал, конец. Когда забеременела Мария от Сараева. При том, что пять лет миновало ее это естественное дело, а тут взяло и получилось, несмотря на принятые обычные меры предосторожности. И если в первый раз, когда Женю своего Мария носила, в юности, беременность протекала у нее быстро и незаметно, без неприятных сопутствующих отклонений, то теперь мучения начались у Марии чуть ли не с первого дня. Потому что и мутило ее от любой пищи и от любого питья, и ноги у нее отекали до неприличия, и в обмороки она падала, как дворянка какая-нибудь столбовая или принцесса на горошине. И Дуся, глядя на нее, говорила, причем в присутствии Сараева, открыто и не стесняясь, что прекращай ты свои муки и страдания и пошли к моему Широкинцу, он тебя враз обработает и обслужит.

И в конечном счете отговорила Дуся Марию рожать в семью третьего ребенка и отвела-таки ее к личному своему врачу-гинекологу. Сараев Марию просил не убивать его ребенка в зародыше, а родить, так как роды, говорил, оздоравливают женщину и омолаживают, а она, значит, все сделала вопреки Сараеву и ему назло. Ненавистен он был Марии в этот период жизни, потому что являлся первопричиной ее болезненного состояния здоровья. И если б не это ее крайнее состояние, может, она и не пошла на аборт. Она один раз всего до этого аборт делала, и ей впечатлений и эмоций хватило с избытком и, как говорится, с лихвой. А было это после того, как Женю она родила и через месяц буквально снова залетела. Впервые то есть

## ДВЕРЬ

переспала с мужем после длительного перерыва по беременности и родам — и все. Ну и, само собой, она сделала в тех обстоятельствах аборт. Решила, другие делают и я сделаю. Прохорова вон, из планового, говорила, что одиннадцать уже сделала — и ничего страшного, жива-здоровая. И Мария по примеру прочих женщин сделала тогда себе аборт в районной больнице. И было ей невыносимо больно и мерзко и тяжело в моральном отношении. А потом этот аборт года два еще ей ночами снился во всех неприглядных и отталкивающих подробностях. И боль снилась, скребущая внутренности, и тяжесть, и полный таз крови, вытекшей из нее.

Так что, может, она еще одного ребенка отважилась бы иметь, чтоб только без аборта обойтись, если б Дуся не помогла ей своевременным советом и всем другим вплоть до машины — из больницы приехать. И она, Дуся, пообещала и дала стопроцентную гарантию, что доктор ее, Широткин, сделает все под общим наркозом и на высоком уровне и Мария ничего не почувствует — ни болевых ощущений, ни вообще.

— И в тот же самый день, — сказала, — дома будешь с отличным самочувствием.

И вот поехали они с утра к Дусиному врачу на трамвае, и он сделал Марии аборт с применением общего наркоза, и через три каких-то часа Мария уже домой приехала. Дуся договорилась со своим мужем Геннадием, и он подъехал на своей служебной машине, на которой работал, возя руководителя одной из коммерческих структур, и Марию из больницы привез к подъезду их дома. А когда Сараев домой вернулся с работы, Мария ему все и преподнесла на блюдечке. И ей легче стало и теплее от причиненной Сараеву боли. Прямо разжалось что-то внутри и отпустило.

И с того дня перестала Мария Сараева видеть и замечать и воспринимала его как пустое место и неизбежное зло. Другими словами, прекратил для Марии Сараев свое существование, то есть он, конечно, был и существовал, но помимо Марии и вне ее, и его присутствие в доме на роли мужа потеряло, конечно же, всякий смысл и стало, что ли, неактуальным и неправомерным и невозможным в корне и в принципе.

\* \* \*

Поэтому и жил сейчас Сараев отдельно от Марии и от детей Жени и Юли. По ее, Марии, милости жил он без семьи в квартире, брошенной сколько-то времени назад первой и бывшей его женой Милой, зачем и почему — непонятно и на какой срок — неизвестно.

\* \* \*

А дверь квартиры, в которой проживал теперь Сараев, была железной в полном смысле слова. То есть буквально металлической. Хотя снаружи если смотреть, с площадки, этого видно не было пусть и самым вооруженным глазом. Снаружи дверь казалась очень обыкновенной и рядовой и не примечательной ничем. Так как облицована она была деревянной лакированной планкой. А изготовил Сараеву эту сложную дверь сварщик-ас Лагин при участии бригадира плотников и столяров ремонтно-строительного участка Петрухина. Сараев чертеж двери сборочный и детальный сделал и дал его Лагину, а Лагин чертеж прочел и сказал:

— Для бомбоубежища дверь?

— Нет, не для бомбоубежища, — ответил Сараев Лагину.

А Лагин спросил:

— А для чего?

А Сараев сказал, что дверь ему нужна для квартиры его новой, вернее, старой.

А Лагин выразил мысль, что каждый с ума сходит, как сам хочет и считает нужным, и дверь эту выдающуюся согласно чертежу изготовил в заводских условиях за один ящик водки в качестве оплаты за труд. Потому что он сразу сказал Сараеву и предупредил:

— Мне твои деньги, — сказал, — без надобности и без пользы. Мне главное — пошло.

И они договорились, сойдясь в цене, что за ящик казенной водки — название значения не имеет — Лагин исполнит заказ в строгом соответствии с чертежом и облицовку закажет другу своему и товарищу по работе Петрухину. И за территорию предприятия ее, готовую то есть дверь, переправит.

— А если с установкой, — сказал, — хочешь, тогда с тебя еще одна бутылка, особо. Или лучше всего две.

Ну и Лагин все обещанное выполнил, будучи человеком честного слова, и привез дверь Сараеву по его новому или, вернее, старому адресу, и они вдвоем ее, эту непреодолимую бронированную дверь, установили на свое место. Старую, хлипкую, дверь из дерева сняли и на балкон вынесли пока, временно, чтоб потом, по свободе, выбросить или найти ей другое, более достойное, применение, а эту, новую, установили. Лагин ее устанавливал и подгонял и укреплял намертво, а Сараев ему помогал всестороннее, выполняющая роль подсобного рабочего низкой квалификации. И Лагин в процессе производства работ удивлялся Сараеву, говоря:

— И к чему тебе такая дверь противотанковая, у тебя ж пусто внутри квартиры, хоть плачь.

А Сараев говорил:

— Надо.

И всем прохожим, выходящим из лифта и в него входящим, которые останавливались по пути посмотреть на дверь и спросить, зачем она такая ему нужна, Сараев то же самое говорил. А они говорили ему, что раз надо, то, конечно, никто не возражает против. И говорили:

— А нам вот нечего за такой дверью скрывать, кроме своих цепей.

И Сараев с Лагиным закончили работу за один трудовой день, покрасив дверную коробку, которая тоже была, соответственно, из железа, из швеллера № 10, и после окраски с внешней стороны никто не сказал бы, что дверь эта — как все равно у сейфа. Планки деревянные лаком вскрыты, коробка со стенами подъезда по цвету совпадает и гармонирует, все, короче, как надо сделано, без дефектов. А замки в двери, кстати сказать, импортные установлены, для гаражей предназначенные изначально. И у каждого замка по три длинных языка и ключи фигурные сложного профиля, каких, сколько ни старайся, не подберешь и на заказ не изготовишь. И отмычка любая против замков такой современной конструкции будет бессильна.

Да. И обошлась эта его дверь Сараеву всего-навсего в цену одного ящика водки, что ровно в четыре с половиной раза дешевле, чем было бы ее покупать в магазине. Ну и дополнительно еще две бутылки Сараев Лагину поставил за монтаж двери. Но одну из них, из этих двух бутылок, Лагин водителю отдал, тому, который дверь привез, а вторую они, Лагин, в смысле, с Сараевым, вместе выпили по окончании всех работ. Замочили, другими словами, дверь.

И не понадобились Сараеву услуги магазина. А магазин такой, специализированный, находился совсем близко от места сараевского жительства, на дороге, к новому автовокзалу ведущей. В нем, в магазине этом, раньше гастроном помещался, а сейчас его кто-то приватизировал, и он стал частной собственностью, принадлежащей одному физическому лицу. И новый владелец, значит, гастроном перепрофилировал и стал в нем подобные двери продавать всем нуждающимся и желающим как оптовыми партиями, так и в розницу. И решетки, художественно оформленные, на окна здесь продавались. И кроме того, замки в широком ассортименте. И Сараев сначала без цели туда зашел, посмотреть, что это за торговая точка на месте гастронома открылась после ремонта и реконструкции, а потом он ходил в этот магазин уже специально и двери там, выставленные для продажи, подолгу, точно в музее, разглядывал и запоминал их особенности и детали. В смысле, какой толщины на них лист и какой на раме уголок и из какого номера швеллера изготовлена дверная коробка — лутка. И продавец

магазина, или, может, это был его хозяин, говорил Сараеву, что покупайте, не пожалеете, и:

— Наши, — говорил, — двери самые дешевые и самые надежные. И форма оплаты у нас, — говорил, — любая.

А Сараев говорил:

— Да, двери что называется. Мечта поэта.

Но дверь в магазине он так и не купил. Потому что с самого начала не собирался Сараев там ее покупать. Он чертеж на миллиметровке начертил дома, вымеряв свой дверной проем рулеткой, и заключил соглашение с Лагиным об изготовлении двери по этому чертежу. А замки он, Сараев, в количестве двух штук в этом магазине все же выбрал и купил. И в целом получилось, что обманул он надежды продавца и владельца магазина. Тот же предполагал, что Сараев к дверям приценивается с целью их купить, а Сараев, выходит, конструкцию похитил, чертеж начертил, и на стороне, по месту своей работы, дверь ему аналогичную сделали. И в четыре с половиной раза дешевле ввиду фактического отсутствия накладных расходов и с установкой.

А возился с этой дверью Сараев не потому, что стремился оградить себя от квартирных воров и грабителей, хотя и это имело свое место в условиях роста преступности, а для обеспечения личной безопасности и неприкосновенности и в конце концов неотъемлемого права на жизнь.

Сначала-то он, когда жить стал в этой квартире, от Марии уйдя, просто замок другой в дверь врезал, чтоб неожиданности возможные исключить, и так жил, занимаясь в основном приведением квартиры в жилое состояние. То есть он вставлял одно за другим выбитые стекла, и выносил кучи кислых окурков и липких бутылок, и отдраивал полы от въевшейся грязи, вина и рвоты. Ну и проветривал он квартиру долго, держал для создания сквозняка открытыми окна и двери балкона как днем, так и ночью и в любую погоду. Короче, устраивал он себе мало-мальские условия для дальнейшей жизни.

А потом, значит, пришлось Сараеву такую вот железную дверь поставить. После того случая, как явились они без приглашения и стали звонить и говорить:

— Милка, открой.

И они разбудили Сараева звонками среди ночи, и он приблизился бесшумно, на пальцах, к двери и послушал, приложив к ней ухо. И услышал Сараев сопение и переговаривающиеся голоса нескольких людей. И оттуда, из-за двери, опять сказали громко, чтоб было в квартире хорошо слышно:

— Милка, — сказали, — кончай свои шутки.

И опять продолжительно позвонили и ударили в дверь ногами или, может быть, тяжелым кулаком. Ну, в общем, сильно ударили. И Сараев хотел снова промолчать и не ответить, сделав вид, что квартира необитаемая, но они начали бить в дверь с разгона плечами и телами и, наверно, все по очереди били, конвейером. И дверь стала пошатываться под их ударами и ослабевать на петлях и в косяках. И Сараев сказал:

— Эй. Нету здесь никакой Милки. — И сказал: — Не проживает.

А они сказали:

— Как не проживает? Проживает.

А он:

— Тут давно, — говорит, — другие жильцы проживают. Я тут проживаю.

И они сказали:

— Свистишь.

А Сараев сказал:

— Нет. Честно.

И они пошумели и поспорили за дверью между собой и ушли, поверив Сараеву на слово и дверь не выбив. Но понял Сараев и осознал, что если придут они еще и начнут заново дверь высаживать, то она не выдержит их натиска и атаки и вылетит к чертям собачьим, как пробка. А произойти этот их следующий приход мог в каждый, что называется, миг и момент. Ведь же найдя, допустим, где-нибудь Милу, они получают возможность прийти с ней вместе, а она его, Сараева, по голосу узнает и определит. И тогда ему плохо

придется и туго одному против их всех. А если он, к примеру, будет молчать и не вступит с ними в диалог, они все равно дверь высадят с согласия и благословения Милы. Потому что она, Мила, все настоящие права имеет для проживания на этой жилой площади, хотя и не появлялась она тут с незапамятных, как говорится, времен.

Но раз они приехали и ее спрашивали, значит, она числится в списках живых и ее не посадили за какое-нибудь правонарушение, а просто живет она, наверно, где-то в другом месте, у мужика, может, какого-либо, сожителя. И сюда она не является, так как не надо и незачем ей и нету у нее, значит, такой потребности. А от какой-то части своих друзей, от тех, которые приходили и ее разыскивали, она, может, прячется. Не поделили они, может, чего-нибудь или что-нибудь она у них взяла в долг и не вернула. Или по каким-либо другим причинам они с ней поругались. И ее теперь друзья эти ищут, наверно, везде и всюду, чтоб выяснить отношения и разобраться, а она, Мила, от них, видимо, прячется. Но, может быть, и не потому ее ищут и все обстоит как-то не так, а по-другому.

И Сараев после их необъявленного визита стал посещать этот частный спецмагазин и к дверям стал железным присматриваться всерьез. А в результате, значит, установил двери, сделанные по точному подобию магазинных, и почувствовал себя более уверенно и безопасно для жизни. И он, входя в квартиру и отпирая хитрые заморские замки, всегда думал словами из поговорки: «Мой дом, — думал, — моя крепость», — потому что теперь это и на самом деле была его крепость.

Ведь же такую дверь двухслойную и пуля не возьмет, и граната. А разные там ломы или монтировки вообще смешно выглядят и убого рядом с подобными замками и на фоне массивности всей конструкции. Такую капитальную дверь ломом не подденешь, как у жильца с девятого этажа поддели. Сбоку лом вогнали плоским концом, поддели — она и отворилась нараспашку. Ну и, конечно, взяли все, что было там, у него в квартире, и унесли. И ценные вещи, и носильные, и посуду. И мясо даже из морозильника вытащили, говядину, и кастрюлю яиц свежих, только что купленных.

А к Сараеву сквозь заграждение из его нынешней двери таким путем войти было невозможно. Он еще и решетки хотел установить на окна ажурные, но передумал и отказался от своего этого желания, потому что на пятом этаже девятиэтажного дома его квартира располагалась. То есть и снизу высоко, и сверху не доберешься. И он не установил решетки, сочтя их излишеством и неразумной тратой денег.

А Мила так и не приходила к нему ни разу. И друзья ее больше не приходили, то ли прекратив поиски, то ли потому, что нашли Милу и разрешили все вопросы и проблемы на месте ее пребывания. Но Сараев ни на одну минуту не забывал об угрозе их существования и бдительности не терял никогда. А при каждой материальной возможности делал теперь Сараев продовольственные закупки впрок. Несмотря на то что больше всего на этом свете не любил он магазинов и очередей. И всегда сторонился их, когда бывала у него малейшая возможность. С Марией живя, он лучше квартиру убирал и суп варил и другие работы выполнял безропотно, лишь бы только по магазинам она ходила, а не он. Потому что боялся Сараев, честно говоря, магазинов и очередей боялся. Люди в них, в очередях, всегда находились у предела своего терпения и злости. И лица их внушали Сараеву страх и он думал, что люди, имеющие такие лица, способны, наверно, рвать и метать и громить все, что под руку им попадется. Причем не различал в очередях магазинных Сараев лиц мужских и женских, так как женские лица там зачастую бывали еще уродливее и страшнее, чем мужские.

И делать, значит, регулярные закупки и посещать за этим магазины было для Сараева наказанием Господним и испытанием его нервов и характера на прочность. Но он заставлял себя туда ходить и подавлял свой страх и неприязнь к очередям и лицам в них, и становился в хвосты этих длинных очередей, и спрашивал, кто последний, и выстаивал их молча, не вступая в общие разговоры и стараясь не поднимать глаз от пола, чтоб не видеть окружающих его лиц.

И Сараев покупал всякие продукты — то вермишели покупал, то рису, а то консервов каких-нибудь рыбных или мясных. Для того, значит, чтоб если придут они, то можно было бы их не пускать и из дому не выходить бесконечно долго. Ну, если они дежурства, допустим, установят с тем, чтоб принудить его выйти из своего надежного укрытия и взять голыми руками тепленьким. Он и ванну всегда водой держал наполненную. Тоже на этот случай — вдруг поступление воды в квартиру прекратится по техническим причинам или они ему воду перекроют вентилем и организуют осаду. От них, от этих людей так называемых, всего можно было ожидать, какой угодно то есть гадости и подлости. Так что внутри, в стенах квартиры, они его никак не могли достать. А на улице где-нибудь, конечно, могли.

Но Сараев поздно, потемну, не ходил, а предпочитал выбирать для хождения по городу сумеречное время — рассвет или предвечерние пасмурные часы. Когда общая видимость ухудшается и больше видит тот человек, который напряженно смотрит и вглядывается в сумерки, и плюс к тому самого его эти же самые сумерки скрывают от нежелательных глаз. Да и вообще Сараев никуда фактически не ходил. Только на работу, куда не ходить ему было никак нельзя с материальной точки зрения, и к Марии раз или два в месяц, по воскресеньям. Деньги в основном ей отнести, тридцать три процента своей зарплаты. Она ему говорила:

— Зачем так много?

А он говорил:

— Как закон предписывает на двоих детей.

А Мария говорила, что на Женю его отец платит. А Сараев говорил:

— Знаю я, сколько он платит. На два кило колбасы.

И Мария деньги у Сараева брала, потому что вынуждена была брать, чтобы хватало ей на жизнь, сводить концы с концами, и дети чтоб были сыты и одеты. Она и сама на двух работах работала, зарабатывая максимально, сколько было в ее силах. И у Марии Сараев не засиживался с того памятного раза, как не удалось ему с ней поговорить, а приходил, отдавал деньги и уходил почти тут же, без промедления. Ну, или с детьми мог еще посидеть немного, пообщаться натянуто. Как в школе, спросить, и как себя ведете. А они ему скажут:

— Нормально у нас в школе и ведем мы себя, — скажут, — нормально.

— А в спорте успехи, — Сараев спросит, — есть?

А они ему скажут:

— Есть.

И все на этом. И уходил он от них к себе и шел каждый раз новой дорогой, как-нибудь в обход, и к дому подходил то с правой стороны, то с левой, то со стороны дворов прилегающих, то с тыла.

И все равно, хотя не ходил Сараев по улицам в ночное небезопасное время суток и вечерами сидел в запертой на оба замка квартире, чувствовал он на улице свою уязвимость и незащищенность от внешней агрессивной среды. Особенно в подъезде и в лифте, куда имели они возможность войти и сделать с ним в закупоренной коробке что им вздумается. И на открытой местности он мог от них уйти и убежать, заметив, допустим, их во дворе своего дома с определенного расстояния, или позвать на помощь мог в крайнем безвыходном случае, а вот в подъезде было, конечно, опасно всего. Подъезд — это была ловушка и западня. И Сараев в подъезд входил с оглядкой, будучи всегда начеку, и лифтом пользовался он, только если был сам, один, или если в попутчики попадалось ему знакомое лицо. Соседка там или сосед. А с незнакомыми, чужими людьми он в лифт не входил, пускай даже они выглядели прилично и производили благоприятное впечатление, внушая доверие. И поднимался Сараев в лифте не на свой пятый этаж, а выше — на шестой и оттуда тихо по боковой лестнице спускался и выглядывал, к стене прикинув, с лестничной клетки на площадку. А убедившись и удостоверившись, что там, у его квартиры, нет никакой живой души, он выходил из укрытия и быстро отпирал оба замка, проникал в квартиру и запирал дверь изнутри. Он и ключи носил без связки и в разных карманах, чтобы можно было одновременно их доставать и отпирать замки обеими руками параллельно.

А на книжном рынке у драмтеатра купил себе Сараев самоучитель по восточным видам единоборств и изучал его дома вечерами и в выходные дни и отработывал до автоматизма все описанные в нем коронные удары ногами и руками. Но невзирая на это, все чаще подумывал Сараев о том, чтобы достать себе где-нибудь личное боевое оружие, хоть бы газовый пистолет на самый худой конец. И, конечно, бронезилет ему бы не повредил. Пусть легкий.

И этот внутренний страх Сараева не был чем-то надуманным и пустым, а имел под собой прочную основу из жизненного опыта, так как это ж повезло ему, что тогда, когда жить с Милой стало нельзя и невозможно из-за ее постоянных друзей сомнительного свойства и оргий с их участием, Мария ему повстречалась в жизни и он с Юлей к ней перебраться смог на жительство и с Милой развестись, оставив ей эту квартиру для пьянок и других коллективных бесчинств. А сейчас Сараеву некуда было идти и не к кому, потому что с Марией у него все закончилось тем же разводом, по другим, правда, причинам и мотивам, а иного подходящего места, где мог бы Сараев жить как человек, у него не было. Кроме этой квартиры, в которой они с Милой жили с начала их брака и до конца. И Юля у них тут родилась и в течение трех лет росла.

Но Юля эту злосчастную квартиру и свою жизнь в ней и Милу, мать свою настоящую, сейчас, конечно, уже не помнила, к счастью. Хотя и бывало с ней, что становилась она вдруг беспокойной и испуганной и говорила Марии:

— Мама, я боюсь.

А Мария спрашивала у нее:

— Чего ты боишься?

А она говорила:

— Не знаю.

И Сараев думал, что, наверно, осталась-таки у Юли где-то в извилинах мозга зыбкая память о раннем периоде ее детства и засело в этой памяти что-нибудь, ее испугавшее. Может быть, день их ухода к Марии или, вернее сказать, ночь. И запомнились ей, возможно, много чужих людей и их страшно громкий над ее головой смех и горький горячий вкус во рту. А Сараев тогда отнимал у них Юлю, которая все вставала и падала на бок и ползала по кругу среди ног, загибая одной, левой, рукой. А они не отдавали ее Сараеву и поили с ложки еще и еще, а его, Сараева, весело били и пинали, чтобы не препятствовал он им и не мешал шутить и развлекаться.

Да, скорее всего запомнила она это несознательно и смутно и не поняв ничего из-за малолетства. Но испугали ее в тот раз, видно, по-настоящему и впервые в жизни — и она это запомнила. И Сараев тоже все это помнил как сейчас. И он отнял-таки у них Юлю, воспользовавшись каким-то их замешательством, и унес ее, пьяную и икающую во сне, домой к Марии. И Мария прикладывала ему свинцовые примочки к разбитому лицу и говорила, что никуда она их больше не отпустит от себя ни на шаг.

И они остались с той ночи жить у Марии и жили пять лет, создав семью, а по прошествии этих пяти счастливых лет снова, значит, жизнь Сараева сломалась, во второй раз.

\* \* \*

И вот он вернулся в свою старую квартиру, оставленную Милой, и живет в ней один за железной дверью и от Милы, первой своей бывшей жены, никаких известий не имеет. И он благодарит за это Господа Бога, потому что, если объявится она, Мила, в сопровождении друзей своих и товарищей на горизонте, никто ему позавидовать не сможет, несмотря на железную дверь.

\* \* \*

Правда, Сараев, он добыл себе в результате все, о чем думал и мечтал ночами, когда страх приходил к нему вместо сна. И бронезилет добыл хороший, хотя и поношенный предыдущим хозяином, и пистолет безот-

казной системы Макарова добыл, и для защиты головы каску, которую не считал для себя обязательным иметь в своем арсенале. И раздобыл все эти перечисленные вещи Сараев прямо на улице города, посреди бела дня.

Он с омовца их снял по пути домой. И не планировал тот субботний день никакой такой акции и не рассчитывал, а снял. Увидел, значит, его, омовца то есть, что стоит он один беззащитный и по всей форме обмундированный с головы до пят и товарищами своими, тоже омовцами, оставленный. Потому что они, товарищи омовца, с кем город он патрулировал, поддерживая неприкосновенность личности граждан вблизи криминогенных зон, в гастроном зашли. Обстановку проверить и колбасы, может, купить, если удастся по ходу дела. И Сараев заметил этого одинокого омовца издали и подумал, что надо его брать живым, пока никого вокруг нету, так как узнал недавно Сараев, сколько стоит на черном рынке оружие, и понял, что купить его за свои деньги он не сможет себе никогда, а в госторговле оружием все еще не торговали. И он подошел к омовцу с тыльной стороны и не долго раздумывая и не рассуждая блестяще провел прием каратэ-до. То есть он уложил омовца на голый асфальт ударом правой ноги в прыжке с разворотом. Точно как в книжке описывалось и рекомендовалось и было подробно нарисовано. А именно выпрыгнул Сараев, взвившись вверх, и, развернувшись в воздухе пружиной, достал его, омовца, правой ногой по голове. И омовец, не ожидая такого коварного нападения от мирного прохожего, не защитился как подобает, а упал без сознания и чувств на месте.

А Сараев снял с него бронежилет и пистолет Макарова из кобуры вынул и каску тоже прихватил по инерции мышления для полного комплекта, после чего и покинул место своего преступления, радуясь, что удачно все получилось и сошло ему с рук. И жилет вот теперь с пистолетом у него есть, и омовец вроде в живых остался, потому что он дышал, когда с него жилет Сараев стаскивал. А свидетеля того единственного, который видел конец совершения нападения, можно было не учитывать и в расчет не принимать. Хоть он и подбежал к Сараеву и спросил:

— Вы что это делаете тут?

Но Сараев ему ответил:

— Омовца раздеваю.

А свидетель:

— Ну ты, — говорит, — циркач твою мать, — и пошел дальше своей дорогой.

И, покидая место происшествия и замечая следы в клубке переулков и улиц центральной части города, Сараев думал, что не зря и не впустую купил он когда-то у драмтеатра книгу-самоучитель по восточным видам рукопашных единоборств, потому что теперь чтение и изучение этой полезной книги принесло ему свои конкретные плоды — плоды, как говорится, просвещения. И Сараев жилет сразу на себя надел, еще там, у поверженного тела омовца, чтоб в руках не тащить, а пистолет он, конечно, в карман брюк запрятал, в правый. И он, пистолет, постукивал его по бедру при ходьбе то дулом, то рукояткой. И когда ногу Сараев вперед выдвигал, шагая, рукояткой его пистолет ударял мягко и приятно, а когда нога сзади оставалась, готовясь новый шаг вперед сделать, — дулом.

А дома, уединившись в четырех стенах, Сараев осмотрел и обследовал все свои ценные приобретения и остался собой и ими доволен, потому что в пистолете оказалось, как и следовало того ожидать, семь патронов, то есть полная, неначатая обойма, а жилет тоже ему понравился и пришлось при ближайшем рассмотрении впору и по всем статьям: во-первых, легкостью своей, относительной, конечно, и тем, что не толстый он был, а тонкий, как приблизительно пиджак с подкладкой. Ну и общей добротностью своей и качеством изготовления понравился жилет Сараеву. А насчет каски Сараев так для себя решил — что надевать, конечно, он ее по мелочам не будет, чтоб лишнего, избыточного внимания на себя не обращать, а будет пользоваться ее услугами только лишь при последней крайности, допустим, при непосредственном соприкосновении с против-

ником. И если б у него мотоцикл, например, был или мотороллер, то можно было бы в этой каске на мотоцикле за грибами ездить или на рыбалку, а так, без мотоцикла, применения ей повседневного Сараев не мог придумать и изобрести. И он стал даже сомнения выражать в том смысле, что ее, может, и не стоило с омовца снимать, а надо было ему эту каску оставить. Тем более что она сбоку треснула от удара, нанесенного Сараевым по омовцу.

И теперь, конечно, Сараев, выходя за пределы квартиры и идя то ли на работу, то ли к Марии — с деньгами, обязательно надевал на себя жилет — под свитер. А в карман правый клал «макарова». То есть он выходил из дому экипированным по высшему, можно сказать, разряду. И, увидев его впервые в таком вооруженном виде, Мария сказала:

— Ты поправился.

А Сараев сказал:

— Ага.

И Мария еще спросила у него про Милу — не объявлялась ли она или ее сотоварищи. А Сараев в ответ промолчал как рыба, будто бы и не слышал вопроса, ну и Мария не стала ничего больше говорить или спрашивать, так как молчанием своим дал ей Сараев красноречиво понять, что его нынешняя самостоятельная жизнь — это его личное дело и ее никаким боком не касается и не задевает. И Сараев отдал Марии принесенные деньги, а она сказала ему:

— Спасибо.

И он ушел от Марии, как уходил не в первый уже раз, поспешно и не вспоминал о ней и о ее существовании до следующего своего визита. Почему-то он перестал вспоминать о Марии и жалеть об их утраченной совместной жизни тоже перестал. Не трогало и не волновало его больше общее их прошлое. Он, Сараев, и о Юле теперь вспоминал редко и отвлеченно, без признаков отцовских чувств, а в связи только со своими материальными обязанностями, от которых он не отказывался и не открещивался и делать этого не собирался никогда. Он, наоборот, платил тридцать три процента зарплаты вместо общепринятых двадцати пяти. А с другой стороны, конечно, Мария не обязана была его дочку воспитывать и содержать, а согласилась по своему собственному желанию, и не согласилась даже, а сама сказала, что пусть Юля у нее остается. У Сараева и в мыслях ничего подобного не было — чтоб оставить свою Юлю Марии, и сначала он на Юлю обиду имел в отцовской душе за то, что избрала она не его, а Марию. А потом свыкся он, Сараев, с таким ходом и порядком вещей и примирился. И то, что Юля находилась на постоянном жительство у Марии, стало его полностью устраивать и удовлетворять, потому как там она в безопасности была и на всем готовом, а у него забот и без Юли хватало выше крыши, и голова была ими перегружена и переполнена, и мысли все направлены были в сторону его теперешней, не связанной с Марией и с Юлей и вообще ни с кем не связанной жизни.

Зато связана была сегодняшняя жизнь Сараева с напряженным ожиданием появления Милы и армии ее друзей без определенных занятий и места жительства и с реальной угрозой их нападения на него и на его квартиру. Но после того, как обзавелся Сараев личным оружием и защитным жилетом плюс дверь, стал он чувствовать себя, можно сказать, неуязвимым и защищенным со всех возможных сторон. Потому что на улице, за пределами своей неприступной квартиры, Сараев всегда в бронежилете ходит и с пистолетом в правом кармане брюк. И выхватить из кармана пистолет ничего ему не составляет. А внутри, в стенах и за дверью, тем более никто и ничто не может ему угрожать. То есть всегда и везде он, Сараев, выгодное и господствующее положение занимает и имеет все необходимое для эффективной самообороны и для удержания под контролем своих заранее подготовленных позиций.

Было у него, правда, до последнего буквально времени одно узкое место, как говорят, одна ахиллесова пята, но он его (или, точнее сказать, ее) устранил.

А как получилось все это, ну, то, что обнаружил Сараев у себя эту пяду? Он же о ее наличии не знал и не догадывался. Считал, все у него на высоком уровне организовано: и дверь, и вооружение, и индивидуальные средства защиты. А вышло, что совсем не так это на практике, причем далеко не так. По воле случая все выяснилось, неожиданно.

Захотел, значит, утром, около семи часов, Сараев квартиру свою покинуть с целью на работу идти. Замки отпер, на дверь надавил, а она не поддается его усилию. Мешает ей что-то перемещаться в пространстве, упираясь в нее извне. И Сараев тогда нажал на дверь сильнее и настойчивее, всем весом своего корпуса, и протиснулся из квартиры наружу, на площадку. А там, значит, под дверью его, сосед лежит в собственном соку, отдыхает. То есть он пришел вчера еще, по всему видно, а жена его не пустила из воспитательных соображений. Или, может, он не смог звонком воспользоваться по назначению и потому лег спать на полу — между лифтом и дверью сараевской квартиры. В общем, заночевал он у Сараева под дверью, головой в нее непосредственно упершись. И Сараев, открывая утром свою несгораемую дверь, невольно представил себе в воображении картину, что вот он выходит, а его тут, за дверью, подстерегают они. И он ничего не сможет успеть, и они его схватят и скрутят, используя преимущество внезапности нападения, и впихнут, допустим, в квартиру и следом за ним в им же открытую дверь войдут без препятствия и помех и расправятся с ним в его квартире.

И, представив себе все это как на ладони, понял Сараев, что в двери необходимо было предусмотреть так называемый глазок, а он его опрометчиво не предусмотрел. Потому что в магазинных дверях глазков не было и в помине, а сам он до установки глазка не додумался, что вполне понятно и разумеется.

Хотя есть, конечно, в глазке и свои неоспоримые минусы, обратная, так сказать, сторона медали, и неизвестно, чего все же в нем, в глазке, больше — минусов или, наоборот, плюсов. Ведь для установки глазка в дверь необходимо сквозное отверстие в ней иметь или, проще говоря, дырку несерьезного диаметра. А сквозь дырку при надобности можно все. И выстрелить можно в упор, и газ можно слезоточивый или отравляющий в помещение напустить. «Черемуху», допустим, а то и иприт-люизит какой-нибудь. То есть взять глазок пробить, ну хоть отверткой, — и пожалуйста, дырка в вашем распоряжении. И Сараев пришел к мнению, что глазок в дверь надо, конечно, вставить, но это должен быть глазок специальный.

Ну и изобрел он в уме такой глазок и опять чертеж составил во всех деталях, и опять ему на работе, в механическом цехе, по этому чертежу все нужные части изготовили за очень умеренную плату. Выточили, значит, бобышку из стали и внутрь глазок вставили, Сараевым в магазине «Товары для дома» купленный и в цех принесенный. Самый простой глазок то есть вставили. И с одной стороны, со стороны приложения глаза, бобышка эта закрывалась крышкой на пружине и с защелкой. И крышка тоже, конечно, стальной была выполнена, толщиной пять миллиметров. А с другой стороны, с противоположной, сварщик Лагин бобышку к двери приварил сплошным швом, предварительно просверлив ее, дверь, насквозь. То есть и лист стальной, и облицовку из деревянных планок. И надо если тебе в глазок посмотреть — поднимаешь сперва защелку, потом крышку на себя оттягиваешь и потом уже смотришь в глазок сколько надо. А посмотрев, защелку отпускаешь, крышка, понятное дело, захлопывается, пружинной притягиваемая, и можно уверенно и безбоязненно выходить. Это если все тихо и мирно за дверью. А если там есть кто-нибудь нежелательный или внушающий подозрения, ты просто-напросто не выходишь, а ждешь в квартире со всеми удобствами, пока он уйдет и путь будет свободен.

И Сараев был счастлив и рад, что удачно и своевременно заметил он и осознал всю пагубность отсутствия в двери смотрового глазка и успел предпринять неотложные шаги в нужном направлении. Он на радостях, что не сплеховал и не попал впросак, даже водки выпил в кафе нового автовокзала, расслабился. Он обычно-то, как правило, автовокзал этот новый

стороной обходил. Или справа обходил, по проспекту Свободы Слова — бывшему имени Правды, или слева — по улице Интернационалистической. А то и вовсе мимо него не шел Сараев, а шел верхней дорогой, по бульвару Героев Сталинграда, давая тем самым ощутимый крюк. Потому что там, наверху, у него еще четыре варианта пути домой выходило, и каждый раз Сараев ходил другим путем, чередуя их между собой по порядку.

А тут, значит, вздумалось ему через автовокзал пройти, по его зданию, и в кафе вокзальном или в ресторане водки выпить. «А заодно, — подумал Сараев, — я хоть своими глазами погляжу, что они там возвели за пятнадцать последних лет».

Этот вокзал пятнадцать лет строили подряд и в эксплуатацию перед самым новым годом сдали, под праздник, значит. И торжество по этому случаю и поводу устроили с показом по городскому телевидению и собрание с речами провели, и сам президент строителей поздравил по телеграфу с трудовым подвигом, в том плане, что кругом развал и повсеместный спад экономики и производства товаров, а они, строители, преподнесли своему родному городу в дар чудо-автовокзал, крупнейший, можно сказать, во всей Европе. И Сараев захотел, значит, выпить водки в кафе или, может, в ресторане автовокзальном.

И он вошел через центральный вход в здание вокзала и быстро нашел глазами вывеску «Кафе» и пошел в него, и идет он, а сам думает: «Чего ж это, интересно, людей тут, в вокзале, не видно? Как в планетарии». И Сараев вошел во вращающуюся дверь под вывеской и сел в полумраке за круглый стол. А за другими столами никого он не увидел, то есть пусто было в кафе и безлюдно. Официанты одни там были. В дальнем углу они в шахматы играли и в «козла» и в какую-то азартную карточную игру. И подошел к Сараеву официант через пол примерно часа, наверно, проигравший. И он сказал:

— У нас ничего нет. Водка одна есть. Русская.

— А закусить? — Сараев у него спрашивает.

А официант говорит:

— Так кухня не работает. Кормить некого.

— Почему некого? — Сараев говорит.

А официант ему:

— Потому что! — И: — Автобусы ж, — говорит, — не ходят.

А Сараев говорит:

— А вокзал, — говорит, — тогда этот зачем?

А официант говорит:

— А я знаю? — И: — Что я, — говорит, — тебе, доктор?

Ну и выпил Сараев принесенной официантом водки, сначала сто граммов без закуски, а после еще сто. И, конечно, он опьянел и покинул кафе нетрезвыми шагами и стал задавать вопросы встречному милиционеру в звании рядового. Мол, почему автобусы не ходят и почему людей вокруг, в вокзале, никого нет? А милиционер, он мог бы Сараева привлечь за нетрезвый вид в общественном месте, но не сделал этого, а указал ему на информационное электронное табло, на котором горели тусклые буквы: «Все рейсы отменены ввиду непоставок горюче-смазочных материалов».

— А вокзал зачем сдавали? — спросил нетрезвый Сараев.

— А это не моего ума дело, — ответил ему милиционер.

А ответив, он пошел, исполняя обязанности, в одну сторону зала ожидания, а Сараев пошел в другую — к выходу. И они разошлись без эксцессов, как в море корабли. И идущему Сараеву казалось, что не только здесь, в здании автовокзала, нет ни одной человеческой души, но и вообще нигде ее нет, а есть только он, Сараев, и удаляющийся милиционер в звании рядового, с резиновой дубинкой в руке. Но это от выпитой водки, наверно, Сараеву так казалось, а на деле тут, внутри здания, конечно, много разных людей присутствовало круглосуточно на своих рабочих местах. И те же официанты в кафе и в ресторане второго этажа, и служащие гостиницы во главе с директором и главным администратором, и работники почты и телефона. А кроме них, были в вокзале предусмотрены проектанта-

ми парикмахерская и медпункт, и видеозал, и зал игровых автоматов, а это же все обслуживают живые люди. Да и много чего еще имелось в новом автовокзале, построенном по последнему слову, включая, к примеру, камеры хранения багажа и места общественного использования.

И, удаляясь от многоэтажного автовокзала все дальше, думал Сараев, что если все-таки вернется Мила и как-нибудь они выелят его из квартиры, то можно будет какое-то первое время тут, в автовокзале, пожить. Устроившись в уголке каком-нибудь. А можно и в гостинице. Но лучше, наверно, так, в общем зале ожидания за бесплатно, тем более что милиция здесь невредная.

А побывав в кафе и в автовокзале, Сараев пошел домой по той дороге, которая мимо магазина пролегала. Где дверями торгуют. И он зашел в магазин и сказал продавцу, что:

— Надо глазок в дверь вставлять.

А продавец сказал:

— Вы дверь желаете приобрести с глазком?

А Сараев говорит:

— Нет, не желаю. А я, — говорит, — с вами опытом делюсь. Передовым.

А продавец, услышав такой безынтересный ответ Сараева, отвернул лицо и отнесся к его словам без внимания, то есть он пропустил их мимо ушей, и Сараев вынужден был уйти из магазина восвояси. И:

— Мое дело предупредить, — говорил он шепотом на ходу, — а там как хотите и как знаете.

Ему же было сугубо все равно и безразлично, начнут они вставлять глазки в свои дурацкие двери или не начнут. Ему, Сараеву, и не только это все равно было, но и другое многое и почти все на свете. У него семейная жизнь вторично разрушилась до основания и распалась, и то его мало сейчас это колыхало и затрагивало.

Нет, поначалу он, конечно, глубоко по этому поводу переживал и мучился и места себе не находил под солнцем. И Марию он пробовал образумить и увещевал ее и уговаривал спокойно подумать, чтоб не принимать такие нештучные решения безответственно и сплеча. И он говорил, что это у нее временное явление и преходящее, и:

— Это, — говорил, — у женщин бывает и случается нередко — как психическое следствие тяжелой беременности и последующего аборта.

А Мария ему говорила:

— Нет у меня никаких следствий.

И вынудила она постепенно Сараева своим поведением и отношением, унижающим его человеческое и мужское достоинство, от нее уйти куда глаза глядят. И он, уходя, считал, что жизнь его нормальная окончилась, можно сказать, бесславно и ничем, потому что никому он оказался в один прекрасный день не нужным, даже своей родной дочке Юле, которая не захотела вот с ним уходить ни за что, а захотела жить у Марии, принимая ее за свою мать, а ее сына Женю — за брата.

И Сараев крайне тяжело и близко к сердцу воспринял свой вынужденный уход и долгие дни и ночи не мог прийти в себя и обрести нервное равновесие, так как мысль о происшедшем у него с Марией разрыве доставляла ему внутренние страдания, угнетая и подавляя.

А впоследствии, спустя более продолжительное время, Сараев все же смог себя пересилить и взять в руки, и он сказал себе, что раз так случилось, а не иначе, значит, так и должно было случиться, на роду, как говорится, это написано. А он, Сараев, давно имел убеждение, что просто так ничего не случается и от судьбы уйти невозможно никому. Не верил он, следовательно, в определяющую роль случая в жизни личности. Потому что, если все в ней, в жизни, может случиться, а может и не случиться, тогда это ж, допустим, и Пушкин тот же самый, к примеру, мог Пушкиным стать, а мог и не стать, не говоря уже про Гитлера или дядю Васю Рукомойникова с шестого этажа. То есть несурзные выходили вещи из предположения слепой случайности жизни, до того несурзные, что Сараев представить себе их не мог и принять не умел.

И такое однобокое отношение к понятию неизбежности человеческой судьбы помогло ему пережить разрыв с Марией и уход от нее, и он сосредоточил все свои душевные и физические силы на благоустройстве квартиры и на двери и на укреплении своей дальнейшей безопасности и обороноспособности, уйдя с головой в эти новые дела и заботы, и ни на что другое у него не хватало ни материальных средств, ни свободного времени.

И он психовал теперь и раздражался, если ему приходилось что-то незапланированное заранее делать. То есть он знал все свои жизненные обязанности наперечет: ну там на работу ходить во все будние дни, к Марии — не менее одного раза в месяц, за квартиру, конечно, платить, тем более что долга после Милы осталась крупная сумма и ее надо было погашать. И еду покупать себе на каждый день и про запас — на случай осадного положения — входило в обязанности Сараева. И он совокупность этих своих функций принимал как должное, без чего обойтись в повседневной жизни не представлялось возможным. Но если помимо и сверх этого что-то возникало необходимое, Сараев выходил из берегов, так как весь свой досуг он посвящал организации самозащиты и продумыванию возможных действий в любых критических ситуациях. И постоянно думал Сараев приблизительно так: «Дверь, — думал, — у меня есть. Это, значит, первое. Теперь — жилет. Тоже есть. Это второе. Ну и «макаров», конечно, — это третье».

А потом, позже, он к устойчивым своим мыслям стал добавлять: «Глазок в двери непробиваемый установлен, слава Богу, в самое время».

И эти навязчивые мысли оборачивались в голове Сараева медленной каруселью и никогда его сознание не покидали. Он мог, конечно, переключиться на какие-нибудь иные мысли, но после опять продолжал думать о том, что у него есть стальная дверь и глазок, и бронежилет, и «макаров».

А о «макарове» он часто думал в отдельности и в стихотворной форме народного творчества.

«Мы с «макаровым» вдвоем вам частушки пропоем», — думал Сараев.

А заканчивал он эту свою мысль почти вслух: «Эх, глядь, твою мать, воевать так воевать».

И он бормотал и пережевывал эту придуманную как-то частушку на разные мотивы и мелодии почти непрерывно. Он и на суде, разводясь с Марией, напевал ее, частушку свою самодельную, себе под нос, невзирая на официальную обстановку. И судья у него все время спрашивала:

— Ответчик, вы имеете что-либо сообщить суду?

А Сараев вставал с места и отвечал ей:

— Нет. Не имею.

И опять пел свою песенку о верном «макарове», используя музыку старинной песни «Из-за острова на стрежень».

Так что весь процесс суда и развод с Марией мало чем подействовали на внутренний замкнутый мир Сараева, потому что он, будучи поглощен собственными мыслями, ничего этого, можно считать, не заметил.

Мария сказала ему, когда он принес ей очередные деньги, что заседание суда по их делу назначено и состоится во вторник, в двенадцать часов дня,

Сараев пришел на этот суд. В жилете пришел под свитером и с «макаровым» в кармане. Как всегда он ходил в последние дни и недели, так и на суд пришел. В том же виде.

И суд развел его и Марию, объявив их брак недействительным и расторгнутым с сегодняшнего числа. И когда судебное заседание было закрыто и суд удалился по своим делам, Сараев прекратил напевать песню о «макарове» и сказал Марии:

— Поздравляю с победой, — и поцеловал ей, на прощание руку.

\* \* \*

И Сараев быстро покинул зал заседаний суда и ушел домой.

Или, может, еще куда-либо он ушел — в магазин, допустим, за хлебом, ну, или за квартиру платить.

\* \* \*

А положительное решение суда в ее пользу ничего, конечно, не изменило в сущности жизни Марии. Если не считать того, что стала она дважды разведенной и опять в каком-то смысле слова свободной и независимой женщиной. А больше никакой роли состоявшийся суд в судьбе и в распорядке Мариной жизни не сыграл. И она вернулась по окончании суда домой и стала жить и растить детей, кормя их и воспитывая день ото дня. И такое нынешнее состояние свободы нравилось Марии во всех отношениях, и ничего другого ей нужно не было, и мужчины, которые под разными вымышленными предлогами зачастили к ней на огонек, прослышав о ее разведенном статусе, не могли добиться от Марии желаемого и не получали ничего, за исключением, может быть, чашки чая или в лучшем случае кофе. А на их откровенные ухаживания и намеки она не отзывалась и бровью не вела, отдыхая морально от истории с Сараевым, и с абортom, и с судом, и со всем прочим.

И она жила ровно и взвешенно, в устойчивом, как говорится, режиме. Днем, значит, две работы вместе — госпредприятие то есть и малое предприятие, при нем созданное по инициативе генерального директора, потому что он, директор, свой кровный интерес в этом МП имел. А Мария, она на госпредприятии нормировщиком работала в основном крупнейшем цехе, а в малом предприятии — бухгалтером, так как образование и предыдущий богатый опыт работы ей такое совмещение позволяли. И времени дополнительного на вторую работу у нее мало уходило — только если на дом приходилось когда-никогда отчеты брать делать, а интенсивность труда, конечно, была у нее высокой, и она за рабочий день уставала как собака. А после работы, само собой, магазины продуктовые были на ее плечах, так как дети хлеб покупали, а кроме него — редко что, ну, может, молоко и кефир. И Мария сама продукты все покупала, исключая колбасу, которую ей приносили с мясокомбината.

А из магазинов, с покупками, Мария домой шла. И там всегда что-то еще ее ждало и наваливалось — какая-нибудь срочная суета. То уроки детские, без нее неразрешимые, то приготовление еды. А то пришить что-то возникала необходимость или постирать и убрать. Ну то есть установился у нее некоторый ритм и уклад жизни. Правда, в связи с тем что телефон она имела единственная на этаже, очень ее дергали и допекали. Потому что общий коридор у них длинный — шестнадцать квартир и звонить ходили к ней соседи до позднего времени. Она уже и телефон в прихожую, к двери, выставила, чтоб в квартиру все звонившие не лезли и грязь не натаскивали. А многие еще и своим знакомым ее номер давали, и те звонили и просили то одного, то другого позвать. И бывало, когда совсем ее доставали до печенок, она выключала телефон из розетки и в дверь никого не впускала. Особенно если детей дома не было, она такое практиковала. И тогда, в это время, могла Мария отдохнуть и немного полежать на диване. Но потом приходили дети с тренировки своей или с гулянья, телефон включался, и все начиналось и продолжалось, потому что не хотела Мария, чтоб видели они эти ее ухищрения и росли неотзывчивыми и черствыми людьми.

Да, и что интересно и примечательно: когда она с Сараевым жила, к ним не ходили все подряд. Ну, Дуся ходила, еще двое, может, соседей. А чтоб ее номер давать — про это и речи не заводил никто, кроме, конечно, Дуси. Дуся и при Сараеве ее телефоном пользовалась широко и свободно. А больше никто не пользовался — разве только в критических каких-нибудь случаях: «скорую» вызвать или милицию. А как не стало Сараева, так квартира Марии в проходной двор превратилась на глазах, и к ней заходили ее знакомые без всякого дела и смысла, чтоб посидеть в тепле и выпить чего-нибудь и чтоб не идти подольше домой — к женам своим и семьям.

Зато Сараев теперь у нее не рассиживался, а придет, деньги положит на стол в кухне и говорит:

— Ну, я пошел.

И пропадает на месяц, как сквозь землю проваливается.

И так, значит, жила Мария после суда какое-то время года без событий, плавно, а потом что-то такое в ее темпе и порядке жизни нарушилось или сдвинулось и посыпались на нее всякие неприятности и трагические происшествия как из рога изобилия. И сначала это были мелкие неприятности, похожие друг на друга, словно братья и сестры, и можно было их пережить и забыть, из головы выбросив, а потом и крупные пошли одно за одним, по нарастающей. И первое, значит, что случилось — это перчатки кожаные у нее на рынке вытащили из кармана. Хорошие перчатки, венгерские. Она их уже третий год носила, а они как новые были, даже не потертые. А тут на рынок Мария пошла за картошкой, луком и другими овощами и, чтоб удобнее было расплачиваться с торговцами и пересыпать купленные овощи в сумку, перчатки с рук сняла и в карман положила, и, наверно, неглубоко, так, что торчали они из кармана. И их у нее вытащили в толпе.

Но перчатки — это пустяк, конечно, и мелочь, потому что у Марии еще одни были перчатки, вязаные, и она значения большого этому эпизоду не придавала. Но после перчаток, буквально через день, Женя из школы в одном пиджаке вернулся. А куртку у него в школе украли с вешалки. И кто украл ее, осталось покрытым мраком. А без куртки, хоть и весна уже стояла, ходить еще никак нельзя было из-за пониженной температуры воздуха. И Мария извлекла на свет Божий старую Женину куртку, из которой вырос он в прошлом году, и почистила ее мокрой щеткой, и Женя эту куртку на себя натянул. А она, конечно, ему коротка и узка, и руки у него из рукавов торчат, так что не согреться особо. Ну и Женя в этой кургузой куртке в школу пошел за неимением другой.

А Мария взяла свой набор бижутерии — Сараев ей когда-то, в былые дни, преподнес этот набор, а она его так чего-то и не надевала — и отнесла его, набор то есть, в комиссионный магазин «Лотос». И у нее приняли этот набор по цене девять тысяч, за которые Мария надеялась Жене новую куртку купить. Но деньги в комиссионном магазине выдают, только продав товар, не раньше, и Мария ездила в этот комиссионный «Лотос» каждый Божий день, а набор все лежал, сверкая, в стеклянной витрине. Не покупали его. И Женя три уже дня в старой своей и страшной куртке в школу ходил, и над ним там смеялись дети. А одолжить денег у Марии не получилось, хоть и пробовала она, потому что дело это перед зарплатой было, за неделю примерно, и ни у кого лишних денег не находилось. Или, может, просто давать не хотели, учитывая гиперинфляцию.

А в пятницу приехала Мария в магазин, а он закрыт без объявления причин. Сандень они там себе устроили или переучет какой-нибудь липовый. Короче, не работали, и все. И Мария развернулась, поцеловав замок, и пошла в обратном направлении в расстроенных чувствах. А паспорт она еще на подходе к магазину приготовила, из сумочки вынув и в карман пальто положив. Так как в паспорте у нее квитанция лежала. И тысяч пять денег там же у нее лежали, все то есть ее деньги, что оставались на жизнь до полочки. Ну и она, идя к остановке автобуса сорок шестого маршрута, увидела сырки в шоколаде, какие дети — и Юля, и Женя — любили, и она купила им по сырку, достав деньги из паспорта и сдачу туда же спрятав. Подумала, а, черт с ним со всем, хоть их порадую. И купила.

А потом, когда купила она сырки и по проспекту Ильича шла не спеша, потому что хотела пройтись по свежему воздуху, вообще с ней нехорошее произошло, послужив началом дальнейшему ходу событий.

Короче говоря, почувствовала вдруг Мария, что у нее по ногам течет. И она испугалась, конечно, так как месячным совсем не время еще было и, значит, это могло открыться какое-нибудь кровотечение. А у нее, по закону подлости, ни кусочка ваты с собой. Да и сортиром в радиусе километр не пахнет.

Ну и, в общем, побежала Мария к автобусу как есть, и он, слава Богу, подошел тут же, а не через полчаса. И Мария влезла в него, приложив все силы и идя напролом, и поехала домой. А в автобусе, конечно, давка неимоверная. Чуть не расплющили ее и по стене не размазали. Но она

ничего этого не ощущала — ни толчков, ни давления на грудную клетку, а стояла как бесчувственная чурка и только об одном мечтала — быстрее бы доехать.

А домой вбежала она — и прямо, конечно, в ванную, раздеваться. Разделась, а у нее уже и в сапогах, и на платье, и везде. И Мария сбросила с себя всю испачканную нижнюю одежду и платье, вымылась как следует и заодно разобралась, что это у нее больше все ж таки на месячные похоже вне графика, чем на кровотечение по болезни, и она приняла нужные меры и бросила в миску окровавленные свои вещи и отстирала их хозяйственным мылом. А развесив выстиранное на полотенцесушилке, Мария вышла из ванной комнаты в халате и сказала детям:

— Привет. Как вы тут?

А Женя спросил:

— Ты, ма, чего? Чуть не это, да?

А Мария сказала:

— Любопытной Варваре кое-что оторвали.

И она вспомнила о шоколадных сырках и вынула их из кармана, сказав детям:

— После ужина съедите, на закуску.

И про паспорт тоже она вспомнила и решила, что нужно его из пальто вынуть, так как там ему не место. Но в пальто паспорт она не нашла, сколько ни искала, и в сумке не нашла. Пропал паспорт, как говорится, с концами. И тут Мария расплакалась. Сидит, пальто в руках мнет и плачет. Юля и Женя спрашивают:

— Мама, ты зачем плачешь?

А она плачет молча, и все. А потом Мария сказала детям, что паспорт у нее вытащили из кармана. Так же, как перчатки.

— В автобусе, — говорит, — наверно. Больше негде.

А дети ей говорят:

— Ты не плачь.

А она:

— Так ведь там деньги все наши были, в нем. И квитанция на девять тысяч из комиссионного магазина «Лотос».

И еще была одна веская причина, почему Марии так жалко было украденного паспорта. Он, паспорт, у нее в обложке был, а обложку эту Мария с отцовского паспорта сняла, когда умер ее отец. Ну, как бы на долгую память. Его, паспорт, из-за этой обложки, видно, и вытащили, потому что на ощупь она от бумажника ничем не отличалась и на вид похожа была. Вот и достали, наверно, в толчее автобусной и в давке у нее из кармана паспорт, рассчитывая, что достают кошелек, и не ошиблись в расчетах.

Да Марии и казалось, что толкают ее и жмут как-то искусственно, но не могла ни на что она правильно реагировать и думать о чем-то еще, когда каждую секунду чувствовала, как мокро становится все ниже и ниже.

А назавтра поехала Мария в магазин к его открытию. Приехала, смотрит, а бижутерии ее уже нету в витрине. Продана. Вчера, значит, не работали они, позавчера лежала, а сегодня с утра — нету. И Мария спросила у продавца, где ее бижутерия, а он сказал:

— Продана. — И: — Можете, — сказал, — получить ваши деньги.

И Мария рассказала продавцу о постигшем ее несчастье — что украли у нее и паспорт и квитанцию, и попросила не выдавать деньги, если с этой ее квитанцией придут к ним в магазин. И говорит:

— Я могу вам заявление написать или я не знаю что. — И: — Может, — говорит, — вы как-нибудь поймаете того, кто придет, у вас же вон какая охрана. А с меня, — говорит, — за это причитается коньяк.

А продавец говорит, что насчет поймать и другого я не обещаю, а деньги ваши, говорит, я смогу вам выдать.

— Потому что, — говорит, — я вас помню. А если вы данные своего паспорта украденного знаете, то вообще, — говорит, — хорошо.

Ну а паспорт свой Мария на память знала, так как, работая бухгалтером, ей приходилось деньги получать в банке и заполнять бумаги, куда

требовалось все данные паспорта вносить. Да и алименты она получала от отца Жениного тоже по заполнении почтового корешка паспортными данными.

И Мария написала заявление об утрате квитанции, и деньги ей выплатили, и на жизнь у нее теперь было. А вот куртку Жене купить не выходило, хоть вывернись. И она пришла к выводу, что надо все же купить куртку, а на питание ухитриться одолжить денег. И она сейчас же зашла в десяток магазинов и нашла Жене подходящую куртку за восемь всего тысяч. То есть тысяча у Марии еще и осталась на хлеб и на самое необходимое. И она подумала, что деньги я все-таки займу. У нескольких человек понемногу, потому что так всегда легче брать в долг, чем у одного кого-нибудь крупную сумму.

А дома Мария показала Жене его новую куртку и сказала:

— Меряй, чудище.

А он померил и говорит:

— Великовата.

А Мария ему:

— Расти, — говорит, — быстрее. — И: — Не отрезать же, — говорит, — из-за твоего мелкого роста совершенно новую куртку.

И Мария завозилась по дому, и к ней заходила Дуся одалживать пять картошек, и Мария спросила, нет ли у Дуси тысячи на два или три дня, а Дуся сказала: «Откуда?» — и ушла с картошкой не задерживаясь — варить ее или жарить.

А Мария села ломать длинную вермишель, чтобы она в кастрюлю влезала, и думала, ломая ее, о том, что в понедельник надо будет отпрашиваться с обеих работ и ехать в милицию заявлять о краже паспорта, и собирать кучу справок с места работы и с места жительства, и фотографироваться. И еще думала, что штраф какой-нибудь платить ее заставят. Ведь же доказать им, что паспорт у меня украли, а не сама я его потеряла, мне никак не удастся. И она думала, что, может, сразу надо было пойти и заявить, как только выяснила она пропажу, но тогда вечер уже настал и поздно было обратно в центр ехать, а тут, ко всему хорошему, месячные эти ее несвоевременные подоспели досрочно. А в субботу она в милицию не поехала, так как в магазин поехала коммиссионный, а оттуда, деньги неожиданно свои получив, куртку искать пошла Жене, и нашла ее, и купила, и повезла, конечно, домой, потому что не переться же в милицию с курткой под мышкой.

А впоследствии выяснилось, что правильно она сделала, не поехав в милицию, так как там по вопросам утери документов принимали строго по понедельникам и четвергам с четырнадцати часов и до шестнадцати.

Ну а дальше вот что произошло — как венец всему. Пришел к Марии сосед из квартиры напротив. С обычной целью — телефоном попользоваться. В Сумы ему надо было позвонить, родственникам. И Марию подмывало сказать, что это уже свинство чистопородное, поскольку до переговорного пункта идти пять минут нога за ногу, но она, как всегда, ничего этого не сказала, а сказала:

— Звони.

А он сказал, что поговорит недолго и коротко, буквально две минуты.

— Деньги, — сказал, — я заплачу по счету. Ты скажешь сколько, и я заплачу.

А Мария говорит:

— А где я узнаю сколько? Мне ж общая сумма к оплате выставляется.

А сосед говорит:

— Ну, я не знаю где. — И: — Сколько скажешь, — говорит, — столько я и заплачу.

И он позвонил в Сумы и говорил, понятное дело, не две минуты и не три. А поговорив, он ушел, а дверь за ним Юлия закрыть встала.

И она толкнула дверь, чтоб прихлопнуть ее поплотнее, потому как задвижка у них туго закрывалась, а в это время Вениамин в общественный коридор выйти вздумал. Вслед за вышедшим соседом. Он часто туда, в

коридор, выходил. Погулять на его просторе. А когда надоедало ему гулять, он лапой дверь скреб, и его впускали обратно, в тесноту.

И вот сосед вышел, и Вениамин за ним устремился. А Юля в этот же самый момент времени дверь закрывала. Ну и Вениамин как раз в щели оказался, и дверь ударила его, припечатав к углу косяка. Не видела она, Юля, как юркнул Вениамин в дверь.

И он закричал душераздирающе и метнулся как сумасшедший в угол, под стол, и забился туда, весь дрожа и продолжая кричать от боли и испуга.

И Мария достала его осторожно, а он все вскрикивал и не давал прикоснуться ни к спине, ни к животу, ни к задним ногам. А потом Вениамин кричать перестал и только постанывал и смотрел не отрываясь Марии в глаза. И Мария аккуратно, боясь причинить ему лишнюю боль, перенесла Вениамина на свой диван и положила его в головах у стенки. И он затих и лежал на диване без движения и ничего не ел и не пил.

И так пролежал он всю ночь, а Мария рядом с ним то лежала, то сидела, следя за его самочувствием. И все, считай, воскресенье пролежал Вениамин на одном месте, и стало Марии ясно, что он может умереть, так как он не только не ел и не пил, но и не оправлялся. И живот стал у него понемногу раздуваться, увеличиваясь в размерах. А Мария видела это, а что делать и куда бежать, не знала, потому что было воскресенье. Она, правда, позвонила в ветлечебницу, надеясь на чудо — что окажется там дежурный какой-нибудь, но телефон лечебницы ей не ответил, и она совсем запаниковала, и у нее опустились руки.

А тут Сараев пришел, денег принес, очень, конечно, кстати. И он порог переступил и говорит:

— Я на минутку и проходить не буду, потому что уже темнеть начинает. — И: — Вот, — говорит, — деньги — нам зарплату раньше выдали, но с завтрашнего дня, — говорит, — меня в отпуск отправляют без содержания ввиду отсутствия сырья и неплатежей. — И говорит: — По этой причине я тебе в следующем месяце ничего не смогу принести, но потом, — говорит, — я все компенсирую, в рассрочку.

И он говорил это, а Мария стояла и слушала его вполслуха, рассеянно и без тени внимания и ждала от него, чтоб он ушел и дал ей вернуться в комнату, к Вениамину. И Сараев заметил наконец ее это отвлеченное состояние и спросил:

— Что стряслось?

А она сделала шаг назад, в комнату, и кивнула на лежащего Вениамина. А Сараев, увидев его, спросил:

— Заболел?

А Мария говорит:

— Нет, Юля дверью его ударила и, наверно, что-нибудь ему сломала и повредила внутренние органы.

И, узнав такую новость, Сараев, конечно, разделся и не ушел, потому что он тоже, как и все здесь присутствующие, Вениамина любил. И он посмотрел на него с более близкого расстояния и почесал его за ухом. И:

— У него, — сказал, — живот раздут.

А Мария говорит:

— Он со вчера не ходил.

А Сараев говорит:

— Надо его в больницу, в ветеринарную.

А Мария говорит:

— Воскресенье.

И Сараев остался у Марии, и они вместе и по очереди за Вениамином приглядывали, а он лежал не шевелясь, то ли еще в сознании, то ли уже нет.

А в понедельник, в семь часов, поехали они в больницу. Взяли коробку от сапог Марииных, постелили туда плед и поставили коробку в сумку большую, с которой Мария обычно к матери ездила в гости, и повезли они в этой сумке Вениамина еле дышащего и ничего, похоже, не чувствующего. И они приехали в больницу к началу рабочего дня и в очереди были первыми.

А врач взглянул на Вениамина и сказал:

— Да. — И сказал: — Машина или падение с высокого этажа?

А Мария сказала:

— Нет, — и коротко ему изложила, как было, и что, и когда.

И он, врач, позвал еще одного врача, женщину, пришедшую только что и передевавшуюся в соседней комнате. А осмотрев Вениамина вдвоем и посоветовавшись друг с другом и посоветовавшись, они сделали ему укол прозерина. И у Вениамина в результате этого укола начались судороги, а из глаз полились ручьями и потоками слезы. И он стал задыхаться. А врач сказал:

— На воздух его.

И Мария схватила Вениамина и вынесла на крыльцо, где ему стало лучше. А когда она снова его внесла, врач, женщина, сказала:

— Кладите его на стол. И держите.

И Мария с Сараевым стали держать Вениамина, как показала женщина-врач, а она проколола ему большим шприцем живот и выкачала из него три этих шприца мочи. И сделала еще какой-то сердечный укол и укол антибиотика и вколола мочегонное.

А что дальше делать, она объяснила Марии и написала, как и сколько раз в день нужно Вениамина колоть. И Сараев тоже все эти рекомендации слушал и запоминал. А в конце врач дала Марии с собой бутылочку канамицина и ампулу — чем его разводить. Сказала:

— На сегодня вам хватит и на завтра один раз уколоть, а за это время достанете. — И она посмотрела на Марию с сочувствием, так как на ней совсем никакого лица не было, и сказала: — А не достанете — позвоните. Я помогу.

И из лечебницы Сараев с Вениамином поехал домой к Марии, а Мария — по аптекам рыскать. Лекарства доставать. Канамицин — антибиотик широкого спектра действия и лазикс — мочегонное. У нее доставать что-либо всегда лучше, чем у Сараева, получалось, Сараев этого совсем не умел. И Мария обмотала Бог знает сколько аптек — и ветеринарную, и человеческих несколько — и наконец выпросила она в одной из них требуемый канамицин, переплатив за него втрое, а в другой лазикс она нашла — свободно. И шприцев одноразовых купила Мария в коммерческом киоске пять штук, предполагая их кипятить и использовать по три-четыре раза, как советовала ей женщина-врач.

А купив все это, Мария захала к себе на работу и взяла на обоих своих предприятиях неделю в счет очередного отпуска. Без оформления, а просто договорившись с начальством, что работать она в течение недели не будет, а в отпуск летом уйдет не на четыре недели, как положено, а на три. И с этим вернулась Мария домой, про паспорт и про милицию совершенно забыв, и приступили они к лечению Вениамина и к его спасению. А лечение, значит, состояло в следующем: во-первых, каждые шесть часов Сараев делал ему укол канамицина. Он хорошо умел уколы делать. Потому что бабушка Сараева долго умирала от рака, и он, еще школьником, делал ей обезболивающие уколы и наркотики. Мать его сама боялась уколы делать, а медсестре платить приходившей было у них нечем. И он делал бабушке своей умирающей уколы и научился этому искусству раз и навсегда. Правда, животному труднее укол сделать — из-за шерсти. И шкурка у них, у животных, более плотная, чем кожа у человека, а жира и мышц гораздо меньше. И колоть поэтому нужно осторожно и точно, втыкая иголку под определенным углом на четверть ее длины, не глубже.

И Сараев кипятил одноразовый шприц в кастрюльке сорок минут и колол им Вениамина. А Мария держала его, чтобы он не дернулся и не помешал. Он же не понимал, что во время укола смирно надо лежать и неподвижно. Но Вениамин хорошо уколы переносил и терпел. Да. А кроме канамицина, раз в день Сараев ему еще и лазикс колол, чтоб, значит, моча у Вениамина не скапливалась, а выходила наружу. А все остальное время между уколами Вениамин лежал на пеленках, Жениных еще и через столько

лет пригодились. И он ходил под себя, на эти пеленки, а Мария и Сараев их стирали и меняли на чистые.

И значит, Сараев стал жить у Марии и не ездил к себе домой, потому что в девять часов, и в пятнадцать, и в двадцать один, и в три нужно было делать Вениамину очередной укол. И Мария, конечно, увидела на Сараеве жилет, когда снял он при ней свитер впервые, и сказала:

— Господи, что это на тебе?

А Сараев сказал:

— Ничего. Не обращай внимания.

А насчет сохранности своей квартиры Сараев не беспокоился, так как там без него ничего не могло произойти плохого благодаря бронированной входной двери.

И Вениамин послушно лечился и позволял себя колоть, понимая, очевидно, что мучают его по необходимости. Единственно только смотрел он прямо в глаза Марии и Сараеву, а они этого не выдерживали и отводили, пряча глаза, взгляды.

Но на четвертый день лечения уколами Вениамин попросил есть и начал принимать пищу, а пить он уже и раньше пил. И поел он каши овсяной, геркулеса. Мария ему сварила негустой каши, добавив в нее вареного мяса, на мясорубке прокрученного, и он поел этой мясной каши, слизывая ее у Марии с руки. И воды попил теплой кипяченой. Но под себя ходить Вениамин продолжал, ничего не чувствуя. Он и хвоста своего не чувствовал, и хвост висел у него мертвый и парализованный. Правда, врач, Света ее звали, сказала по телефону, что раз выжил он и до сих пор не умер, все станет на места и образуется. Только требуется для этого время и терпение.

— Потому что, — сказала, — у него крестцовый отдел поврежден в результате травмы, и все это характерные последствия данного повреждения.

Ну и сказала она, что Вениамину нужен полный покой и нельзя подвергать его никаким стрессовым нагрузкам. А у них и так была тишина в квартире кладбищенская, и даже дети в дни тяжелого состояния Вениамина не шумели, а вели себя тише воды. И в понедельник, когда прямая опасность для жизни миновала Вениамина окончательно, Мария пошла на работу, дети — в школу, и с Вениамином остался Сараев сам, так как ему на работу идти не надо было целых еще три недели. И все эти три недели он жил у Марии, и утром, когда они, Мария с детьми, уходили, Сараев готовил какую-нибудь еду на всех и убирал за Вениамином, и мыл его, и стирал его перепачканные пеленки, делая все это без никаких отрицательных ощущений и чисто механически. Потом около двух часов дня возвращались из школы дети, и Сараев их кормил, и они либо уходили на тренировку, либо садились за свои уроки. Потом приходила Мария, и Вениамин выходил ее встречать к двери, так как он через две недели стал уже самостоятельно передвигаться по комнате и ходил, чуть вывернув левую ногу и волоча хвост по полу. И Мария не раздеваясь брала его за передние лапы, поднимала к лицу и говорила:

— Моя ты курица, — и долго с ним целовалась.

А Сараев стоял с ними рядом и ощущивал входную дверь, как будто в первый раз ее видел, и говорил Марии:

— Почему у тебя дверь такая слабая? Надо железную установить.

А Мария, продолжая лобзаться с Вениамином, говорила:

— Зачем?

А Сараев говорил:

— Затем, чтоб зла тебе не могли причинить. Тем более у тебя дети в доме.

И Мария ставила Вениамина на диван, и он ковылял в угол, где ему была постелена теплая пеленка, а Мария говорила:

— Ты, Сараев, свихнулся на железных дверях.

А Сараев говорил:

— Ничего я не свихнулся, — и еще говорил, что, если ты сама себя не

защитишь, никто тебя не защитит. А по вопросу двери, говорил, я могу договориться с Лагиным

И он шел разогревать ужин для Марии, а она тем временем переседевалась, выкладывала из сумок принесенные продукты и так далее и тому подобно.

А поужинав, Мария возилась с Вениамином и с детьми, а Сараев сидел без дела, напевая беззвучно свою частушку, и чувствовал себя лишним человеком со стороны. И с ним ни о чем не разговаривали дети, и Мария говорила с Сараевым об одном лишь Вениамине и его здоровье, потому что они отвыкли, наверно, от присутствия Сараева среди них и потребность в тесном с ним общении потеряли. Даже про паспорт Мария сказала Сараеву в двух беглых словах, что сил уже нету за ним ходить. Сараев говорит:

А что такое, почему?

А Мария говорит:

— Не хочу об этом, осточертело, — и не стала ничего Сараеву рассказывать и делиться с ним своими несчастьями не стала.

И в целом прожил Сараев у Марии весь месяц, изменив невольно образ ее жизни, потому что к ней все ходить перестали — и соседи, чтобы звонить, и знакомые ее. Хотя Сараев слова никому не сказал неприятного. Но получалось, что заходили они, видели его, Сараева, в домашнем виде — на кухне, допустим, у плиты или люстру чинящего с табуретки — и больше не приходили. Одна Дуся продолжала наносить свои нахальные визиты, как и прежде. То есть она стучала в дверь в любое время, когда ей заблагорассудится. И дня три подряд заставая у Марии Сараева, Дуся спросила.

— Вы что, — спросила, — опять сошлись?

Мария ей ничего не ответила в ответ, и Сараев, ясное дело, смолчал, и Дуся сказала.

— Ну и дураки. — И: — Ничего, — сказала, — у вас не выйдет.

Ну вот, значит, прожил Сараев весь свой отпуск без содержания у Марии, в семье. И Вениамин за это время заметно поправился и окреп. И хотя он все еще делал под себя, сдвиги в сторону улучшения и прогресс наблюдались в каждый следующий день без преувеличения. Потому что хвостом Вениамин начал шевелить и про лоханку свою туалетную вспоминал временами. И он в нее залезал и скреб, а ел уже с аппетитом и все подряд и ходил почти что не ковыляя.

Другими словами, Вениамин был на пути к выздоровлению. И тогда Сараев сказал Марии, что пора ему, наверно, идти, так как завтра понедельник и третье число, а значит, кончился его отпуск и предстоит ему выходить на работу. И он сказал это и сидит ждет, что Мария ему ответит. А Мария головой кивнула с пониманием — и весь ответ, больше ничего ему не сказала. А Сараев помедлил и говорит:

— А деньги я тебе принесу.

И Мария опять кивнула головой и говорит:

— Не думай об этом. Ерунда.

А Сараев говорит:

— Пойду я. Вот.

А Мария говорит.

— Иди.

И Сараев начал одеваться. Снял свитер и надел свой жилет и снова надел свитер, а в прихожей он обулся и влез в пальто и нахлобучил на голову шапочку с надписью «Пума». И он одевался медленно, а Мария стояла, опершись плечом о стену, а руки держа сложенными на груди, и наблюдала за его сборами. И Сараев хотел уйти достойно, только до свидания сказав Марии и детям, но сказал все-таки он не до свидания, а другое:

— Или, может, — сказал, — мне не уходить? Пока. А остаться?

А Мария положила ему ладонь на предплечье и говорит:

— Нет, ты лучше иди.

\* \* \*

И Сараев пошел домой, где не был ровно один месяц.

А дома у него лежали шестьдесят семь процентов прошлой зарплаты. Он их месяц назад, идя к Марии, дома оставил, так как ненужных денег при себе Сараев не носил, учитывая, что улица полна неожиданностей, а дома, за железной дверью, ничего с деньгами случиться не может. И он разделил имевшуюся у него сумму на две равные части и одну часть понес Марии, а придя к ней, он сказал:

— На вот тебе. На жизнь.

А Мария ему:

— А тебе? Я не возьму.

А он говорит:

— Я же месяц у тебя жил на иждивении и своих денег не тратил, и теперь у меня деньги есть.

И он, как обычно, положил деньги на стол и сказал детям и Марии:

— До встречи, — и ушел, не приняв ее возражений, а чтоб она не вышла за ним и не начала отказываться от денег, Сараев лифта дожидаться не стал, а свернул на лестницу и сбежал по ней бегом, скользя рукой по перилам.

\* \* \*

И точно так же, пешком и бегом, спускался Сараев с пятого этажа, уходя когда-то от Милы. И так же, одной рукой, скользил он по шероховатым перилам, прихватывая их на поворотах всей пятерней. А в другой руке нес тогда Сараев сумку, взятую дома у Марии напрокат, ту же самую, кстати сказать, сумку, в которой возили они с Марией Вениамина в ветлечебницу к врачу. И тогда тоже не стал Сараев вызывать и ждать лифт, чтобы Мила не успела выйти из квартиры и не стала канючить, уговаривая не оставлять ее, слабую женщину, один на один со всеми и клянясь, что больше ничего подобного не повторится никогда в жизни, а пить она бросит хоть завтра с утра, потому что ей это раз плюнуть. И Сараев, предвидя, значит, все эти возможные последствия, побежал вниз по лестнице, через две ступеньки галопом.

А приходил он сюда, к себе домой, за вещами. Накануне ночью они с Юлей ушли в чем были, ничего не захватив в суматохе бегства, а без вещей же нельзя жить, в особенности когда речь идет о ребенке трех лет от роду. И взял у Марии Сараев вместительную черную сумку и ранним утром пошел к себе или, вернее, к Миле. Пришел, а дома она одна. Сидит на полу и голову в руках держит. А друзей ее вчерашних оголтелых нет никого. Разошлись, видно, и, значит, повезло Сараеву крупно. Правда, он думал, что если они тут еще, то в такое утреннее время спят все как убитые, поэтому и пришел не опасаясь. А их и вообще нет. Что еще лучше. Хотя Мила уже не спала. Наверно, помешало ей что-нибудь спать или кто-нибудь ее разбудил. И Сараев поставил сумку на пол и стал вынимать из шкафа одежду и другие вещи — Юлины и свои. Те, что еще сохранились у них и не исчезли по ходу жизни. И Сараев укладывал все имеющиеся вещи, наполняя ими до отказа бездонную сумку Марии. А Мила посмотрела на его действия мутным разбитым взглядом и сказала:

— А где все?

— Нету, — ответил ей без отрыва от своих сборов Сараев.

А Мила говорит:

— Бросили, значит. — И говорит: — А где Юля, дочь моя?

— И Юли, — Сараев говорит, — нету. Мы от тебя с ней ушли.

А Мила повела головой из стороны в сторону, не выпуская ее, голову, из рук, и говорит:

— И вы, значит, бросили.

И Сараев сказал ей:

— Да.

И Мила подползла к Сараеву на карачках и заглянула ему в лицо снизу и пьяно и сопливо заплакала и заговорила, причитая и ноя:

— Не бросайте меня, а то я же без вас погибну и пропаду пропадом.

Но Сараев не откликнулся на эти фальшивые просьбы и стенания, которые он уже сто раз слышал из ее уст. А после вчерашнего бандитского нападения ее друзей на него и, главное, на Юлю Сараеву вообще хотелось больше жизни Милу своими руками удушить, и он сказал ей:

— Пропадай. Туда тебе и дорога.

И, сказав эти свои последние слова, Сараев застегнул на сумке замок «молнию» и вышел из квартиры и побежал вниз по ступенькам лестницы, уходя от Милы к Марии навсегда — или, вернее, он так полагал и надеялся, что навсегда.

А потом он еще приходил к Миле однажды, так как она не являлась два раза по повестке в суд, где должно было слушаться дело об их разводе. И Сараев, собравшись с духом, пошел к ней в день судебного заседания, назначенного третий уже раз по счету. И он нашел ее дома, как всегда по утрам, спящую мертвым сном. И еще трое людей спали, дыша перегаром, в комнате — на полу и на диване, кто где упал. И Сараев, стараясь никого не разбудить, взвалил Милу на себя и вынес из квартиры. А внизу он прислонил ее к толстой акации, поймал такси и доставил таким образом в суд. И, увидев Милу воочию, суд незамедлительно и без вопросов оформил развод, освободив Сараева от нее и дав ему узаконенную возможность жениться на Марии, с которой он жил уже и был с ней, можно сказать, счастлив в личной жизни. А Мила к концу слушания дела очухалась частично, придя в сознание, и говорит:

— Это что?

А Сараев говорит:

— Суд.

А Мила ему:

— А кого судят?

А Сараев говорит:

— Развод.

И, выслушав решение и постановление суда, Мила села на свое место и сказала:

— Гад ты, Сараев. — И: — Бросил, — говорит, — меня в трудную минуту жизни и изменил. — И еще она сказала: — Дай пять рэ, а то застрелюсь и повешусь.

А Сараев сказал:

— На, — и бросил ей на колени десятку. А на десять рублей в те времена и годы можно было целую бутылку водки купить, а вина — так и еще больше...

И вот Сараев сбежал с девятого этажа, считая ногами ступени, и перепрыгнул через кучи отходов жизнедеятельности человека, которые образовались на нижних этажах ввиду переполнения мусоропровода, и вышел из вонючего подъезда, где не горело ни одной лампочки, на воздух и на свет. И он самой короткой дорогой, какая только существовала и была возможна, вернулся домой, даже за хлебом не зайдя. Хотя все, что оставил он за окном месяц назад, давно, надо было думать, прокисло и пришло в негодность и есть в доме у него было нечего. Кроме, конечно, неприкосновенных запасов. Но это не волновало сейчас Сараева, так как есть ему не хотелось. И он пришел и переночевал в пыльной квартире, а утром ушел на работу, забыв, между прочим, надеть бронежилет. И он вспомнил, когда в автобус влез и его сдавили, что нет на нем предохраняющего жилета, но возвращаться за ним не стал, зная, что возвращаться — это плохая примета, к добру не приводящая. И «макаров» лежал на своем месте, в кармане брюк, чего было достаточно и довольно.

А на работе им всем, вышедшим из отпуска без содержания, сказали, что положение на предприятии не стабилизировалось и не улучшилось, а, наоборот, ухудшилось до катастрофического, и если раньше работала хотя бы одна смена, то теперь на своих местах остается только высшее руководство, а все остальные свободны, значит, еще на один календарный месяц. И кто-то спросил: а как и на что мы будем жить и кормить семьи свои, жен и детей? А начальник по кадрам и быту сказал, что он ничем не может

помочь, и от него лично ничего не зависит, и он ни в чем перед людьми не виноват.

— А кто виноват? — у него спрашивают.

А он говорит:

— Правительство. Так как именно оно не обеспечило, не создало условий, — ну и все тому подобное.

А рабочий народ, собравшись у проходной, говорил на это:

— Надо, — мол, — браться за вилы. Пора уже.

А служащие и инженерно-технический персонал, а также люди пожилого, предпенсионного, возраста говорили:

— Вилами сыт не будешь, — и разбрелись по одному и группами кто куда, не идя на поводу у толпы.

Ушел в их числе и Сараев, правда, куда теперь себя девать, он не знал и понятия ни малейшего не имел. К Марии он был бы не против снова пойти, так как Вениамин все же требовал еще ухода за собой, но дома у Марии сейчас не было никого. Она на работе уже была, а дети, соответственно, в школе. И не знал Сараев, как Мария воспримет и истолкует его приход, может быть, подумает, что он навязывается ей против воли, или еще что-нибудь подумает по его адресу нелестное и нелицеприятное, усомнившись и не поверив правде о продлении его отпуска.

И Сараев подумал, что неплохо было бы пойти и купить себе чего-нибудь съестного, экономя, конечно, последние деньги. Но не пошел он никуда. Потому что, купив что-либо, пришлось бы ему идти и отнести купленное домой и сидеть там весь день, а у него же ни телевизора не было — посмотреть его и время тем самым как-то потратить и провести, ни книжки какой-нибудь, ни даже газет никаких. И он пошел в сторону дома, по привычке всегда с работы в сторону дома идти, но не прямо пошел, а через автовокзал новый, то есть вокруг. И он вошел в здание вокзала и походил по пустому, как и в прошлый его приход, залу. И точно такой же милиционер шагал по первому этажу взад и вперед и по кругу, и та же надпись светилась на информационном табло. И водка небось в кафе продается та же, подумал Сараев, и без закуски. Но на водку переводить средства Сараев не мог себе позволить, и он подошел к милиционеру и спросил, не преследуя никакой цели:

— А автобусы, — спросил, — когда пойдут?

А милиционер сказал:

— Бензина нет. Вы что, не видите?

А Сараев сказал:

— Вижу. — И спросил: — А тут у вас всегда такая пустота торричелливая?

А милиционер сказал:

— А кто сюда пойдет? — И сказал: — Сумасшедшая одна ходит регулярно. Придет, станет в позу и выступает, как на съезде, лекции читает в пустоту.

— И больше никто, — Сараев говорит, — не ходит?

А милиционер говорит:

— Ну, еще ты вот пришел. Работать мешать.

И милиционер, конечно, был прав на все сто. Сараев действительно не знал и не мог бы сказать, зачем он пришел на этот мертвый вокзал. Пришел — и пришел. По наитию какому-то, хотя делать тут ему было нечего. И в любом другом месте нечего.

И он ходил по зданию вялым медленным шагом и глазел по сторонам и присаживался на стулья из желтой пластмассы, то есть вел себя так, как в музее или галерее люди себя ведут. И он, как в музее, разглядывал разноцветные витражи-картины — из жизни героического казачества, — и рисунки настенные мозаичные на темы материнства и детства, и панно, выполненное во всю торцовую стену снизу доверху. А изображало это панно автобус «ЛАЗ», уносящийся в туманную даль по извилистой трудной дороге.

И милиционер, бродивший по долгу своей службы вдоль и поперек здания, приблизился к Сараеву и сказал:

Что, красиво?

А Сараев сказал:

Да. И если б, — сказал, — люди какие-нибудь еще здесь были и посещали, чтоб могли видеть... это... своими глазами.

А милиционер сказал:

Люди будут. — И. — Вот, — сказал, — уже начинают прибывать некоторые.

И Сараев оглянулся и увидел женщину, идущую со стороны центрального входа к ним на сближение. И она дошла до середины зала, остановилась и расстегнула синюю свою фуфайку.

— Сейчас начнется, — сказал милиционер, — цирк под куполом.

И цирк начался, можно сказать, безотлагательно, потому что женщина в фуфайке вздернула вдруг указательный палец правой руки и сказала:

— Десятого марта сего года Рождество по церковному лунному календарю. Молитесь все. Тех, кто не молится, быть не должно. — Она замолчала, осмотрелась вокруг и опять сказала, ткнув пальцем в воздух: — Второй православный праздник — Пасха. Празднуется пятого декабря по старому стилю и летоисчислению.

— Ну, ты внимай, — сказал милиционер Сараеву, — а у меня служба не ждет.

И он ушел в свое отделение служить, а Сараев остался слушать женщину в одиночестве и, как говорится, с глазу на глаз. А она говорила шамкая и проглатывая куски слов, и голос ее накатывал на Сараева короткими судорожными волнами.

— Русские, сербы и украинцы — это братья навек. Они от Бога, — говорила женщина все громче, — кроме болгар. Болгары Верховным судом Украинской Советской Социалистической родины девятого созыва приговорены к смертной казни через повешение. Все зло от болгар. Сталин был болгар, Ленин — болгар, Брежнев и Горбачев — болгары.

И конечно, это был бред сумасшедшего и большого человека и не в своем уме находилась эта женщина. Но Сараев-то слушал ее внимательно не потому, что ему было интересно ее слушать, а потому, что голос у нее знакомым показался Сараеву. Правда, из-за эха и расстояния не мог он определить, кому именно принадлежал такой же лающий голос. Вернее, у него промелькнула догадка, что Мила в пьяном состоянии так приблизительно кричала, ну, или не так, а очень похоже. Но он не задержался на этой промелькнувшей мысли, а пошел к женщине навстречу и приблизился к ней на расстояние двух с небольшим метров. И увидел Сараев, что в самом деле перед ним стоит Мила собственной своей персоной. И она сильно, конечно, изменилась под воздействием прошедшего времени, и зубы у нее отсутствовали с правой стороны, и фуфайка на ней была старая, с закатанными руками, не по росту и не по размеру. Но в том, что это Мила, не могло быть никаких у Сараева сомнений. И он стоял и смотрел на нее, на свою первую бывшую жену, а она не обращала на него внимания, а говорила, как будто бы перед ней не один-единственный Сараев стоит, а многотысячная аудитория благодарных слушателей.

— Двадцать один день, — говорила Мила, — жила я в городе Москве — столице Российского государства с тысяча девятьсот двенадцатого года. На Курском вокзале. Ельцин — исполняющий обязанности поверенного в делах, глаза карие, наполовину болгар. Ельцина быть не должно. А царицей должна быть Петрова Анна Васильевна — депутат Верховного Совета. Она меня принимала в Кремле, молитесь за нее. И за меня молитесь. Я тоже должна быть царицей. Но я даю себе самоотвод по уважительной причине.

И в этом месте речи Сараев тронул Милу и сказал:

— Мила.

А она:

— Я вас слушаю.

А он:

— Мила, это я.

А она:

— Да, — говорит, — я слушаю.

А Сараев говорит ей:

— Пойдем отсюда.

А она говорит:

— Пойдем.

И они пошли по вокзалу вдвоем. Сараев слева, а Мила от него справа. И они сначала шли в молчании, ни о чем не разговаривая между собой, а потом Сараев спросил:

— Ты пьешь?

А она:

— Пить, — говорит, — это грех Божий, заповедь номер двенадцать.

— А живешь ты где? — Сараев у нее спрашивает.

А она говорит:

— Ивана Гоголя, пять, в собственном доме.

— А не было тебя давно, — Сараев говорит. — Почему?

— В Москве жила, — Мила говорит, — двадцать один день.

— А раньше где была? — Сараев спрашивает. — Раньше.

— А раньше, — Мила ему отвечает, — в заточении содержалась. Болгарами. Смерть болгарам и вечная память.

И они опять пошли без разговоров, потому что не приходило Сараеву в голову, о чем бы с ней еще можно было поговорить. И как поступить с Милой сейчас и в дальнейшей перспективе, Сараеву было неясно. Что, в смысле, должен он делать. Уйти или отвести ее к себе домой, где она тоже имеет право жить? Такое же, как и он сам. Но что из этого получится и, может, необходимо сдать ее на лечение? Ну а когда выпустят ее снова, тогда как быть, особенно если она такой и останется? Короче, не ожидал, конечно, Сараев встретить Милу в нынешнем ее плачевном виде и не мог он вообразить себе, и даже в страшном сне не могло привидеться ему того, что реально осуществилось в жизни. Он-то думал и был уверен на сто процентов, что Мила по-прежнему пьет и гуляет в том же самом ключе, беспробудно. С друзьями своими уголовными. Ведь же недаром и не просто так, от нечего делать, приходили они тогда, ночью, и ее спрашивали. Не могло же Сараеву почудиться спросонья посещение их ночное. И дверь, ту еще, деревянную, они расшатали, выбить ее пытались. То есть у него все нужные основания были думать про Милу так, как думал он, а не по-другому. А оказалось, значит, что все не так, и Сараев сказал на всякий случай, для того чтобы молчание свое нарушить и разрядить:

— Ты есть хочешь?

А Мила ответила:

— Не хочу.

А Сараев сказал:

— Пошли домой. А там видно будет.

А Мила говорит:

— К кому?

— Ну, ко мне, — Сараев говорит.

А Мила говорит:

— Я к болгарам не хожу.

А Сараев говорит:

— А в свою квартиру пойдешь?

А Мила:

— Нет, — говорит, — в ней болгары.

— Какие болгары? — Сараев говорит. — С чего ты взяла?

А Мила говорит:

— А была я там, когда из заточения меня Бог освободил. — И говорит: — Дверь там болгарская.

А они, говоря так и беседуя, на площадь как раз вышли имени Народа, к памятнику ему железобетонному, и Мила остановилась у постамента и распахнула фуфайку и выбросила вперед указательный палец и закричала в лицо Сараеву, плюясь и тыча в него этим пальцем:

Братья и сестры, — закричала она, — будьте милосердны и бдительны. Останови замышляющего не доброс, а злос и суди его по всей строгости. Бог говорил: «Не прелюбодействуй с женою своєю, не убий отца своего и мать свою. А кто убьет, тот болгар». Так говорил Бог Отец Богу Сыну.

И Сараев стоял перед ней, а она кричала куда-то мимо него и поверх него, и остановить ее было нельзя ничем, никакими доступными средствами, разве, может быть, только заткнув рот и связав по рукам и ногам.

И невдалеке от них, от Милы с Сараевым, ходили по площади люди в яркой красивой одежде, и одни из них спешили пройти побыстрее, чтоб не останавливать взгляда на этом уродливом и тяжелом зрелище, а некоторые останавливались и говорили ей:

— Заткнись, чего разоралась, дура.

Или говорили:

— Ну, бабка вышивает.

И Сараев взял Милу за рукав фуфайки и потащил ее от постамента и сказал:

— Мила, пошли.

А она не слышала его и не видела и выкрикивала, хватая беззубым серым ртом воздух:

— Жилище твое — обитель твоя. И заложил окна в доме своем кирпичом красным и белым, а свет через крышу прольется на тебя и домочадцев твоих — сверху, а не сбоку. Ибо все, что сверху, — от Бога.

И Сараев еще одну попытку предпринял Милу с площади увести, но она вырвалась и заорала:

— Люди, насилуют! — И стала бить Сараева по рукам, плечам и лицу.

И Сараев, конечно, отступился и пошел, унося ноги от греха подальше. И он оставил ее одну у постамента, и она опять понесла свою то ли проповедь, то ли молитву в массы. А они, массы, в это время занимались кто чем — кто-то продавал и покупал рубли, кто-то валюту стран Запада, а кто-то пирожки и жевательную резинку, и шоколад, и сигареты. Да мало ли чем занимались человеческие массы, расположившись на площади и на вытекающем из нее проспекте. И Сараев прошел, минуя всех этих новых торгующих и покупающих людей, не понимая их жизни и работы и не вдаваясь.

И вот он пришел домой, и поднялся в лифте на свой пятый этаж, и подошел к двери, облицованной деревянной планкой, и открыл замысловатые замки, сперва верхний замок, английский, а за ним нижний, неизвестной принадлежности, но тоже не наш, а заокеанский. И, войдя в свою отдельную квартиру, Сараев выложил из правого кармана брюк пистолет системы Макарова, повесил на спинку стула бронезилет, забытый им сегодня утром в ванной комнате, и подумал, что, наверно, теперь они ему вряд ли понадобятся и пригодятся и неплохо бы их вернуть законному владельцу. Вместе с каской.

«И дверь железная, — подумал Сараев, — тоже, выходит, тут ни к селу ни к городу, и лучше было бы телевизор купить хоть какой, чем дверь эту возводить, и хорошо еще, что решетки я не установил на окна, а то совсем выглядело бы это глупо и смехотворно».



---

---

ГЕНРИХ САПГИР

\*

ЭТЮДЫ  
В МАНЕРЕ ОГАРЕВА И ПОЛОНСКОГО

1

Никто! мы вместе только захочу  
на финских санках я тебя качу  
ты гимназисткой под шотландским пледом  
а я пыхтящим вислоусым дедом —  
и разбежавшись по дорожкам льдистым  
сам еду на полозьях гимназистом  
Мы — отсветы чужие отголоски  
мелькают елки сосенки киоски —  
и с ходу на залив где ветер дует  
где рыбаки над лунками колдуют  
где мне в лицо пахнет твой волос дымный  
не нашим счастьем под луною зимней

2

Снежный ветер дует с белизны залива  
рыбаки на льду чернеют сиротливо  
Зябко — руки в рукава шинели прячу  
и дышу в башлык — иду к нему на дачу  
Долго буду там в углу снимать галоши  
юной горничной шинель смущаясь брошу  
К лампе — к людям — в разговор! — «Хотите чаю?»  
за чужой спиной себя на стуле замечаю  
И рука — с кольцом — холеная — хозяйки  
чашку мне передает — «Возьмите сайки»  
Обыск был у Турсиных — все ли цело?  
Все сидят наперечет люди дела  
Маша теплится свечой — чистым счастьем  
и на сердце горячо что причастен

3

Прочли письмо узнали росчерк  
вот кто иуда кто доносчик!  
Тянули жребий — люди чести  
и тот кому достался крестик  
взял револьвер тяжелый как замок  
кивнул и — в дождь...  
Ждал долго... Весь промок

Сюртук тяжелый стал хоть выжми  
 но ствол сухим держал под мышкой  
 все вглядывался в ночь откуда  
 сейчас появится иуда  
 всё пальцы разминал которые свело  
 и все спешил душой пока не рассвело

## 4

Еще пел соловей в бледных зарослях мая  
 комары уже открыли пляжный сезон  
 на заливе  
 Ты брился отдувая щеку в зеркало  
 подкручивал победные усики  
 ты душился пачулями  
 и был глубоко и серьезно несчастен

Она шла и шла по чуть заметной тропинке  
 расталкивая коленями тяжелый шелк платья  
 не хотела слушать никаких объяснений  
 и не успевая сама за собой  
 ты спешил впереди себя  
 за взволнованным демоном цвета морской волны  
 даже схватил ее за руку  
 нетерпеливо отдернула  
 отмахнулась от комара  
 локоть заехал тебе в лицо  
 было неловко и больно  
 она сердилась  
 все было кончено

Револьвер был чужой и тяжелый  
 как амбарный замок с ключом  
 но что делать —  
 во всех столичных газетах  
 уважающая себя публика  
 стрелялась только из американского СМИТА и ВЕССОНА  
 и представив себе ее слезы (будешь! будешь!)  
 допускаю ты застрелился  
 ведь когда я встал со скамейки  
 ты остался на ней полулежа  
 куколкой — раскрытой оболочкой

Кольхаясь на ветру блестящей тканью  
 шли из Хельсинки длинные фургоны — машины  
 время здесь пронизывало время  
 (крики лыжников их быстрые тени)  
 ...и полней блаженство возвратиться  
 возвратиться  
 чтобы застрелиться

## 5

Опять на финских саночках тебя качу качу  
 и волосы кудрявые щекою щекочу  
 ты в муфте прячешь кроликов — я там и сам живу  
 полозья наши скрипнули со снега на траву  
 цветы такие нежные что кисея — внизу

давно по лесу летнему я саночки везу  
 твои глаза смются: нет! — и губы как оса  
 а брови твои ласточки ширяют в небеса  
 ныряй сквозь солнце ласточка взгляни раскоса как  
 нас под медвежьей полостью уносит прочь рысак  
 (платок из муфты вынутый нетерпеливо мнут)  
 мы до моста Елагина доскачем в пять минут  
 Зажглись электролампочки у Зимнего в саду  
 тебя из века вашего как прапор я краду

## 6

Ты меня зовешь взглядом  
 в какое-то достоевское доблоковское  
 дрожки одинокий прохожий  
 Парголово Павловск Териоки  
 пустынный вид залива Финского  
 почти что Эда Баратынского

Ты меня зовешь смехом  
 парковая статуя под снегом  
 девичий портрет Маковский Репин  
 и кумиры: Царь Жорж Санд Тургенев  
 рассмеялась — и блестят блестят испуганные  
 так придумал что почти что вспомнил

Твой смех перерастает в кашель  
 Ну теперь что доктор скажет  
 мыза кумыс Баден-Баден Ницца  
 мама брат жених — уйти уединиться  
 Монашка деловито: «Какая красавица»  
 Жизнь короткая почти как детское платьице

## 7

Твои веки — спящие голубки  
 и порхают быстрые улыбки  
 встрепнулись под рубашкой два голубя  
 и взлетают руки твои голые  
 так прекрасно что держу пока  
 третьего меж кружев голубка

Расскажу тебе свой сон откровенно  
 пусть уводит по руке бледная вена  
 снилась мне ты с нэпманами лысыми  
 и не с лысыми — с большими крысами  
 в мюзик-холле с толстым червяком —  
 покупал а сам едва знаком

Декорации переменялись сразу  
 раздают тебя солдатам по ленд-лизу  
 получил брусок тебя — точно масло  
 спрятать в тумбочку хотел — нет! опасно  
 уронил искал и сам на месте том  
 поскользнулся плюх — в тебя... В руку сон

## 8

Стала появляться где и не хочу  
 даже в пошлой очереди на прием к врачу  
 даже в переполненной утром электричке  
 даже на экране — почему-то в брочке  
 и хоть не похожа на тебя Алиса Фрейндлих  
 в этой утешительной сказочке для бедных —  
 завитки на шее поворот головы  
 скорая походка людей деловых  
 и что-то довоенное как мятное драже  
 обложка мягкой книжки зачитанной уже  
 эта стать мальчишеская дерзости броня —  
 и странная уверенность что ты нашла меня

## 9

«Она его не любила  
 а он ее втайне любил»  
 Неужто же все это было?  
 И век девятнадцатый был?

Мы пугалом сделали атом  
 мы вызвали нечисть из тьмы  
 Подумать что с веком двадцатым  
 уже на исходе и мы

И все же затынем уныло  
 мы внукам своим из могил  
 «Она его (жизнь) не любила  
 а он ее втайне любил»

## 10

Воронье царство у реки —  
 крик по верхам орленым  
 В Кремле латышские стрелки  
 стреляют по воронам

По выправке военный спец  
 иду в шинели долгой  
 Бежишь — и март как леденец  
 ты худенькая с челкой

Нет! мы встречаться не должны  
 Патруль чернеет у стены  
 но обмирает сердце...  
 В дни революций и войны  
 любовь мудрее смерти

## 11

Будда — путник золотой стоял у храма  
 и бежали дети — вся его охрана  
 нищенкой лежала на ступенях ты

Сам я тоже в желтом — стрижен под нулевку  
 с миской белой жести но просить неловко —  
 если б только пиши но еще — любви!

## 12

На выставке мейсенского фарфора  
вдруг вспоминаешь город который  
отец наш работал на ИСКОЖДЕТАЛИ  
дважды во время войны угорали  
город который остался деревней  
лишь монастырь — общежитие — древний  
сонный пуховый зимой и летом  
сидели с коптилкой — не баловал светом  
чувствую с детства что-то утратил  
был у меня Сережа — приятель  
однажды гляжу на него и через  
кожу вижу зеленый череп  
главное сам я не испугался  
череп светился и разлагался  
что-то со зреньем (подумал) — и вскоре  
мальчик Сережа умер от кори  
гробик ветер гроза — и сразу  
про — всю в ангелочках — немецкую вазу  
я пропускаю года четыре  
она стояла в московской квартире  
на пианино достойно и чинно  
но прежний хозяин (я чуял) скотина!

## 13

То достаю из прошлого то в настоящем прячу  
то вырву кусок киноплёнки из времени наудачу  
а лучше всего твои лица склеить в виде кольца  
и запустить на монтажном столе — пусть светится без конца



---

---

ДАУР ЗАНТАРИЯ

\*

## ЕНДЖИ-ХАНУМ, ОБОЙДЕННАЯ СЧАСТЬЕМ

*Из исторических хроник*

Эту дальскую боль напели мне под апхярцу и аюма<sup>1</sup> великие сказители Хатхуат, Амзац и Шунд-Вамех. Единственная сестра владетеля Абхазии Ахмуд-бея была так прелестна, что только родство удерживало братьев ее отца, чтобы тайком не продать ее в Турцию. Жилось ей в девичестве привольно. Когда поспевал инжир, она была в Лыхнах, в пору долгих дождей привозили ее в Сухум-калэ, весной поили ее кислыми водами Башкапсары, а лето Енджи-ханум проводила в Мингрелии, у своего дядюшки Великого Нико. Семь девиц не успевали прислуживать светлейшей княжне. Шел ей уже восемнадцатый год, а она оставалась такой же лентяйкой, как и ее молочная сестра, что была младше ее тремя годами. Как ни зайдешь к ним, сидят они на подушках, причесывая друг дружке косы серебряными гребенками, а то, рассорившись, поворачиваются в разные стороны и начинают читать. Книга была зачитана до дыр.

Надоело светлому владетелю Абхазии Ахмуду, что сестра его, зрелая-перезрелая, но бесполезная для страны, просиживает дни на подушках.

Как-то раз, сидя, по обыкновению, в позе деда своего Келеш-бея, портрет которого висел над ним, — поставив локоть на колено и задумчиво подперев тремя пальцами лоб, — владетель резко поднял голову:

— Георгий, поди-ка сюда!

Управляющий его Георгий, сын Великого Нико, отделился от толпы придворных и направился к владетелю, успев на ходу сделать хитрое свое лицо еще более хитрым и как бы говоря: знаю, что ты заставишь меня совершить нечто коварное, так что ж — я готов.

— Слушаю тебя, дражайший господин мой!

Придворные стояли в стороне, не зная, выходить или оставаться на местах.

Правой рукой Ахмуда был Дзяпш-Татластан, которого владетель назвал более близким его сердцу именем Чапак. Но когда нужен бывал ум (а ума у Чапьяка не было), владетель использовал своего родственника Георгия, обычно предназначенного для мелких дел — отравить кого, рассорить или распустить слухи.

Владетель выпрямился, и на лице его изобразилась жалость к себе, одолеваемому тоской. Он посмотрел сначала на Георгия, затем на остальных в зале. Георгий, поняв владетеля, красноречиво обернулся к придворным. Но они сами уже выходили прочь, пятась спиной к двери.

— Так что же нам делать с нашей любимой сестрой, Георгий? — Ахмуд, подобно большому государям, называл себя «мы».

— Как ты порешил, так тому и быть, дражайший господин мой... — ответил Георгий, тоном и выражением лица показывая хозяину, сколько полезного стране коварства кроется в его словах.

Ведь Ахмуд спрашивал нарочно: он давно выслушал Георгия, согласился с ним и даже успел присвоить его мысль. Но Георгий снова обстоятельно пересказал все, подчеркивая, что некогда предложенное им мнение возник-

---

<sup>1</sup> Абхазские национальные инструменты.

ло раньше в голове владетеля. Пока он говорил, Ахмуд сидел в привычной позе. Затем резко выпрямился и, персбив Георгия, произнес

— Реше́но! — и добавил, как бы прислушиваясь к звучанию дикого имени: — Химкораса Дальский.

Вот так была решена судьба юной сестры владетеля. Постановили выдать ее за Маршана Химкорасу Дальского, неоднократно просившего руки Енджи-ханум.

Теперь, когда вопрос был решен, Ахмуд мог слегка расчувствоваться:

— Неужели род владетелей Чачба растит всех своих дочерей для Маршанов! Светлой памяти сестра нашего отца была замужем за Маршаном Дарукой, дочь брата нашего Алибея Абжуйского — за родным братом Химкорасы, Батал-беем. Неужто я брошу в осиное гнездо и бедняжку Енджи-ханум?

Их замысел был прост, как и все великие замыслы.

Химкораса, старший из сыновей Даруковых, владел белым замком Уардой, самым сильным укреплением в Дале. Выдавая за Химкорасу свою сестру, владетель рассчитывал использовать его власть, чтобы прибрать к рукам весь немирной Дал. Тогда близлежащее урочище Цебельда оказывалось в кольце. К тому же все, кто сватался к Енджи-ханум, стали бы врагами счастливца Химкорасы и он со своим владением нуждался бы в поддержке Ахмуда. А владетель Ахмуд всегда был убежден, что для страны полезнее разногласия между урочищами. Почему он так считал, осталось тайной, ибо и он в конце концов был сослан. И он решил не оттягивая, сегодня же зайти с Георгием к Енджи-ханум и все ей рассказать.

И вот вечером, покончив со всеми остальными делами, владетель и его управляющий вошли в покои Енджи-ханум. Ахмуд был слегка смущен предстоящим разговором.

— Каково здоровье Енджи-ханум, сестры нашей? — удалив женщин, спросил владетель.

Енджи-ханум спустила ноги с дивана и подняла свои большие, полные слез глаза. «Может, девушка что-то уже слышала?» — встревожился Ахмуд.

— Что с тобой, сестра?

— Тариел, несчастный Тариел! — всхлипнула она, вложив палец в страницы и захлопнув большую книгу, лежавшую на коленях. — Не суждена была ему Нестан-Дареджан... — только и произнесла она. Слезы текли и текли по ее белым щекам.

— Не бойся, они встретятся, — сказал раздраженно Ахмуд и примостился рядом с ней на краю дивана.

— О, они встретятся! Любовь восторжествует в этом чудном сочинении, любовь... — Георгий хотел еще что-то добавить, но владетель недовольным взглядом остановил его.

Енджи-ханум, утирая слезы, с презрением обернулась к Георгию. Он был образован и с манерами, но она недолюбливала его за хитрость и коварство. Это знал и Георгий, но особенно по этому поводу не переживал. И сейчас он на ее взгляд ответил взглядом, говорившим: «Можешь смотреть, мне не обидно, ибо превыше всего ставлю дела государственные», и, отведя руки за спину, отошел к окну.

А Ахмуд, начав издали, вспомнив предка Чачбу Гвапу, рассказывал древние истории, кружил вокруг вопроса и постепенно поведаль сестрице о цели своего прихода. Поникшая, испуганная, слушала она его.

Енджи-ханум знала, что однажды, когда придет срок замужества, брат решит ее судьбу, не спрашивая ее, а думая только о благе страны. Но жизнь протекала беззаботно и бесцельно, и не думалось ей, что этот день так близок. Брат говорил с ней мягко, осторожно; Енджи-ханум знала, что он любит ее, у нее и в мыслях не было ему перечить. Слезы, которые она только что лила на страницы старинной книги, сейчас стали весомей, отяжелели и полились чаще и чаще. Брат погладил ее по голове, но Енджи-ханум знала, сколь непреклонна движимая взвешенной мыслью рука брата-владетеля. И она, приблизив эту жилистую, мохнатую руку, поцеловала ее.

Избавленный вдруг от предполагаемого тяжелого разговора, Ахмуд перевел дух, но и смутился. Вспомнил, что и он и сестра — сироты. Он встал растроганный, поцеловал сестру в голову и, поиграв пальцами по книге, лежавшей рядом, поспешно вышел прочь.

Спускаясь с Георгием вниз, он еще раз подумал, что Енджи-ханум сирота, но успокоил себя тем, что он отец всему народу, а уж сестре своей подавно. Затем с этой понравившейся ему мыслью он обошел подворье, где пировали многочисленные гости. А сестра его, оставшись одна, притянула к себе кукольного медвежонка и легла, обняв его. Сердце ее стучало в груди. Впереди ждала новая, неведомая жизнь. Она начала думать о джигите, чьей женой ей предназначено было стать, и не могла его вспомнить. Много мужчин спешивалось у дворца свататься к Енджи-ханум, всем им доселе она давала отказ или за нее им отказывал брат. Много было долинных офицеров — щеголей с подслащенными улыбками и маслянистыми глазами. Много было и горцев: сливались в одно их загорелые лица, оттененные хищными взглядами. Во взглядах этих, думалось Енджи-ханум, нестираемо отпечатались горные ветры и непогода, от которой трижды на дню промокала насквозь и сохла на их телах одежда. И в них самих, сросшихся с седлом, ей чудился норов коня, норов дикий и буйный. Им всем было тоскливо во дворце; они смотрели на нее огнедышащими взглядами скакунов, а ей казалось, что они только и желали, что умчаться ее скорее отсюда в горы, навеки разлучив с родиной, и там утопить по горло в чуждой, устрашающей жизни.

Химкорасу она не помнила. Сейчас, сразу смирившись с судьбой, Енджи-ханум хотела думать о нем хорошо. Ее чистая душа тосковала по наслаждению. От объятий ее попискивал медвежонок, выписанный для нее недавно из Истамбула вкупе с другими игрушками. Если бы медвежонок был живой, он наверняка бы захлебнулся от счастья, ибо Енджи-ханум обладала плотью, способной сокрушить крепости. Она смеялась, целуя безжизненного медвежонка, орошала слезами его каракуль.

Как всегда, бесшумно вошла придворная. Несколько минут она стояла, наблюдая, как госпожа возилась с медвежонком.

— Госпожа, пришел Соломон, — произнесла она наконец.

Княжна вскочила, как будто проснувшись, отложила в сторону медвежонка, и на лице ее появилась тревога.

— А Георгий не видел его?

— Нет, я провела его через галерею.

— Тогда прбси.

Придворная открыла дверь, и вошел Соломон. Он шел, ставя ноги так, словно двигался по начертанной линии. Левую руку он заложил за спину, правой придерживал на груди, как треуголку, свернутый лист. По твердой походке, по решительному взгляду — по всему было видно, что он смущается под взглядом Енджи-ханум. Военный мундир туго обтягивал его, на плечах красовались эполеты поручика; хотя он был молод, грудь его украшали три награды. Шпоры его ритмично постукивали по паркету. Енджи-ханум печально глядела на него. Она пересела в кресло. Соломон подошел своей твердой походкой, изящно поклонился и страстно припал к ее руке.

— Как ваше здоровье, драгоценная Русудан? — наконец, отпустив ее руку и выпрямившись, спросил он на русском языке.

— Тоскливо мне, — по-абхазски ответила ему Енджи-ханум.

Соломон игриво изменил выражение лица, преувеличенно удивился, но, что-то прочитав на ее лице, вдруг побледнел. Смолчал.

— А ты-то как, Соломон?

Соломон чувствовал перемену в Енджи-ханум, не понравились ему и слова ее о тоске и что она называла его не домашним именем Бата, как обычно, а Соломоном. Он догадывался, что произошло нечто важное, но не успел спросить, как что-то вскипело в нем, подкатило к горлу и заставило его говорить:

— Каким прикажете мне быть, драгоценная Русудан, ежели я люблю вас и с каждым днем все сильнее и сильнее, все более и более покоряемый

чувством; я люблю вас, не ведая, что меня ждет в грядущем, не зная, кто я. счастливейший в сем мире или несчастнейший! — Он говорил красивым грудным голосом по-русски.

Енджи-ханум слушала закрыв глаза и не отнимая руки, которую он снова страстно целовал. Слова любви не ласкали ее слуха теперь, как прежде, теперь, когда вся она была покорена мыслями о предстоящей новой жизни. Она хотела не откладывая тут же дать ему знать, что их отношениям необходимо придать иной характер, что все прежне было по молодости и не могло быть долговечным, но понимала, как тяжело могли ранить друга ее юности слова, в кои надо было облечь эти мысли. И не решалась говорить. Как бы то ни было, думала Енджи-ханум, не скажу ему о Химкорасе — о, как непривычен для уха звук его имени, как страшит! — ибо душа подсказывала ей, что Соломон, услышав это имя, может сказать что-то надменное и оскорбительное, как обычно говорят о горцах. Тогда она возненавидела бы Соломона и не смогла бы его простить. Енджи-ханум хотела незамутненными сохранить в душе воспоминания о Соломоне. Она подняла голову и посмотрела на него долгим извиняющимся взглядом. Соломон побледнел. Он направился в противоположную сторону покоев.

Офицер с петербургским воспитанием, который ей так нравился раньше, он стоял согнув тонкий, обтянутый мундиром стан, слегка рисуясь, несмотря на уныние, спустив с края бюро руки так, чтобы она видела его изящные пальцы, а Енджи-ханум, раздражаясь, думала, что чувства к нему были не чем иным, как юным легкомыслием. Выросший в их семье, зависимый от их дома, при всей одаренности бессильный подняться до уровня людей ее происхождения, — неужели она любила этого юношу, чья красота так слащава? А ночи, когда она пускала его с черного хода, через галерею, а слова его, когда-то лишавшие ее сна, а стихи, кружившие ей голову?! «Нежный Бата, умный Бата!»

Енджи-ханум встала, подошла к нему, взяла под руку и приникла к его плечу. Соломон оглянулся только тогда, когда она подошла к нему; в глазах его читалось: я все понимаю. Он что-то слышал!

— Что это, Соломон, новое стихотворение? — спросила она, справляясь с неловкостью.

Соломон с улыбкой боли заглянул ей в глаза.

— Можно прочитать? — Она раскрыла свернутый трубкой белый лист. Красивым, словно рисованным почерком на листе был начертан стих, а наверху проставлены ее инициалы от святого крещения — Р. Г. Ш. Все свои стихи Соломон посвящал, разумеется, ей, каждый раз любовно надписывая одно и то же: светлейш. кн. Р. Г. Ш. — светлейшей княжне Русудан Георгиевне Шервашидзе.

Енджи-ханум стала читать, прижавшись к нему. Свернутый лист не слушался ее. Соломон помог ей, распрямив лист и придерживая рукой.

Она стояла у прибоа,  
Где волны бьют подошвы скал.  
Прибрежный ветер, зычно воя,  
Ея одежду развевал.

А волны, пенясь и шумя,  
С разбегу берег ударяли  
И ножки стройные ея  
Они с любовью лобзали.

Она читала шепотом, близоруко склоняясь над листом, а Соломон остался стоять — ровный, в нелепой позе, одной рукой придерживая лист и не зная, куда девать другую, а лицо его, невидимое княжне, могло быть и было злым и полным сословной ненависти к ней и к себе, написавшему эти вирши. Только скромность моя порукой ее девственности, подумал он. Но как только она подняла голову, все изменилось и на его лице, и в его душе.

— Как славно, как чудесно, Бата! — Енджи-ханум встрепенулась, обняла руками его шею. И он, окаменевший было, очнулся, прижал ее к себе и стал жадно целовать ее шею, щеки, глаза.

— Подожди, Бата, ты талантлив, подожди, Бата, я желаю тебе счастья... — лепетала она, но не вырывалась. Закрывая глаза, Енджи-ханум видела совсем другого.

Перед глазами вставал неведомый Химкораса. Предводительствуя такими же, как он, сорвиголовами, что, по горскому обыкновению, ряжены в лохмотья, но оружие которых посеребрено, он гнал табуны из-за хребта, улыбаясь, когда со свистом близко пролетали пули, в ночи, на краю пропасти, в слепой темноте, взнуздывая коня, мчался отважный дикий красавец. И вдруг вспоминал ее, Енджи-ханум; лицо его светлело и душа смягчалась. Громким голосом он окликал друзей, которым было невдомек, почему он повеселел. Свое жаждущее сердце, сейчас такое пустое, она готовила к любви, которая должна была в него войти. Мысленно передавала джигиту привет, зная, что он почует его своим хищным чутьем. Он подобен луне, сказала себе Енджи-ханум.

Когда пришел назначенный день, владетель созвал лучших людей по ту и по эту сторону хребта и, предварительно удалив управляющего Георгия, вид которого многих раздражал, задал невиданный пир. Три дня и три ночи веселились в Лыхнах. Здесь присутствовали представители всех урочищ, совсем недавно относившихся к Абхазии, но отделившихся от нее, когда Сафар-бей (Георгий) Чачба (Шервашидзе), светлой памяти родитель Ахмуда (Михаила), продал край за трон. По случаю замужества сестры владетеля Ахмуд-бей устроил конные игры. На черазе<sup>2</sup> одержал победу Бжедуков Хануко, сын шапсугов, не говорящих на абхазском, но наделенных мужеством в полной мере. В метанье копья никто не мог сравниться с абазинским джигитом Кизилбеком Махматкачей. Блеснули, как всегда, всадники ачипсе и айбги<sup>3</sup>. При джигитовке наш парень Зван Батыршлак из Абжаквы шел прекрасно, но в конце осрамился: конь его взмахнул хвостом. Он соскочил с седла и, воскликнув: «Чтоб трамповским заводчикам не вывести лучших лошадей!» — тут же приставил к уху коня маджарский пистолет и убил его. Одержал победу юноша из свиты, приехавшей за невестой, — Халы-бей, сын Кайтмаса.

Конь от имени Ахмуда по третьему кругу пришел первым. Светлейший владетель прослезился от радости.

По седьмому кругу конь его упал и свернул шею. Светлейший Ахмуд в гнев собственноручно избил троих конюхов. Еще семерых избил Дзяпш Чапак.

Правдивость сего подтверждали не раз Хатхуат, Амзац и Шунд-Вамех.

Енджи-ханум, как и положено сестре владетеля, сияя красотой, была печальна.

Затем был пир в Сухуме, в большом дворце владетеля. Здесь уже были тифлиссские и кутаисские офицеры, а также гости из Мингрелии. Управляющий Георгий был приветлив. Из абхазов здесь присутствовали новые люди, чьи плечи были украшены эполетами, груди — наградами. Здесь были собраны все, кто был достоин сидеть за столом с генерал-аншефом Михаилом Георгиевичем Шервашидзе, и те, с кем ему было достойно сидеть за столом. В Сухумской крепости, где был расположен гарнизон, в честь торжества гремели пушки и единороги.

Незабываемый день! Енджи-ханум была грустна и необычайно задумчива. Напрасно свита, приехавшая за невестой, и свита, выезжавшая с невестой, поочередно пытались развеселить ее — прекрасный лик невесты был по-прежнему пасмурен, только иногда, как солнце сквозь тучи, на нем мелькала улыбка.

<sup>2</sup> Вид конноспортивного состязания.

<sup>3</sup> Абхазские племена, в прошлом населявшие Красную поляну в Сочи.

Задумчива была Енджи-ханум и тогда, когда, оглашая выстрелами ущелья, везли ее на золотой арбе вдоль реки Келасур: картина, запечатленная на полотне отважным живописцем генералом от артиллерии Гагариным. Времена были смутные, много было лихих людей, и потому двести всадников ехали с сестрой владетеля. Вокруг, куда ни глянешь, красиво было.

Дальцы не осрамили себя — сыграли великую свадьбу. Казалось, все абреки Кавказа собрались на пир Химкорасы, сына Дарукова. Был большой пир, веселье и смех. Пару раз случались и перестрелки.

Увидеть невесту приходили сородичи, гости и соседи. На третий день прошел небольшой дождь, и то и дело мотыгами выгребали из светлицы грязь, затем мыли пол, который, по словам одной из подруг невесты, снова начинал блестеть. Химкорасу Енджи-ханум пока не видела и стеснялась о нем заговорить. Между тем она жаждала его увидеть. Енджи-ханум должна была, как велел обычай, все время стоять и с непривычки очень устала. И в первую и во вторую ночь ей удалось лишь ненадолго прилечь.

На третий день Химкорасе можно было увидеть свою невесту, и он зашел в ее светлицу. Она знала, что он сегодня придет, и ждала, снедаемая усталостью и одиночеством. Опять не он, подумала Енджи-ханум, взглянув на Химкорасу. Он совсем не был похож на молодожена. Лишь со второго взгляда она заметила, что выглядел он нарядно: в новой белой черкеске, блистая золотыми лучами орденов и серебром оружия. По всему было видно человека крутого нрава. Енджи-ханум затрепетала. Где тот желанный мужественный юноша с норовом дикого коня, в чьих глазах бурное, как горный поток, желание? Жених был не первой молодости. Кроме торжественной одежды и экипировки, ничего в нем, в его облике не говорило о том, что сегодняшней день и для него значителен, хотя брак и означал перемену всей его политической ориентации. Его сопровождали друзья, они остановились у дверей. Он подошел к невесте и, приподняв ее темную фату, заглянул ей в лицо. Она дрожала. Он взглянул колючими глазами, словно желая удостовериться лично, достаточно ли хороша его жена, чтобы из-за нее взять и изменить свой образ жизни.

— Добро пожаловать! — произнес он наконец, очевидно решив, что она хороша достаточно. В тишине покоев его голос, не очень-то и громкий, неожиданно загремел.

Енджи-ханум усиленно закивала.

Двое слуг внесли столик, еще двое — два мягких стула.

Велев ей сесть, Химкораса уселся на другой стул. Енджи-ханум покори-лась, определив, что муж ее не любит повторяться.

Химкораса подал подскочившему слуге свою мохнатую баранью шапку, выпрямился на стуле, уперев свои жесткие пальцы в колени. Продолжал внимательно и строго рассматривать ее. Голова его была выбрита до синевы. На костистом его лице с глубоко посаженными круглыми желтоватыми глазами, в тяжелом взгляде читалась некая боль.

Он уже был влюблен в трепещущую, ничего не замечающую Енджи-ханум.

— Ты что, обедки кладешь перед нами? — Химкораса оглянулся на стоявшего поодаль слугу. И сейчас голос его был негромок, но раздался резко.

— Как же, господин, вот оленина, вот костный мозг, сладости.

— Шучу, шучу...

Он это произнес скорее от смущения, и слуга прекрасно отличал такой тон от истинного гнева хозяина, но Енджи-ханум тут и вовсе оробела. Между тем друзья, прислоненные его взглядом к стене у двери, хихикнули — ибо это была шутка князя, — но не слишком, чтобы не растратить хороший смех до лучшей шутки господина. Они боялись его. Лишь прозрачная белая занавесь разделяла их с молодыми. Они стояли, готовые в зависимости от приказа начать веселиться или выйти прочь.

— Съешь чего-нибудь!

Енджи-ханум подняла свои большие глаза и взглянула на мужа. Он достал острый нож, разрезал мясо, положил перед ней мягкий кусок и сам взял другой.

— Ты, наверно, и свинину ешь? Мать твоя Дадиани, а Дадиани едят свинину! — силясь улыбнуться, спросил он скороговоркой, словно считал вопрос необходимостью и старался поскорее задать и избавиться от него.

Енджи-ханум обомлела. Не зная, что отвечать, снова подняла на него большие глаза.

— Шучу я, — улыбнулся он, затем, изменив тон: — Я очень уважаю владетеля Ахмуд-бея!

Он страстно сжимал острый нож в руке. Нож он взял в левую руку, а правую положил на ее ладонь и погладил. Рука Енджи-ханум невольно вздрогнула, и он, заметив это, еще более нахмурился и стал смотреть исподлобья.

Так и просидели молодые некоторое время: оба не знали, что дальше делать, оба не могли встать.

— Выпьем, что ли, — сказал он наконец.

Енджи-ханум испуганно закачала головой: нет, нет.

Заметив, что жена начала слишком бояться его, муж вдруг улыбнулся неожиданной для Енджи-ханум наивной, неумелой улыбкой. Сердце потеплело у Енджи-ханум, но самой ей не стало теплей. Она вся дрожала.

Потом опять долго молчали. Наконец Химкораса попытался встать. Но перед этим взглянул сквозь белую занавесь, ища глазами молочного брата.

— Ты знаешь, что положено, князь, — вполголоса произнес тот.

Химкораса кольнул невесту взглядом. Енджи-ханум медленно при- встала.

Его друзья, как ожившие изваяния, вздрогнули, засуетились, подались в дальний угол. Кто-то взял чонгур, кто-то запел песню, остальные подпели. Химкораса повел свою светлую жену к постели. «Так, наверно, надо!» — испуганно думала она, ступая ватными ногами. И только слышала, как гулко билось сердце. Он посадил ее на постель, провел рукой по ее волосам, локоть его коснулся ее груди. «Как? Как? При всех? При всех?» — с грустью думала она. Он осторожно положил ее на постель. Енджи-ханум закрыла глаза, руки у нее опустились, он коснулся жесткими усами ее щеки, он поцеловал ее в губы. Затем вдруг выпрямился, резко обернулся и четким военным шагом, стуча каблуками, вышел прочь.

А свадьба все продолжалась.

На другой день к вечеру во дворе и в пиршественных шатрах вдруг умолкли голоса. Енджи-ханум догадалась, что явился кто-то, кого здесь особенно ждали или не ждали вовсе.

Подруги ее подбежали к окнам. Енджи-ханум осталась стоять одна. Она хотела узнать, в чем дело.

— Что вы там увидели? — спросила она не сходя с места.

Но девушки уже отошли от окна и глядели на дверь. Енджи-ханум вздрогнула, Енджи-ханум растерялась и тут же поверила, навсегда уверовала в чудо.

В дверь вошел тот, который предстал перед ее глазами, когда брат объявил, что выдает ее замуж... Юноша, гонявший табуны из-за хребта, предводительствуя молодцами, отчаянный горец с норовом дикого коня. Это был именно он, представлявшийся ей в тот вечер, это ему она посылала мысленный привет! Это его глаза засияли ей из темноты, когда, почуяв ее привет, оглянулся явленный в видении ей юноша! И одет-то он был так же, как и в ее видении: во все старое, простое, но при этом оружие его было богато и сверкало. Он был молод, лет двадцати пяти, а то и меньше. Был он тонок и гибок станом, но видно было, что юноша силен и ловок. Он подобен луне, сказала себе Енджи-ханум.

Юноша, который займет в следующих наших повествованиях больше места, чем в этом, сейчас, словно задумавшись, замер у дверей. У девушек

при виде его засияли лица. А что касается невесты, она, забыв о посторонних, смотрела на него во все глаза и улыбалась.

Он был горец без упрека. Под пристальным взглядом невесты он чуть смутился и тоже улыбнулся, густо покраснев. Сделав общий поклон, он подошел к невесте.

Тогда одна из девушек взяла чонгур и запела. Юноша узнал песню о себе и еще гуще покраснел: он был польщен.

Не давший птицам их на ветвях усесться,  
Не давший матерям их воспитывать детей —  
Вчерашний гость наш Золотой Шабат, —

пела девушка. Остальные стали подпевать ей. По тому, как они ладно пели песню, Енджи-ханум догадалась, что песня была ими давно любима.

Юноша покачал головой, как бы говоря: зачем все это сейчас?

В мотиве песни была какая-то скорбь и тоска, словно страх утраты обманывал темные силы, отваживал их, заранее оплакивая любимого.

Офицерскими ребрами сплетавший плетень,  
Генеральскими ребрами окаймлявший плетень —  
Вчерашний гость наш Золотой Шабат!

Шабат принес в дар невесте ожерелье из драгоценных камней. Енджи-ханум не сумела скрыть, что подарок ей пришелся по душе.

— Кто этот чудесный юноша? — спросила Енджи-ханум после его ухода.

— Брат мужа твоего, Шабат, госпожа.

— Это его называют Золотым Шабатом?

— Именно его, госпожа.

— Что он такого сотворил, чтобы о нем пели, чтобы его прозвали Золотым, словно он Ажвэйпша — божество охоты или Заусхан — божество осы? — спросила Енджи-ханум.

Девицы, задетые словами госпожи, страстно, перебивая друг друга, заговорили о Золотом Шабате:

— Как же ты могла не слышать о Золотом Шабате, в котором семь красных змей!

Енджи-ханум слушала щебет девушек как в полусне. Они, перебивая друг друга, говорили и говорили о Золотом Шабате. Княжна устала поворачивать голову то в одну, то в другую сторону. Много из услышанного о нем похоже было на небылицы. Но нечаянно поняла она одно: здесь все, в том числе и эти девушки, думами и сердцем были с этим абреком.

— Стало быть, Золотой Шабат — враг всех, на чьих плечах эполеты? — спросила она.

А они, обрадованные, что она их поняла, дружно воскликнули:

— Да, да, госпожа!

— Стало быть, он и моему мужу враг?

Девушки растерянно поникли головами, поняв, что сболтнули лишнее.

А Енджи-ханум нужно было, чтобы румянец, занявший ее щеки, девушки приняли за румянец гнева.

— Стало быть, — продолжала она, все больше и больше загораясь, и на зардевшихся ее щеках с обеих сторон образовались пунцовые ямочки, так что она предстала девицам в том виде, который сводил с ума несчастного Соломона. — Стало быть, ваш Золотой Шабат — враг и моему брату? Ведь мой светлый брат, как и положено владетелю Абхазии, в самом высшем чине!

Девушки растерянно молчали.

— Твой брат тут ни при чем, княжна!.. Твой брат — да будет благоденствие его вечно! — светлый господин наш, и его имя произносят первым, когда обращаются к богам с сердцем и печенью жертвенных животных в руках, — наконец тихо сказала старшая из них.

Енджи-ханум хотела возразить, но слово замерло и растаяло на кончике ее языка. Ибо тут же подумалось ей, что девушки могут испугаться, замкнуться и после этого выведать что-то у них можно будет только силой. А она хотела знать все; она решила стать здесь хозяйкой и властительницей. К тому же об этом самом Золотом Шабате ей хотелось все время слышать, и она не могла объяснить себе почему. Енджи-ханум присела. Девушки, растерявшиеся было, думая, что госпожа обиделась, заметили, что она задумчиво улыбается чему-то, и перевели дух.

Мать Маршанов, Берзег Гупханаша, была древней и вешей, как ворон. Говорили, что она дьявольскими кознями обманула самого бога смерти и он уже не может ее поторопить. Никто не мог сказать, сколько старухе лет; считалось, что ей далеко за двести. Все Маршаны без исключения называли ее Древней Матерью, но вряд ли кто-либо знал, она мать отца их деда или мать деда их деда. Высохшая, кожа да кости, она сживала в мягком кресле. Воды и вина не пила, за день довольствовалась кусочком сухой лепешки.

По обычаю, мать живет в доме младшего сына. Но у Шабата и Ешсоу, младших из братьев, не было своих домов, и Гупханаша жила в доме Баталбея. Это было не так-то близко от белого замка Уарды, но разве могла свадьба Химкорасы пройти без Гупханаша! Ехать верхом, конечно, Мать была не в состоянии, и когда пришел день свадьбы, для нее соорудили нечто вроде носилок и, водрузив на них кресло со старушкой, понесли ее в Уарду. С утра до вечера преодолевали они путь, который обычный мужчина мог пройти в три часа. Часто приходилось останавливаться.

Старуха быстро уставала, и носильщики сходили на обочину. А когда снова пускались в путь, люди высыпали на дорогу, чтобы увидеть воочию Берзег Гупханашу. Дети бежали рядом с носилками, старшие шли чуть отставая. Издалека могло показаться, что несут покойника. Но та, которую несли, беспрестанно острословила. Язычок ее трепетал во рту — единственно живой и влажный. Поравнявшись с очередной поляной, по приказу старушки шествие останавливалось; сходили на поляну и устраивали хоровод. Аурааша<sup>4</sup>, не дергайтесь, словно вы ачипсе, не важничайте, словно вы бзыбцы, не шипайтесь, словно вы абжуйцы. Старушка глядела на хороводивших и шевелила губами. Пусть попляшет босая голь, небось не растрясут они свои пустые желудки. Аурааша. О, древний Маршан Адлагико, придет домой — вши заедают, выйдет из дому — займодавы облепляют. Древний Маршан, зовущийся Адлагико. Адлагико был ее муж. А может быть, не муж, а даже свекор, а может быть, и сын. Аурааша. Когда старушка начинала говорить, спутники наклонялись к ней, подставляя ухо, затем громко произносили народу ее новую остроу. Семь раз останавливались на пути. Даже перейдя Багадский мост, даже будучи уже на подступах к замку Уарде, пришлось передохнуть еще три раза. Поднимая руку, тонкую, тоньше палки, она благословляла обгоревшие жилища, детей, босиком ступавших по грязи. Благословляла нищие селенья, крестьян, тревожно поглядывавших вниз, на равнину. Нимирах-чимирах<sup>5</sup>. Как бы снова не двинулись сюда полчища, катя пушки, посверкивая на солнце штыками, опустошать и без того пустые амбары, угонять и без того худой и малочисленный скот. Нимирах-чимирах! Спалить хижины, которые давно уже строятся кое-как: все равно завтра сожгут.

К вечеру наконец донесли ее до белого замка Химкорасы. По пути она раздала все золотые вещи, затем сняла шубу (ее закутали в одеяло), шагреньевые башмачки подарила какой-то девчонке (ноги закутали полотенцем), отдали коврик (на носилку постелили облезлую бурку). В белом замке Уарды все были сыты и согреты. «Теперь, наверно, я здесь и умру, вряд ли живой донесете меня обратно до Латы», — сказала она, когда ее наконец сгрузили. Одна из служанок, пожилая женщина, усмехнулась, услышав это. Точно так же привезли старушку сюда пятьдесят с лишком лет тому назад,

<sup>4</sup> Припев абхазской хороводной.

<sup>5</sup> Слова заклинания.

когда женили Даруко, отца Химкорасы. И тогда старушка сказала то же самое.

Прежде чем увидеть невесту, гости поднимались на поклон к старухе. Так было заведено. «Тут другая невеста у нас имеется, ха-ха-ха». Химкораса то и дело появлялся из укрытия, где должен был прятаться жених. Те, кто не знал Берзег Гупханашу, поднимались к ней, убежденные, что увидят мощи старухи, онемевшей и прикованной к постели. Но не успевал очередной гость зайти в просторную комнату, как Гупханаша, которая восседала в кресле закинув тощую ногу на ногу, взглядывала на вошедшего востренькими глазками и, спросив служанку или узнав его сама, тут же бросала ему острое слово.

Когда к ней зашел владетель Убыхии<sup>6</sup> Адаго Хаджи Берзег, она произнесла: «Егей, маленький отпрыск больших моих братьев, что кидаются с мечами на морские волны; убых — длинная ветвь, щеголеватый Берзег со сломанным рогом». А Адаго Берзег, говорят, тут же ответил: «Егей, древняя моя тетушка, пропадающая сестра Берзегов, дочь ворон, сноха грачей, этот свет от тебя устал, а тот свет тебя заждался». После этого, говорят, старушка привлекла его к себе и, благословив, поцеловала в голову.

Он-то нашелся и ответил, но другие чаще всего, услышав что-то в этом роде, замирали на месте, растерянные, принужденно посмеиваясь. И, разумеется, быстро оттуда вылетали.

Обо всем этом говорили мне согласные друг с другом Хатхуат, Амзац и Шунд-Вамех.

Было за полночь, когда она добралась до постели. И сегодня, простояв весь день, она была так утомлена, что ломило кости и отнимались руки и ноги. Но все ей было нипочем в эту ночь.

Она лежала закрыв глаза, но перед ее взором проносились и проносились непослушные картины, одна соблазнительнее другой. Она хотела видеть только мужа, который вот-вот должен войти, но перед ее взором мелькал Золотой Шабат: оборачиваясь на скаку, он посылал ей полный намеков взгляд. Но эта картина сменялась другими, менее значительными, картинами минувшего дня и потому не смущала ее. И были эти картины как бы вне ее, а сама она лежала, думая о том, кто должен вот-вот войти, лежала нетерпеливая, готовая расплакаться, ворочаясь, изредка даже открывая глаза и поглядывая на дверь. Но пришел он все-таки незаметно. Она даже вздрогнула от неожиданности, увидя его. Он стоял над ней весь в белом. Она вздохнула тихо, чтобы он не услышал. Отодвинув полог, он приблизился к ней. Застенчиво прикрыл рот ладонью и кашлянул. Но не спала она, ждала его! Он решился присесть на край кровати. Она не шевелилась. Не помнила она сейчас ни того, что он не понравился ей с первого взгляда, ни того, что он не шел ни в какое сравнение с тем... — тут она прерывала мысль, — ни того, что целый день вспоминала его с раздражением. Сейчас ее рассудок молчал. Готовая, собранная, закрыв глаза, она ждала.

Он нагнулся и, как вчера, прикоснулся губами к ее щеке. Она вздрогнула. Потом... Дай свое благословение, Золотая владычица Анан<sup>7</sup>! Все существ во ее застенчиво пошло навстречу законному наслаждению. Чего же он тянет, бедолага? Дай свое благоволение, Золотая владычица Анан! Почему он задумался, почему он мешкает? Где ей было знать, что не мог он спешить в этот миг и задумался, изумленный тем, что не почувствовал себя способным спешить. Помогите мне, Ах-ду<sup>8</sup>, в чьей власти мужество, рождение и развитие. Даю обет: принесу тебе в жертву лучшего своего быка. Помогите мне, Ах-ду! Он глядел на нее, и в полутьме она казалась ему печальной, она была вся свеченье, мерцающее, дрожащее. Сердца их стучали, как бы нагоняя друг друга.

<sup>6</sup> Страна, до конца XIX века расположенная на территории нынешнего Большого Сочи.

<sup>7</sup> Богиня пчел, покровительница женщин.

<sup>8</sup> Божество Великий Фаллос.

Это слышала и она. Сладкая боль прощения и любви встала поперек горла, опять с раскаяньем она вспомнила, как плохо она думала о нем вчера. И он, темноокий, жесткий, холодный, сейчас стал, как ей показалось, мягким и нежным. Она почувствовала на сердце радость. Мягким-то и нежным он стал, но знала ли она, что не мягкость и нежность могли сейчас утолить ее сердце и не это он искал, бормоча и вслушиваясь в себя.

Дай мне силы... Ах-ду... лучшего быка из стада... Он не верил тому, что случилось с ним. Не хотел он верить в то, о чем и не подозревал до сегодняшнего вечера, во что и сейчас не верилось гордому горцу. Прошло бесконечно много времени. А он все вслушивался в себя. Постепенно она привыкла к его рукам, бесплодно скребушим по ней, как щенок по коврику.

Она догадывалась, в ней все ожесточенней боролись жалость и раздражение. Благодаря маленькому опыту с Соломоном и сплетням нянек она кое о чем знала. Догадывалась, что в ее власти было ему помочь, но этого ей не позволяли гордость и невинность.

В тишине раздавалось только частое дыхание обоих.

Вдруг издалека до слуха ее донесся раздражающий душу лесной крик.

— Шакалы бродят... — выдохнул он, надеясь, что на мгновение возможно отвлечь ее мысли на что-то другое, желая выиграть время.

Даже это поняла она.

«Я тебя не спрашиваю, ходят ли шакалы, несчастный!» — подумала она, обуреваемая тоской и стыдом, смущением и раздражением, постепенно приходя в себя.

На другой день с утра Химкораса не показывался невесте. Он ждал ночи. А на третье утро встал до рассвета, побрил голову, оделся и уехал в путь. Около двух недель его не было. Он ходил к далеким селеньям. Вернулся, снова уехал. Бывал дома ровно столько, чтобы не возникли досужие разговоры. А жить в родном доме не мог. Совершенно охладел к белому замку. Юная жена его и он застенчиво прятали друг от друга глаза.

Ездил Химкораса, но не напрасно ездил. Он сносился с жрецами, вещунами и знахарями. Потом стыда покрывался его лоб, когда он говорил с ними, но делать было нечего. Белолобой львице была подобна его жена, но была она ему недоступна, как недоступна небесная звезда. С этим надо было покончить, и он повадился к мудрецам. Это держалось в тайне: каждый знал, что его ожидало, если бы он выдал Химкорасу Маршана.

Предложили ему принести жертву Ах-ду, и он самолично выбрал лучшего быка из лучшего своего стада и в сопровождении молочного брата и чистого старца на рассвете направился в лес Малой Уарды. Молочный брат держал веревку, князь погонял, жрец шел впереди. Отринув гордыню, Химкораса самоотверженно погонял быка. Рога у быка были увенчаны восковыми свечами.

Дойдя до поляны, затерянной в лесу, разожгли костер. Химкораса и молочный брат повалили быка, старец вынул освященный нож и перерезал жертвенному животному горло. Химкораса взял головешку и окунул ее в кровь.

Поджарили сердце и печень.

Сквозь ветви деревьев солнце протягивало длинные лучи к поляне. По этим лучам поднимались ввысь воскурения и дым. Жрец стоял, держа один край полотенца в правой руке, а другой край перекинув через левое плечо. Он взял сердце и печень и велел Химкорасе встать на колени. В безмолвии леса князю показалось, что и другие слышат его сердцебиение. Подняв полные надежды глаза, он посмотрел на старца, но тут же, смутившись, отвел взгляд.

Все трое, задумчивые, с печатью мудрости на древних лицах, прочли молитву и вкусили сердца и печени.

Князь и молочный брат, разделав тушу быка, понесли мясо к дому жреца.

После этого Химкораса около недели побыл дома, но потом ему снова пришлось уехать. За морской поход на шапсугов он получил большую бронзовую медаль. Отважный, он шел впереди с шашкой наголо, являя всей презренной милиции<sup>9</sup> горское мужество. Затем снова нашел жрецов, вещунов и знахарей. Ему сказали, что надо принести жертву Луне, доле семидольного Айтара. Он и это исполнил. Велели дойти до подножья благословенного святилища Инал-Куба. Он исполнил. Кинув ему несколько половинчатых ночей, снова забывали о нем могучие боги, которым он приносил жертвы. Но эти половинчатые ночи были.

Химкораса не шадил себя. Его повысили в чине. Сам царь услышал о его военных подвигах. Разумеется, царю доложили. «Прапорщик князь Химкорасий Моршаний искренне предан престолу», — писал главнокомандующий войсками на Кавказе генерал барон Розен военному министру Чернышеву. Снова посетил Химкораса жрецов, вещунов и знахарей. Спросили, не имел ли прежде дела с женщиной. Он ответил, что никогда не имел, если не считать редких исполнений прав и обязанностей князя. За джигетский поход он удостоился ордена Станислава третьей стéпени.

Ты преступал клятву, сказали жрецы, вещуны и знахари. Ты вот говорил, что, пока кровь кипит в твоих жилах, будешь врагом царя, а теперь принял от царя чин и золото. Так что же делать? Чего проще: выбери жертвенное животное, изготовь большую свечу, приди на то место, где давал клятву, и откупись, ибо не клятва на Коране и Библии истинна для горца, а клятва Богам пред лицом Святилищ.

Химкораса продолжал уничтожать своих быков. Удостоился Станислава второй стéпени.

А прелестная Енджи-ханум с первого дня, как привели ее в Уарду, мечтала, чтобы слово ее приобрело вес в округе, и потому была чрезвычайно расстроена отношениями с супругом. К тому же Енджи-ханум чувствовала явно, что ни у кого из окружавших ее здесь не лежала к ней душа. Не то что не лежала душа, она замечала, что и слуги, и новая родня, и соседи — все испытывали к ней нечто вроде неприязни и страха. Странно это было для княгини, еще недавно всеми любимой и балуемой. Она сладко глядела, сладко говорила, раздавала подарки. Но и щедрые подарки принимали от нее настороженно, словно боясь, что придется за них расплачиваться. Енджи-ханум не понимала, в чем ее вина. Она часто, спрятавшись от всех, плакала и становилась все злей и злей. У нее здесь не было близкого человека, кроме молочной сестры — жены молочного брата Химкорасы. Все слушались госпожу, подчинялись малейшему движению ее бровей, но она не обрела доверия. И приходила в отчаяние. Енджи-ханум не знала, что весь Дал к этому времени повторял слова, сказанные ее прапрадсвекровью Берзег Гупханашей. А говорили вот что.

Берзег Гупханаша, впервые увидев сноху, говорили, долго сидела держась за голову. Затем, удалив всех, позвала доверенную женщину и приказала ей:

— Когда сегодня ночью невесту выведут по нужде, выследи и отметь место, где она помочилась!

Та исполнила приказание старушки и рассказала ей, что увидела. На том месте, где помочилась невеста, трава была выжжена и земля обнажилась.

— Егей, это не к добру, — сказала Берзег Гупханаша. — Из-за нашей невесты быть сожжenu урочищу Дал!

Доверенная женщина, как и положено доверенной женщине, хранила эту тайну ото всех, кроме своей доверенной женщины, и вскоре об этом знал весь Дал. Дальцам сотню лет как известно было, что у старушки дар предвиденья. Все поняли, что Енджи-ханум ступила в их край дурной ногой. А время было опасное.

<sup>9</sup> Народное ополчение.

Прошло полгода; Енджи-ханум ничего губельного для Дала еще не сотворила. Напротив, считала себя во всем обманутой. Если бы она была в положении, тогда, по обычаю, пору беременности она могла провести в отчем дому.

Она села и написала письмо брату, владельцу Ахмуду. Четыре листа исписала мелкими буквами с обеих сторон. Писала по-русски, чтобы лазутчики не смогли прочесть. Любезному брату моему Светлейшему Князю Михаилу Георгиевичу Шервашидзе, Богом избранному Владетелю Абхазского края.

Ахмуд расчувствовался, прочитав письмо сестры. В начале письма сестра писала, что ей здесь скучно, что ей здесь страшно, и, как малое дитя, просила забрать ее домой. Из прочитанного, однако, он смог догадаться, что в голове сестры уже появляются мысли, как бы упрочиться на новом месте в качестве истинной госпожи. Уже начинал сказываться нрав женщины из рода Чачба.

Понял из письма он также, что беспокойно настроение в Дале, настолько беспокойно, что это стало заметно даже неопытному взору его юной сестры.

Он несомненно знал, что Маршан Шабат Золотой тайно готовится к новому восстанию. Не напрасно владелец по наущению Георгия рассылал по селеньям лазутчиков.

Лиши ее сна, благословенное святилище Дала. Лиши ее сна, эту ведьму!

Не то что мне, излагающему этот сказ про сестру владельца и дальцев, услышанный мною под дубом в селе Лата от Хатхуата, Амзаца и Шунд-Вамеха, но и великим мудрецам, водящим пером по бумаге пред лицом падишаха, не под силу рассказать, что таится в душе женщины. А не просвещен я, забытый всеми смертями, только научился кое-какому письму, будучи аманатом в горской школе Сухум-калэ. И, пытаюсь одеть плотью письма великие истории, что поведаны мне, я боюсь сейчас, как бы эта плоть не стала чуждым наростом.

Великое божество абхазов, помоги же дальцам! Ибо истинно то, что не в силах услужить они своей маленькой госпоже. До глубокой полуночи она изволила читать книгу. В десять утра просыпалась, к одиннадцати ей готовили чай. Истинно, не рождалось ни до, ни после среди носящих косынку обладательницы подобного стана. Кормили ее овечьим курдюком, обсыпав его русским сахаром. Обували ее лишь в истамбульские чувяки на китайском шелке. Никому не позволялось на нее заглядываться, чтобы сторонний взгляд не испортил цвета ее лица. Ни на кого не позволяли ей заглядываться, чтобы она не переволновалась. И все смотрела она на дверь в ожидании гостей с подарками. Брат ее мужа Шабат с намеком привез ей в дар скопца Мустафу, черного арапа. Стены крепости Уарды, ее одиночество и неприязнь людей тройным кольцом окружили Енджи-ханум, обойденную счастьем.

«Кто этот прелестный юноша?» — нарочно спросила Енджи-ханум, чьи глаза не всем было дано узреть. «Это брат супруга твоего, Золотой Шабат, в котором семь красных змей», — сказали ей. «Вот кто был бы меня достоин!»

«Все остальные просто лгали нам, а настоящий сын Даруков — это ты!» — сказала она ему. Золотой Шабат смутился, а как ушел, Енджи-ханум принялась, по старинному обычаю, шить одежду ему, с кем ушло ее сердце. Уж ткани-то ей хватило бы. В раздумьях о пленившем ее облике она не заметила, как ножницами поранила себе руки. Это стало известно, и пошли судить-рядить. Посещениям Золотого Шабата пришел конец.

И твердо решил Золотой Шабат захватить все урочище Дал, чтобы сподручно было ему заходить куда ему вздумается.

А между тем Енджи-ханум, чтобы стать ей последней дочерью из рода Чачба, завела другую привычку. За крепостью, где поток низвергался с утеса, она ложилась в гамак с мягкими перинами. Скопец Мустафа качал ее гамак. Когда в замке или окрест возникал какой-нибудь вопрос, управляю-

щий приходил сюда и спрашивал княгиню. Потому что уже взяла в свои руки власть Енджи-ханум. Пусть по воле твоей лишатся света глаза того, кто ослепил тогда дальцев, о сотворивший меня из небытия!

Солнечные лучи грели ее тело, ветерок умерял их горячность. Кожей ощущая нежность постели, кожей чувствуя прикосновение сладкого ветерка, лежала госпожа с потускневшим взором, словно утомленная любовью. Неустанно шумел поток, сливались птичьего голоса. Пчелы прилетали к цветкам на солнечном склоне, где поток низвергался с утеса. И Мустафу, сидевшего поодаль, клонило ко сну. Веревка, привязанная к гамаку, была накинута другим концом на его большой палец, его ленивые руки перебирали четки. Стукнет камень четок, и госпоже кажется, что протекло много времени, пока не прозвучит его стук во второй раз.

Наслаждаясь тишиной, сердцем и душой внимая голосам природы, слыша дыхание трав, она лежала на мягких перинах, и у нее кружилась голова. И даже кровь, казалось ей, лениво текла по жилам. Ни о чем не думала она, но то и дело хотелось беспричинно плакать. Иногда она поднимала голову, поглядывала на арапа Мустафу, словно видя его в первый раз, и на безмятежном ее лице случайно просачивалась улыбка — отблеск внутреннего смеха. И, снова положив голову на подушку, ленивым голосом она окликала оглушенную ножом плоть своего слуги.

«Поди-ка сюда», — говорила она. Скопец Мустафа вставал.

«Вот здесь», — говорила она слабым голосом. Арап Мустафа вздыхал и направлялся к ней, покачивая жирными бедрами. Подходил, словно она приказывала поднести ей воду, безо всякой охоты прикасался влажными губами к ее телу, свежему, как сыр, и возвращался к четкам.

Как-то некий пастух из-за солнечного склона искал коз, отбившихся от стада, и очутился на месте, где поток низвергался с утеса. Несколько коз, сопровождаемые звоном колокольчика на шее козла, топтали цветы на солнечном склоне. Вскоре появился и сам пастух, покрякивая «р-рейт! р-рейт!». Жалкий пастух, не подозревающий, что здесь кто-то есть, удивленно остановился и замер. Перед его глазами возникло прекрасное видение, как если бы на дне бурдюка блеснула золоченая Илорская икона. На фоне солнца, заходившего за склон, где поток низвергался с утеса, он увидел деву, прелестную, как дочь божества охоты. Он так и остался стоять с открытым ртом во взлохмаченной бороде. Скопец-арап, заметив пастуха, стал прогонять его, как пса, мыча и размахивая руками. Енджи-ханум, найдя чем отвлечься от скуки, подняла голову и, посмеиваясь, наблюдала за этой картиной. Пастух смутился и пошел прочь, даже про коз забыл. Когда он ушел, Енджи-ханум смеялась, Мустафа мычал и сердился, и стук его четок раздавался чаще.

Но разве пастух оставит коз: он вскоре вернулся туда, где поток низвергался с утеса. Мустафа опять гневался, и это очень забавляло Енджи-ханум.

— Приведи его ко мне! — выговорила она.

Бог да простит глупость тому, кто сказал, что понял женщину.

И арап, подобно хозяйке, которая перед приходом гостя еще раз оглядывает убранство светлицы, тревожно оглядел госпожу, лежавшую в одной рубашке да еще наполовину откинув тонкое одеяльце, и со вздохом помянул пастуха. Пастух испуганно заковылял к ним.

Енджи-ханум присела в гамаке, посмеиваясь и рассматривая пастуха лукавыми глазами. Погиб, о, погиб считающий, что понял женщину! Она оглядела его лучистыми глазами от презренных ног до презренной головы, подобно тому как светлое солнце льет лучи на ехидну.

— Завтра принесешь мне хорошей простокваши и козьего жиру принесешь! — сказала она, слепя его мозолистые глаза загадочной улыбкой.

Пастух повернулся и заковылял прочь, не веря увиденному.

На другой день он принес простоквашу. Принес и козий жир. Она спросила его имя. Скопец Мустафа глядел холодно и сердито. «Хуацвапакорри», — сказал он. Она не поняла. Пастуха звали Хылпацвгя-йпа Клангерй, да не мог он выговорить членораздельно. Легко ли сорок лет пастушить в глуши. Даже говорить разучился пастух.

Простокваша была хороша, и козий жир был белее снега. Об этом Енджи-ханум сказала пастуху. Недели даже не прошло, как его козы снова появились на солнечном склоне. Не успели они появиться, как вслед за ними выскочил и пастух. Очень рассмешила Енджи-ханум хитрость пастуха. Так было на второй день и на третий. Скопец тут же прогонял его. Госпожа хохотала. Арап оборачивался к ней, и плоское его лицо было полно упрёка.

Пастух появлялся, скопец его гнал, госпожа смеялась. Это стало для княгини своеобразной игрой.

Енджи-ханум покатывалась со смеху. Глупый, глупый скопец Мустафа, даже к ничтожному пастуху ее ревнует. Каплун и не знает, что этим еще больше распалает меня. Самое смешное, что пастух, прикидываясь дурнем, сам приходит каждый день.

Все ближе становилась та черта, за которую Мустафа не пускал пастуха.

Если выдубленные солнцем его мозги могли рассуждать, то какая-то мыслишка заворочалась в башке пастуха. Он слышал, что пастухам иногда являлись дочери божества охоты — нимфы. Старым пастухам и охотникам. Ведь и он в этом году из тысячи коз сто пустил в жертву лесу. В этом году пустил вот сто коз в лес. Чем он соблазняет госпожу, медвежонок каракулевый! Как бы он испугался, узнай, кто она на самом деле. Она рассмеялась звонко-звонко в расплавленном воздухе. Если бы мне знать, кто она такая. А кого тут спросишь! Ни с кем он не видится, кроме своего подпасака. Раньше его глаз можно было увидеть мох его бровей, взгляд его был шершав и прокопчен. Она провела рукой по его шершавой, как зазубрина на бревне, щеке. Пламенем обдало одичавшего пастуха. Даже Мустафа ухмыльнулся его скорому бегству.

Теперь он окончательно прорвал оборону скопца. Теперь он получил право приближаться к ней. Злоба кипела в нем! Кто бы ни была она, непременно уж из господ! Смеется над ним, не более! То, что она подпустила его к себе, бесило гончег пса Мустафу. Это было так смешно!

Енджи-ханум замыслила вовсе извести скопца. И вот в очередной раз появился обнаглевший пастух. Сейчас он привел и подпасака. Подпасок в последнее время был так послушен, что пастух решил показать ему чудное видение, которым его удостоило горное божество. Поди, поди ко мне, медвежонок мой! Это кто с тобой? Нимфа, что непреходящим видением терзала его непривычный к напряжению мозг, снова позвала его к себе. Но это не видение! Божественная дева, глаза ее говорили...

«Дойди-ка, мой каплун, до замка, присмотри за работниками!» — сказала она.

«Пойди-ка, парень, погони стадо за холм!» — сказал он.

Она пожаловалась на простуду. Поди знай, как умудрилась она простудиться в такую жару. Велела натереть себе козьим жиром подошвы ног и ребра. Пастух вспыхнул было. Он ни от кого не зависит! Он горец, он вольный, он никогда никому не служил. Пусть бы натирал ей тот, кого она спровадила. Но ей, нежной-нежной, как годовалый козленок, невозможно было отказать.

Он начал с пяток. Еще! Еще! Что «еще»? Можно подумать, что он обязан. Хотя бы лежала спокойно. Когда стал натирать ей ребра, это понравилось ему самому. Но она ворочалась, мешала. Его сердце потеплело, как свежезаготовленный сыр. И кровь в жилах познала неведомые ему доселе теплоту и волнение. Еще больше размягчился он, натирая ей грудь. Ручищи его, ни к чему, кроме держания пастушьею палки, не приспособленные, размягчились, но как она, бедовая, мешала! Мешала, вертелась, хватала его за руки.

Пастуха уже бросало в жар, у него кружилась голова. Мозг его трещал, как ледник в полдень. Он остановился в ярости. Он обливался потом. Он старался отдышаться. И ухмылка мелькнула на глупом его лице.

«Не обманываешь ли, моя госпожа?» — спросили его глаза.

«Не бойся же, мой дурачок», — ответили ее глаза.

В ночь на годовщину коронации Николая Павловича абрек-князь Шабат Моршаний самолично напал на укрепление Мрамба, где была расквар-

тирована одиннадцатая рота четвертого егерского полка на семьдесят ружей и три единорога. Он дерзко вступил в бой с целым отрядом, к тому же предупрежденным прапорщиком князем Химкорасием Моршанием о том, что хищник придет в это время и придет именно один. Он сражался. Когда раскалялась одна кремневка, брал другую; когда его ранило, бросался в бурный поток и, остудившись, снова кидался в бой.

И когда раскалилась его седьмая кремневка и он взял уже остывшую первую, его снова ранило, он снова бросился в реку, но встать уже не смог, потому что изменила ему, бежала из него одна из семи красных змей — змея неутомимости. И Шабат не смог встать, и злился на бурный Кодор, и боролся с его волнами. Второй ушла из него змея ярости. И уже он был покорен, уже не боролся с волнами, и волны его понесли. И он забыл своих врагов, а они с гиком бежали вдоль реки и искали его в темноте. А Шабат думал о славе, о почестях, о суровых скалах-богах, которым всю жизнь приносил жертвы, о кроткой жене своей Инал-ипа, о лукавых городах, где его учили и держали в тюрьмах. Он видел все это, пока не ушла из него змея земных радостей. И теперь он не думал о счастье, потому что не для счастья создан человек, а для того, чтобы смертью своей разгадать тайну своего рождения. А когда покинула его змея земных болей, ему стало легко и радостно, и он вспомнил тайный предмет своей страсти, Енджи-ханум, сестру его владетеля и жену его брата Химкорасия. Но покинула его змея любви, и со змеей одиночества он был одинок под пирамидальной горой Апянчей. Но покинула его змея одиночества, и река понесла его мимо горы Апянчи и несла его, пока не покинула его последняя змея — змея жизни.

Наутро сородичи бросились на поиски героя вдоль Кодора, нашли его гело, но не нашли душу. Пришли на берег женщины в белом, пели и просили непокорную душу Шабата вернуться в село. «Иди, ступая по цветам!» — просили его в песне. А когда они добрались до устья реки, то увидели над серым морем в сером небе серые облака, пронизанные серыми лучами заходящего солнца, — знак того, что война начнется и не кончится уже никогда.

Однажды, когда Берзег Гупханаша, по обыкновению, сидела в Латском замке у окна, глядя на дорогу, Химкораса галопом въехал во двор. Конь скользнул копытами по лужайке, всадник спрыгнул и, кинув поводья подбежавшему юноше, молодецкато взбежал по лестнице. Распахнув дверь, он вбежал в просторную комнату праматери и, выпятив грудь и раскинув руки, будто исполняя аджарский танец, пронесся по комнате:

— Мать, видишь мою новую медаль, Мать!

— Это ты, Химкораса? Приблизься ко мне!

Химкораса, добродушно улыбаясь, подскочил к праматери.

— Нагнись ко мне!

Уверенный, что она, как обычно, благословит его, он наклонился. Гупханаша подняла свою бамбуковую тросточку и стукнула ею по седой, как вершина Ерцаху, голове правнука.

— Что ты, Мать?

— Чем гоняться за медалями, присмотрел бы за женой!

Улыбка исчезла с его лица. Химкораса выпрямился. Он вспыхнул, смутился, задумался и быстро вышел из комнаты. В дверях он встретил Батал-бея. Батал-бей взглянул ему в глаза. Химкораса все понял и ждал ответа.

— Его зовут Хылпацвгя-йпа Клангери. Он пасет коз за солнечным склоном, где поток низвергается с утеса, — произнес Батал-бей потупившись.

Дальняя дорога ждала Химкорасу, и он, не задерживаясь в Латском замке и даже не захав к себе, сел на коня и ускакал.

А пастух в тот же день сорвался со скалы, и нашли его лишь неделю спустя. У пастуха были какие-то родственники, при жизни они его не знали, а сейчас, услышав о его гибели, объявились и решили сто коз из его

тысячного стада отдать подпаску, а остальное забрать. А подпасок настаивал на том, что у него была с хозяином договоренность и он должен получить двести. Пришли за судом к Батал-бею. Батал-бей разделил стадо поровну на всех: подпасок получил положенные двести коз, а двум братьям отдал соответственно по двести. Таким образом, он отдал спорщикам целых шестьсот коз. Оставшиеся четыреста, естественно, принадлежали князю, совершившему суд.

В Абхазии установилось временное затишье. Химкораса ушел за хребет. Перейдя перевал, Химкораса с горсточкой ополченцев неожиданно зашел в тыл чеченцам. Русские офицеры стали дивиться его мужеству в сражениях. Все это было подобно сну. Однако, дивясь его отваге и дерзости, все чувствовали, что жестокий и гордый горец может завтра же и свою отвагу, и свою дерзость обернуть уже против них. Все же Химкорасий Моршаний был представлен к высшей награде. Был приглашен к наместнику в Тифлис и обласкан. Лучшие дамы тифлисского двора были к нему внимательны, но он остался равнодушен. Ни к чему не лежала душа горца.

А в то же самое время Енджи-ханум пребывала в большой тревоге. Заронился в ее сердце страх перед мужем. Заронилось в ее сердце раскаяние. Вспоминая о случившемся, она вздрагивала с отвращением и, словно дразня кого-то, строила гримасы. А уж стоя перед зеркалом, корчила себе гримасы каждый раз. Неужто я схожу с ума, мать моя горемычная!.. Скопца Мустафу продала в Псху, считая, что это он раззадорил ее. Подлого пастуха и не думала жалеть. Только иногда ухмылялась, вспоминая его, словно наслаждаясь тем, что воспоминание так терзало ее. Начинала кружиться голова. Она хваталась за стену, разноцветные искры ударялись о видение, возникавшее перед ее глазами, и разбивали его. «Как я каюсь, мать моя горемычная, даже подташнивает», — думала она. Ее тошнило, кружилась голова. Даже когда ни о чем не думала. Хоть бы молочную сестру спросить, да неловко. В довершение всего то и дело тянуло к солоному. Раньше не любила. Желала кислого яблока. Без видимой причины начинала плакать. Качанье в гамаке у солнечного склона прекратилось давно.

Вот уже два месяца продолжалось это состояние. Она уже догадывалась, в чем дело. Прокляла себя Енджи-ханум. Прокляла того, кто был в ней. Надо было что-то делать, надо было вызвать знающую старуху. Но не было решимости и сил, а время шло и шло. Больше прежнего стала она сонливой и чувствительной. Услыхала журавлей, они улетали. Она подошла к окну-бойнице и поглядела. Глядела и плакала. Как раз в это время муж наезжал в Лату, а домой не зашел. Она знала, что это он учинил расправу над пастухом. Пустая, одинокая, она осталась в замке среди чужих. Разумеется, здесь все были ей послушны, но, конечно, не из любви. К тому же Енджи-ханум чувствовала, что за стенами замка беспокойно. Тревожно было на душе Енджи-ханум.

Раз она сидела в своих покоях, полная тоски и ненависти к себе, и услышала снаружи какие-то голоса. Княгиня сначала не обратила внимания, у нее хватало своих тревог, но голоса не только не унимались, но все более усиливались. Вызвала молочного брата Химкорасы, которому в отсутствие князя было поручено охранять замок. Он явился. Енджи-ханум стало не по себе.

Это бунт простолудинов, они подошли к воротам. А чего им надо? Что ты стоишь понуришь голову, скорее говори, в чем дело! Народ услышал, будто владетель с войском собирается идти на Дал. Проклинают госпожу, да наполнятся кровью их глотки, осмеливаются говорить, что не хотят ее видеть, что она накликала на них беду.

Гневно вскочила Енджи-ханум. Длинные каштановые волосы ее были собраны узлом на затылке. Соболь был накинута на плечи. Платье на ней было цвета травы. Позвякивая драгоценными бусами и серьгами, она направилась к дверям.

— Сейчас же пошли за приставом!

— Не стоит, моя госпожа. Зачем раздражать и без того раздраженный народ. Мы сами в состоянии решить свои дела.

Тогда я сама желаю говорить с ними!

Пунцовая от гнева, она пошла по лестнице вниз, стуча деревянными каблуками по ступеням. Проходя, заметила, что люди, назначенные охранять замок, возились у бойниц с пушками, готовясь к защите. Молочный брат князя, идя рядом с ней, попутно давал распоряжения. Внизу шумели. Преодолевая головокружение, она поднялась по ступеням на стену и взглянула вниз. Еще более разгневалась Енджи-ханум. Толпа людей собралась внизу, бряцая оружием. Позади стояли всадники. Это были ачипсе и айбги, приехавшие на подмогу смутьянам.

— Выйдем поговорим с ними. Я хочу узнать, чего им надо.

— Это опасно, госпожа. Лучше вызвать сюда послов.

Так и сделали. Поднялись трое. Впереди шел старик.

Не по себе стало Енджи-ханум, когда она заглянула в их мрачные глаза. Она смутилась, но злость была сильнее. Оглядела послов. К княгине были обращены их лица, исхудалые, полные тревоги и горя. Надо было говорить. Но она не знала, что сказать. Вдруг на глаза госпожи навернулись непокорные слезы.

Высокая, ослепительная стояла Енджи-ханум, платье ее цвета травы облегалo стан, и уже было заметно, что она в положении. Старик, стоявший впереди, провел рукой по бороде и взглянул на Енджи-ханум, в которой боролись гнев с желанием разрыдаться. У старика изменилось выражение лица.

— Да перейдут на меня твои боли, княгиня, — сказал старик.

Слезы медленно потекли по щекам Енджи-ханум, но она не закрыла лицо руками, а продолжала стоять прямо, высоко подняв голову и сжав кулаки.

— Госпожа, мы не хотели тебя огорчать. Но твой брат снова решил нас разорить. И мы не ведаем почему, — заговорил старик.

Енджи-ханум обернулась к молочному брату мужа. Она уже не плакала. Молочный брат понял ее.

— Почтенный Бадра, — сказал он, обращаясь к старику. — Госпожа, невеста наша, просит позволения заговорить при вас, старших.

— Пусть говорит, — кивнул старик.

Енджи-ханум хотела показать им свою власть, ведь по их вине она расстроилась, более того — расплакалась, явив им свою минутную слабость. Она собиралась говорить с ними резко. Но в это время ток пробежал по ее телу, она вдруг умиротворилась, и все существо ее тут же исполнилось ликования. В это мгновение в ней зашевелился ребенок, что чудесным плодом зрел в ее утробе. Что-то сладкое и слезное наполнило ее сердце, и снова ток пробежал по ее телу. Засияла Енджи-ханум. Затем уже само заговорило ее умиротворенное существо:

— Мне, по обычаю, не следовало бы говорить в вашем присутствии, но, если простите и позволите, вот что скажу: я не верю, что мой брат желает гибели и разорения подвластного ему народа.

Послы вздохнули. Этот вздох означал, что не будь она женщиной и не будь в положении, то они стали бы возражать. Но Енджи-ханум видела и слышала не их, она внимала и покорялась своему неожиданно умиротворившемуся существу. И при этом прислушивалась, не шевельнется ли еще раз ребенок, поспевавший в ней чудесным плодом.

— ...но если бы это даже было так, все же я уже принадлежу не брату. Я желаю достойно служить народу, среди которого мне выпало жить, народу, имени которого даже не смею произносить. Поверьте, что к этому направляю я сердце и помыслы.

— Будь ты счастлива, дочь рода Чачба! — воскликнули послы.

Молочный брат Химкорасы радостно и удивленно глядел и слушал Енджи-ханум

— И если впрямь будет радость — хочу я радоваться с вами и среди вас, покорная и любя свою судьбу. Но если боги будут злее и нашьют беду; я хочу горевать и страдать с вами, когда буду, вашей милостью, достойна этого.

— Будь благословенна, дочь рода Чачба, — сказали послы.

И, не говоря более ни слова, они собрались повернуться и уйти.

Но Енджи-ханум была на подъеме.

— Люди! — воскликнула она, не узнавая своего голоса. — Вы не должны так уходить. Господина нашего дома нет, но тут находится его молочный брат. Входите к нам, добро пожаловать.

Послы остановились в нерешительности. Они не предполагали такого оборота дела и не знали, что ответить княгине.

— Входите в наш дом. Я видела, что с вами гости издалека. Пусть не думают они, что белый замок Уарда закрыт для народа! — и затем, обернувшись к молочному брату мужа: — Открывайте ворота!

Сказав это, она пошла вниз, стуча каблуками по ступеням.

Молочный брат Химкорасы удивился было — ведь госпожа никогда не говорила с ним так властно, — но тут же, не переча ей, кликнул бойцов. Ворота со скрежетом распахнулись настежь. Послы в сопровождении молочного брата Химкорасы вышли к народу, и гости хлынули в ворота. С бойниц пальнули пушки, выпуская белый дымок. Но эти выстрелы извещали о пире.

В этот день в белом замке Химкорасы, сына Дарукова, открыли все двери. Распечатали кувшины, в которых хранилось вековое вино. Воины, которые должны были оборонять крепость, засучили рукава, чтобы обслужить гостей. Закололи быков. Сама госпожа, блистая красотой, вышла прислуживать гостям, но разве допустили бы это ачипсе и айбги, знавшие место встречи горного орла с морским орлом. Пили из кубков за здоровье Химкорасы Маршана, владельца белого замка Уарды. Пили за его прелестную супругу Чачбу Енджи-ханум. Пили за Абхазию, синеющую между морем и горами и никогда не знавшую рабства. И о том, что это не вымысел, рассказывали мне Хатхуат, Амзац и Шунд-Вамех.

— Мы пустили в крепость вооруженных людей, госпожа, но уйдут ли они мирно? — сказал молочный брат Химкорасы. — Их много, а у меня воинов мало.

— Нет, брат господина нашего, горцы не переступят через хлеб и соль, — ответила ему Енджи-ханум.

Так оно и случилось. Гости попиروвали и ушли, довольные, славя поступок подруги жизни Химкорасы, сына Дарукова. И прославилась Енджи-ханум и стала в чести у народа.

Но сама-то она не могла преодолеть свою боль и тревогу. Теперь, когда она уверилась, что чего-то стоит, еще больнее стало ей ее падение. Как бы она встретила мужа, когда он, усталый, вернется издалека? Он взглянул бы на нее, стройную, в платье цвета травы, и смущенно она опустила бы глаза. Ведь сейчас она могла бы вернуть его крови потерянное мужество. С какой бы радостью она понесла ему навстречу радостную весть...

И здесь обрывались ее мечты. И становилось еще хуже. И кружилась голова. Она наложила бы на себя руки, если бы при этом погибала только сама.

И пока она терзалась, вернулся муж. Печальный, поднялся он по лестнице, через семь покоев пронес он свою усталость, мечтая, как и все мужчины мира, чтобы женщина стояла у очага и ждала его возвращения. За семью покоями он увидел свою жену. Она стояла у очага в платье цвета травы. Заметив ее в конце просторных покоев, ослепительную, статную, он поднял свое утомленное лицо. Белая бурка, которую он волочил за собой, выпала из рук.

И тогда заметила Енджи-ханум, как схож ее супруг с несокрушимой древней крепостью. Стоял он обветренный и твердый.

Она отбросила каминные щипцы. Подбежала к нему, подбежала, уронив на ходу золоченые башмаки на деревянных каблуках, упала перед ним на колени, увлажняя слезами его шершавые руки и целуя их. Забывшись, она целовала его руки, стоя перед ним на коленях, и слезно про себя просила его, чтобы он помог ей омыться в чистоте, наполнившей ее сейчас,

и чтобы он все понял, все простил не земным прощением, что не более как избавление от наказания, а неким высшим прощением, которое просят у божества.

Дрогнуло сердце воина. Никогда до сегодняшнего дня женщина не становилась перед ним на колени, не целовала его рук. Кроме того, Химкораса, воспитанный на благородных правилах, смущался женских слез. Он не знал, как поступить и что сказать.

Она не заметила, как помрачнел его взгляд. С отвращением взглянув на распростертую перед ним жену, он захотел наступить на нее и придавить ее к каменному полу. Потом схватился за кинжал. Но в этот миг подул сильный ветер и настужь распахнул все ставни. И в ушах просвистели вырванные из тишины шумы. И он увидел, понял душой и телом, что, опьяняя, словно крепкое вино, пошло по жилам, кружа голову, неожиданно вернувшееся к нему мужество. И понял он, что оно вернулось навсегда. И ему показалось, что он вдруг пробудился от колдовского сна. Он смягчился, растрогался, но рука медленно вынимала кинжал из ножен.

Ветер был сквозным, он стучал ставнями. Но это был не просто ветер. Понимал воин, что это собирается и возвращается его мужество.

Еще медленнее выходил кинжал из ножен.

На берегу Кодора на красивом холме, покрытом зеленой травой, стояла крепость цвета воска. Не была бы она столь величава и приподнята, не будь расцвечена травой поляна, на которой она возвышалась. В одном из покоев крепости, такой же сильный, такой же несокрушимый, цвета воска, литой и твердый, стоял мужчина-воин. У ног его, разбросав полы платья цвета травы, словно не на коленях перед ним стоя, а вознося его, стояла его жена.

Ветер был сквозным, он стучал ставнями. Внизу, ворочая огромные валуны, шумел и грозился буйный Кодор, кипел.

Так я решил закончить одну из многих былей, напетых мне под апхярцу и аюма Хатхуатом, Амзацем и Шунд-Вамехом. Может, скажут мне, что чего-то недосказал тут я, забытый смертями, что какие-то нити рассказа своего оборвал. Но впереди еще долгая жизнь и пустая, и я расскажу еще обо всем.

И еще не окончена история ревности и страсти воина и прелестной его жены, и много историй известно лишь мне одному, потому что одного за другим схоронил я последних свидетелей бурной, древней и волею судеб угасшей жизни нагорного Дала. Похоронил я и Хатхуата, столетнего старца, и сына его Амзаца, и довольно еще молодого Шунд-Вамеха. Похоронил певцов и не жалею о них. Только вот унесли они с собой память о Дале, а когда не будет и меня, останутся только эти разрозненные писания, которые каждый может побранить или поправить по своей прихоти, потому что не придут дальцы его судить и карать, не придут, звеня копытами коней по кремню, наводя, как когда-то, страх, свирепые, справедливые, золоченые, оборванные. И если кто скажет: это пусть будет не так, а вот так, то я согласно кивну, ибо непросвещен я, забытый смертями, только научился кое-какому письму, будучи заложником в горской школе Сухум-калэ. И нет свидетелей. Покинули они урочище Дал, завещав нам прийти сюда ровно сорок лет спустя, справиться по ним тризну и жить здесь; покинули древние пепелища, не забыв перекрыть все водные источники войлоком, захоронить и спрятать родники, и мы пришли сюда и живем здесь неохотно, проклиная этот край и не зная названия мест.

*Перевел с абхазского автор.*

---

---

## БОРИС СЛУЦКИЙ



### ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО

*Бориса Слуцкого представлять не надо.*

*Единственный, неповторимый звук его поэзии как раздался 15 августа 1953-го, когда в «Литературной газете» был напечатан «Памятник», так и не смолкал все последующие годы, а сейчас, после его смерти, зазвучал еще громче и значительнее. Из отличного поэта он становится явлением русской поэзии. И каждая публикация стихов и мемуарной прозы прибавляет новые важные штрихи к его творческому и человеческому портрету.*

*Он никогда не переставал писать стихи о войне, бывшей не только великим народным подвигом, но и главным делом его молодости. Только разве позже он делал это не так целенаправленно, как в пору, когда создавались его первые книги «Память» (1957) и «Время» (1959), когда его целью было сказать правдивое, точное, жесткое слово о труде, горе и славе этих четырех лет, резко отличающееся от тех равнодушно-радостных слов о победе, которыми ублаживали общественное сознание в последние годы жизни Сталина. Позже пробитую им брешь в стене сусальной лжи о войне расширяли уже другие поэты и прозаики. Еще не публиковавшиеся стихи Б. Слуцкого о войне и составляют первую часть настоящей публикации.*

*Вторая ее часть — это в полном смысле слова стихи «о времени и о себе». Может быть, как никто из русских писателей второй половины XX века Слуцкий постиг и выразил «образ и давление времени» (Шекспир). Это постижение выражено им в огромном многосмысленном, многофигурном, многоаспектном историческом витраже, рисующем историю советского общества и советского человека за полвека, созданном лирическими и балладными стихотворениями. Во всей своей целостности и объемности витраж этот еще не увиден и не осознан читателем — и по той причине, что еще не все написанное поэтом опубликовано, и потому что отдельные его кусочки разбросаны, не собраны вместе. Настоящая публикация выносит к читателю новые фрагменты этого витража. Полное же его представление народу, для которого он создавался, будем надеяться, дело уже близкого будущего.*

\* \*  
\*

А на снежной войне — словно в снежной пустыне:  
не понять ее малопонятной латыни  
и коротких приказов ее не понять,  
можно лишь про себя потихоньку пенять.

И пеняет солдатик в шинели короткой,  
с глоткой, продранной жесткой казенною водкой:  
водку, может, впервые сегодня он пьет,  
рукавицами аплодирует, бьет.

Для сугрева души его брэнной и бедной  
сорок пятый потребуется победный.  
Тело брэнное, бедное надо согреть  
хоть немного. При этом — не умереть.

Между ним и погибелью нет ничего.  
 Вся война, ему кажется, целит в него.  
 Весь мороз его персонально морозит.  
 Он горячей добавки у повара просит.

И добавки ему сколько можно дадут,  
 и погнубить ему на войне не дадут,  
 и от смерти ему причитается льгота  
 все четыре без малого года.

Потому что ему описать предстоит,  
 как один посреди всей войны он стоит.

### Дорога

Сорокаградусный мороз.  
 Пайковый спирт давно замерз,  
 И сорок два законных грамма  
 Нам выдают сухим пайком.  
 Обледенелым языком  
 Толку его во рту  
 упрямо.

Вокруг Можайска — ни избы:  
 Печей нелепые столбы  
 И обгорелые деревья.

Все — сожжено.  
 В снегу по грудь  
 Идем.  
 Вдали горят деревни:  
 Враги нам освещают путь.

Ночных пожаров полукруг  
 Багровит север, запад, юг,  
 Зато дорогу освещает.  
 С тех пор и до сих пор  
 она  
 Пожаром тем освещена:  
 Он в этих строчках догорает.

### Солдатские разговоры

Солдаты говорят о бомбах.  
 И об осколочном железе.  
 Они не говорят о смерти:  
 Она им в голову не лезет.

Солдаты вспоминают хату.  
 Во сне трясут жену, как грушу.  
 А родину — не вспоминают:  
 Она и так вонзилась в душу.



Ничтожество льгот  
сочетается с множеством прав,  
с которыми  
современники считаться должны,  
поскольку ты праведен был и прав  
четыре года войны.

В родной стороне, —  
а потом до чужой ты дошел стороны, —  
ты был на войне  
четыре года войны.

\* \*  
\*

— После лагеря ссылку назначили,  
после Севера — Караганду.  
Вечный срок! Объяснять мне начали.  
Я сказал: ничего, подожду.

Вечно, то есть лет через десять,  
может быть, через восемь лет  
можно будет табель повесить,  
никогда больше не снимать.

Вечность — это троп поэтический,  
но доступный даже судье.  
Срок реальный, срок фактический  
должен я не так понимать.

Хорошо говорить об этом  
вживе, в шутку и наяву  
с отсидевшим вечность поэтом,  
но вернувшимся все же — в Москву.

С ним, из вечной ссылки вернувшимся,  
обоженным вечным огнем,  
но не сдавшимся, не загнанным:  
сами, мол, хоть кого загнем.

\* \*  
\*

Судьба не откладывала на потом.  
Она скакала веселым котом,  
уверенно и жестко  
хватала мышку за шерстку.

Судьба не давала льготных дней,  
но думала: скорей — верней,  
и лучше всего не откладывать,  
а сразу лапу накладывать.

В белых тапочках лежа в гробу,  
он думал: мне бы иную судьбу,  
спокойную, не скоростную,  
другую совсем, иную.

### Национальная особенность

Я даже не набрался,  
 когда домой вернулся:  
 такая наша раса —  
 и минусы и плюсы.  
 Я даже не набрался,  
 когда домой добрался,  
 хотя совсем собрался:  
 такая наша раса.

Какой-то хмырь ледащий  
 сказал о дне грядущем,  
 что путь мой настоящий —  
 в эстраде быть ведущим,  
 или в торговле — завом,  
 или в аптеке — замом.  
 Да, в угол был я загнан,  
 но не погиб, не запил.

Пока все пили, пили,  
 я думал, думал, думал.  
 Я думал: или — или.  
 Опять загнали в угол.  
 Вот я из части убыл.  
 Вот я до дому прибыл.  
 Опять загнали в угол:  
 С меня какая прибыль?

И вот за века четверть,  
 в борьбе, в гоньбе, в аврале,  
 меня не взяли черти,  
 как бы они ни брали.  
 Я уцелел.  
 Я одолев.  
 Я — к старости — повеселел.

\* \*  
 \*

В шести комиссиях я состоял  
 литературного наследства.  
 В почетных караулах я стоял.  
 Для вдов изыскивал я средства.

Я гуманизм освоил прикладной.  
 Я совесть портативную освоил.  
 Я воевал, как хлопотливый воин,  
 упрямый, точный, добрый, пробивной.

Сложите мои малые дела,  
 всю сутолоку, бестолочь, текучку,  
 всю суету сует сложите в кучку  
 и все блага, те, что она дала!

Я сына не растил и деревца  
 я не сажал. Я просто без конца,  
 без края и без жалобы, без ропота  
 не прекращал томительные хлопоты.

Я землю на оси не повернул,  
 но кое-что я все-таки вернул,  
 когда ссужал, не требуя возврата,  
 и воевал, не требуя награды,  
 и тихо деньги бедному совал,  
 и против иногда голосовал.

\* \*  
\*

Юноша ощущает рост:  
жмут ботинки, теснит в шагу,  
хочется есть, как будто в пост.  
Я все это уже не могу.  
Мне уже не хочется есть.  
Мне уже ботинки не жмут.  
Это все, наверно, и есть  
старость. Нас теперь не возьмут

ни в туристический поход,  
ни на мировую войну.  
Возраст, когда так много льгот,  
это — старость, как ни взгляну.

\* \*  
\*

В оставшемся десятке лет  
располагаться нужно с толком,  
дабы не быть по-волчьи с волком,  
но в то же время брать билет

в купированный, а не общий.  
По-волчьи с волком, нет, не быть,  
но в тучный год и даже в тощий  
не быть голодным, сытым быть.

Немного, стало быть, претензий  
к остатку лет.

Я от него  
не жду статей, не жду рецензий,  
ни даже славы. Ничего!  
Но мощной пушкинской рукою  
навек формула дана,  
и кроме ВОЛИ И ПОКОЯ  
я не желаю ни хрена.

---

## ИНОБЫТИЕ ПОЭТА

*Памяти Юрия Болдырева*

Эта подборка стихов — одна из многих, подготовленных к печати Юрием Болдыревым после кончины Слуцкого. Увидеть ее напечатанной<sup>1</sup> Болдырев не успел: в июне 1993 года его не стало.

Стихи Слуцкого говорят сами за себя. Я же хочу сказать о том, кто эту подборку (как и ряд других) подготовил, кому мы обязаны во многом вторым — посмертным — инобытием поэта.

Слуцкому, когда он ушел из жизни, было шестьдесят семь лет. Болдыреву — пятьдесят девять. Слуцкий прошел всю войну, от звонка до звонка, большую часть — на переднем крае. Болдырев — дитя войны, ее голодный выкормыш:

---

<sup>1</sup> О сборнике «Московские страницы», в котором должна была появиться подборка, подробнее см. «Над страницами не вышедшей книги» («Вопросы литературы», 1993, вып. 1, стр. 259).

болезнь, инвалидный детдом; студенческая юность в Саратове — под неусыпным идеологическим прессом; книжный магазин в том же Саратове, потом Загорск, ближе Подмосковьё... Так до конца жизни...

Участник войны оказался крепче, долговечнее, чем ее дитя. Слуцкого подрубили не фронтовые ранения, а душевные травмы; не нападки грибачевцев (к этому он относился философски — другого от них и не ожидал), — подрубила трагическая, самому себе не прощенная роль в истории с Пастернаком, а окончательно добила смерть жены; от этого удара он так и не оправился.

Болдырев ушел неожиданно, в одночасье, в расцвете сил, в пору пирищей известности, уже не только критика, но и публициста-историка (многим памятна его статья в «Известиях», «Независимой газете»...).

С уходом Слуцкого беднее стала не только поэзия — душевный мир современника, строй его мыслей и чувств... Но вопреки, казалось бы, всем законам элементарной логики читатели и почитатели поэта стали замечать: Слуцкого нет, а стихи его, доселе неизвестные, продолжают выходить, пожалуй, даже регулярнее, чем при жизни поэта. И не какие-нибудь там «варианты», представляющие разве что академический интерес, — нет, зачатую стихи, словно бы сегодня написанные...

Сейчас эти публикации — уже данность, реальность. Мы воспринимает их как нечто естественное, само собою разумеющееся, как то, чего не могло не быть. Но для того чтобы они и в самом деле стали реальностью, потребовалось особое, словно бы самим Богом предопределенное не столько стечение обстоятельств, сколько — перекрестье х а р а к т е р о в. Не сходство, а именно перекрестье, пересечение. Поэта — и его публикатора.

Слуцкий — и Болдырев. Высокий, крупный, непререкаемый, категоричный в суждениях до нетерпимости. И — приземистый, внешне неказистый, с крестьянской хитринкой в умных, теплых глазах, не сразу даже решивший, чем же он в литературе будет заниматься.

Слуцкий рассуждал вслух — как гвозди вколачивал. Болдырев — слушал, собирал стихи, приводил их в порядок. Сбирал впрок, убежденный: им (используя образ Цветаевой) «настанет свой черед».

Болдырев мог бы повторить вслед за Брюсовым: «Я знаю все мечты», — но не: «...мне дороги все речи...» Чего не было, того не было. Он на своем стоял твердо. И стиль его прозы (сознательно употребляю здесь этот термин) не язвительный, а раздумчивый, не заклинаящий, а приглашающий к соразмышлению.

Есть у нас в многосложном литературном деле когорта публикаторов по призванию — людей, академически сверхоснащенных, жизнь положивших на это нелегкое и не такое уж благодарное дело (поистине «в грамм добыча — в год труды»). Болдырев им не конкурент: он из другого ряда. Рискну предположить: если бы не встреча со Слуцким (именно с ним! и только с ним!), он, быть может, вообще никогда не занялся бы такого рода деятельностью...

Встреча со Слуцким перевернула всю его жизнь. В сбережении поэтического наследия Слуцкого, его систематизации и публикации Болдырев нашел собственное предназначение. Без него мы, возможно, так и не узнали бы вовремя громадной части поэтического наследия Слуцкого — той, которую мы вправе были бы назвать неизвестной, потаенной. А теперь — в значительной мере благодаря усилиям Болдырева — называем возвращенной.

Инобытие поэта стало бытием его публикатора.

А. КОГАН.



---

---

# ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

## ТРИ ЖИЗНИ



МАРИЯ КОНИССКАЯ

### *Старые фотографии*

**Я** вбегаю в мамину спальню. Я с прогулки. Почему-то шторы на окнах при-спущены. Мама лежит в кровати и улыбается. Доктор Марковский сидит на сундучке и держит на руках — ой!.. куклу. Нет, не кукла. Малосенький ребенок. Он завернут в мое красивое клетчатое одеяльце. М о е! Мне это не нравится. Я подхожу ближе, смотрю на сморщенное личико. «А глазки у него стеклянные?» И тычу пальцем в глазки. «Это твой братец», — говорит доктор Марковский. Все помнится так явственно, даже запах лекарства.

Мне три года. Мы живем в Киеве на Ивановской улице, в первом этаже. Почему запомнилось, что в первом? Однажды за ужином у нас два папиных товарища. Сидим вокруг круглого стола. Звонок в дверь. Папины друзья вскакивают и выпрыгивают в окно. За дверьми кварталный. А может быть, другой чин. Пришел что-то пронюхать. Друзья — революционеры. Папа — нет, но иногда их прячет. Около дома время от времени прохаживается господин, про которого взрослые говорят: «А-а! Это шпик». И мы с сестрой прыгаем вокруг господина и пищим: «Шпик, шпик!» «Ишли вон!» — шипит господин.

Потом жизнь прячется за черной пеленой. Мне будет около пяти лет, когда я снова увижу себя, но в другой квартире. Я уже знаю, кто мой папа. Он называется смотритель зданий и парков Политехнического института. Только и всего. Когда я стану старше, я узнаю, что мой папа «плохо себя вел», общался с революционерками, был исключен из последнего класса гимназии, не имел права учиться в высшем учебном заведении и поступил в Политехнический институт вольнослушателем. А должность смотрителя давала ему казенную квартиру и возможность жить с семьей. И не так уж плохо жить. Папа, мама, трое детей, бабушка, бонна, кухарка и горничная, три охотничьих легавых собаки в доме и шесть гончих, которые живут на «скотном дворе». Зачем Политехническому институту скотный двор? Не знаю. Но он был. А зачем папе столько собак? А он страстный охотник. Потом это изменит всю нашу жизнь. Но сейчас мы в Киеве. Опять первый этаж, перед окнами палисадник. Наверное, маленький, но нам с сестричкой Наташей он кажется огромным. В нем кусты сирени, розы, миндальное деревце, две оливы. Ну и какие-то «простые» деревья.

Детство! Счастливое или нет, светлое или мрачное, какое бы оно ни было, а оно — детство! Невозвратимое. И в конце жизни, перед вечной тьмой мы видим, как в волшебном фонаре, картинки детства. Всматриваемся в них — картинки, а связи-то и нет. Или забыта? Но картинки такие яркие! Чьи-то лица, запахи, прикосновения. Все как будто вчера.

В ящике моего бюро хранятся старые фотографии. Посмотрю.

Вот дом, в котором я родилась. Это Плиски, имени дяди Саши. Дом белый, одноэтажный, терраса с колоннами. Как же без колонн? Интересно, за каким окном я появилась на свет? А вот флигель. Перед ним крокетная площадка. Три дамы в длинных платьях — одна в шляпе — и мужчина играют в крокет. Лиц не разглядеть. А вот Наташа толкает детскую плетеную коляску. А в коляске я. Меня не видно, но я — там. А вот голенькая Наташа в тазу с водой. В руках большая губка, а около нее Фор, папина охотничья собака. Вид на дом с пруда. Выезд — пара белых лошадок, запряженных в летнюю коляску. Она плетеная. Два сиденья визави. Но всего этого я не помню. Это на фотографиях. Фотографии пожелтевшие, любительские. Новое увлечение тети Нади.

А вот профессиональные фотографии. Две детские головки. Мне три года, Наташе — четыре. Я — дурочка. Круглые глаза, круглый нос, рот полуоткрыт. Наташа серьезная, немного боится. Мама только что расчесала наши короткие волосы, и прикосновение гребенки я чувствую и сейчас. Я помню эти батистовые, с кружевами платяица. У меня рукавчики крылышками, и мама говорит: «Ты настоящий ангелок». И я очень горжусь тем, что я — ангелок. Еще фотография. На ней нас трое. Сереженьке два года. Через год он умрет от дифтерита. В доме будет горе. В воскресный вечер мы с Наташей неизвестно почему веселимся и неудержимо хохочем. Мы и не подозреваем, что в это время в дом входит смерть. Вдруг мы слышим, как папа в своем кабинете говорит по телефону каким-то странным голосом: «Я вас умоляю приехать, ребенок умирает». Он говорит с доктором. А доктору не хотелось в воскресный вечер покидать дом и гостей. Он ответил: «Я был у вас утром. У вашего ребенка ангина. От ангины не умирают». Потом в гостиной стоял маленький гроб, и в нем лежал братец Сереженька. Такой тихий. Три свечи горели у гроба. И мама с папой, обнявшись, плакали и плакали.

На фотографии, где мы с Сереженькой, Наташа уже не боится. И рожица у нее хитренькая. А я опять дурочка. Дурочка-то дурочка, но я уже хорошо читаю. Мне пять лет. Кто и как меня научил читать — не помню. Читаю я хорошо, и бабушка заставляет меня читать ей газету. Бабушка — отчаянная политиканка. Но приятное с полезным. Она вяжет, а я заменяю ей современное радио. Сажу на маленькой скамеечке у ее ног и громко читаю. Теперь чтение становится моим главным занятием. Мама говорит: «Испортишь глаза!» — и отнимает у меня книгу. Но в гостиной стоит большой диван, а около него — кадки с высокими развесистыми растениями. Там есть укромный уголок, за кадками и под диваном. Я со своей книгой прячусь в этом уголке.

А еще я влюблялась. Да, в свои пять лет. Помню, прибегаю с прогулки, утыкаюсь лицом в мамины колени: «Мама, выдай меня замуж!» «За кого, моя дурочка?» «За Игоря Холодного». «Ну, за этого хулигашку не отдам», — говорит мама. Игоря Холодного не помню. Помню только его ноги — одна тонкая, другая толстая. Называлось это — слоновая болезнь. Он сын профессора Холодного. Есть еще старший — Сева. Много лет спустя я узнаю, что его расстреляли большевики.

А еще мне нравились гимназисты. Идем с мамой по Крещатику, навстречу гимназист. Я опускаю глаза, и мне хочется, чтобы он подумал: «Какая бледенькая девочка! Наверное, она больна».

Еще яркая картинка. Сочельник. Родился младенец Иисус. Рождественский стол. По украинской традиции — под скатертью сено (вспоминание о яслях). На столе борщ с товчениками, жареная рыба, пшеничная с маком, орехами и медом кутья, кувшины с маковым и миндальным молоком. За стол садимся с первой звездой. И хотя папа говорит, что сочельник — это праздник семейный, есть и гости. Не семейные. Я подсчитываю их пальцем: один, два, три. Папа смотрит на меня строго. Это значит — не надо забывать о папиных наставлениях, как сидеть за столом. Правил очень много: не говорить с полным ртом, не класть локти на стол, не играть прибором, не чавкать, не задавать вопросов, не капризничать, не говорить «невкусно». А я так не люблю капусту! Например, голубцы. Я их ненавижу. Я вою. Папа встает, снимает меня с высокого стульчика, дает подшлепника и отправляет в детскую. Меня никто не жалеет. Про меня, я слышу, говорят: «Этот ребенок с причудами». Зато Наташа «нормальная», аккуратистка, все игрушки в порядке, опрятная, беленькая, пухленькая девочка. Но мы дружим.

А Пасха! Пасхальный стол! Он еще красивее. Такой торжественный. Он стоит накрытый целых три дня, и с него не убирают ничего, кроме посуды. Все одеты нарядно, во все светлое, у всех радостные лица. «Христос воскрес!» — «Воистину воскрес!»

В первый день Пасхи приходят с визитами мужчины. Дамы сидят дома, принимают визитеров и поздравления. Визит продолжается пятнадцать минут. Господа, выпив рюмочку вина и отведав того-сего, откланиваются, целуют маме ручку и удаляются. Приходят с поздравлениями и дворник и садовник. Им подносят вина, дарят крашеное яичко и еще ассигнацию. Дворник обязательно крикает, утирает усы и говорит: «Покорнейше благодарим». Завтра будут появляться с поздравлениями дамы. Пощечной, повосторгаются пасхой, куличом, мазуркой и упорхнут. А что же на столе? Глаза разбегаются. Вот на блюде жареный поросенок. «Мама, мне хвостик!» Он такой хрустящий, свернут колечком. «А мне ушко!» Сейчас я содрогаюсь, вспоминая этот зажаренный труп младенца! А он лежит с довольным

видом и даже улыбается. Он бы царил на столе, да ведь еще окорок. Розовый срез, сверху нежное салтыце. Его шкура завернута, и в нее воткнута огромная ссеребряная вилка. А рядом на блюде лежит такой огромный острый нож. Вокруг толпятся иные разнообразные закуски, графины и бутылки с вином, бокалы.

Но вот вершины стола, царствующие над всем. Это высокие куличи, политые белой глазурью, сверх нее посыпанные разноцветной сахарной крупой. На самом верху кулича — красивый сахарный цветок. А краса пасхального стола — пасха. У всех хозяек свои рецепты: простая, заварная, «царская», сметанная и т. д. В ней цукаты, миндаль, изюм. Четырехгранная горка. Она символизирует Голгофу, место страданий и смерти Христа. На ее четырех гранях буквы «Х. В.», а на вершине умильный сахарный барашек — агнец. Он кудрявенький, с невинной мордочкой, вокруг шеи голубая ленточка с бантиком. А ведь еще крашеные яйца. Ими христосуются; обмениваются. На столе стоит плетеная корзиночка, наполненная ими, а в стороне на столике большая корзина с сотней таких яиц. Утром мы идем гулять и «катать яйца». Сегодня по-настоящему теплый день. Мы в летних платьицах. Трава уже ярко-зеленая, и мы, выбрав пригорок, начинаем эту игру. Собираются другие дети. Солнышко прогревает.

Всю квартиру помню очень явственно. Из передней, где вешалки и большой сундук, одна дверь в комнату бабушки, другая в коридор, из которого двери во все комнаты. Сообщаются только папин кабинет, гостиная и столовая. В комнате у бабушки огромное трюмо, перед которым без конца вертится Наташа и так любит себя, что бабушка велит задрапировать его низ, мягкое кресло, перед ним рабочий столик, «travaillouse», говорит бабушка. (Теперь этот столик живет у меня около моей кровати.) Письменный стол и кровать. Хотела бы я сейчас жить так, как жила моя бабушка. Книжки, газеты, любимое вязанье, все для каких-то «солдат». Горничная стучит в дверь: «Барыня, кушать подано». И бабушка выплывает к столу. Никто не садится, пока не сядет она. Бабушка полная, с добрым лицом, окруженным зобом. Это болезнь. Но почему-то к ней идет этот зоб. Время от времени она ездит в Швейцарию, там ей делает операцию профессор Кох. Зоб все равно вырастает.

За столом разговоры взрослых. Дело Бейлиса. Вера Чибирячка. Смерть Толстого. Приезд Айседоры Дункан. Уточкин делает мертвую петлю. Приезд государя императора Николая Второго. Затмение солнца. Обо всем этом я слышу только за столом.

Бабушка выходит на прогулку. Проходя мимо городского, грозит ему тростью.

Дедушки у нас нет. Он умер. Про него мы знаем, что он был писатель, что его «любила украинская молодежь» и что у него был «тяжелый характер». В папином кабинете стоит дедушкин стол, его кресло, какие-то мелочи и диван. На стене над диваном развешаны папины ружья, кинжалы, сабли, кривые ножи. Трогать нельзя! Строго. А выше, над ружьями, огромная голова лося. Папин трофей. Самое интересное — скакать на диване и стараться ухватиться за длинную бороду лося. И как только он не свалился и не убил нас!

А когда мы вырастем, мы узнаем, что дедушка боролся если не за «самостийную Украину», то за сохранение национальной культуры, против крепостничества и делал это так энергично, что был сослан в Вологодскую губернию, в Тотьму. Там он познакомился с очень богатой, блестяще образованной девушкой-сиротой, по несвершеннолетию под опекуством. Она станет моей бабушкой. На женитьбу опекуны согласия не давали (еще бы — бунтарь-голодраниц!), и дедушка увез ее тайно и без всякого согласия. Потом была большая семья, семеро детей, семейные драмы («тяжелый характер»), разногласия, раздел жизни: дедушка занимал одну часть дома, семья — другую. В семье было весело, шумно, много молодежи, а у дедушки тихо и мрачно. Когда молодые гости засиживались, он брал подсвечник с горящей свечой и в одном нижнем белье проходил через зал. Все сконфуженно расходились. Дети должны были здороваться с ним утром и прощаться на ночь, для этого появляться у него в кабинете по очереди. В дни рождения или именин каждый приходил за поздравлением и вместо подарка получал список проступков, совершенных им за год.

Бабушка не умела распоряжаться своими капиталами, а они были очень большими. Ведь она была по матери Кокорева (просвещенное купечество, кокоревские склады в Москве), а по отцу (не менее богатая фамилия) — Пестерева. Бабушка перевела все свое состояние на имя мужа. После его смерти выяснилось, что все завещано некоему галицийскому обществу. А бабушка осталась без своего богат-

ства. Что за общество? Не знаю. Но однажды, будучи уже взрослой девушкой, я пережидала дождь под навесом крыльца и читала книжку. Рядом стоял человек и все заглядывал в мою книгу. Наконец он увидел мою фамилию на ее обложке. Он оживился, заерзал и спросил меня, не в родстве ли я с Александром Яковлевичем Конисским. «Это мой дед». И вдруг человек стал на колени и, сложа ладони, воскликнул: «Я — галичанин! Мы боготворим вашего деда! Позвольте мне познакомиться с вашим отцом!» Я позволила, и он также стоял на коленях перед папой, говорил экзальтированно, трогал дедушкины вещи.

В царские времена дедушку не печатали или печатали мало. В публицистической деятельности он скрывался за многочисленными (около ста пятидесяти) псевдонимами. Только в конце его жизни были опубликованы некоторые его основные труды: биография Т. Шевченко и однотомник — роман, повести и стихи. Не печатали его и после революции, если не считать 1927 год, когда вышло несколько его книжек, которые позже были изъяты из библиотек. А сейчас на Украине он в чести, о нем говорят, его печатают. В музее Лысенко есть экспозиция, посвященная ему, и я подарила им пятьдесят четыре фотографии, касающиеся деда, его семьи и даже его могилы. А они прислали мне его книги. Его капитальная работа — подробнейшая биография Тараса Шевченко. На текст А. Я. Конисского Лысенко написал музыку, и это сочинение является сейчас духовным гимном Украины. Именем Конисского названа одна из улиц Киева.

Но скорее обратно, в детство, к моим картинкам. Что там? Я была только что в папином кабинете. А рядом гостиная. «Мой» диван, кадки с растениями, роуль, кресла и любимый ковер, на нем так интересно играть. Все узоры что-то обозначают. Вот здесь мое царство, это мой сад, в нем цветы; а тут что-то вроде замка. Из него по этой дорожке я доползаю до Наташиного царства. У нее там куколки, уложенные чинными рядами. Они спят. Я нарушаю порядок. Наташа ревет. Но потом мы миримся и начинаем просто кувыркаться.

А дальше — столовая. В ней нет ничего интересного, разве что буфет, где на верхней полке — не достать — конфеты. Сереженька карабкается на стул, с него на буфет, достает конфету и кладет ее в рот. А нам говорит: «Незя! Там зюк!»

Потом спальня родителей, детская, комната бонны, людская рядом с кухней и крошечная комнатка, где доживает свой век очень старая няня Мариша, которая нянчила старших детей бабушки. Я ее помню потому только, что, когда заглядываю туда, вижу, что она перебирает деньги в маленьком сундучке и приговаривает: «Или лавочку открыть, или гитару купить, вот уж и не знаю».

Кухня помнится по двум событиям. У меня бесконечные «песыяки» (ячмени) на глазах, то на одном, то на другом. Медицина бессильна помочь. Приглашают знахарку. Наверное, ни папа, ни бабушка не посвящены в эту затею. Знахарка велит всем, кроме меня, выйти из кухни. Потом начинаются какие-то манипуляции с зернышками ячменя, что-то отсчитывается, что-то шепчется. Потом я должна собрать зерна и бросить их в горящую печку. Всё. Но больше у меня на глазах не было ячменя н и к о г д а в ж и з н и. Хотите — верьте, хотите — нет.

Вообще-то входить на кухню нам запрещают. Но вот событие. Ждут гостей к обеду. Из кухни с воплем прибегает кухарка. Что случилось? Двенадцать телячьих отбивных (ах, как я их люблю! Они же обваляны в сухариках и с косточкой!), — так вот, двенадцать, кухарка разложила на большой доске и вышла из кухни. Когда вернулась, папин рыжий ирландский сеттер с последней котлетой в зубах выскакивает в форточку. Остались только влажные пятна на доске. Не удивляйтесь, форточки у нас в Киеве не наверху, а внизу и очень большие, а этаж первый. Все бегут в кухню. Мы тоже.

А вот еще фотография: три охотника — папа, его друг Полторацкий и егерь — лежат на снегу с ружьями, а сзади развешаны убитые зайчики. Тридцать один зайчик! Удачная охота. Много лет спустя моя приятельница художница Алиса Порет увидит у меня эту фотографию и нарисует в своем альбоме картинку под названием «Дичь в доме богатого зайца». На большом щите подвешены вниз головой три охотника. Один из них мой папа. Совсем как в немецкой книжке «Die verkehrte Welt», что можно перевести «Мир наоборот» или «Перевернутый мир». Это книжка Алисиного детства. Потом она служила моим детям.

Папина охота — это очень важно. О ней много говорят, рассказывают невероятные истории, чистят стволы ружей, смотрят, прищурив один глаз, в эти стволы, набивают дробью патроны, машинка делает «щелк», и патрон закрыт. А дробь! Надо

знать, какого калибра. Нам все равно какого. Мы таскаем ее и играем. Папа сердится. Все, что охота, священно и неприкосновенно. Папа очень строгий. Иногда шлепает нас. Если пожалуемся: «Папа, Наташа делает глупости», наказания получит сначала Наташа, а потом и я «за доносительство». Не больно, но очень обидно, оскорбительно и стыдно.

Мама — гречанка из Севастополя. Она кроткая и красивая. Волосы у нее вьются крупными локонами. Черные-черные! По утрам она укладывает их так красиво на головке. А глаза зеленовато-голубые. Папа говорит: «Аквариницы!» Мама никогда не сердится. Только один раз, когда мы с Наташей зажгли свечи на рояле, мама вошла в гостиную и очень сердито сказала: «Бесстыдницы! Сейчас я вас нашлапаю». Мы юркнули под рояль, и мама не могла нас достать, потому что была затянута в корсет. Она принесла из кухни очень длинную кочергу, чтобы вытащить нас, но мы уже выскочили из-под рояля и упали перед ней на колени. Пока мама ходила на кухню, я объяснила Наташе, что, когда нагретишь, надо падать в ноги. Мамино наказание — сажать на стул. Мы садимся. Надо сидеть неподвижно целый час. Очень скучно. А мама почему-то улыбается.

Летом мы едем в Боярку. Я знаю, что там у бабушки были два дома. Но они проданы, и мы дачу снимаем. Помню мало. Помню отчаяние, с которым я реву, потому что от поезда едем на лошадях — я с папой, а Наташа с мамой. Мне показалось, что мама бросила меня, уезжает от меня навсегда. И я реву благим матом.

Помню арбузную бахчу. Мы с Наташей схватили по арбузу, тащим, падаем, арбузы разбиваются. Наши платица испорчены. Папа очень сердится: «Это воровство! Запомни навсегда!» Мы дружно ревом.

Еще событие: в хату к нашей хозяйке постучалась молодая городская дама. Попросила проводить до реки. Дала серебряную монетку. Дама посидела на берегу, а потом утопилась. Наша бонна придумала глупую шутку. Завернувшись в простыню и приколов к волосам речные кувшинки, пришла ночью к хозяйской хате и постучала в окно. Хозяйка выглянула и обомлела. А бонна затынула загробным голосом: «Виддай мени мои гроши!» Тут хозяйка упала в обморок. Папа сказал маме: «Глупо и жестоко». Может быть, и так, но мама смеялась.

А вот еще фотография: мы с Наташей в купальных полосатых костюмах, в фесочках, с сачками в руках на фоне бурного моря. Наташа в кокетливой позе, изящно держит в руке краба. А я — опять дурочка. И стою так некрасиво. Не думайте, что море настоящее. Это декорация. Мы у фотографа. А море где-то рядом. Мы в Севастополе. Мама повезла нас на свою родину показывать сестрам — тете Марусе и тете Кате. А была еще тетя Соня. Красавица. Она умерла от чахотки.

Что запомнилось в Севастополе? Почему-то кладбище. Наверное, мама пошла навестить родные могилы. Их я не помню. Но одна, чужая могила, поразила и приковала мое внимание. Над ней белая мраморная девушка и надпись: «Не для земли расцвел Марии образ милый, зачем о ней грустить, она на небесах». Я не могла отойти от этой могилы.

Потом ездили в Херсонес на раскопки. Муж тети Маруси, по фамилии Костюшко, руководил раскопками. Он водил нас и по раскопкам и по музею. Мы остолбенели перед статуей какого-то божества, которому поклонялись обитатели Херсонеса. Когда взрослые перешли в другую комнату, я сказала Наташе: «Надо поклоняться». Мы стали на колени и кланялись.

В Севастополе я, конечно, болела. Малярия. Ни купаться, ни почему-то есть фрукты нельзя. И мы вскоре вернулись домой. А дома появился новый житель — большой и очень пестрый попугай. Его подарил нам один папин приятель, у которого умерла дочь Наташа. А попугай все время спрашивал (он был говорящий попугай): «Наташа пришла?» Он произносил эти слова в те часы, когда Наташа приходила из гимназии. А потом говорил голосом Наташи: «Попочка хороший». Это было мучительно. Попугай был болтун. Он говорил без умолку. Когда раздавался телефонный звонок, он кричал: «Я слушаю!» Он хохотал, он говорил традиционное «попка дурак», «дайте попочке шоколаду» и многое другое. Однажды, когда никого не было дома, в дверь позвонил знакомый господин. Попугай кричал: «Кто там?» — и хохотал. Господин обиделся и говорил потом: «У Юрия Александровича дети плохо воспитаны». Позже, в Сибири, где под окнами играл шарманщик, попугай с большой точностью насвистывал мелодии. Любимая: «Ветерок чуть колышет листочки, где-то ласточки песня слышна» и т. д. Особенно удавалась ему мелодия припева: «Пой, ласточка, пой, сердце мне успокой». Он замолкал, только когда на клетку набрасывали черную ткань.

Сибирь. Это слово стало звучать в доме все чаще. За обеденным столом — где же еще? — мы слышали, что скоро все мы поедем в Сибирь. А пока поедет один папа.

Папа уехал. Как-то мы гуляли с мамой по парку. Встречаются знакомые дамы, смотрят на маму с ласковым сожалением: «А ваш муж фантазер!» А это была не фантазия, а страсть к охоте. В Сибири дремучие леса! В них дичь! А лисы! медведи! волки! И при этом огромные оклады (тогда говорили «жалованье»)! Короче, папа уехал устраиваться. Его должность, и даже две, не была престижной, но давала право бесплатного проезда на всех видах транспорта, то есть поезд, пароход и, конечно, лошади, ведь по работе он должен был ездить в самые отдаленные деревни, куда кроме как на лошадях ни на чем не проедешь. Вот ради этого он и поехал туда и взялся за такую работу. Охота! Одна его должность называлась агент страхового общества «Россия», вторая — агент по распространению сельскохозяйственных орудий общества «Рабочий».

Перед отъездом мама, прихватив нас, едет в город. Куда-то, где нас встречает любезная дама, усаживает в гостиной на диван и скрывается. Потом появляются по очереди особы женского пола. Мама с ними беседует. Мама останавливает свой выбор на старой и очень полной даме с немислимым бюстом. Как будто у нее под подбородком столик. Это будет наша гувернантка и преподавательница немецкого языка. Она поедет с нами. Почему знать, есть ли в этой дикой Сибири гувернантки.

Нас опять везут в фотографию. Теперь мы снимаемся с бабушкой. Вот мы. Ничего особенного. Мы стали старше. Волосы длинные, завязаны наверху бантами. Бабушка добрая. А какая она была мягенькая, наша бабушка! Какие у нее были нежные, теплые руки!

Мы уезжаем. Поезд. Клетка с попугаем и две собаки с нами. Третья уехала с папой. Гончих продали. Дорогу не помню. Как приехали — не помню. Первое и очень острое воспоминание — книжный шкаф. Это — мой. Он маленький и упоительно пахнет свежим деревом. Папа приготовил мне книги. Там «Робинзон Крузо», «Пиноккио», «Маленький лорд Фаунтлерой», «Хижина дяди Тома» и много других. Я погружаюсь в чтение.

Занятий с нашей «немкой» не помню. Их просто не было. Ни одного немецкого слова. Помню только, что эта дама ела с большим удовольствием и с хищным выражением лица. А на немислимый бюст сыпались крошки еды. Мы с Наташей хихикали. Вскоре она исчезла. С ней расстались.

Потом было событие. Мама чуть не сгорела. Она вышла на кухню, чтобы помочь кухарке обработать дичь, которую уже настрелял папа. Целую кучу дупелей. На столе горой лежали перья, а тушки опаливались на спиртовке. Перья вспыхнули, вспыхнули мамины локоны и батистовый пеньюар. На счастье, в это время в доме был папин подручный, конторщик Дима. Он сумел погасить огонь. А мы с Наташей гуляли, а когда вернулись, в доме был доктор, мама лежала в кровати, и все лицо у нее было обвязано марлей, руки тоже. А Наташа думала, что опять родился ребеночек. Мы ждали этого события, или братца, или сестричку. Каким-то чудом на мамином лице не осталось следов от ожогов. А доктор стал появляться в доме все чаще. Он назывался домашний врач. Андрей Осипович Габович. Он осматривал нас, оттягивал нам веки, заглядывал в горло, выслушивал в трубочку, а мы в это время строили рожи или дули на его лысину. Потом он разговаривал с мамой. Горничная подавала ему чашечку кофе. Мама звонко смеялась, а доктор бубнил баском. Однажды наш попугай очень точно изобразил эту сцену. И она прочно вошла в его репертуар. Мы говорили: «Покажи доктора Габовича и маму», но он показывал и без просьб.

Потом мы переехали на новую квартиру. Очень большую. Окна выходили и на улицу и во двор. Во дворе конюшня, каретник и сеновал. Это уже было необходимо, потому что папа купил лошадей. Сначала красавца рысака по кличке Рассвет, потом скромную рабочую лошадку Рыжика, а потом ему такую же рыженькую пристяжку. В доме появился кучер Прокопий. Вскоре он женился на нашей кухарке, потом появился ребеночек. Места хватало всем. Прокопий растил Рассвета еще на конском заводе, любил его и пошел к папе в кучера, только бы не расставаться с лошадько. У Прокопия была психопатическая страсть — все мыть, чистить, скрести лошадей, стирать белые парадные перчатки и вожжи, надраивать коляску, мыть собак, и наконец, когда уже все и вся было перечищено, он ловил двух диких гусей, папиных охотничьих манков, которые прохаживались по двору, и мыл их в большой бочке. Гуси неистово гоготали. Мама говорила: «Опять этот

сумасшедший Прокопий». А упряжки у Прокопия были шикарные. Помню парадную — коричневым фэтон с мягкими сиденьями, обитый коричневой кожей. Прокопий надевал безрукавку — в талии сборки, под них подкладывалась толщинка, — подпоясывался широким ремнем с бляхами. Рубашки канаусовые, одна малиновая, другая ярко-голубая. Круглая шапочка с тремя павлиньими перьями, белые перчатки, белые вожжи. Ну что за фантазия?! Мне больше нравился английский выезд. Кучер сидит рядом с седоком на двуколке. В руке у него длинный хлыст. Одет как-то незаметно, но на голове фуражка с лакированным козырьком и широким ремнем на подбородке. Тут я замирала от восторга.

В этой квартире родился у нас братец Шурик. Для Шурика взяли няню Маврушу. Она белоруска. На ней всегда белый расшитый наряд и бусы. Про нее говорят: «Она дала обет безбрачия». А что это такое?

Потом крестины. В гостиной стоит красивая купель. Священник макает голенького Шурика в воду. Шурик вопит. Я плачу, мне его жалко. Дверь в столовую открыта. Там накрыт длинный стол. Чего-чего только на нем нет! Наташа поглядывает туда с большим интересом, чем на купель. Она любит покушать. Наконец она закрывает дверь в столовую и, обращаясь к присутствующим, громко говорит: «Чтобы не соблазняться!»

Город Ново-Николаевск, где мы живем, был, как я теперь понимаю, очень богат. «Пшеница», «мукомоль», «сыпной пункт» — эти слова часто произносит папа. Имена местных и не местных богачей — Второв, Маштаков, их роскошные универсальные магазины, а у Второва даже автомобиль, единственный в городе. Роскошна и сказочно богата была вся Сибирь. И природа, и люди, и весь уклад жизни, как городской, так и деревенской, с которой мы потом познакомились.

Папа в своих поездках должен был посещать самые отдаленные, глухие деревни. Эти «глухие» деревни такие богатые! Избы из толстенных бревен, просторные, чистые. Окружены роскошными лесами. Могучие сосны в два обхвата, а ближе к Томску — кедры. Стоят как колонны, ни бурелома, ни чащобы подлеска. Стоят на зеленом мху или на траве. Между ними поляны, красные от ягод, — земляничные и клубничные. А на островах по Оби черная смородина в таком количестве, что ее «счесывали» большими деревянными гребнями. А облепиха! А грибы! В полях травы выше пояса, цветы невиданной красы! Татарское мыло — что-то вроде красной герани, ярко-оранжевые огоньки, целые поля лилового и желтого ириса, уж не говоря о тех цветах, которые растут и в России. Там было все. Все это радовало и восхищало нас.

Папу же интересовала только охота. Летающую и плавающую дичь он истреблял в ненужных количествах. Тетерки, глухари и зайцы рассылались потом друзьям. Правда, когда мы приехали в Ново-Николаевск, заяц считался «поганью», чем-то вроде кошатины, его не ели и били только ради шкурки. Но постепенно городские жители привыкли и тоже начали есть зайца. Устраивалась и облавная охота с флажками. Многокилометровой веревкой, на которую были нашиты кумачовые флажки, окружали участок леса, где предполагался зверь: кабан, лиса или волк. Этой преграды зверь страшился. Красное — может быть, огонь. Из окрестных деревень приглашались загонщики: мужики, бабы и детвора шли и колотили в тазы, кастрюли и сковороды, кричали и свистели. Гнали зверя. Ошалевший, он выскакивал на охотников и находил свою смерть. Еще, к ужасу мамы, папа ходил на медведя с рогатиной. Шли с собакой к заранее выслеженной зимней берлоге. Собака отчаянно лаяла, медведь просыпался, выбирался из берлоги и, встав на дыбы, шел на охотника. Фокус заключался в том, что охотник, левой рукой подставляя рогатину, удерживал медведя, а правой, изловчившись, ударял его большим ножом. Конечно, опаснейшая охота, но и подлая же, как, впрочем, и всякая другая. Папин новый приятель, медвежатник, здоровенный мужик, встретил его однажды, лежа на печи, голова замотана полотенцем. «Что с тобой?» — «Да так, зверь маненько пощекотал». А зверь его скальпировал.

Друзей среди деревенских жителей завелось много. Для летнего пребывания семьи папа облюбовал село Спирино на берегу Оби. Дал одному из таких друзей солидную субсидию на постройку дома, в котором мы будем жить летом. Дом был выстроен быстро, и лето 1913 года мы уже проводили в нем.

А в первое лето нас повезли под Томск, в Басандайку, где снимала огромную дачу папина сестра тетя Маруся. Ее муж Иоанникович Алексеевич Малиновский — профессор Томского университета. У них три девочки, наши кузины, чуть постарше нас.

В Басандайку мы отправились вместе с Маврушей, лошадьми, Прокопием и понугасм. Вокруг большого дома со всеми угодьями и постройками стеной стоял кедровый лес. Мы своими глазами видели огромные шишки с такими вкусными орехами. Старшие девочки берут камни и стараются сбить шишку. Помогает нам Прокопий.

У Рассвета большая опрятная конюшня. Какой там славный запах, пахнет лошадкой и кожей от сбруи. Она развешана по стенам на больших крючьях. Прокопий гоняет Рассвета на корде, длинной веревке, кругами, кругами. Я сижу на травяном пригорке и смотрю, не могу оторваться. Как красиво бегают лошадь! Какие у нее стройные ноги в белых носочках! Потом я лезу на сеновал. Я кувыркаюсь в сене. Прокопий тоже поднимается, ловит меня, садится в сено и берет меня на колени. Но меня это настораживает. Я чувствую какую-то стесненность и вырываюсь от него.

Как-то утром я вижу странную картину. Мама в длинном белом пеньюаре, волосы распущены, локоны развеваются, лицо сердитое, такого лица я не видела у мамы никогда, идет быстро через двор к дому. А за ней на коленях ползет Прокопий: «Барыня, барыня, Христа ради, простите!» А потом мама говорила тете Марусе: «Вот наглец!»

Досаждал нам в Басандайке гнус. Вся кровососущая нечисть! Комары, мошки, слепни все вместе набрасывались на наши несчастные ноги, руки и лица. Мы гуляли с кадилками — металлическая банка на проволоке, в ней гвоздем пробиты дырки, внутри тлеют шишки и сухой мох. Мы раскачиваем их, как кадило. Дымно, но нечисть улетает.

Приезжал дядя Ника. Забавлял нас. Пел украинские песни, рассказывал забавные истории и поражал нас незамысловатым фокусом. Он становился навтыжку, потом так же навтыжку начинал крениться набок и падать, держась так же прямо, и когда казалось, что он вот сейчас рухнет на пол, он, как пружина, подскакивал и возвращался к первоначальной позиции.

Однако дядя Ника был знаменит не этими забавами. В то время он, профессор истории права, написал очень шумевшую книгу «Кровавая месть и смертная казнь». За это сочинение был лишен томской кафедры, и ему позволили преподавать только в Варшавском университете. До сих пор в его семье хранится как реликвия письмо Льва Толстого к дяде Нике — отклик на эту книгу. Ее, конечно, до сих пор никогда не переиздавали. Если она была неужодна царскому правительству, то тем более неужодна большевистскому. Как же, против смертной казни! Хорошо бы переиздать ее сейчас.

Следующее лето мы в Спирине. Пароходом по Оби до пристани Чингисы. Оттуда переправа на лодках. Можно ехать до пристани Олеуты, миновав Спирино, но на той же стороне Оби. А оттуда на лошадях. Но почему-то мы с легким багажом высаживаемся в Чингисах. Какая необъятная ширина реки! Какая таинственная и страшная глубина! Село Спирино. Оно тянется в одну улицу по берегу Оби. По одну сторону улицы дома с огородами, упирающимися прямо в бор. По другую огороды выходят на поскотину, то есть на зеленый берег реки, где пасутся коровы и там и сям растут могучие старые и душлистые ветлы. Наш двор выходит на реку. Дом двухэтажный, еще совсем свежий, желтые бревна пахнут смолой. Большой двор, заросший травой. Посередине двора папа велел установить для нас гигантские шаги, и это привлекает деревенских детей. Стоит большой стол со скамейками. Здесь мы можем играть. На столе стоит большой глиняный горшок, и туда сыпают принесенную деревенскими ребятами лесную землянику. А потом идут на летнюю кухню, она здесь же под навесом, чтобы не чадила в доме. И кухарка Аксинья расплачивается. Рядом с кухней конюшни, за ними калитка в огород. Он необъятный. Посередине дорожка, по ее бокам грядки со всяческой овощью. Подальше — сосны и полянки с лесной клубникой. Так до ворот на поскотину.

В Спирине есть церковь, волостное управление и, конечно, лавки, где есть все, начиная от бочек с сельдью и кончая керосином. Пахнет и тем и другим. Есть лавка с мануфактурой. Какие хорошенские ситцы! Есть и сапоги, и валенки (по-сибирски пимы), и сбруя. Господи, все было! Все! И куда же все это подевалось?

Мы играем с деревенскими детками. Вместе бегаем в лес, где немыслимое количество грибов и ягод. Заходим в избы, присоединяемся к посиделкам — лущить подсолнечники и горох. Наташа всегда у соседки, которую в деревне зовут Краля (красотка) за перебитый лошадиным копытом нос. У нее в избе такая чистота! Пол и лавки выскоблены добела. Из печи вынимаются серенькие пушистые калачи. В семье три ражих мужика — муж и два сына, все бородатые. Мы начинаем упо-

треблять местные слова: «чалдон» (сибиряк), «имай» (лови), «пымал» (поймал), «язви ти в пим» (ругательство), «якорь ти» (тоже ругательство) и т. п.

А какая радость — возвращение осенью в город! Снова к уютным домашним вещам и запахам, к своим книгам. Теперь в доме появились новые книги: Пушкин в брокгауз-ефроновском издании, Гоголь, Некрасов. Я погрузилась по уши в Пушкина. А там еще и столько картинок! Столько портретов современников Пушкина! С ними всеми я познакомилась по этому изданию. Спасибо издателям! Ведь в шести томах они отобразили всю пушкинскую эпоху. Наверное, я читала не все, а если читала, то не все понимала. Прочла и Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Страшную месть», «Тараса Бульбу». С этими писателями я входила в новый для меня мир.

А еще приоткрывался совсем пока неизведанный мир музыки. Оказалось, что папа поигрывает на корнет-а-пистоне. Это было что-то новое. В Киеве не было никаких музыкальных звуков. А тут вдруг: ту-ту-ту, туу-ту! «Марсельеза», «Вихри враждебные веют над нами», а еще «Был у Христа-младенца сад» Чайковского и т. д. Все это у папы в продолговатой тетрадке. В ней линейки, на линейках закорючки с хвостиками, под ними подписаны слова. Наверное, это папа показал мне, как читать ноты. И я тычу пальцами в клавиши и плачу там, где «и капли крови вместо роз чело украсили Его». Папа покупает патефон. Не граммофон с трубой, а — новшество! — патефон. Вместо иглы крошечный сапфир, трубы нет. Достижение техники. Новые музыкальные переживания. Собинов поет «Куда, куда вы удалились...» и арию Надира. Ленского-то я знаю, ну а кто такой НаDIR? Какая-то дама по имени Альма Фридендер, может быть, я ошибаюсь, поет тоненьким голоском «Соловей мой, соловей» и выделяет упомомерительные трели. Тут и Шаляпин. Но тут и глупые «Здравствуй, Бим!» — «Здравствуй, Бом!». Эти-то зачем? И все это был новый мир. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что была хорошим ребенком, благодарным материалом. Меня бы учить да учить. Да чего-то во мне самой не хватало, а может быть, жизнь, сложенная последующими событиями. И я не реализовалась.

Но вот наконец я поступаю в гимназию. Экзамен. Надо писать диктовку. Мама отвозит меня на экзамен, потом приезжает за мной. Оказывается, я написала эту диктовку на пять с плюсом! А сколько страху я натерпелась, соображая, где ставить ять в слове «невеста». Но написала правильно. Мама ведет меня в кондитерскую, мне подают чашку шоколада и пирожное. Вкусно! Но почему-то ужасно неловко, стыдно жевать при всех! Зачем этот господин за соседним столиком так смотрит на меня? Он же видит, как я жую! Стыдно! Куда бы спрятаться? Впрочем, оказывается, теперь я это хорошо вижу, он смотрит не на меня, а на маму. А мама такая красивая! Я и сейчас вижу, как она одета. Серое шелковое манто, большая шляпа из серой соломки, розовая вуаль и розовое перо в шляпе, ажурные серые чулки. Господин все смотрит, а мама говорит: «Ну кончай, пора идти». Мама ведет меня в фотографию. Я уже в форменном платье. Вот эта фотография. Я сижу, подперев щеку рукой. Рожца очень довольная. Фотограф увеличил этот портрет и выставил в витрине у лице. Знакомые спрашивали: «А вы видели Марусеньку в витрине у Хаймовича?»

В гимназии я училась хорошо, если не считать всего того, что арифметика, а в дальнейшем алгебра, и всего того, что математика. За всю мою жизнь мне не понадобились такие мудрости, как дроби или извлечение корня. А сколько было от них неприятностей! Больше всего я любила уроки географии по такому чудесному учебнику Иванова, — кто еще помнит его? И уроки закона Божьего. Батюшка говорит таким тихим, добрым голосом. Так плавно пересказывает нам Ветхий Завет. Перед глазами встают картины: знойная земля, шатры, кочующие народы, стада овец, Авраам, Сарра, Исаак. Какая страшная история! Ведь Авраам уже занес меч над своим сыном! А вот и первая в жизни исповедь. Боязно. Батюшка накрывает мне голову епитрахилью и тихо спрашивает: «Ты когда-нибудь лгала?» «Нет», — говорю я. «Так нельзя. Говори «грешна, батюшка». — Батюшка снова: — Родителей не слушалась?» «Слушалась». Батюшка повторяет: «Говори «грешна, батюшка». Чужое брала?» «Нет», — говорю я в ужасе. «Говори «грешна, батюшка...» Я озадачена.

Теперь я молюсь на ночь. Я знаю молитвы. Я прошу Господа простить мне грехи.

А дома у нас новая гувернантка. Француженка. Никакая она не француженка, зовут ее Елизавета Митрофановна, но она учит нас французскому языку. И еще сочиняет стихи. Они без рифмы. Подписывается она «Дочь Кольцова».

Наступает лето 1914 года. Мы в Спирине. В начале июня приезжает папа. Долгожданный отпуск! Идет подготовка к большой охоте. Собирают все охотничье снаряжение, палатка, запасы продовольствия и даже какой-то замысловатый английский чугунный котел с краниками, со свистком, с герметическим запором, наполненный борщом. Все грузится на телегу, запряженную рыжей парой лошадей. Собаки волнуются и даже подвывают. Папа со своим товарищем и егерем уезжают. Проходит несколько дней. Внезапно в жизнь врываются слова: «Война! Германия! Мобилизация!» Смятение в доме, смятение в деревне. Бабы воют. Мама велит Прокопию закладывать Рассвета и едет на поиски папы. Сначала в лесничество — лесничий знает, где папа раскинул свою охоту. Папа должен уехать. Война! Мы тоже всей семьей уезжаем в город. Но в городе папа заболевает дизентерией и целый месяц лежит в госпитале.

А в доме появляются два денщика. Григорий и Поликарп. Подумайте, два! А ведь папа был всего лишь прапорщик запаса. Теперь прапорщик не офицерский чин, а тогда — что-то вроде младшего лейтенанта. Григорий останется с нами и будет обслуживать семью. Поликарп едет с папой на фронт. Он не оставит папу и тогда, когда прогремят революции, как Санчо Панса, разделит с ним все невзгоды и опасности гражданской войны, в 1922 году вернется с папой в Сибирь и здесь умрет от сыпного тифа.

Григорий верно служит маме. Теперь он няня Шурика и слуга в хозяйстве. Григорий спит на кухне. Под подушкой у него хранится шапка и — гордость! — аксельбанты. У папы они золотые, у Григория — желтые. И еще песенник. Сколько там прекрасных песен: «Маруся отравилась», «Пуская могила меня накажет», «Ах, зачем эта ночь», ну и другие. Я выпрашиваю у него книжечку и все изучаю. Потом Григорий поет, а я подпеваю. Это все когда папы уже нет и мы, как говорит мама, совсем распустились.

Жизнь меняется. Лошади проданы. Мы переезжаем на другую квартиру. Исчезает и Прокопий с семьей. Новая кухарка. В Сибири говорят «стряпка». Нет и Мавруши. «Дочь Кольцова» еще некоторое время остается, но вскоре тоже исчезает. Офицерское жалованье незначительно.

Наконец проводы. Прощальный обед в ресторане при вокзале. Тогда при вокзалах были шикарные рестораны. За столом незнакомые офицеры. Поднимают бокалы: «За встречу в Берлине!» «Знаешь, на Unter den Linden есть кабачок. Там и выпьем!» Папа будет воевать, получит Георгиевские кресты, его будут повышать в чинах, и он закончит войну в чине капитана. А я буду писать ему письма и посылать свои стихи (новое занятие). Адрес помню до сих пор: «3-й конно-горный дивизион». Перед отъездом папа дарит нам с Наташей свои фотографии с трогательно-нравоучительными надписями. Вот эта фотография. Такой благообразный, даже красивый, барственный господин. Бритое лицо. «Ну как у актера!» — говорили мамыны приятельницы. Одет шегольски. Папина слабость. У него хороший портной в Петербурге, и папа ездит одеваться туда. Время от времени приходили по почте альбомы с образчиками тканей. На альбоме значилось: «Портной Александр Роза».

Проходит зима. Весной у нас появляется еще братец Игорь. Как он появился? Ведь я крепко спала в своей комнате, и мне снились папины дикие утки, опять манки. Они громко кричали, и я проснулась. Их не было, но они все еще кричали. Оказывается, это был новорожденный братец. В мамину спальню меня не пустили. Там шла какая-то возня. Я вышла в столовую. Братец Шурик — в руках большие ножницы — сидит за столом. Он режет и режет на куски белую скатерть. Всем не до него.

Пора ехать в Спирино. Но мама с маленьким приедет позже. А нас отправляют с кухаркой и с маминой приятельницей, учительницей гимназии.

Ах, это лето 1915 года! Я совершила тяжкий грех — послушание родителей. И какая расплата! Какая страшная расплата! Какие муки совести! Они при мне всю оставшуюся жизнь. До сегодняшнего дня.

В Спирине у меня были две деревенские подружки — девятилетняя Поля и семилетняя Таня, маленькая деревенская красотка. Она сирота. Мать умерла, отец на войне. Воспитывала ее тетка. Однажды мы втроем играли на травке во дворе. Наташа, как всегда, целые дни у соседки Крали. Ах, если бы она была с нами! Такая рассудительная, она не позволила бы нам нарушать мамин запрет идти на поскотину, туда, где в дуплах ветл живут удоды и так интересно заглядывать в их гнезда!

Ворота заколочены. Мама боялась реки, боялась, что мы пойдем к воде. Но мы перелезаем через ворота. Мы бежим к реке. Поля прыгает на травяном берегу, а мы с Таней бродим по воде, по узеньким мелким закраинкам. Мы ж только по этим выступам, мы ж у самого берега. Я впереди, Таня — за мной. Вдруг всплеск! Я оборачиваюсь. Таня в воде. Видна одна ее голова в красном платочке. И отчаяние в огромных глазах. Мы с Полей кричим: «Ты умеешь плавать?» Она молчит. Вокруг ни души. Некого позвать. А течение уносит Таню. Вот по воде плывет только красный платочек. Плывет и плывет. Тани больше нет. «Бежим в деревню», — говорит Поля. Мы бежим, задыхаемся. «А ведь нас с тобой в тюрьму посадят, — говорит она. — Бежим домой! Только никому не говори!» Дома я сажусь на траву под дерево. Я буду читать. Нет, не могу. Буквы прыгают, и почему-то лифчик так давит грудь. Так больно! Нет, я не могу больше молчать. Я бегу к летней кухне, где топчется кухарка, и падаю перед ней на колени. Я кричу: «Таня утонула! Таня утонула! Таня утонула!» А через наш двор уже бегут люди с баграми, и Танина тетка громко воет. Поля тоже не выдержала. Теперь тюрьма, думаю я. Тюрьма. Ведь это я виновата. Я старшая, мне десять лет. И я нарушила мамин запрет. Мой грех!

Таню не нашли. На берегу около того места, где она утонула, поставили большой черный крест. Много лет спустя я проплывала на пароходе мимо Спирина, и крест был там. Через два дня нам с Полей было приказано явиться в волость. Почему-то ни учительница, ни кухарка, никто не пошел со мной. Я была уверена, что меня вызвали для того, чтобы посадить в тюрьму. Но там был человек, наверное, следователь, который довольно ласково меня расспрашивал, как все произошло.

Этот мой грех послушания принес не только смерть Тани, но еще и смерть маленького братца. Мама увидела сон. Она на лодке посередине Оби смотрит в воду, а на дне лежу я. «И косички шевелит вода», — говорила мама. В беспокойстве она решила схватить к нам. Первые слова, которыми ее встретили, были: «А Маруся чуть не утонула» — и рассказ о гибели Тани. От нервного потрясения у мамы исчезло в груди молоко. Срочно купили козу. Но то ли от перемены молока, то ли от какого-то упущения в санитарии ребенок заболел диспепсией и умер. А мне остались муки совести, осознание греха и видение: маленькая девочка в длинном цветастом платье бежит, быстро перебирает босыми ножками, торопится на встречу со смертью.

Этой же осенью мама отвозит меня и Наташу в Петербург (уже Петроград) к папиной сестре, тете Наталье. Она забирает нас к себе до окончания войны, чтобы помочь папе и маме в нашем воспитании. Тетя Наталья врач, хирург. Дядя Осип — инженер, сейчас он начальник передвижных военно-ремонтных мастерских. Он около фронта. Тетя работает в двух госпиталях, заполненных ранеными. Часто ее вызывают ночью на какую-нибудь срочную операцию. Тетя и дядя сыграют большую роль в нашей жизни и до самой своей смерти будут опекать нас и принимать в нас участие. Живут Гуревичи (это фамилия дяди Осипа) на Офицерской улице, дом 57. Знаменитый дом, в нем жил и умер Александр Блок. У них две девочки, приемные, свои не родились. Старшая — Ольга (Ая), ей шесть лет, а младшей, Нине, четыре года.

Жизнь здесь совсем, совсем другая! Это вам не Ново-Николаевск, а Петербург. Другие мерки, другие требования, другие обязанности.

Мы поступаем в гимназию Могилянской. Она на 4-й линии Васильевского острова. Ходим только пешком — сорок пять минут туда, столько же обратно. Это наша прогулка. Больше на прогулку времени не отпускается. День плотно забит. Уроки, занятия французским языком, уроки пения, уроки музыки, чтение, а по воскресным дням танцкласс.

Тетя очень строгая. Многого нельзя. Нельзя гулять без горничной, нельзя выходить во двор, нельзя без перчаток (а это почему?), нельзя в кухню, нельзя еще многого. А какие строгости с умыванием! Есть ванная комната, там стоит большая медная ванна (кто еще их помнит?) и медная колонка, которую топят для купания. А ежедневное умывание в спальнях холодной водой. В каждой спальне стоит умывальник, у нас с Наташей двойной. Большой стол, на нем два таза, две полочки для мелочей, два маленьких таза, два кувшина с водой, два сливных ведерка. Полагалось на ночь мыться до пояса с мылом, а утром то же без мыла. Наташа быстренько придумала спасительную хитрость. Надо было смочить все тазы, губки и полотенца, слить в ведра воду, наболтать в них мыла и спокойно ложиться спать. Но тетя что-то заподозрила. Ночью я проснулась и увидела тетю со свечой в руке,

осматривающую наш умывальник и полотенца. Но, видимо, мы ее обманули. Замечаний не было.

Когда мы приехали, у тети был небольшой штат прислуги: кухарка, горничная и гувернантка девочек. Но невозможно же было навалить на одну горничную заботы еще и о нас: уборка, починка белья, провозжание в гимназию и т. д. Поэтому была взята еще одна горничная.

Да, у мамы, особенно после отъезда папы, было привольнее, и мы за один месяц, как я уже говорила, «распустились».

Зато какое счастье уроки музыки! Приходила преподавательница, очень молодая, только что окончившая консерваторию, Анна Михайловна Штример. Наверное, ее уже нет в живых. Много лет спустя она стала уважаемым профессором консерватории и, наверное, научилась преподавать. Но тогда мы играли какие-то салонные пьески, какие-то «Волшебные колокольчики», «Ручейки», «Perles de rosée» и т. п. А про Баха и не слышали! Жаль. Я с рвением и страстью занималась музыкой. Ая тоже. Она была поспособнее меня. А Наташа и Нина не проявляли интереса и были от этих уроков освобождены. Пение. Зачем? — спросите вы. Прекрасная затея нашей тети. Два раза в неделю приходила молодая певица, звавшаяся тетя Ася. А ее сценический псевдоним был Клара Милич. Она пела в оперной студии при консерватории и получила дебют в Мариинском театре, но помешала революция, все переменялось. Тетя Ася знакомила нас с вокальной литературой. Мы начали с разных сборников детских песенок, с «Гуселек», сборников Кюи, Гречанинова, Аренского, Чайковского и дошли до серьезной музыки, до Шуберта и Шумана. Четырехлетняя Нина пела вместе с нами очень тоненьким и очень точным голосом. Пели все в унисон, и только в дуэтах тетя Ася разделяла нас. Я очень увлеклась этими уроками.

Воскресный танцкласс. В гостиной раздвигалась мебель, приходили внуки профессора Турнера, приходил аккомпаниатор и наконец сам... обожаемый нами — мы просто млели, были влюблены в него — Владимир Иванович Пономарев-второй. Танцовщик Мариинского театра, в то время один из четырех принцев в «Спящей красавице», в конце своей жизни — художественный руководитель балетной труппы театра. Он учил нас позициям, держать ручку и пальчики, шоссэ, глассе и прочим премудростям. Потом вальсы, польки, па де патинёр, па д'эспань, венгерка, краковяк и всякое другое. Это было также развлечение для родителей, они с умилением смотрели на своих танцующих деток.

Чтение. Книг в доме было много. Тетя купила у своей приятельницы, дети которой уже выросли, целый шкаф с детскими книгами — четыреста томов. Там были и роскошные, с золотыми обрезам издания Девриена и Вольфа, и более скромные — целый мир. Только все сочинения Чарской были без жалости выброшены. Такой сентиментальной, восторженной жвачки тетя не допускала. А из взрослых шкафов я прочла и Тургенева, и Гончарова, и многое другое.

До сих пор, бывая в Петербурге, я посещаю эти места, хожу тем путем, которым мы шли в гимназию по Офицерской (улица Декабристов) до Английского проспекта (Маклина), по нему мимо кондитерской фабрики Жоржа Бормана (ах, как вкусно пахнет!) до Мойки, дальше по Старо-Адмиралтейскому каналу до Невы. Тут часовня в память Цусимы, потом по Английской набережной до Николаевского (Лейтенанта Шмидта) моста и на Васильевский остров. Тихий канал, таинственная, романтическая жизнь воды, плывущие по Неве баржи и плоты, как они манили! Хотелось, как Гекльберри и Тому Сойеру, туда, туда и плыть с ними. А царские яхты, стоявшие на причале у Английской набережной! Черные, лакированные, с золотом. Матросы в белом суетятся на палубе, все начищают. А там, дальше, спускают водолазов. Ну как не остановиться?

Гимназия совсем не похожа на гимназию в Сибири. Она «демократическая», говорит тетя. Потому нас и отдали в нее. Мы не носим форму, только сверх своего платья голубые халатки. Никаких финтифлюшек, кудряшек, каблучков, жеманства, как у гимназисток Шафэ (это гимназия напротив нашей). Наш стиль спортивный. Отношения с педагогами дружественные и простые. Мария Дмитриевна Могилянская, маленькая, энергичная, она же преподает французский язык, она — основа, тело этой гимназии. Ее дух, душа — Николай Васильевич Балаев. Он ведет в классах русский язык и литературу. Светлая личность. Он говорит нам, еще совсем маленьким, о свободе духа и личности, об обязанности человека, о благородстве. А классные дамы! Где они теперь, эти классные дамы? Они сидели в классе во время урока, держа спину так прямо, в струнку. Их обязанность только

смотреть и смотреть, что делается за каждой партией, — больше ничего. Порядок и тишина. На перемене тоже следить за своим классом.

А вот урок рисования. Дежурная по классу раздает на каждую парту коробку с красками, кисточку, стакан, куда наливает из чайника воду, и дивную толстую разноцветную бумагу, хочешь — серую, хочешь — черную или розовую, голубую или белую. Ощущение этой бумаги до сих пор у меня в пальцах. Один большой лист прикрепляется к доске. Это для коллективного — по очереди — рисунка. Интересно. Ах, если бы и сейчас так в школах!

Иногда приезжает дядя Осип. Он невысокий, подтянутый, большие рыжие усы. Мы с Наташей потихоньку зовем его «тушканчик». Дядя любит сидеть с газетой в гостиной на диване, когда я играю. Иногда он говорит мне что-нибудь вроде: «Тут бекар». «Как это он догадался?» — думаю я. Дядя и сам играет и садится со мной поиграть в четыре руки. Сборник называется «Брат и сестра». Люди моего возраста помнят его. И хотя я делаю ошибки, дядя говорит: «Умница». На нотной полке можно найти много интересного. Гайдн в четыре руки. Оперные клавиры: «Фауст», «Кармен», «Травиата». «Фауст» в очень легком изложении, и он становится нашей с Аей добычей. Мы терзаем его. Да еще и напеваем. Но на полке есть еще местечко, где лежат ноты, о которых тетя презрительно говорит: «Чушь!» Вертинский. На обложке печальная фигурка Пьеро. Цыганские романсы. Вьялцева, Плевницкая и т. д. Интересно, кто приобретал, кто проигрывал? Уж наверное «тушканчик». А он просто хотел знать все. И знал. И не только в музыке. Он знал все и старался сделать так, чтобы и мы знали. Не специально, не менторски, без всякого чувства превосходства. И о великом и о малом. Ты хочешь знать, что такое пошлость? Вот и поиграй, прочти, пропой... и подумай.

А у меня появляется еще мечта — скрипка. Я хочу ее, я хочу ее иметь, держать в руках, играть. По ночам не сплю и плачу. Но это только мечта! Нельзя же всё!

Первое посещение Мариинского театра. Опера «Черевички». Никакого музыкального впечатления. Но ночью кричу во сне. Все-таки там черт, он вылетает в трубу, Солоха — ведьма. Тетя недовольна. Я и вообще-то плохо сплю. Боюсь. Ночные страхи. Перед тем как лечь в кровать, снимаю с вешалки полотенца и одежду, а то они будут казаться привидениями. Боюсь таракана, вдруг приползет. Мешаю спать Наташе, все время спрашиваю: «Наташа, ты спишь? Я боюсь». «Не сплю, — говорит Наташа. — Смотри сюда. Я сделала фигу и буду держать ее на одеяле. Ты не спрашивай, а смотри. Фига есть, значит, я не сплю». И сладко засыпает. А я заворачиваюсь в одеяло с головой, оставляю нос, чтобы дышать, и один глаз, чтобы смотреть на фигу.

Но вот лето. Мы будем проводить его в Финляндии, на даче тетиного пациента и друга Павла Петровича Гершуни, вернее, на той даче, которую он выстроил для своего брата, известного революционера. Где был в это время брат — не знаю. А Павел Петрович с семьей жил на своей даче, километра за два от нас.

Ехали в Сейвисто на поезде до Териок (теперь Зеленогорск), оттуда на лошадях до Стирсуддинского маяка около деревни Сейвисто. Большой двухэтажный дом — вот он на фотографии — и огромнейший дикий сосновый участок. Море близко. С утра мы, дети, вместе с горничной, прихватив бидон с молоком и печенье, идем на берег моря. Необозримый и совершенно пустынный — ни души — пляж. На горизонте в море иногда финская лайба, рыболовецкий парусник. Приволье для игр, валянья, купанья, благо мелко. У Наташи игры всегда хозяйственные — надо вылавливать шматы зеленой тины и ею мыть камни. Моим. А у меня игры всегда соответствующие прочитанной книге. В данное время это «Маленькие индейцы» Сетон-Томпсона. Я — вождь. Нина — мое племя. Мы разделились. Наташа с Аей — один фронт, я с Ниной — другой. Мы не ссорились. Просто по-разному играли. У Наташи были свои фантазии, у меня — свои. Чтобы заслужить право быть членом моего индейского племени, нужно было пройти разные испытания. Первое — пройти от пляжа до дома «взад пятки», это понятно. Второе — в одном купальном костюме броситься в можжевельниковый куст. Индеец должен быть терпелив. Третье — ночью, при луне вылезти в окно и пройти по лесу: индеец должен быть бесстрашен. Мы делали и добрые дела (спасали какого-нибудь птенца, выпавшего из гнезда), но и боевые — нападали на «бледнолицых», Наташу и Аю, которые, устроив уютный домик, обхаживали и кормили там своих кукол. Мы с дикими криками врывались к ним, все громили и убегали под их вой и плач.

Один раз приехал с фронта в отпуск папа. Рассказывал о войне. Почему-то запомнилось: «Мы отступали, отстреливаясь». Она повторилась, эта фраза.

Он фотографировал нас — вот фотографии в моем ящике. На одной из них нас семеро. В центре бабушка, она приехала в гости из Киева повидаться с папой. Она, конечно, с газетой. Рядом тетя, держит на руках Нину, приятельница тети Софьи Ивановна Протасова — профессор Петербургского университета, знаток древнегреческого и латыни. Впереди слева — я, потом Наташа и глазастая Ая.

Кроме Софьи Ивановны у тети есть еще приятельницы. Они приезжают погостить в Сейвисто. Самая примечательная из них — Мария Петровна Лаврова. Она хирург, но кроме того мастер по изготовлению скрипок, живописец. Потом занялась востоковедением, изучала языки, бросила медицину, работала в Русском музее заведующей восточным отделом. Потом бросила и это ради служения православной религии, уехала с семьей репрессированного священника в Ташкент; там приняла постриг. Вот у меня ее фотография с надписью ее почерком: «Инокья Маргарита 92 года».

Есть еще Мария Густавовна Шульц, тоже врач, и Елена Давыдовна Зайцева — ученая дама, не знаю, в какой области. Она подолгу живет в Голландии.

Любимый тетин родич — двоюродный брат дядюшки Осипа, он зовется дядя Жак. Это Яков Максимович Ромм. Он хороший пианист. Характер у него непредсказуемый, что очень забавляет тетю. Он красивый, пылкий. Он часто живет в Париже. Там и закончит свою жизнь. А я много лет спустя после его смерти увижу хорошо сделанный скульптурный портрет, стоящий на книжной полке у Исайи Браудо. «Да ведь это дядя Жак!» — скажу я. «Да, это мой дядя. И именно дядя Жак», — скажет Исайя.

Заезжал и Павел Терентьевич Матюшенко. Он муж старшей папиной сестры, тети Жени, значит, наш дядя. Немолодой, очень красивый. Он военный, полковник. Ему говорят: «Пора бы и повышение получить». Он отвечает: «Его величество государь император имеет чин полковника. Я счастлив быть в его чине». Большевики решили его судьбу. Вместе со многими офицерами царской армии он был схвачен в Крыму и переправлен в Архангельск. Там в зимнюю стужу, одетые в летнюю форму, эти офицеры работали на улицах Архангельска. Местные жители, те, кто не боялся, звали их в дом обогреть и покормить. А потом их погрузили на баржу, которая вышла в море, и потопили. Павел Терентьевич оставил двум обогревавшим его учительницам адрес тети Жени и письмо ей. Через несколько лет они нашли ее. История этих офицеров упоминается Солженицыным в «Архипелаге ГУЛАГ».

Идет 1916 год. Напротив наших окон булочная. Она и сейчас там же! Стоит очередь за хлебом. Это что-то совсем новое. Война! Какие-то «трудности», о которых говорят взрослые. Взрослые все время что-то обсуждают, чем-то возмущаются, на что-то намекают. Тетя погружена в работу. Два госпиталя. Один поблизости, на Английском проспекте, в особняке голландца Фан дер Пальса. Он устроил госпиталь для офицеров. При особняке большой сад, и нам разрешено гулять в нем. Сейчас в этом особняке военкомат.

А у нас жизнь все та же. Гимназия, уроки, занятия. Французский язык осточертел. Наша mademoiselle не утруждает себя педагогикой. Она просто читает нам вслух с увлечением «Les patins d'argent» («Серебряные коньки»). Читает носом, длиннейшим носом, водя им по строчкам и держа книгу около глаз. Она очень близорука. Мы с Наташей сидим по обе стороны от нее и за ее спиной строим рожи, хихикаем, делаем пальцами рожки. Время от времени она возмущается: «Vous vous moquez de moi!» («Вы издеваетесь надо мной!»). А мы ведь не понимаем и половины того, что она читает. Ее это не беспокоит. Это ее «система».

Незадолго до Рождества как взрыв — событие. Убит Распутин. Весь город в волнении. Телефоны не умолкают. Все звонят друг другу, никто не может никому дозвониться. Дозвонившись, сообщают то, о чем слышали, слушают то, о чем им рассказывают. При нас говорят, понизив голос. Есть подробности жизни Распутина, о которых нам не следует знать.

Тем временем я заблеваю. Из гимназии меня отпускают домой. Старшая горничная Машута укладывает меня в постель и звонит тете в госпиталь. Я слышу: «Барыня, это, наверное, аппендицит». Горничная хирурга. Тогда было увлечение — удалять аппендикс. Наташе в прошлом году, Машуте за два года до этого, кухарке тоже. Не упустить момент. У тети был трагический случай запущенного аппендицита, маленькая пациентка погибла. Действительно у меня аппендицит. Меня увозят в тетину Кауфманскую общину, но оперирует меня не она, а доктор Стуккей. Мне вспоминается это совсем не как особый случай, а только как сравнение того

больничного сервиса с современным. Я в отдельной палате. Может быть, это из-за тети. Когда открываю глаза, вижу лицо Елены Давыдовны. Она взялась дежурить около меня. Приходит доктор Стуккей. Потом тетя. Бесшумно снует санитарка. Перестелить постель приходит почему-то санитар. Как же! Ведь тяжело для женщины поднять, переложить, перестелить. Он делает это ловко, быстро. Везде чистота и блеск. Кормят вкусно.

А вот и февраль 1917 года. Революция. Отречение государя. Все переживается с радостным возбуждением. Мы за революцию! За т у! Жаль только, что царский герб с вензелем, украшавший наш с Наташей балкон и так красиво освещавший нашу комнату, в дни тезоименитств и иллюминаций, сорван с таким грубым торжеством и сброшен на панель. Это мне кажется святотатством. Все нацепляют красивые кокарды и выходят на улицы. Мы — тоже. Перед домом сугробы снега. Дворники уже не работают. Революция! Жители дома № 57 вооружаются лопатами и метлами. Мы убираем снег. Из хлебной очереди доносится улюлюканье: «Буржуи проклятые!», «Всех на виселицу!». Господи, как я оскорблена! Ведь мы за! А горничные прибегают со страшными рассказами. В Мойке топят городских. Горит «Литовский замок» — тюрьма на углу Офицерской и Алексеевской. Все арестанты на воле. На воротах вывешены кандалы...

А у нас уже принесенные тетей Асей ноты. Новый гимн. «Да здравствует Россия, свободная страна...», Гречанинов. Текст, если не ошибаюсь, Бальмонта. Не помню. Тетя говорит: «Слабый гимн». Теперь это позывные «Радио Свобода».

Еще одно лето в Сейвисто. Мы общаемся с детьми Кранихфельд — племянниками Мартова (Цедербаума). Старшему, Андриюше, пятнадцать лет. Он весь в политике, всегда погружен в чтение газет. В наше время он был в ГУЛАГе, я прочла о нем в одном из запрещенных изданий. У взрослых все время тревога. Надвигается угроза голода. Тетя делает запасы. У местных рыбаков покупают рыбу и вялят ее. Мы помогаем. Наша работа — чистить. Сушили грибы. Было куплено ведерко масла. Кстати, когда уезжали в город, это ведерко забыли на перроне в Териоках. На другой день кухарка поехала в Териоки в надежде разыскать его. И представьте, ведерко стояло на том же месте, где его забыли. Еще существовала честность. Но это были финны.

Осень. Город бурлит. Демонстрации, песни, лозунги, выкрики. Вот по Офицерской улице мимо нашего дома идет демонстрация. Большевики. А я же их ненавижу! Я их ненавижу с самого начала. Не знаю, за что. За то, что в них жестокость, хамство, самоуверенная наглость. Я просто предчувствую — они украдут нашу жизнь! Я их ненавижу! Я забираюсь на окно, кричу, улюлюкаю, свищу, грожу им кулаком. Дядя снимает меня с подоконника и говорит: «Научись уважать чужие убеждения». Ах, либералы! Ах, благородные души! Ах, наши дорогие родители! Вы и нас учили благородству и терпимости. Вы и не подозревали, что ваша терпимость приведет вас к рабству. Да, конечно, и я никогда не смогла бы бороться. Но хоть ненавидеть-то позвольте!

А вот и катастрофа. Октябрь. «Они» у власти. Они носятся по городу на грузовиках, вооруженные до зубов, перепоясанные пулеметными лентами, они бессмысленно палят по верхним этажам и чердакам. Там будто бы прячутся городские. А мы в страхе прячемся в ванной, в кухне, в передней. Они врываются в дома с обьсками, топчут сапогами, шарят по комнатам, ищут «врага». Уже тогда, уже сразу — врага. А тетя и дядя действительно прячут их врага, нашего кузена, юнкера. Из передней есть дверь в маленькую комнатку, эту дверь заставили платяным шкафом. А он — там. Он жил так пять дней, потом скрылся, переодевшись. Впоследствии он жил в Югославии. Это был сын Павла Терентьевича Матюшенко.

В политике мы, дети, не разбираемся. Мы же не такие, как Андриюша Кранихфельд. Мы прислушиваемся к обрывкам фраз, произносимых взрослыми, именам, мелькающим в разговорах: убийство Шингарева и Кокоскина, такое страшное убийство, совершенное «ими», рассказы о Викторе Чернове (много лет спустя я буду дружна с его дочерью Ольгой); Керенский, Мартов, потом Троцкий, Ленин и многие другие имена. А потом: эсеры, эсдеки, кадеты! Наши родители, конечно, кадеты.

Жизнь становится все тревожнее, все непонятнее, все голоднее. Кухарка по-прежнему утром идет в магазин — жакет из мятого черного плюша в талию, рукава буфами, на ногах ботинки на пуговках, в руках корзина. Так одеты все кухарки. А что она приносит? Главным образом какие-то сведения, услышанные в очереди. Мама присылает ящик с белыми сухарями. В Сибири есть все, и всего много. А

у нас суп из вяленой рыбы и очень вкусное соленое печенье из картофельной шелухи с тмином.

Тетя решаст отослать нас с Наташей к маме. Там хотя бы сытно. Мама в это время существует тем, что дает обеды и сдает комнаты. У нее большая квартира, новая для нас, две прислуги и Григорий. Он женился на одной из девушек и прилепился к маминой семье. «Столовников» очень много, из двух учреждений. Обедают в две смены. Они довольны — очень вкусно, очень сытно и очень дешево. Настолько дешево, что они сами повышают плату, видя мамину непрактичность. Но она говорит: «Зачем? Мы сыты, и хорошо».

Передвижные ремонтные мастерские, где начальником дядя Осип, переводят в Сибирь, в Омск, где на их основе образуется Омский механическо-литейный завод (Омеханлит). Его директором будет дядя Осип. Он уже там. Нас с Наташей помещают в дядино купе, поручают заботам инженерного персонала и везут долго, чуть не месяц, до Омска, оттуда переправляют с одним рабочим в Ново-Николаевск к маме.

Это восемнадцатый год. Жизнь опять меняется. Почему-то у мамы мы опять «распускаемся». Конечно, гимназия существует. Но это уже не та, где мы учились до отъезда в Петербург. Ни плохих, ни хороших воспоминаний о ней нет. Она очень близко, за углом. Мы часто пропускаем занятия, по утрам валяемся в кровати. Мама приходит и уговаривает нас: «Девочки, вы бы встали, умылись, оделись. Ведь шанежки (сибирские булочки) уже на столе стынут». При слове «шанежки» Наташа оживлялась. Мы бодро одеваемся.

А в стране кипит гражданская война. Мы приехали — советская власть, какие-то Совдепы. Но однажды просыпаемся — звон колоколов в соседней церквушке: перемена власти — чехи. Все радуются. Потом Колчак.

Так пройдут 1918 и 1919 годы. Вспомнить и описать все события не берусь. О происходящем мы узнавали из разговоров взрослых. И все-таки самое страшное было «красные». Они всегда шарят по домам, всё чего-то ищут, что-то прихватывают, «конфискуют»: золотые и серебряные вещи, теплую одежду, подушки, даже папин знаменитый котел — гнать самогон. Потом они заберут всю мамину квартиру, но это позже, когда они утвердят свою власть, чтобы семьдесят лет помыкать нами.

Впрочем, убивали все. И те и другие. Расстрелян папин приятель, киевлянин, которого папа переташил сюда, Василий Романович Романов. Он стал коммунистом и в Совдепе занимал руководящую должность. Его жена приходила к маме и, рыдая, рассказывала, что за чугунной оградой реального училища лежат трупы расстрелянных людей и среди них она увидела Василия Романовича.

Но жизнь шла. Люди хотели есть, мама всех кормила, прислуга гремела посудой, мы ходили в гимназию. По улицам гуляли чешские, польские и английские офицеры. Один поляк повалился прогуливаясь мимо окна, на котором я любила сидеть с книжкой, и однажды я нашла на нем большой букет цветов. Мне тринадцать лет. Наверное, я кажусь ему девушкой. Разумная и рассудительная Наташа возмущена: «Выброси немедленно! Как тебе не стыдно!» А мне почему-то не стыдно. И мамин квартирант поглядывает на меня.

Тетя с девочками и кухаркой Машей тоже уезжает из Петрограда. Добирались до Омска очень долго, на несколько месяцев застряли под Кунгуром. Но наконец семья собралась в Омске.

Завод на одной из окраин Омска, Атаманский хутор. Двухкомнатная квартира в одноэтажном домике, двор, сарай. Тетя налаживает жизнь.

На лето 1919 года тетя берет нас с собой в деревню Повалиха под Барнаулом. Ее приглашает богатейший мукомол Платонов. Кухарки Маши у нее больше нет, она вышла замуж. Вместо нее берется пленный австриец, огромный рыжий Матвяс. Он пришел в дом с таким же рыжим и огромным котом, сидевшим всегда у Матвьяса на плече.

Повалиха! Как роскошна природа вокруг нее! Какое торжество! Это предгорье Алтая. Зеленые луга, травы выше человеческого роста, цветы, леса! Тихая река в ярко-зеленых берегах. Мы занимаем небольшой нарядный домик с садом. Платонов с семьей живет поодаль в очень большом и благоустроенном доме. Целое поместье. Платонов — барин: конюшни, собаки, целый штат прислуги. У него две дочери — Зина и Люба — и сын Ваня. Зина — студентка Медицинского института, Любочка — консерватории. Ваня не интересуется ничем, кроме лошадей. Я интересуюсь только Любой, она играет на рояле, она красивая, а главное (я замираю от

восторга), отец подарил ей белого иноходца, и она, надев белую черкеску, поситяет верхом по лесным и полевым тропам. Господи, как красиво! Чарскую-то от нас отбирали, чтобы не было sentimentalной восторженности, а оказывается — напрасно. Она все равно тут!

В гостеприимном доме Платонова собирались профессора Томского университета. Теперь среди них и Софья Ивановна Протасова, и профессор Диль, и другие. Мне разрешают играть на рояле, он в большом зале. Я играю, тетя Соня спускается по лестнице: «Что ты делаешь? Зачем ты так нажимаешь на педаль?!» А виновата Анна Михайловна Штример. Ведь в музыке, как и в жизни, правила хорошего вкуса прививаются с малолетства. Азбучные истины.

А разговоры взрослых все об одном. «Они» наступают. Тревога. Бежать или оставаться? Бежать или оставаться? Бежать? Остаться? Тетя решает — оставаться. И осенью мы возвращаемся по домам.

Боже мой! Ведь в это время через всю Сибирь вместе с «ними» шел четырнадцатилетний мальчик Лева. Он назывался командир конной разведки. Зимой, с отмороженными руками, он со своим отрядом гнал Колчака и первым вошел в деревню Повалиха. Через много лет он станет моим мужем. И я буду рассказывать, как я ненавидела их. А он мне — как и он их возненавидел, но чуть позже.

Зимой, когда красные подходили к Омску, дядин завод (наверное, не завод, а лишь его инженерно-техническая часть) все же эвакуировался. За шестьдесят километров до Ново-Николаевска все железнодорожное движение останавливается. Все идут пешком в надежде добраться до мамы. Раздобывают несколько подвод для детей и вещей. Взрослые плетутся вслед по заснеженным дорогам. Их шестьдесят человек. И все совершенно неожиданно вваливаются к маме. По счастью, к этому времени все мамын квартиранты разбежались и есть три большие комнаты. В столовой тоже кого-то размещают. Естественно, все вповалку на полу. Мы помещаемся в комнате мамы и Шурика. Мама переносит все это нашествие с олимпийским спокойствием. Ну конечно, она же гречанка! Через какое-то время, может быть, через месяц, все возвращаются в Омск. Дядя, правда, был арестован, но чудом уцелел и через некоторое время вернулся к своему заводу.

Меня и Наташу опять забирают к себе тетя и дядя. Теперь мы поступаем в омскую, уже советскую, школу. Это бывшая мужская гимназия. Программа в ней не изменена. Мы впервые учимся с мальчиками и учим латынь. В 1922 году мы окончим гимназию вместе. Почему-то мы оказались в одном классе. Это удобно. Сидим на одной парте. Наташа пишет за меня работы по математике, ведь я удивительно тупа в этом предмете, а Наташа очень смышленная. Зато я пишу ей сочинения по литературе. И мы как-то ползем.

Дом тети и дяди — центр культурной жизни завода. У нас стоит рояль, не знаю чей, не наш. По вечерам собираются близкие нам люди. Играем, поем, читаем стихи. Взрослые много и умно говорят, мы все наматываем на ус. Я пишу стихи, конечно, мрачные, ведь мне пятнадцать лет. Все просят читать. Я читаю не стесняясь.

Дядя съездил в командировку в Петроград, набрался там новых идей, прикоснулся к русскому искусству 20-х годов, привез новые книги, ноты, рассказы о том, где побывал, кого видел и слышал. Освежающая струя!

Но кроме духовной существовала еще и бытовая сторона жизни. Во что одеваться? Нигде ничего не продается. Как кормиться? Как содержать дом в чистоте? Мыла нет, и тетя варит его сама. Казалось бы, людям, привыкшим с детства быть обслуженными няньками, боннами и горничными, нетрудно и опуститься. У нас ведь оставался только Матьяс. Он шурует на кухне. На плече у него его рыжий кот, и иногда Матьяс подает ему на вилке кусок мяса. Матьяс уборкой не занимается. Это делаем мы, дети, и старшие и младшие. Тут тетя свирепопридирчива. Окна и двери моются раз в неделю, полы тоже. У каждой свой участок.

Тетя хотела бы не работать на государственной службе. Она завела натуральное хозяйство. Купила корову и поросенка, получила где-то небольшой участок под картофель. Все это требовало трудов и времени и служило подспорьем в жизни.

Но существовала уже «всеобщая трудовая повинность». Уже принуждение. И тетя имела какую-то санитарную обязанность — обходить землянки, целым городом выросшие на окраинах Омска. В них свирепствовали тиф, антисанитария и нищета. Однажды она увидела в землянке мальчика-подростка, он был один. При появлении тети он вскопич, шаркнул ногой, поклонился и поцеловал ей руку. Польский мальчик. Родители умерли от тифа. «А что ты ешь?» — «Тараканов. Противно, но

ничего другого нет». Тетя взяла его с собой. Юзик. Его отмыли, переодели — хорошенький мальчик с галантными манерами. Прикомандировали его к корове. Юзик должен был кормить ее, пасти, чистить. Тетя и дядя вырастили его, дали ему образование. Когда возвращались в Ленинград, взяли его с собой. Он стал нашим братом.

Да, а во что мы одевались? Непостижимо! Мы всё донашивали. Претензий теперешней молодежи мы не имели. У дяди была маленькая нога, тридцать восьмой размер, и с мирных времен много обуви. Теперь она обслуживала нас. Кому впору, кому велика, но обуты. Чулки, конечно, штопались, и так усердно, что в них образовывались новые пятки и носки. Научились вшивать новый след. Что-то сами перешивали самым дикарским способом.

А что же в это время наша мама? А все очень просто. Новая власть издает указ, гласящий: кто где родился, там и должен жить. Мама родилась в Севастополе. Не можешь уехать — освобождай квартиру и на высылки. Эти высылки за городом, на берегу Оби, в бараках. Всю обстановку, тщательно перечислив, составив список и вручив его маме (какая пунктуальная честность!), взяла себе ЧК. Квартиру тоже. В этом доме были большие подвалы... Вы поняли?!

Кое-что все-таки разрешили взять, и мама взяла дедушкины памятные вещи, одежду и перевезла к друзьям. Потом она перебивалась тем, что продавала папины костюмы и разную ерунду.

Жизнь в бараках была самая примитивная. Где они готовили пищу — не знаю. Спать мама с Шуриком уходила, взяв матрац, на берег реки. В бараке заедали клопы. Так мама жила до возвращения папы в 1922 году. Он нашел ее в нищенском состоянии.

А папа, надолго отрезанный от нас разными фронтами, потерявший наш след, добрался до Питера, нашел старых знакомых, а через них нас, списался с тетей и через восемь лет вернулся к семье. На вокзале они с тетей не узнали друг друга. У папы была окладистая борода, хотя своего барственного вида он не потерял. Да еще вел на цепочке красавца добермана. А тетя Наталья постарела, похудела, скукожилась. Папа провел с нами неделю и поехал в Ново-Николаевск устраивать жизнь наново.

Сколько было рассказано о пережитом за эти восемь лет! В конце войны папа с Поликарпом оказались в Крыму. Власти все время меняются, и от всех надо спасаться. Они ушли в горы и работали там дровосеками. Подробностей их дальнейших скитаний я не помню. Помню только один рассказ папы о переезде в Ялту. На вокзале толпы людей, ожидающих поезда. Счастливицы сидят на скамьях, остальные устроились на полу. Входит очередной бандитский гетман с двумя телохранителями. «Встать, собаки!» — кричит он. А папа: «Не встану, собака». «Взять его — и в расход!» Двое молодых подхватывают папу под руки и ведут подальше от вокзала, в степь. Но папа заводит с ними беседу, они милостиво прислушиваются, все втроем закуривают папин табачок, и в конце концов они отпускают папу. Невероятно! Папа возвращается на вокзал. Через час снова входит та же фигура с другими телохранителями. Сцена повторяется. «Как, собака! Ты еще жив!» Эти телохранители не склонны к милости. Они ведут папу подальше. Спускаются сумерки. Вдали маячит какой-то столб. «Это там, — думает папа. — Ну, либо — пан, либо — пропал» — и бросается бежать, как заяц, прыжками, зигзагами. Сзади стреляют. Мимо. Уже стемнело. Папа добегает до какого-то забора. На счастье — пролом. Он ныряет в него. Он спасен. Утром пошел посмотреть это место в заборе. Ну как он мог пролезть в эту щель?

Еще рассказ о гибели дяди Саша и тети Наташи. Помните Плиски, где я родилась? Но надо рассказать их историю. Дядя Саша окончил Медицинский институт и был послан в Плиски для работы на селе. Он поселился у местного священника, который повел его знакомиться с семьей помещика Ивана Ильича Петрункевича. Войдя в гостиную, Саша увидел стоящую у рояля девушку. Она пела. Ей сопровождал юноша. Это был сын соседа по имени, художника Николая Ге. Девушка посмотрела на дядю Сашу, и судьба их была решена. Их разлучила только смерть. А может быть, и не разлучила, потому что они умерли вместе. Но об этом ниже. Портрет тети Наташи «Девушка у окна», написанный художником Ге, можно увидеть в Третьяковской галерее. Имение Плиски было Наташиным приданым. Оно было сожжено, и сад вырублен жандармами в 1905 году в наказание за то, что во время революции крестьяне, громившие помещичьи усадьбы, не тронули это поместье. А все потому, что дядя Саша лечил бесплатно крестьян, а

тетя Наташа учила их детей грамоте. Крестьяне почитали их за благодетелей. Тетя и дядя были посему под подозрением и высланы (бедняжки) в Швейцарию. Там они провели два года, изучали современное плодоводство. Вернувшись в Россию, они продали Плиски, купили землю под Анапой. Новое имение назвали Наташино, построили дом и развели такой образцовый фруктовый сад по последнему слову швейцарской науки, что весь их урожай Елисейев скупал на корню.

А вот что рассказал папа. После Октябрьской революции их роскошный сад были национализирован, а хозяева в виде милости оставлены заведовать садом и работать в нем. С ними жила мать Наташи, Анна Петровна Петрункевич. Однажды в декабре 1922 года глубокой ночью раздался звонок: «Телеграмма». Вошли пятеро в масках, потребовали денег. Денег в доме не было. Они взяли несколько мешков с сушеными фруктами и вышли. Дядя Саша узнал одного из них, пятнадцатилетнего татарина, семье которого дядя и тетя очень много помогали. Он сказал: «Ахмет, неужели тебе не стыдно?» Роковой вопрос. Они вернулись и застрелили его и тетю Наташу. Анна Петровна, больная и уже почти не ходящая, выползла на террасу и дотянулась до сигнала, которым оповещали рабочих о начале и конце работы. Бандиты были арестованы и расстреляны. Их главарем оказался начальник местной милиции.

Еще папа рассказал о смерти бабушки, нашей доброй бабушки.

В 1922 году мы окончили школу и вернулись в Ново-Николаевск к своим родителям. Папа уже как-то наладил жизнь, получил работу, снял квартиру, извлек маму с Шуриком из их нищенского существования, поправил свои материальные дела, получив задание руководить Карской экспедицией. Потом с помощью старого спиринского приятеля-плотника сколотил маленький домик, где мы и жили до отъезда в Ленинград.

А вот и фотографии. Папа в малице, северном (тогда говорили — самоедском) одеянии. Это как бы платье, балахон из шкуры молодого оленя мехом внутрь, с капюшоном и рукавицами. А верхняя одежда такого же покроя, но мехом наружу. На ногах меховые чулки, длинные, до бедра, расшитые бисером. Сверх них меховые сапоги.

А на этой фотографии мы всей семьей на террасе нашего нового дома. Обедаем.

Папа считал, что образование детей — самое важное в его жизни. В Новосибирске он не видел перспектив. Дом был продан. Была продана и сохранившаяся у друзей дедушкина мебель, и мы ринулись в новую жизнь.

В Ленинграде мы поселились в доме, который взяла в аренду возвратившаяся из Омска тетя. Это был 1924 год, и город сдавал дома в аренду, для того чтобы как-то поддержать разрушенное жилищное хозяйство. Дом № 9 по набережной Ждановки принадлежал когда-то тетиной приятельнице. Четыре этажа, в каждом по одной фешенебельной квартире в десять комнат. Тетя заняла четвертый этаж, где стояла еще мебель ее подруги. Остальные этажи она сдавала. Нам предоставили три комнаты в третьем этаже. Я начала учиться в Обществе поощрения художеств, Наташа сначала на курсах домоводства, потом в Медицинском институте. Шурик пошел в школу, бывшую гимназию Мая. Она славилась педагогами. Папа заболел ревматизмом и проболел восемь месяцев. Деньги, полученные за продажу дома, прожигались. Мама тосковала в непривычном для нее климате в большом, незнакомом, сером городе.

Наконец папа выздоровел. Весной он поехал в окрестности Ленинграда в поисках дачи. В Озерках, куда еще не было никакого сообщения, кроме поезда, он снял второй этаж — шесть комнат — в большом доме на берегу первого озера. Решили переселиться сюда на постоянное жительство. Дом принадлежал композитору Глазунову. Он сам здесь уже не жил, но изредка приезжал, пока не эмигрировал. Домом занимался его управляющий Юлий Иванович Гнезе. Здесь мои родители жили восемнадцать лет. Дом сгорел во время войны. Когда я бываю в Ленинграде, обязательно езжу на пепелище. Сейчас нет и следа ни от дома, ни от дворовых построек — конюшен, сараев, сеновала, оранжереи, — от чудесного огромного сада, выходявшего прямо на озеро. Все вытоптано, вырублено, уничтожено. Остался адрес: Варваринская, 2. Эта улица начиналась нашим домом и кончалась кладбищем, на котором вечным сном спят мои родители. Мама и папа.

Больше мне не хочется писать. Ведь и детство и отрочество кончились. Началась другая жизнь.

БОРИС ГУСЕВ

*Уготованная судьба*

**В** детстве во мне жила уверенность, что со мной ничего не может случиться, кроме появления налетов в горле, мальчишеских царапин и наказания в виде запрета идти купаться на озеро — мы жили в районе Озерков, на северной окраине Ленинграда. Конец 20-х — начало 30-х годов... В то время как над близкими мне людьми — папой, мамой, Бабушкой — сгустились тучи и страшное время несло им страшную участь, я весело бегал своими крепкими ножками по дому и прилегающему к нему саду среди кустов сирени и акаций, ничего о том не ведая. И потому это время, время самого раннего детства, — самое счастливое время жизни.

И вижу я себя в огромной комнате, слабо освещенной свечой на камине. Зима. Света нет, в нашем переулке порваны провода, их чинят третий день, но тем интереснее вечера: можно бесконтрольно шалить, пугать взрослых и самому пугаться... Что это там выглядывает из-за книжного шкафа? А вот что-то мелькнуло. Кот Васька или...?

— Боря! Иди-ка... Пора молоко пить, — слышу из кухни голос старой домоправительницы Кулюши.

Но я молчу. Молока мне не хочется, прячусь, меня будут искать, и это интересно. И точно:

— Маруся, посмотри, где он... Он на стеной шкаф залез — погляди-ка!

— А как он летом на чердаке спрятался? Все с ума посходили, — слышится из кухни.

Но как раз тогда я не прятался. Я просто забрался на чердак, сел и задумался, может, впервые в жизни о том, что есть я. Я сидел и думал, а там весь дом перевернули. Наконец дверь на чердак приотворилась и голос Кулюши позвал меня, я не таился и сразу откликнулся. «Жив! Здесь он... — едва не плача проговорила Кулюша. — Скажите отцу, он в колодец полез искать!»...

— Кажется, Елизавета Федоровна подъехала... Маруся, встретить, скользко на лестнице.

— Баба Лиза приехала! Баба Лиза приехала! — кричу я и бегу через коридор в кухню, к входным дверям. Мне уже не хочется прятаться.

— Отойди, простудишься, бабушка с холода, — остерегает Кулюша.

И вот в сопровождении Маруси появляется сама Бабушка в легком зимнем пальто; красивое полное лицо ее без морщин. Я кручусь вокруг нее, что-то кричу и вместе с ней иду по коридору в столовую, где уже сияет лампа-«молния», освещающая большую икону святого Пантелеймона-целителя в углу.

— Да подожди, дай бабушке раздеться, с работы устала ведь, — ворчит Кулюша.

— Ничего, пусть, Акулина Яковлевна, — примирительно говорит Бабушка и улыбается мне.

Она проходит в свою комнату и скоро возвращается, переодевшись. И я знаю почему: потому что она принимала больных. А на стол уже подан легкий ужин, чай со сливками, а мне кружка с парным молоком. Бабушка чем-то озабочена.

— Маруся, а где этот пакет, что я привезла? — спрашивает она.

— Сейчас, Елизавета Федна...

И пакет появляется, развертывается. Это не игрушка... Что же?

— Господи, Елизавета Федна, это ж романовский полушубок, где вы его достали, ценность такую? — удивляется Кулюша, рассматривая вещь.

— В торгсине. После приема захала. И вдруг смотрю! Теперь это редкость.

— И что отдали?

— А помните, у меня была цепочка? Еще в мирное время, кажется, в девятьсот восьмом купила... При вас уже. Что-то десять рублей отдала.

— Это червонец! По тем временам немало. Сейчас такую вещь и за тысячу не купишь... И за две! А все было. Куда делось?

— Что ж об этом сейчас? Теперь он ему велик, а годик-второй — и будет вполне.

— Понятно, на вырост! Этому полушубку сноса нет, — говорит Кулюша.

И оказалась права: десятилетие спустя я проходил в нем всю блокаду. Он дождал до следующего поколения.

Полупубок оказался мне так невероятно велик, что, надев его, я тотчас запутался в полах и свалился на пол.

— Осторожнее! Ушибся, поди? — вздыхает Кулюша. — Он падает часто, Елизавета Федна. Мать-то его девочкой спокойная была!

— А он — мальчик! Что ж вы хотите, — говорит Бабушка.

— Да все до случая... — говорит Кулюша.

Это она как в воду смотрела! Наверное, в ту же зиму я сидел за столом и рисовал, портя лист за другим. Тут же папа, Бабушка, Кулюша и няня. И вдруг я вскочил и побежал с карандашом в руках. Зацепился за ковер и упал на отточенный грифель карандаша. Острием в глазницу... Меня, ревушего, с залитым кровью глазом, отец схватил на руки. Помню лишь стенания Кулюши: «Говорила, говорила! Понедельничный ребенок, что делать?..» Помню, меня уже держит на руках человек в белом халате — врач «скорой помощи» — и говорит отцу: «Подержите ему руки, он же не дает смотреть». А отец повторяет: «Глаз цел? Глаз цел?»

Как ни странно, глаз оказался цел. Острие карандаша уперлось в глазную кость и пошло не в глазное яблоко, как могло, а вдоль виска, порвав кожу, так что у меня на всю жизнь остался еле заметный шрам.

— А Аида? Что, где она? — спрашивает Бабушка.

— Так она ж на дежурстве. Она из института прямо в больницу поехала, и на всю ночь... Это учение изматывает ее! — говорит Кулюша.

— Что делать! Только бы дали закончить...

Утром, вернувшись после дежурства, мама подходит ко мне, наклоняется и говорит:

— Ну, Борюшка, ты меня еще не забыл?

— Мама! Мама! Мама!.. — кричу я и обнимаю ее.

Другие картины встают в моей памяти. Летним утром я выбегаю во двор и бегу к сараю: там папа возится с мотоциклом — «Харлей-Дэвидсон» с коляской.

— Папа! Папа! — кричу. — Мы поедем сегодня на взморье?

— Не знаю... Как мама, — отвечает он.

И я бегу обратно в дом и уже хочу ворваться в комнату мамы, но в коридоре — Кулюша.

— Куда ты? — спрашивает меня.

— К маме!

— погоди, дай маме хоть в выходной выспаться! Сбегай пока на веранду и посмотри, кто выйдет из домика — дама с зонтиком или кавалер без шляпы... У меня что-то кости побаливают.

Я выбегаю на веранду, застекленную синими и красными стеклышками. Там на стене — барометр в виде домика, из которого выходят то дама с зонтиком, то кавалер без шляпы — в зависимости от предстоящей погоды. Когда я вбежал, кавалер, предсказывающий хорошую погоду, почти скрылся в свою дверь, зато из соседней двери уже высовывался зонтик дождливой дамы. Это совсем ни к чему! Это они оттого, наверное, что я хлопнул дверью? Я влезаю на стул, осторожно заталкиваю дождливую даму обратно в ее дверь и завинчиваю внизу винтик. Все! Теперь она уже никуда не выйдет. И бегу обратно. У маминой комнаты стоит папа и говорит:

— Ну, я не знаю... Мне все равно. Вот он просит...

Едем! Едем! Едем! Ура! Выходит мама в своем синем шелковом халате с золотыми и серебряными птицами. И улыбается мне. И начинаются сборы, и я бегаю то к сараю, то обратно к маме. И тревожно поглядываю в небо, опасаясь, что туча покажется раньше, чем мы выедем со двора.

И вот мы едем на море. Проезжаем Лахту, Лисий Нос, Ольгино... Я с тревогой поглядываю в сторону Финского залива, откуда всегда приходит гроза. И когда мы подъезжаем к Курорту с его широким пляжем, на западе уже висит огромная черная туча, она занимает полнеба, и уже слышатся отдаленные раскаты грома. Туча как бы собирается все выше и выше, а на самом деле она надвигается на нас.

Мы с папой быстро купаемся и спешим одеться, чтобы успеть домой до дождя. Садимся на мотоцикл — мы с мамой в коляску, папа за руль, в седло, — и мчимся домой от надвигающейся грозы. И успеваем доехать домой, когда на землю уже начинают падать первые тяжелые капли и раскаты все грозней и грозней... Бабушка встречает нас на крыльце.

От этой тучи нам удалось уйти. Но на другом горизонте уже вставали иные, более страшные тучи, которые несли неотвратимость несчастья и от которых некуда было спрятаться. Не только над нашей семьей — над всей страной нависала беда. Наша семья, однако, была «из бывших», и слова эти несли особый зловещий смысл.

Бабушка моя была вдовой известного тибетского доктора Петра Александровича Бадмаева, статского генерала, бывавшего в свое время при дворе<sup>1</sup>. Вся округа была полна легенд о докторе, который лечил самого царя. Да и бывшие пациенты деда, старые петербуржцы, создавали ему славу. Мы жили в Удельной, дачном пригороде Ленинграда. Все местные жители знали Бабушку и при встрече на улице почтительно здоровались с ней. Меня же мальчишки звали Батмай, хотя у меня была совсем другая фамилия.

Близость Петра Александровича к императорскому двору возникла еще в 60-е годы: именно тогда наследник, будущий император Александр III, стал крестным отцом Бадмаева, принявшего православную веру. В 1893 году Петр Александрович подал императору записку о русской политике на Востоке. Изъездив Тибет, Китай, Монголию, он рекомендует русскому правительству обратить внимание на процессы, проходившие там. Александр III благожелательно отнесся к идеям Бадмаева, состоящим в том, чтобы переориентировать русскую дипломатию с Запада на Восток.

Николай II Петр Александрович знал еще мальчиком, отсюда и наставительный, а местами резкий тон его писем императору. Бадмаев выдвигал проекты переустройства управления государством (предоставить нациям больше самостоятельности в решении местных вопросов). Незадолго до отречения царя Бадмаев направил ему проект строительства двухколейной железной дороги до Мурманска, учитывая огромное стратегическое значение этого порта. Прошли годы, дорога была построена: в Отечественную войну через мурманский порт шла с запада помощь нам — оружием и продовольствием.

Бревенчатый пятикомнатный особняк на Ярославском проспекте, с садом и прудом, окруженном ивами, принадлежал моей Бабушке. Кажется, это был единственный дом в округе, если не в городе, где продолжали жить по-прежнему, то есть в стиле и с размахом прошлого века. Конечно, революция затронула и нашу семью: деда несколько раз арестовывали, брали в заложники, и от расстрела его спасло лишь то обстоятельство, что среди его пациентов были видные большевики, они-то и ходатайствовали за него. Его белокаменную дачу на Поклонной горе с прилегающей к ней землей конфисковали, как и угодья на Дону и в Чите, а этот особняк, записанный на Бабушку, упустили. Хотя чекисты бывали и здесь, но ограничились лишь арестом деда и тем, что прокололи штывками старинные картины в золоченых рамах — искали оружие.

В доме Бабушки все шло раз заведенным порядком, и в 30-е годы у нас была кухарка, горничная Маруся, приходящие гувернантки; раз в неделю к нам приходил часовщик, швед, и заводил напольные часы Буре. Но главной была домохозяйка — восьмидесятилетняя умная и набожная русская женщина Акулина Яковлевна Бундина, Кулюша, помнившая еще крепостное право. Она и поддерживала порядок, распорядилась прислугой и была бесконечно предана нашей семье. В доме она появилась в тот самый день, когда родилась моя мама. Кулюша не предполагала остаться — у нее были свои надежды, она собиралась жить с дочерью и лишь уступила просьбе вечно занятой Бабушки в первое время присмотреть за малюткой и домом. «Кулюша уже собралась уезжать, — пишет в своих воспоминаниях мама, — но пришел мой отец. Взглянув на Кулюшу, сказал: «Эта будет! Больше никого не искать». Властная просьба отца решила ее и мою судьбу».

Поскольку некоторые представители власти сами лечились у Бабушки, ей до поры до времени позволено было сохранять привычный для нее уклад жизни. Но Бабушка соблюдала правила игры. Когда в ее доме собирались гости, остатки старой петербургской интеллигенции, и кто-то начинал обсуждать действия боль-

<sup>1</sup> В недавно изданном дневнике Николая II («Дневник императора Николая II. 1890 — 1906 гг.». М. «Полистар». 1991) на странице 121 я прочел такую запись от 24 февраля 1895 года: «Бадмаев, бурят, крестник Папа, был у меня, много занимательного рассказывал он о своей поездке по Монголии». «После завтрака имел продолжительный разговор с Бадмаевым о делах Монголии, куда он едет. Много занимательного и увлекательного в том, что он говорил» (26 марта).

шевиков (слово «большевик» не произносилось, их именовали — о н и), Бабушка вставала из-за стола и по праву хозяйки говорила: «Госпа-а, я прошу в моем доме не говорить о политике» — и разговор смолкал. При всей ее доброте, в Бабушке была властность, которая подчиняла себе людей. Среди гостей бывали и ее пациенты.

В 30-е годы город и внешне и по составу населения более чем ныне походил на старый Санкт-Петербург. Несмотря на бесконечные репрессии и высылки «бывших», в уличной толпе мелькали интеллигентные лица и слышалась чистая петербургская речь... Впрочем, и средний коренной петербуржец любого сословия имел свое лицо и достоинство, еще неокончательно вытравленное большевиками. И тот же пьяноватый водопроводчик Меркурьич, чинивший у нас краны, был личностью и работал с такой виртуозностью, которая и не снилась нынешним, именующимся сантехниками.

Мое воспитание... С этим было сложно: шло постоянное противоборство между Бабушкой и моим отцом. Гувернантки возмущали отца. Он желал, чтобы меня воспитывали по-новому, по-советски, но что это такое — никто не знал. «Сережа, а почему вы не хотите, чтобы ваш сын знал языки и не горбился за столом?» — парировала Бабушка. Она была права, и отец прав: н е п р а в а, точнее н е п р а в е д н а, была жизнь. В неправой жизни все наоборот: правые — виноваты, а виноватые — правы. Отец и сам жил понятиями прошлого... И если в 20-е годы он еще на что-то надеялся, то в 30-е имел твердые суждения о том, что происходит в стране. До революции он окончил шесть классов Кадетского корпуса. Их, шестой, класс пощадил, распустив по домам, а седьмой выстроили ленточкой вдоль Фонтанки и расстреляли.

Моя мама в революцию, десятилетней девочкой, была свидетельницей арестов своего отца и возила передачи в чесменский лагерь, а позже сама (до замужества — Бадмаева) узнала, что такое анкета: ее дважды отчисляли из вуза. Эта ущербность угнетала, она хотела идти в ногу со временем и старалась быть лояльной к властям. Покупала мне уже нынешние детские книжки и читала их вслух, но порой останавливалась и, приложив руку к голове, шептала: «Боже, какая чушь!.. Невозможно читать». Родители протестовали против распоряжений Бабушки не потому, что распоряжения эти были плохи, а потому, что боялись последствий. Мама и отца останавливала, когда он начинал говорить о политике. Но как было не говорить, когда арестовывали одноклассника или сослуживца, как было молчать, когда приехавшие из деревни рассказывали о том, как раскулачивают. Тогдашняя жизнь была как минное поле: либо уж стой и не двигайся, а уж если пошел, не взыщи, если подорвешься.

Помню, как мама удерживала отца, когда он собирался идти в действовавший тогда Исаакиевский собор на панихиду по убиенному генералу, бывшему директору Кадетского корпуса, — исполнялось десятилетие со дня его расстрела. «Я не религиозный человек, дело не в этом, я не могу не идти! Мне сообщили!.. Там будут мои товарищи... Это позорно!» — говорил отец. А мама: «Ты ставишь под удар не только себя, но и сына... Я мечтаю, чтобы хоть он не знал, что такое анкета». Увы, и мне это пришлось узнать. Отец, уже одетый, поколебался и — не пошел. Позже выяснилось, что тех немногих, кто пришел, выслали. Какие всходы могла дать та жизнь?! В начале 30-х отца моего при очередной чистке госучреждений уволили с кинофабрики по третьей категории, не объяснив даже причины. Но причины и так были ясны: Кадетский корпус, отец-невозвращенец. Мой дед по отцу Борис Сергеевич Гусев-Глаголин, в прошлом премьер суворинского театра, уехал в Америку и там остался. Папе предложили отречься от своего отца — он отказался.

Отца моего восстановили лишь после больших хлопот и уже не режиссером, а ассистентом. Но, кажется, ему мешала не только анкета, но и неумение найти общий язык с сослуживцами. А эта черта — к о н т а к т н о с т ь — в советскую эпоху, когда такие качества, как профессионализм, старание, порядочность, были обесценены, обрела огромное, решающее значение. Но мама не раз повторяла мне и в раннем детстве и позднее: «В жизни надо уметь делать хотя бы что-то одно, но в совершенстве. Быть специалистом. Это всегда кусок хлеба».

Мама была удивительный человек, неординарный, но об этом я узнал... не то что узнал, а почувствовал, вспомнил после смерти ее. Отец был нелюдим, а маму всегда окружали люди. «Я метиска...» — смеясь, говорила она о себе. И в самом

деле, отец ее был монгол, мать — наполовину армянка, наполовину грузинка. «А ведь знаете, ваша покойная матушка еще до войны считалась красивейшей и умнейшей женщиной Ленинграда...» — сказала мне однажды старинная зна-комая.

Не знаю, на чем была основана моя уверенность, что я не могу умереть. На жизненных силах здорового тела и духа? А между тем в раннем детстве смерть трижды была у моего изголовья.

Мне не делали никаких прививок. Мама была в круговерти: дом — институт — больница. Бабушка считала, что здоровый организм вообще не подвержен инфекции. А моя няня Нюша, собираясь замуж, захотела узнать свою судьбу и повела меня, простуженного, двухлетнего, в кочевавший неподалеку цыганский табор. Там я заразился дифтеритом в тяжелой форме. Сдохнули, когда я уже задышался. Температура за сорок. И все хуже и хуже... Рассказывают, что уже и отца вызвали с работы: сын при смерти, что когда привезенный Бабушкой педиатр доктор Панаев стал мне делать укол, Кулюша, плача, говорила: «Не мучьте его, доктор... Мальчик отходит к Богу. Вон и глазки закатываются!» Бабушка рыдала, мама в прострации сидела в соседней комнате, отец в коридоре курил папиросу за папиросой. Что спасло меня?

Отныне Бабушка сама занялась моим здоровьем. Она окурила меня тонкой, как спица, коричневой папироской, скатанной из листьев каких-то тибетских растений. Дым этой папироски делает человека невосприимчивым к любой инфекции. После этого я болел лишь ангиной, и то если сильно промочу ноги. А эпидемии гриппа все десятилетия проходили мимо меня. И еще Бабушка давала какие-то порошки, и появившийся было у меня после дифтерии шумок в сердце исчез.

В другой раз я, трехлетний, играл на полу на ковре, а мама гладила белье рядом и, взмахнув тяжелым, чугунным, наполненным углями утюгом, не удержала его, и он полетел мне в голову. Я услышал крик и ничего не понял и даже не заметил, как утюг, коснувшись моих волос, заскользил по полу, рассыпая красные угли. Помню лишь, как Кулюша успокаивала маму, повторяя: «Не терзай себя... Вот Бог и уберет!»

Третий случай был, кажется, самый страшный. Мне было лет пять. Воскресенье, все дома. Стоял июль. Как всегда, со стороны Финского залива надвигалась огромная черная туча с синими подплывами, и уже в небе гремело. Я стоял в кухне у раковины, шалил с водой... Услышал голос Кулюши: «Аида! Окна закрой в большой комнате, оттуда идет...» Услышал стук закрываемой рамы и вдруг — отчаянный крик мамы: «Сережа!..» Она звала папу.

Я увидел, как на меня из комнаты по коридору медленно плывет что-то белое, ослепительное. Я не успел опомниться, как оно остановилось над моей головой и раздался сильный треск. Подбежала мама, схватила меня на руки: «Ты жив? Ты жив?» Оказалось, в окно влетела шаровая молния и, гонимая сквозняком, проплыла через коридор в кухню, остановилась надо мной и взорвалась, ударив в раковину, и, разрядившись в ней, лишь слегка опалила мне волосы.

Верно, и в тот момент Бог уберет.

Бабушка, а потом мама искали во мне таланты сперва к музыке (рояль), потом к языкам, технике. Папа покупал мне авиапакеты — набор из бамбуковых палочек, столярного клея, рисовой папиросной бумаги, резины из чистого каучука, — и мы делали летающие модели. Теперь такого набора с огнем не сыщешь: ушел тот слой людей, которые понимали, что нужно детям, и умели все это дать. Сейчас тоже продаются авиапакеты, но в них нет ни бамбука, ни настоящей каучуковой резины, ни тем более рисовой папиросной бумаги.

С учением моим было сложно. Желая, чтобы я в совершенстве знал язык, мама и Бабушка отдали меня в школу немецких колонистов. Их дома, окруженные небольшими садами, начинались тотчас за бывшей усадьбой деда на Поклонной. Все предметы преподавались на немецком. Русский там проходили, как в наших школах немецкий. Но в середине 30-х колонистов выселили, а школу закрыли, арестовав при этом всех учителей во главе с директором Лидией Андреевной Вильмс. Отлично помню ее, очень живую, эмоциональную, она бывала в доме Бабушки и давала мне дополнительные уроки. А потом я увидел ее в 1959 году, когда она вышла из лагеря, просидев двадцать два года...

После немецкой школы меня перевели в обычную советскую школу, сразу в четвертый класс. Я сидел на уроках, ничего не усваивая. Переводил сперва на немецкий, чтоб лучше понять, потом на русский. И в четвертом остался на второй год. Лишь к седьмому как-то выровнялся на тройки.

Однажды мама сдержанно и серьезно сказала мне:

— Боречка, возможно, тебя станут спрашивать, не внук ли ты доктора Бадмаева, отвечай: внук. Стыдного в этом ничего нет. Но если начнут расспрашивать дальше, скажи, что ничего не знаешь. Ты и правда не знаешь.

По моему удрученному молчанию мама поняла, что расспросы уже были.

— И о чем спрашивали?

— Говорили, что дедушка лечил царя... — отвечал я.

Присутствующая при разговоре Бабушка произнесла длинную фразу по-французски. Мама кивнула и отвечала по-русски:

— Да, да... Надо сказать все, чтобы не было недомолвок. — И, обернувшись ко мне, продолжала: — Видишь ли, отец мой был известный врач, ты знаешь это. И именно как известного врача его приглашали на консультации во дворец... как и других известных врачей. Лечил ли он самого царя, мы этого не знаем, и он об этом не говорил. Известно, что лейб-медиком был доктор Боткин.

По вечерам мама не раз просила отца: «Сережа, почитал бы ты нам с Борей». И папа читал вслух «Ревизора» в лицах так, что мы покатывались со смеху.

Но чаще отец возвращался с работы мрачный, и я, уже в постели, сквозь сон слышал, как он рассказывал маме об очередных несправедливостях, о злых, глупых людях, поставленных в начальники; ему не давали самостоятельных постановок или назначали на вторую роль к бездарному постановщику. И он искал путь, где успех зависел бы от него одного, его таланта, работоспособности. Иногда, будучи в хорошем настроении, отец шутил: «Мне бы купоны стричь». При его организаторской хватке и работоспособности он бы при любом другом строе преуспел. Имел бы свою студию. Любое дело кипело в его руках. Но ставить фильм на ура-революционные темы не хотел или не мог.

По сравнению с тещей, имевшей свой кабинет, отец зарабатывал немного. Это задевало его самолюбие. Случалось, он спорил с Бабушкой. До сих пор в памяти звучит его фраза: «Елизавета Федоровна, деньги — это ноль». Бабушка: «Деньги — это все, Сережа! Еще моя покойная мама говорила: наверху Бог, внизу — деньги».

Я гуляю по двору и вижу, как Бабушка выходит с парадного крыльца. Я бегу к ней. Я уже знаю, куда Бабушка собирается ехать сегодня. «Бабушка, я с тобой!..» Она оборачивается к провожавшей ее Марусе: «Скажите Акулине Яковлевне, что мальчик со мной», берет меня за руку, и мы идем к трамваю. Я рвусь вперед, чтоб уйти скорее, иначе кто-то из знакомых перехватит Бабушку и долго будет рассказывать о своей болезни и просить совета и лекарств. Мы благополучно доходим до остановки трамвая. Дорогой Бабушка рассказывает о своем детстве. Подходит трамвай, но едва входим в вагон, кто-то вскакивает с места: «Елизавета Федоровна! Дорогая... Садитесь!..» — и рассказ прерывается. А трамвай медленно ползет на Поклонную гору. И вот уже справа виднеется двухэтажная белокаменная дача с восточной лесенкой-башенкой на крыше. Я уже знаю, что здесь жил мой дед и что об этом не следует говорить в трамвае. «Бадмаевская дача, следующая остановка — Озерки!» — объявила кондукторша.

Мы вышли на кольцо, в Шувалове. То была обычная воскресная поездка Бабушки на Шуваловское кладбище, на могилу деда. Она часто брала меня с собой. Мы подходим к женщинам, торгующим цветами, и Бабушка покупает белые розы. Поднимаемся вверх по каменным ступеням на кладбищенский холм. Здесь высится белая церковь с двумя куполами. С восточной стороны храма, где начинаются ряды могил, — наша, в железной ограде. Кладбищенский сторож Пантелей посыпает ее желтым, принесенным с озера песком.

— Спасибо вам, — говорит Бабушка и дает Пантелею денег.

— Как же, Елизавета Федоровна, я помню день похорон — первого августа.

— Да, вот уже двенадцать лет...

Сторож уходит, а Бабушка садится на скамейку против могилы и молча сидит, и губы ее как-то странно сжимаются. У Бабушки такое печальное лицо, что мне становится жаль ее — ее, а не дедушку, которого я не видел: я родился, когда он

уже умер. На могиле высокий белый железный крест и надпись: «Петр Александрович Бадмаев» — и дата смерти: 29 июля 1920 года. Даты рождения нет. И хотя я позже спрашивал, когда точно дед родился, определенного ответа не получил. В энциклопедии Брокгауза и Ефрона год рождения указан — 1849. По семейным преданиям, он был старше. Мама смеялась: «Когда я родилась, моему отцу было сто лет» — и это воспринималось как шутка. Но в 1991 году я получил в КГБ разрешение ознакомиться с делами моих репрессированных родных. Дело деда начинается с короткой справки ЧК: «Бадмаев Петр Александрович, уроженец Арык Хундун, Монголия, родился в 1810 г. Жительство Поклонная гора, Старопарголовский, 177/79».

Дату рождения подтверждает и другой документ из этой папки:

### ДОНЕСЕНИЕ <sup>2</sup> (адресат не назван)

*При Особом отделе получил через своих осведомителей, что на Поклонной горе в собственной даче, живет известный тибетский врач Бадмаев хороший друг бывшей царской семьи, Протопопова, Распутина... Во взводе, который стоит на даче чуть ли не контр-революционные настроения и они (очевидно, осведомители. — Б. Г.) всецело приписывают это влиянию Бадмаева.*

*Принимая во внимание все вышеизложенное, несмотря на то, что Бадмаев — старик 108 лет, но довольно бодрый, а также особое устройство его дома в виде замка... я решил взять его под стражу.*

*Начальник особотдела 7-ой армии.*

В папке содержится еще несколько весьма красноречивых документов. Они характеризуют и время и деда.

### КОМИССАРУ ДИВИЗИОНА ... (фамилия неразборчива)

*Прошу вашего ходатайства о выселении доктора Бадмаева, проживающего на Поклонной горе так как этот Бадмаев — чистый монархист, а монархисты не должны находиться при товарищах красноармейцах... Бадмаев говорит: «Если вы займете дачу, я взорву ее вместе с вами», одним словом ведет полную пропаганду против Советской власти и имеет на красноармейцев самый монархический взгляд... Он раньше был доктор при придворне.*

*Прошу удалить его.*

*Комиссар Кудрин.*

### ПРОТОКОЛ ОБ ОБЫСКЕ

*у гр-на П. А. Бадмаева. 14 июля 1919 года в 11 часов был произведен обыск, согласно ордера особого отдела при 19 стр. дивизии. При обыске ничего существенного найдено не было и взято несколько фотографических карточек и карта северо-западного фронта с нанесенными пометками красно-синим карандашом. Гражданин Бадмаев П. А. определенно заявил, что он — монархист, поэтому он взят под стражу.*

*Обыск производил*

*Помощник начальника отделения А. Борискин.*

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

*Следственный отдел Петроградской губернской Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией от 18 июля 1919 года, рассмотрев дело по обвинению гр-на Бадмаева П. А. в противосоветской агитации, постановил:*

*Бадмаев П. А. известный доктор, который пользовал почти всех князей и министров, по духу никогда не будет с нами, и благодаря своей популярности среди широких*

<sup>2</sup> Здесь и далее в документах сохранены орфография и пунктуация.

*масс, может немало принести вреда, необходимо направить его в лагерь в Москву, как заложника.*

*Зав следственным отделом (НРСБ) Следователь (Свинкин).*

К делу подшит и протокол допроса, сделанного накануне, 17 июля 1919 года. Рукой деда расписка:

*Я, врач тибето-монгольской медицины Бадмаев П. А., при вселении в мою дачу 2 батареи отдельного тяжелого артиллерийского дивизиона не говорил слов: «что если вы займете дачу, я взорву ее вместе с вами», — этих слов не говорил. Пропаганды против советской власти не вел.*

*Петр Бадмаев.*

Но это уже ничего не может изменить, следует новое постановление, практически ничего не изменяющее в его участи:

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

*Рассмотрев дело Бадмаева, как политически неблагонадежного, постановил: Бадмаева, как заложника отправить в Чесменскую богадельню до окончания гражданской войны. Дело следствием прекратить и сдать в архив.*

*Зав следственным отделом  
Следователь*

*Леонов.  
Свинкин.*

Следует лишь уточнить, что к этому времени бывшая Чесменская богадельня была превращена в тюрьму. Петр Александрович пробыл здесь около восьми месяцев, перенес тиф, сидел в карцере за свою строптивость. Листая дело, я вдруг обнаружил хорошо знакомый мне почерк:

### ХОДАТАЙСТВО Отдел ЮСТИЦИИ. ПОДОТДЕЛ

*ЖЕНА заключенного в первом  
Чесменском трудовом лагере —  
гр-на Бадмаева П. А. гр-ка  
Е. Ф. Алфёрова-Бадмаева*

*...Петр Александрович Бадмаев в продолжение всей своей долгой жизни являлся проповедником этой восточной медицины, он на деле доказал, какими чудесными средствами обладает она. В настоящее время его амбулаторные приемы заполняли матросы, красноармейцы... Если нужны доказательства его полезности народу, то ряд ответственных коммунистов могут это подтвердить и поручиться за него. Прошу от многочисленной семьи, от имени нуждающихся в нем пациентов отпустить старика на свободу.*

И наконец рукой деда:

### ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЧК тов. МЕДВЕДЬ

*Отделение 3-е, камера 21, Шпалерная  
ул., дом 25, от Петра Александровича  
Бадмаева, врача Тибето-монгольской  
медицины, кандидата Петроградского  
Университета, окончившего Медико-  
Хирургическую Академию, старика  
109 лет*

### ЗАЯВЛЕНИЕ

*Я по своей профессии интернационал. Я лечил людей всех наций, всех классов и лиц крайних партий — террористов и монархистов.*

*Масса пролетарий у меня лечились, а также богатые и знатные классы. До момента последнего моего ареста у меня лечились матросы, красноармейцы, комиссары, а также все классы населения Петербурга.*

*Сын мой, как командир Конной разведки Красной армии, будучи на разведке за Глазовом, был ранен осколками бомб белогвардейцев в левую руку выше локтя, и убита была под ним лошадь. Поправившись от ран, сын вновь вернулся в свою часть и участвовал при взятии красными войсками гор. Перми и за отличия мой сын был награжден.*

*Я же отец его, старик 109-ти лет, потому только, что имею большое имя, популярность в народе — сижу в заключении, без всякой вины и причин уже два месяца. Я могу Вам сказать, тов. Медведь, что члены Вашей Ч.К., допрашивавшие меня, если сложить года четырех их всех, то и в том случае сложенные года окажутся меньше, чем мои 109 лет. Я всю жизнь свою трудился не менее 14 часов в сутки в продолжении 90 лет, исключительно, для блага всего человечества и для оказания им помощи в тяжких заболеваниях и страданиях.*

*Неужели в Вашем уме, Вашей совести не промелькнула мысль, что гр. Бадмаев какое бы громкое имя не имел бы, не может повредить Вашему коммунистическому строю, тем более он активной агитаторской политикой никогда не занимался и теперь не занимается.*

*Мой ум, мои чувства и мои мысли не озлоблены против существующего строя, несмотря на то, что я окончательно разорен, ограблен, о чем хорошо знает обо всем этом Военный Комиссар, который посылал следователя для установления такого факта и не смотря на все это я, арестованный, сижу совершенно безвинно...*

*На основании вышеизложенного во имя коммунистической справедливости прошу Вас освободить меня и вернуть к моей трудовой жизни.*

*Петр Бадмаев.*

*1919 года 10 августа.*

...Рядом с могилой деда в 1954 году появится могила Бабушки, той, что сейчас полна энергии и не знает, сколько ей еще предстоит перенести мук, прежде чем здесь найти место последнего упокоения. Через пятьдесят лет вместо скромной нынешней надписи появится другая: «Врач Петр Александрович Бадмаев, выдающийся ученый, основатель тибетской медицины в России», которая будет сделана, после того как Академия наук СССР признает научные заслуги П. А. Бадмаева и выпустит массовым тиражом главный труд его жизни «Основы врачебной науки Тибета „Жуд-Ши“» с портретом и старинной фотографией деда на фоне его белокаменной дачи на Поклонной.

Какие еще встанут могилы? Двух внуков деда от первого брака — полковника медицинской службы Петра Евгеньевича Вишневого и его брата, ученого-химика Николая Евгеньевича Вишневого, — их матери Надежды Петровны.

На самой крайней могиле две надписи: «Акулина Яковлевна Бундина. 1849 — 1939» и «Гусева-Бадмаева Аида Петровна. 1907 — 1975 гг.».

В могилу своей Кулюши мама похоронена по ее завещанию. При жизни она говорила: «Я так и не знаю, кого я больше любила: маму или Кулюшу». Дед-то вмиг все увидел: «Эта будет...»

И еще одна надпись: «Гусев-Глаголин Сергей Борисович. 1903 — 1942». Я не знал, где похоронен мой отец. В могилу я положил землю из сада дома, который он успел построить перед войной. И сейчас, на седьмом десятке лет, надеюсь когда-нибудь найти здесь последний приют.

...А пока идут 30-е годы и я играю в песке. Бабушка встает со скамейки и говорит:

— Ну, Боречка, ты посидишь здесь или поиграешь у церкви?

Это означает, что Бабушка пойдет в церковь, но меня она с собой не возьмет: у них такая договоренность с папой: на кладбище — да, но не в церковь.

Прием больных Бабушка вела в том же кабинете на Литейном, где она двадцать лет проработала под руководством своего мужа. Кабинет этот был зарегистрирован в Ленгорздравотделе как опытный; Бабушка работала вместе с доктором Верой Ивановной Наумовой, еще до революции проходившей практику у деда. В то время тибетская медицина была популярна как наука. В городе существовал еще один

центр, который возглавлял племянник деда, учившийся у него, — Николай Николаевич Бадмаев. Николай Николаевич лечил Горького, Алексея Толстого, Бухарина, Куйбышева; последний в качестве предсовнаркома РСФСР помог Н. Н. Бадмаеву создать клинику тибетской медицины при Институте экспериментальной медицины. Но отношения Николая Николаевича с Бабушкой были прекращены в начале 20-х годов. Мне не хотелось тревожить тени ушедших. Сообщу лишь, что Н. Н. Бадмаев разошелся с женой, а жена его Ольга Григорьевна была племянницей моей Бабушки. Бабушка не могла простить, что он запретил Ольге Григорьевне видеться с их детьми, тремя сыновьями от этого брака.

Ольга Григорьевна сняла комнатку рядом с нашим домом. По утрам Бабушка посылала ей завтрак. Бывало, идешь к ней, а она сидит у окна, верно, надеется, что появится кто-то из сыновей. Вскоре она умерла в больнице. На похоронах меня лишь старший сын, Кирилл. В 70-е годы профессор Кирилл Бадмаев просил меня показать ему дом, где когда-то жила его мать. Потом он даже разыскивал старых жильцов того дома...

Все три брата стали врачами.

Николай Николаевич в 1938 году был арестован. Ему инкриминировали связь с японским резидентом Миякитой и намерение отравить членов правительства. На суде он отказался от всех показаний, данных на предварительном следствии (видимо, под пытками), и в тот же день был расстрелян.

Прием пациентов при Бабушке уже не имел таких массовых масштабов, как при деде, но тридцать — сорок больных ежедневно ожидали ее в приемной. Прием она начинала в два часа дня. Первую же половину дня посвящала ответам на письма, которые шли к ней от старых пациентов со всех концов страны, а также наблюдала за приготовлением тибетских лекарств. Технология приготовления их была весьма сложной, требовала большой аккуратности в дозировке. У Бабушки были многолетние помощники, среди них — ее приемная дочь Ольга Халишвили... А летом и осенью к нам приезжали буряты и привозили сырье — лекарственные травы. Одеты они были в черные костюмы, без галстуков. Во дворе разжигался большой костер, на него ставился герметически закрытый чан с печенью лося или медвежьей желчью. Сжигание продолжалось в течение суток. Все как при деде.

Когда то или иное лекарство в виде порошка было готово, на стол ставилась банка с этим порошком и вся семья садилась за стол фасовать. Перед каждым листочки рисовой папиросной бумаги, на каждый листок специальной аптекарской ложкой высыпается доза порошка, которая завертывается особым образом, но научиться свертывать эти порошки было не так-то просто! У меня до сих пор не получается как надо.

Наиболее популярным среди больных да и у нас дома было лекарство под номером 179. Оно называлось шижет. Это был порошок, состоявший из шести ингредиентов и улучшавший обмен веществ. Шижет излечивал и диатез, и экзему, и желудочные заболевания. Бабушка, например, принимала шижет каждый день по утрам. До 1937 года, то есть до ее ареста, никто не давал Бабушке ее шестидесяти пяти. Если кто-то в семье что-то не то съест и почувствует себя плохо, первый совет: «Дайте шижет» — и недомогание тотчас проходит. Я с детства запомнил неповторимый солоноватый вкус этого шижета. Сейчас, когда родственник, начавший заниматься тибетской медициной, дает мне попробовать свой шижет, я тотчас говорю ему, есть в нем миранбалан, который трудно достать, или нет. Шижет без орешков миранбалана уже не тот! И, естественно, действие не то...

Весь большой чердак нашего дома был набит лекарственными травами, привезенными из Агинской степи Забайкалья. Эту степь называют малым Тибетом — она расположена на высоте семьсот метров над уровнем моря. Там на берегах Онона — по легенде, родины Чингисхана — и растут эти целебные травы.

Во дворе перед нашим домом был небольшой пруд, покрытый тиной. За ним поле, на котором мы сажали картошку. В начале 30-х это поле отрезали и стали строить там двухэтажный стандартный барак. Вдоль отрезанной части тянули забор. Довели его до пруда и остановились. Через несколько дней по самой середине пруда вручную деревянными колебашками начали вбивать сваи, ставить столбы. И над прудом, над водой тоже навис забор как памятник сумасбродства эпохи. Мы, мальчишки, по этому забору перебирались с одного берега на другой, постепенно выдирая из забора рейку за рейкой.

Отворяются ворота и во двор въезжает телега с вещами. Это семейство Курочкиных — муж, жена, двое детей и старуха: им выдан ордер на бывшую дворницкую, которая пустовала. Бабушка держит меня за руку, и я с любопытством рассматриваю мальчика такого же роста, как я, и второго, поменьше, — мать держит его за руку.

— Здравствуйте, здравствуйте!.. — говорит женщина, слегка смущаясь. — Вот мы и доехали... Это мой старшенький — Миша, а младшего Толя зовут...

Мужчина, не здороваясь, идет прямо к дворницкой, там вместе с возницей сгружает скромные пожитки — матрасы, одеяла из разноцветных лоскутков, деревянный чемодан, мешок...

— Откуда вы? — спрашивает Бабушка.

— Псковские мы, деревня Лапушино, — отвечает женщина.

— Располагайтесь... Помещение приличное — две комнатки, кухня...

— Спасибо. Мой-то уже был, смотрел, а теперь вот мы всей семьей...

На лице женщины смущение оттого, что они въезжают в чужой двор. На лице ее мужа смущения нет. К вечеру он уже ходит босой по двору, как хозяин, и говорит, кивая в сторону нашего дома: «А ихнего тут ничего нет, окромя мебели. Все — казенное». Егор Петрович Курочкин — высокий красивый мужик со слегка сдвинутой челюстью. Его послали в город как активиста коллективизации. Весь остаток лета он гулял босой во дворе, а жена Маня пошла работать на фабрику с первого дня. Так и продолжалось до начала войны: он или гулял по двору, или отсиживал срок за воровство, а Маня тянула семью. Бабка их рассказывала Кулюше, что он из бедняков, а Маня пошла за Егора за красоту его.

Я подружился со старшим, Мишкой, моим ровесником. Мишка не умел ни играть в лапту, ни лазить по деревьям, сверх того он всегда что-нибудь украдет у меня. И все-таки Мишка был первым моим другом. Может, так: мне было его просто жалко, его было легко обидеть — расплатится. Но, наверное, следовало больше жалеть Толю, его младшего брата. Тот был совсем слабый, у него часто из носа шла кровь, но Толя был честный: когда у нас, ребят, возникали споры, мы шли к Тольке, чтоб он рассудил. Если мы играли в футбол, судить ставили Толю: знали, он никому не подеудит, хотя потом кто-то из взрослых ребят будет вывертывать ему руку, приговаривая: «Ты что против меня шел?» А Толя будет тихоенько выть от боли и выкрикивать: «Все равно была рука!.. Потому что несправедливо!..»

Его кусали собаки, бодали козы, брат Мишка обижал его, но Толя не унывал и таким ушел из жизни в декабре 1941 года. Но до того времени еще далеко, еще идут 30-е и впереди самый страшный — 1937 год.

В округе вырос целый поселок из стандартных щитовых домов. Его заселяли жители Ленинградской области, призванные «пополнить рабочий класс». Вчерашние крестьяне, оторванные от земли, от профессии хлебороба, не имея иной квалификации, шли работать кондукторами трамваев, автобусов или разнорабочими: при «курочкиной» производительности труда людей всегда не хватало.

Некогда пустые удельнинские переулки заполнились новой публикой. Это были хорошие крестьянские лица. Здоровые, веселые девушки, по-особому, набекрень, носившие береты и старавшиеся поскорей стать ленинградскими барышнями. Но когда люди стремятся быть на кого-то похожими, они становятся похожими друг на друга.

В бараках селили не только приехавших из сельской местности, но и ленинградцев из переполненных коммунальных квартир. Помню старуху Герле, окруженную мальчишками и собаками, знаменитую тем, что входила в трамвай с передней площадки — привилегия участников гражданской войны. Случались и драки, но стоило показаться милиционеру — и все приходило в порядок. Милиция пользовалась авторитетом и владела властью.

С самого раннего утра у дверей ближнего магазина выстраивалась очередь, но более дальновидные приходили позже, ибо перед самым открытием появлялся милиционер и говорил: «А ну-ка давайте перестройтесь! Самые первые, которые паникеры, станут последними, а последние — первыми!»

И очередь молча покорялась.

Бабушка сидит в кресле, прикрыв глаза рукой, и на мои просьбы рассказать что-нибудь отвечает:

— Позже, Боречка... Я очень волнуюсь.

Входит Кулюша, одетая в свое парадное платье. Подходит к окну и все смотрит на дорогу. Кого-то ждут, или что-то должно случиться... И я тоже жду.

— Как там у них, порядок? По очереди или как?

— Не знаю, Акулина Яковлевна, — говорит Бабушка.

Слышен далекий звук подошедшего к остановке трамвая. От остановки до нашего дома три минуты ходьбы.

— Ну-ка, Боря, походи выгляни за калитку, не мама ли идет, не разгляжу, — говорит Кулюша.

Я выбегаю. Идет мама, медленно, не как всегда, — не торопится. Она улыбается мне, и улыбается не как всегда, а устало. Мы входим в дом.

— Аидочка, ну? Благополучно? — спрашивает Бабушка с дрожью в голосе.

— Сдала... — отвечает мама без особой радости.

— Боже, какое счастье! Теперь ты — врач, с дипломом... Но отчего ты расстроена? — говорит Бабушка, крестясь, и уже со слезами добавляет: — Если бы он знал!..

Он — это Петр Александрович. Путь мамы к диплому врача был труден. В юности мама мечтала стать актрисой. Уже за одну внешность ее тотчас взяли на съемки в киностудию — там она и встретила своего будущего мужа Сергея Гусева-Глаголина. И здесь, неожиданно желания Бабушки и будущего ее зятя сошлись: Бабушка мечтала, чтобы дочь пошла в медицину, а жених не хотел видеть свою будущую жену киноактрисой — знал нравы студии. Общими усилиями восемнадцатилетнюю Аиду отговорили от кино. Но у нее было музыкальное образование и абсолютный слух, и ее приняли в консерваторию по классу рояля. Она блестяще окончила первый курс и... прочла свою фамилию в списке отчисленных. Пошла в отдел кадров.

— Ваша фамилия Бадмаева?

— Да...

— Чего ж вы спрашиваете? Странные люди! Отец в царских генералах ходил, а дочь претендует учиться в советском вузе...

Это было в 1926 году — год замужества Аиды Бадмаевой.

Выйдя замуж, Аида Бадмаева взяла фамилию мужа. И, уступая просьбам Бабушки, поступила в школу медицинских сестер, считая — это на время. В медсестрах нуждались, ее приняли. По окончании школы маму — я уже родился к тому времени — направили в больницу Морского торгового порта. Это совсем на другом конце города. И однажды, в августе 1930 года, к маме в комнату вошла Бабушка с газетой в руках и, как передают, опустилась на колени со словами: «Аида! Это единственный шанс! Умоляю, ради памяти Петра Александровича...» В газете сообщалось, что для работающих медсестер и фельдшеров во 2-м ленинградском медицинском институте открывается вечернее отделение.

Мама слабо протестовала, но вслед за Бабушкой вошла Кулюша. «Аида, тебе сам Бог велел!» — сказала она. Когда мама сдала документы, выяснилось, что требуется еще и рекомендация члена ВКП(б) с дореволюционным стажем. И Бабушка послала телеграмму в Москву Марии Тимофеевне Ивановой, в революцию председателю ревтрибунала, которую еще дед спас от скоротечной чахотки. Та немедленно выслала рекомендацию, и маму зачислили студенткой.

«Институт я кончила в трамвае, — вспоминала мама. — Приходилось совмещать учение с дежурствами в больнице. От нашего дома до порта трамваем почти два часа в один конец. Ехала и зубрила латинские названия черепных костей».

Позже, когда мама стала известным хирургом и диагностом, я понял эту ее черту: уж если она за что-то берется, то добивается максимальных результатов. Все то же: «В жизни надо уметь делать какое-то одно дело и знать его хорошо».

В день окончания института Бабушка подарила дочери набор хирургических инструментов.

Наши несчастья начались с того, что, подавившись чем-то, стала задыхаться любимая бабушкина корова Груша. К утру пришлось ее резать. Она давала в день три ведра отличного молока. И при том, что часть молока уносила женщина, ухаживавшая за ней, часть расходилась по рукам, молока в доме было много, и даже был сепаратор. Утром печального дня я вышел на двор и увидел Егора Петровича с длинным ножом и много мяса в коровнике.

Бабушка стояла в коровнике до последней минуты и плакала, глядя, как задыхается животное. Вызванный ветеринар оказался бессилён. «Не к добру...» — сказала Акулина Яковлевна.

Мне часто приходила мысль о каком-то злом роке, павшем на нашу семью. Из того пятикомнатного особняка на Ярославском мы переехали на Отрадную, а жильцы Отрадной переехали в наш дом. Переехало три семьи. Конаковы — муж, жена и трое детей, старший Костя, мой ровесник; Федотовы, молодожены; и пожилая чета Эрсберг.

Вскоре же скончался сам Эрсберг, а затем и жена его.

Молодоженов Федотовых разлучила армия — это было уже после войны, и он служил действительную. Жена с сыном ждали его. Отслужил, вернулся, и в первую же неделю вечером на Лихачевом поле его порезали хулиганы, стал инвалидом.

Семья Конаковых распалась: муж ушел из семьи. Из троих детей средний умер в блокаду; младший, чудесный мальчик, нелепо был сбит автомобилем у самого дома. Последние слова его: «Не говорите маме...» Мать ненамного пережила его. Приехавший на похороны сына отец вошел в дом со словами:

— Проклятый дом!..

Нет, не дом был тому виной! Его старые стены видели и лучшие времена... Вся жизнь перевернулась.

Стиль жизни нашего дома был слишком отличен от окружающего, к тому же Бабушка ничего не скрывала. Уже одно то, что дом и сад были окружены забором, за которым цвели сирень и акации, бросалось в глаза. К нам постоянно лазили за сиренью, когда папы не было дома. Но я не помню никаких выпадов в наш адрес. Единственно Мишкин отец, Егор Петрович, ершился, все повторяя: «Ихнего тут ничего нет, окромя мебели», но мудрая Бабушка послала Курочкиным в подарок диван и два стула, и он умолк. А потом сел за кражу. Старуха Герле, бывшая членом ВКП(б), сама пришла знакомиться с Бабушкой. На Ярославском к нам привыкли.

Возможно, мы пережили бы и 1937 год, тем более что к этому времени НКВД искал других жертв: видных партийцев, крупных руководителей промышленности, военных... И этот заброс сети мог миновать нас, но Бабушка (как и отец впоследствии) допустила серьезную по тем временам ошибку, позволила себе жест, привлечший внимание властей. Правда, жест этот был вынужденный...

К середине 30-х годов к нам в дом съехались разбросанные гражданской войной родственники, которым Бабушка по ее деликатности не могла отказать и всем выделяла комнаты. И вот уже Акулина Яковлевна стоит в кабинете Бабушки, в ее глазах — укор.

— Елизавета Федна... — начинает она.

— Знаю, знаю, Акулина Яковлевна, зачем вы пришли. А что прикажете делать?

— Да ничего, Елизавета Федоровна, оставьте все как есть, ей-богу, так будет лучше: не надо никуда переезжать.

— Вот вы все как сговорились! И Аида тоже... А Сережа не возражает... Но посудите сами: вам нужна комната? мне нужна комната? а Боречке детская? Он теперь в школу пошел... А родителям его? Столовая, наконец... Теперь вот приезжает старший внук Петра Александровича с женой...

— Это Петя, что ли?

— Да, Петя. Представьте, он уже окончил Медицинский институт! Как радовался бы дед, будь он жив...

— Они ведь из Минска! И оставались бы там!..

— Ах, Акулина Яковлевна, все хотят давать советы... Им трудно там, из прежней квартиры их выселили, живут бог знает где!..

Свой пятикомнатный дом на Ярославском Бабушка меняла на восьмикомнатный на Отрадной улице, что в двух кварталах от нас. Сколько-то она доплачивала, но это было уже не главное. И началось великое переселение. Декабрь 1935 года. К дому подъезжает запряженная в сани лошадь. Два мужика кладут на сани большую, под стеклом икону святого Пантелеймона-целителя, и сани трогаются. Дня два ходила лошадь, перевоза вещи на виду глазющей публики: шкафы, посуда, картины, книги... К новому дому прилегал большой сад с липовой аллеей и соток пять огорода с разрушенной оранжереей и поломанными кустами смородины. В саду был даже бассейн, превращенный в помойную яму. Забор вокруг сада рухнул,

все являло вид запустения. Бабушка, переехав, стала энергично наводить порядок. Начала с восстановления забора, наняв бригаду плотников. Это в наше время за деревянные рубли ничего нельзя сделать, тогда деньги значили многое и были люди, которые умели и хотели работать. Вокруг участка поднялся высокий частый забор, что само по себе уже было вызовом по тем временам! Мало того: в одном месте возведение забора было приостановлено работником райсовета. «Мы отрезаем часть участка под детскую площадку», — объявил он. Бабушка была законница из числа наивных и обратилась в исполком Выборгского райсовета за разъяснением. Приехали эксперты и нашли, что для детской площадки место неподходящее: придется рубить много деревьев, — и забор зашагал по старому периметру. Но Бабушка обрела врага. И главное, привлекла внимание к себе.

Все еще руководствуясь старыми наивными представлениями, она восстановила оранжерею, наняла садовника — их тогда еще можно было найти; был вычищен бассейн, к которому, оказывается, еще до революции была подведена водопроводная труба... Вообще-то она делала все то, что разумно по общечеловеческим меркам и что, разумеется, следовало сделать, но не в стране, где все творилось против здравого смысла и где каждый год поднимался новый шквал невиданного в истории разбойничьего террора.

«У вас под носом живет и орудует махровая буржуйка», — писал один из соседей-доносчиков. И каким-то образом, видно через пациентов-энкаведешников, слова эти дошли до Бабушки, но не остановили ее. Она была в расцвете славы. На прием к ней записывались за месяц. «Я ни в чем не нарушаю закон, что мне бояться?» — говорила она. Хотя уже ее родной брат и видный юрист Георгий Федорович Юзбашев говорил сестре: «Лизочка, то, что ты не нарушаешь закон, это еще не дает гарантии... Они руководствуются совсем иным...»

В шестьдесят пять лет она работала по четырнадцать часов в сутки. Вставала в семь утра, следила за приготовлением лекарств, отвечала на письма, которые шли к ней со всех концов России, и к двум часам ехала на прием в свой кабинет на Литейном, где ее уже ждали человек тридцать больных... Возвращалась домой в девять вечера, навещала меня, обходила хозяйство, заходила взглянуть на корову, ухажена ли, и отдавала распоряжения на завтра.

Но нормальная жизнь Богом одаренного человека была невозможна в сталинской России. И все-таки, видимо, требовалось что-то еще, чтобы машина террора захватила и Бабушку. Звезды над нашим домом, над нашей семьей стали занимать опасное положение.

Примерно в то же время мой отец Сергей Борисович Гусев-Глаголин совершил ошибку, но совсем другого рода. Это сейчас мы отчетливо видим, что происходило в 1936 году и какая уже велась подготовка к 1937-му. Но тогда, в атмосфере всеобщей, хотя и искусственно раздуваемой приподнятости, понять, что происходит, было непросто. Вышла новая конституция, в которой провозглашались — свобода слова, свобода печати и т. п. Это сбилось с толку многих из интеллигенции. И отец стал раскованней — ну наконец-то!

И вот в 1936 году отец, любивший путешествовать, решил на совершенно обычный с точки зрения нормальной жизни, но весьма опрометчивый в той атмосфере нагнетания всеобщей подозрительности поступок: он со старшим братом Алексеем и младшим Левоу и еще с одним приятелем отправились — в свой отпуск — в экспедицию на Байкал. Они разработали такой маршрут: пройти на моторной лодке от Улан-Удэ по реке Селенге до Байкала, пересечь Байкал и спуститься по бурной Ангаре через Падунский и Шаманский пороги. Общая протяженность составляла две с половиной тысячи километров. Экспедицию консультировали в ленинградском туристском клубе. Практическая же цель отца состояла в том, чтобы собрать материал для повести и путевых очерков. Он уже начал печататься в журналах.

Маршрут местами проходил через погранзону, и требовалось специальное разрешение НКВД. И отец получил его. Но как выяснилось позднее, разрешить-то разрешили, но задумались: с чего это они едут за тридевять земель на свои деньги? (На свои ли?!) Да еще по маршруту с востока на запад!.. Уж не с целью ли показать дорогу японцам? Сделать съемку мостов, берегов? Подозрительно. Уже в 1936 году на отца как на руководителя туристской группы было заведено досье.

Отсчет времени начался.

Но в письмах из экспедиции отец пишет:

*Аида! Боря! Выезжаем на лодке по Селенге 1-го. Лодка закрыта, так что имеется палуба, под ней каюта, — у меня отдельный отсек на носу. В лодке сухо и свободно. Большое внимание нам оказывает Тр. отд. НКВД — сообщает маякам и будет следить за нашим продвижением до Иркутска. Вообще я тронут вниманием властей города: были приняты главой бурят-монгольского правительства.*

*После этого письма будет перерыв, так как пойдем глухим руслом Селенги, — 80 км и 120 км Байкалом. Еще не знаю, как потянет лодку мотор: оказался слабоват. Пароходы по Селенге ходят только вверх, в Монголию, а куда едем мы — пароходов нет. Я здоров, мы много работаем с Алешей. Все хорошо, и только тревога за моих любимых, за тебя, Аида, тербит душу... Встреть меня через 61 день светлыми, радостными глазами, пожми мне руку, продолжая ясно смотреть, и... ну, собственно, тогда я смогу даже дать планете нашей расписку, что я все на свете уже получил и претензий больше никаких не имею. И я уверен, что это будет так.*

*О Байкале напишу с берегов Ангары. Слишком много впечатлений у меня от этого священного озера...*

*Целую. Я очень люблю тебя. Привет Елизавете Федоровне.*

С. Глаголин.

*Боря! Береги маму и бабушку!*

Отец был тронут вниманием НКВД!.. Он полагал, что они хотят помочь ему, облегчить трудности предстоящего пути, а они уже искали криминал, подозревали шпионаж в этой смелой спортивной экспедиции...

*Здравствуй, Аида! 10 дней — ни одного почтово-телеграфного отделения, и вот сегодня в Иркутске! Волнуюсь, боюсь, что на почте нет ничего от тебя. Переезжать Байкал было несколько жутковато. Берега исчезли, и три часа плыли в легком розовом тумане... Как Боря? Если б не волнение за вас, чувствовал бы себя спокойно. (Осторожней с верховой ездой, не упади!) Я очень загорел, черный. Встретишь ли меня через месяц, как встретишь? Весь год я буду добрым и веселым. (Сколько раз я даю себе слово не оставлять тебя и Борю больше чем на три дня?!)*

*Сейчас стою у пристани городского сада Иркутска. Играет музыка, играет затрепанные фоксы. Тоскливо, но да Енисейска дойти нужно, еще 1700 километров. Ангара прозрачна и быстра, видно, как ходит рыба.*

*Следующий пункт, где буду ждать твоей телеграммы, — г. Братск. Затем — пороги и 800 километров без телеграфа. Неужели разлюбишь?*

*Целую тебя и Борьку. С лекарственными травами, которые просила достать Елизавета Федоровна, оказалось сложнее. Ламы, продающие травы, теперь как классово чуждый элемент высланы куда-то, их не найти. В Кяхте, говорят, есть тибетские врачи, но туда нужен специальный пропуск, район — пограничный и т. д.*

*Я обещаю Елизавете Федоровне помочь с лекарственными травами, но нужны связи, письма, знакомства, иначе это трудно. Привет Елизавете Федоровне и Акулине Яковлевне, Борю поцелуй!*

С. Глаголин.

А вот отрывок из путевого очерка, опубликованного в № 22 (ноябрьском) ленинградского журнала «Юный пролетарий» за 1936 год, в нем отец описывает переход через грозные ангарские пороги — Падунский и Шаманский, встречу в тайге с группой молодых рыбаков:

— Откуда плывете?

— Из Улан-Удэ...

— Через порог пойдете?

— Да... А что?

— С мачтой нельзя... и вещи тоже берегом лучше. А сами кто такие будете?

— Ленинградские! С кинофабрики... Делаем кинофильмы...

— Интересно, но не опоздать бы... Вечерет, нужно до захода солнца.

Мы начинаем выгружать вещи из лодки. Их повезут по берегу.

— Вам бы мы тоже советовали по берегу... Мы проведем, для нас это дело привычное...

*Четверо моих спутников покидают лодку, а мне, начальнику группы, нельзя, неловко... Лодка, подхваченная течением и равномерными взмахами весел, приближается к порогу.*

*Шум нарастал. Вдруг я почувствовал, как меня берут за плечи и аккуратно укладывают на дно... Я приподнялся и глянул вперед. В сотне метров от лодки я заметил конец реки... Да, да, горизонт воды, а дальше река словно обрезана ножом. Слышится команда:*

*— Правым наляг, левым — табань!*

*Мимо со значительной скоростью скользнул камень. Пена и расходящиеся буруны выдавали скорость течения. Вдруг лодка перестала находиться в горизонтальном положении. Глазам сразу открылся пенистый, усеянный черными углами водяной скат. «Левым нажми, левым!» Лодка неслась мимо бурунов и торчащих бревен, делала резкие повороты, шла бортом к течению, затем вновь поворачивалась...*

*Рулевое весло гнулось в руках нашего молодого лоцмана. И вдруг я вижу, как рулевой бросает весло и вынимает кисет. Порог пройден.*

Эти подводные рифы отец прошел, но на земле его ожидали иные рифы.

Отец очень скупо вспоминал о своем детстве, ограничиваясь обычно рассказами из кадетской жизни. Лишь однажды поведал о том, как каждый раз, возвращаясь домой из Кадетского корпуса на воскресную побывку, очень спешил. И, вбегая в парадную дома на Миллионной, торопливо спрашивал швейцара: «Михеич, ничего не случилось?!» — на что тот обычно отвечал: «Да что ж случится, барич, матушка дома ждут вас».

Отчего же мальчик спешил, волновался? Однажды, будучи дома, он из-за закрытых дверей кабинета отца услышал фразу матери, обращенную к мужу, Борису Сергеевичу: «Ты хочешь, чтобы я выбросилась из окна?!» Фраза эта запала в сердце мальчика и внесла постоянную тревогу за мать. Отец, Борис Сергеевич, ушел из семьи. Однако он обеспечил ей безбедное существование. Он был очень известный драматический артист. У меня сохранились почтовые открытки с его фотографиями: «Б. С. Глаголин в роли Гамлета», «Б. С. Глаголин в роли Бориса Годунова», «Б. С. Глаголин со своим сыном Сережей». До революции о нем было издано две книги. После его ухода покинутая им жена вышла замуж за адвоката. От этого брака появился сын Лева, что очень возмутило Бориса Сергеевича: очевидно, он считал, что брошенная жена должна оставаться ему верной. Это уже одна из черт, именовавшаяся в семье глаголинщиной. Но «глаголинщина» — это еще и дворянская фанаберия, и взгляд поверх толпы. Карьера Бориса Глаголина началась с того, что в труппе заболел премьер и роль Хлестакова дали молодому актеру Борису Глаголину. Он сыграл блестяще и покорила публику. С тех пор стал ее любимцем.

Уже в советское время Борис Глаголин получил звание народного артиста, но постановки его новые власти приняли сдержанно. И он понял, что ему не дадут развернуться. После запрещения одной из постановок он попросил у Луначарского командировку в Америку. Если б не уехал, его б в 30-е годы посадили, в этом нет ни малейшего сомнения.

Гусевы были из орловских дворян. «Мне б мои орловские земли и моих рысаков», — смеялся отец. В том же 1936 году, вернувшись из байкальской экспедиции, он решил на одно предприятие, показавшееся всем родным и знакомым крайне рискованным по тем временам, но впоследствии оно, когда отца уже не было, спасло нам жизнь. Кто-то или что-то все-таки ведет нас.

Отца тяготила жизнь в доме знаменитой и богатой тещи, где его заработок был незаметен. Он хотел жить своим домом. Городская коммуналка со звенящими за окном трамваями отца мало устраивала, кроме того он не хотел забирать меня из дачной местности. И тут давний знакомый Бабушки и ее пациент, известный певец, солист Марининского театра Сливинский, начал по соседству на Рашетовой улице строить дачу, точнее сказать, он только получил право на застройку участка близ парка Сосновый, и как раз в это время его приглашают в Москву в Большой театр, и он обращается к Бабушке с просьбой рекомендовать человека, кому можно передать право на застройку...

Бабушка, зная, что зять мечтает жить отдельно, не сочла возможным скрыть от него предложение Сливинского. Отец тотчас согласился, он встретился со Сливинским, и они вместе обратились в соответствующие инстанции, и документы

с правом на застройку перевели на отца. Конечно, это было очень хлопотно, и покупать строительные материалы можно было лишь у государства по накладной, потому что за приобретение левых бревен можно было сесть в тюрьму, но здесь как раз и обнаружился организаторский талант отца, и он по государственной цене получил бревна под сруб, кирпич под фундамент, толь для крыши, доски и т. д. Он был очень энергичен и увлечен делом, все вечера проводил на стройке, где работала бригада плотников. Когда темнело, над срубом зажигали двухсотсвечовую лампу.

Настало лето. Среди общего веселья с громкоговорителями на улицах, патефонной музыкой, кричавшей из открытых окон домов, пляжной суеты по выходным в Озерках приходили известия об арестах... Отец едва не каждый вечер сообщал, кто объявлен врагом у них на студии. Однажды он сказал:

— Арестован Пиотровский, самый понимающий из редакторов сценарного отдела.

— Ты его привозил как-то к нам, — сказала мама.

— Его имя на титрах всех наших лучших картин... Теперь снимут. Сейчас взялись за Васильевых...

— Их-то за что? За «Чапаева»?

— Считают, что слишком смело наступают кашпелевцы: они-де белые и должны бежать, а они идут на пулеметы. Нельзя.

В мае 1937 года я был свидетелем двух встреч. С визитом к Бабушке приехал муж родной сестры отца Ольги Борисовны Александр Наумович Гинсбург, один, без жены. Он работал, кажется, главным администратором или заместителем директора оперного театра и пользовался репутацией умного человека. Это был видный мужчина, носил по тогдашней моде командирскую военную гимнастерку и галифе. Видно, он прослышал от жены о произведенных в доме новшествах и захотел взглянуть сам. Бабушка показала ему дом, сад, огород с оранжереей. Гинсбург все осмотрел и сказал:

— Елизавета Федоровна, все превосходно! Но как вы не боитесь?

— Не понимаю, чего я должна бояться, — холодно отвечала Бабушка.

— Вы газеты читаете?

— Читаю. Вы имеете в виду политические процессы? Какое это имеет отношение ко мне? Я никогда не занималась политикой.

— Поймите, Елизавета Федоровна, сейчас это не принято... Камня на камне не оставят...

Бабушка ответила, как всегда, что закон она не нарушает, остальное ее не касается. Потом они прошли в кабинет Бабушки и там говорили. Уходя, Гинсбург сказал:

— При всем том, Елизавета Федоровна, я восхищен вашей энергией.

В начале июня я выбежал в сад... На скамейке рядом с Бабушкой сидела молоденькая девушка с черными-черными глазами. Ее звали Нина. Она улыбалась.

— А вот мой внук, — сказала Бабушка. — Вы ведь с Украины? Я не ошиблась, судя по говору?

— 3 Украины...

Бабушка встала со скамейки, кивнула нам и пошла к веранде. Я вдруг заметил, что девушка платком вытирает слезы.

Догнал на веранде Бабушку и сказал ей об этом. Она вернулась в сад.

— Что случилось? Вы чем-то расстроены?

— Вы ж вшли? Нэ берете мени? А Черня казала: попадешь в этот дом — тебе будет хорошо.

Бабушка вздохнула.

— Я не против, оставайтесь... Работа найдется, но где мы вас разместим? Пойдемте посоветуемся с Акулиной Яковлевной, она что-то непременно придумает.

И эта девушка с черными глазами осталась у нас.

Звезды окончательно заняли то положение, отражение которого неизбежно должно было трагически пасть на землю.

20 июня 1937 года мне исполнилось десять лет. Обычно накануне дня рождения за неделю мама выведывала у меня, что бы я хотел получить в подарок. В шесть лет я ответил: «Хочу настоящую пожарную каску!» И повторил — настоящую,

потому что продающиеся в «Детских игрушках» картонные каски мне уже дарили И мама, как потом рассказывала, неделю носилась по городу в поисках каски И конечно, не нашла и накануне 20-го с грустью сказала отцу об этом.

Он усмехнулся: «Сказала бы раньше...» — сел на мотоцикл и через час привез настоящую пожарную каску. Купил, наверное, у знакомого брандмейстера. Помню, как папа и мама вдвоем дарили мне эту каску. Я бросился обнимать маму. А она смущенно: «Нет, нет, это не я, это папа достал...» Отец: «Это от мамы, от мамы»

На семь лет мне подарили детский автомобиль с педалями. На нем каталась вся ребячья округа, и в неделю его доконали. Меня это не огорчило. Игрушки я не любил, я любил все настоящее. И наши с папой авиамодели по-настоящему летали. Зная эту мою черту, отец купил воздушное ружье. Вначале я стрелял из него лишь свинцовыми пулями при нем. Но видя, что я осторожен в обращении с ружьем, он позднее разрешил стрелять и без него.

Раз около свалки я подстрелил из воздушки огромную крысу. Она кувырнулась и лежит. Я подбежал, схватил ее за длинный хвост и, торжествуя, поднял над землей... А крыса изогнулась, схватила меня зубами за указательный палец правой руки и подохла. Я трясую рукой и не могу ее сбросить, а кровь уже хлещет. Но я все же разжал ей зубы, освободил руку и стал выжимать из пальца кровь как можно больше, чтоб не было заразы. Это я понимал, но дома промолчал, боялся, что отец скажет: «Рано еще тебе с ружьем ходить» — и запретит.

Бабушка дарила мне вещи практические, тулуп, например, или английский свитер, который я носил несколько лет. Она не могла конкурировать с отцом, дарившим мне настоящее ружье и настоящую каску. К десятилетию моему она что-то задумала, я не знал что.

И вот настало 20 июня. Отец подарил мне кошелек и немного денег. Кулюша — настоящий молоток и настоящие гвозди, мама — «Робинзона Крузо» в академическом издании... Бабушка поздравила, но подарок ее, видно, задерживался, и она нервничала. Наконец часа в два дня к нам в сад вошел морской капитан, ведя взрослый велосипед с красными шинами и втулкой «Торпедо» — английского производства. Этого велосипеда мне хватило лет на пятнадцать. Хотя все на нем катались, но его было не сломать. Ну а проколы я быстро заклеивал.

Днем 20-го ко мне пришли друзья — Мишка, Толька, Ваня и Вовка еще с Ярославского: здесь, на Отрадной, новых друзей у меня пока не было. Мы играли, было весело. К вечеру меня позвали к Бабушке. У нее собрались гости. Бабушка решила продемонстрировать мою меткость при стрельбе из воздушного ружья. Она отошла в угол комнаты, взяла в руку конфету и попросила меня стрелять. Знакомые стали уговаривать ее отказаться от этого эксперимента. Но Бабушка была отважная женщина.

— Стреляй! — сказала она.

Я несколько не волновался, потому что уже набил руку, и был уверен, что попаду в точку. Я выстрелил и выбил конфету из ее руки, не задев пальцев. Но папа взял простреленную конфету и, осмотрев ее, сказал:

— Нет, все-таки больше не стоит экспериментировать, пуля прошла в миллиметре от пальца.

Это был мой последний день рождения с гостями, с большими подарками.

Их вошло трое — вечером, когда мы сидели в столовой и ели арбуз. По лицам отца и мамы я понял, что пришедшие — какие-то особенные люди, тот самый НКВД, о котором я не раз слышал.

— Но Елизаветы Федоровны нет, она еще не вернулась из отпуска... То есть она должна была уже приехать, но задержалась и телеграфировала об этом, — сказала мама старшему начальнику со шпалой в петлице.

— Покажите комнаты Бадмаевой, — последовал ответ, и мама повела их в кабинет Бабушки.

Я хотел встать из-за стола и выйти, но отец сказал:

— Сиди.

Прошло минут десять или больше, двери открылись, и те трое вышли из кабинета, за ними шла мама. Не останавливаясь и не глядя на нас, эти трое проследовали по коридору к выходу, и вскоре послышался шум отъезжавшей от дома «эмки».

Я вышел в сад и гулял, пока меня не позвала мама. Было уже часов десять вечера. Я думал, что меня отошлют спать, но мама сказала:

— Смени рубашку и надень новую курточку: мы сегодня едем в Москву. Но пока никому не говори об этом.

Вскоре папа вывел из гаража новую «эмку» — он выиграл ее по автообязательству, их продавали членам автотоклуба. В руках у мамы была небольшая сумка и более никаких вещей. Мы почему-то поехали не в сторону города, а к Озеркам. Подъехали к первому озеру, постояли здесь, а потом поехали в сторону города боковыми улицами. И еще долго крутили по городу и на Московский вокзал приехали без четверти двенадцать, перед отходом «Стрелы». Папа взял билеты в мягкий — туда не было очереди, и за пять минут до отхода поезда мы с мамой вошли в двухместное купе. И лишь когда поезд тронулся, мама облегченно вздохнула и сказала:

— Ну, слава Богу, кажется, едем.

В Москве мы, как всегда, остановились в большой квартире Ивановых на улице Грановского. Ивановы — Иван Дмитриевич и его жена Мария Тимофеевна — в революцию занимали высокие посты в Петрограде, но позднее отошли от дел, он какое-то время еще был замнаркома, а теперь и вовсе занимал небольшую должность; Мария Тимофеевна как старая большевичка получала партийную пенсию; то была добрая, приветливая женщина, всегда встречавшая нас пирогами. И я не мог представить себе, как это она, будучи председателем ревтрибунала, выносила смертные приговоры белым офицерам. Вот тогда-то, в 1918 году, у нее открылась скоротечная чихотка, и к ней привезли «знаменитого Бадмаева». Дед вылечил ее менее чем за месяц. Возникла дружба. Мария Тимофеевна была очарована Бабушкой, и приезд ее был для нее всегда праздником. Она и уговорила Бабушку после Кисловодска захватить в Москву.

Здесь, у Ивановых, мама хотела перехватить Бабушку и уговорить ее, сказавшись больной, задержаться в Москве. И отлично сошлось так, что на следующий день после нашего приезда в Москву из Кисловодска прибыла Бабушка. Еще до ее приезда мама посвятила в свой план хозяйку, Марию Тимофеевну, не утаив до визита сотрудников НКВД. Я слышал, как Мария Тимофеевна говорила:

— Аида! Как вы могли сомневаться?! Да пусть Елизавета Федоровна живет у нас хоть год! Я буду этому только рада. Разве что и за нами придут...

— За вами? — с удивлением воскликнула мама.

— Аида! Такие головы летят! Я вообще не понимаю, что происходит. Иногда мне кажется, что я утром проснусь — и по радио объявят о раскрытии какого-то крупного контрреволюционного заговора. И все станет на свои места.

Мама значительно взглянула в мою сторону, и Мария Тимофеевна умолкла.

— Но все-таки я надеюсь, что нашей дорогой Елизавете Федоровне ничего серьезного не грозит. Да и возраст... Ей под семьдесят? Она ведь старше меня...

— Маме шестьдесят восемь.

— И она была всегда в стороне от политики. Но чем черт не шутит! Лучше ей переждать.

Бабушка приехала посвежевшая, помолодевшая на водах. Иван Дмитриевич и Мария Тимофеевна встретили ее как родную. Мария Тимофеевна верила в нее так, как ни в одного врача Кремлевской больницы.

В большой столовой все сидят за чаем. На столе пирог, приготовленный хозяйкой. Иван Дмитриевич по обыкновению молчит и слушает. Говорит Бабушка о своих южных впечатлениях, разговор переходит на медицину, и Бабушка достает тибетские лекарства — порошки для хозяйки.

— Только этим и живу, — говорит Мария Тимофеевна.

Тень озабоченности лишь на лице моей мамы. Встретив Бабушку на вокзале, она уже успела рассказать ей о тревожном визите. Но на Бабушку это не произвело должного впечатления:

— Не понимаю, господа, к чему эта паника? Я полагаю, что приходили из инспекции пожарной охраны: у меня на чердаке запасы лекарственных трав, и они предписали мне иметь ящик с песком и огнетушитель. Вероятно, приходили проверить.

— Мамочка, поверь, это не пожарные!..

— Тем более я должна ехать! Возможно, какое-то недоразумение, и я должна выяснить.

Мама и Мария Тимофеевна переглядываются, и хозяйка уже другим — уверенным, низким — голосом говорит:

— Елизавета Федоровна, поверьте, это не недоразумение. Уже по одному рассказу Аиды я поняла — являлся НКВД. Просто у них сейчас много работы и они даже не затруднились проверить, не задержались ли вы в Кисловодске. На ваше счастье, вы задержались. Не испытывайте судьбу, погостите у меня хотя бы месяц!..

— Это невозможно, меня ждут больные, — резонно отвечает Бабушка.

Общими усилиями Бабушку удерживают в Москве на два дня, а затем мы втроем возвращаемся в Ленинград. На вокзале нас встречает отец. Он молча целует руку маме, Бабушке, берет вещи, и мы идем к нашей «эмке».

— Елизавета Федоровна, еще не поздно, быть может... Давайте я отвезу вас к вашей подруге Виргинии Багратовне. Имейте в виду, за домом ведется наблюдение.

— Сережа, я вас не понимаю... Что ж, я должна скрываться? Нет, я не привыкла отступать, тем более что не чувствую за собой никакой вины.

— Как будет, так будет, — говорит мама.

И мы подъезжаем к дому на Отрадной.

В эту же ночь бабушку арестовали.

Мама сразу взялась за хлопоты. В этом ей помогал известный ленинградский адвокат Яков Зиновьевич Киселев. Он выяснил, что, к счастью, Бабушке не предъявлено никаких политических обвинений, речь идет лишь о «незаконном врачевании».

— Но у Елизаветы Федоровны было официальное разрешение горздравотдела, — возразила мама.

Старый правовед лишь развел руками:

— Аида Петровна, надо радоваться, что Елизавете Федоровне предъявлено лишь это обвинение. По этой статье, без фактов, влекущих за собой более тяжкое наказание, а их нет, — максимум два года. Могло быть гораздо хуже. Запасемся терпением и переждем этот острый момент.

Но мама была-таки наивна и все еще верила в силу закона. Она добилась приема у прокурора города.

— Если Елизавета Федоровна Бадмаева виновна, я прошу судить ее открытым судом, как и полагается по закону.

Прокурор открыл тонкую папку и сказал:

— Бадмаева уже осуждена тройкой. Могу сообщить приговор: восемь лет лагеря с правом переписки.

— Восемь лет? За что? И почему ее не судили открытым судом?

— Да поймите, что Бадмаеву нельзя было судить открытым судом! У здания суда собрались бы ее пациенты, и это уже носило бы характер политической демонстрации... Вы этого хотите? Ну что — мы можем вместо незаконного врачевания вменить ей пятьдесят восьмую статью: Это очень просто делается. — И прокурор для вящей убедительности взял вставку. — Но предупреждаю, что санкции будут иными: без права переписки, без права на амнистию... Ну?

— Нет, ради Бога, оставьте как есть!..

Приехала бригада НКВД, начала обыск. Бригаду возглавлял следователь Яковлев. Он отозвал маму и сказал:

— Завтра мы опишем вещи и опечатаем комнаты Бадмаевой. Возьмите из кабинета Елизаветы Федоровны то, что считаете нужным, кроме мебели. Но никому ни слова.

Потом уже выяснилось, что отец Яковлева лечился у деда! И в тот вечер мама взяла рецептуру, рукописи и книги деда, изданные еще до революции, несколько памятных вещей еще с Поклонной горы, в том числе золотые часы «Мозер», которые спасли нас в блокаду. В кабинете Бабушки висела небольшая картина Айвазовского, подлинник. Но ее мама взять не решилась, как и старинные бронзовые часы и прочие ценности, ведь в революцию реквизировали лишь дачу деда на Поклонной, а вещи не тронули, и всемогущая в ту пору Акулина Яковлевна распорядилась вовремя их вывезти...

Строго отлаженный, добрый строй жизни распался на глазах.

Когда Бабушку арестовали, многие знакомые перестали к нам ходить. Впрочем, их нельзя строго судить, как и тех, кто, встретив на улице маму, переходил на другую сторону. В доме остались лишь Акулина Яковлевна. Нина, старшая сестра

мамы по отцу Надежда Петровна и я с родителями. Нина сама предложила остаться у нас, и мама сказала:

— Что ж, оставайтесь... Кому-то надо готовить, в магазины сходить. Я после работы буду занята хлопотами, Кулюша стара...

И Нина осталась.

Невдалеке от бывшего дома Бабушки на Рашетовой горке, близ самого леса, уже стоял дом под толевой крышей. Штукатурили первый этаж — кухню и две комнаты. Полы были дощатые, печки — круглые. Из передней лестница вела вверх в две небольшие комнаты второго этажа. Но его только застеклили, и работы были приостановлены: не было денег. Вход наверх заделали, чтобы не упускать тепло. Вообще Сливинский задумал дом масштабно, с огромной застекленной верандой, но ее так и не начали строить. В первом этаже можно было жить. И как раз в это время нам предложено было освободить дом Бабушки.

В начале 1938 года Н. Н. Бадмаев был арестован в числе врачей, лечивших Горького, Куйбышева и других членов правительства. В «Медицинской газете» была напечатана статья «Враг под маской науки» — о руководителе клиники тибетской медицины Н. Н. Бадмаеве. Не только его, но и всех ученых эмчи-лам — их было двадцать, он выписал их из Бурятии — арестовали, и они пропали без вести. В конце 80-х годов после публикации в «Новом мире» (1989, № 11) документальной повести «Мой дед Жамсаран Бадмаев» я получил несколько писем от родственников тех эмчи-лам с вопросом, не известно ли мне что-либо о судьбе их. Что я мог ответить? Я ничего не знал.

Комнаты Бабушки были опечатаны. Мы теперь жили в двух оставшихся комнатах.

Первое время я боялся, что и в школе узнают об аресте Бабушки и станут злословить по этому поводу. Но в классе не зашло о том разговор, затмевало другое: умный и циничный одноклассник Козлов со смехом выдирает из учебника портреты маршалов Тухачевского, Егорова, Блюхера, объявленных врагами народа... Кроме того, я вскоре понял, что я не единственный, у кого кто-то из родных арестован.

Я спросил маму, за что арестовали Бабушку. Верная себе, чтобы не ломать, как ей казалось, мое мировоззрение советского школьника, она ответила уклончиво, что-де у нас в стране строят новое общество, а Бабушка придерживалась привычек прошлого века. Но добавила, что дело Бабушки, возможно, будет пересмотрено и решится более справедливо. Я видел — маме неприятен этот разговор, и прекратил расспросы.

В это же примерно время отец получил повестку — явиться в НКВД на Литейный, 4. Помню, как с недоумением, но без малейшего волнения он вертел в руках повестку, говоря:

— С чего это? Непонятно...

Повестка сильно взволновала маму, но отец успокоил ее:

— Нет, это какая-то чепуха! В иных случаях они являются без повесток... Зачем предупреждать?

Я совершенно не беспокоился об отце. В нашей семье жила уверенность, особенно поддерживаемая его братьями, что с Сергеем Глаголиным ничего не может случиться, он найдет выход из любого положения. Братья, Алексей и Лева, всегда говорили: «Сергей ни в огне не горит, ни в воде не тонет...» — эту фразу я помнил с детства. При этом рассказывали, как папа на мотоцикле перескочил трехметровую пропасть на Дворцовом мосту, когда мост уже разводили. Еще рассказывали, как на него с мамой ночью напали хулиганы, когда они возвращались из госнардома. И тоже кончилось тем, что бандиты бежали, а мама потом говорила, что боялась лишь одного: как бы папа случайно не убил кого-то из нападавших и ему бы не пришлось отвечать. В Кадетском корпусе учили бою, кроме того он был от природы физически сильный. До меня уже через старших ребят дошла легенда, что папа в молодости как-то ударил по футболному мячу — и мяч выбил доску в заборе и сбил проезжающего мимо велосипедиста. Отец был немного выше среднего роста и, кажется, не напоминал атлета. На моих глазах произошел лишь один эпизод. Уже после ареста Бабушки мы втроем — мама, папа и я — поехали на Шуваловское кладбище. Побывали на могиле деда, потом мама пошла в церковь, а мы с папой стали медленно сходить с кладбищенского холма

вниз по тропинке. Навстречу лошадь тащила вверх по дороге телегу с дровами, видимо к сторожке. Дров непиленых было наложено много, а дорога песчаная. Лошадь стала. Возница сперва бил ее вожжами, потом взял с воза здоровенную лесину и стал бить лошадь по спине. Отец подбежал, вырвал лесину и стал трясти мужика, крича: «Это истязание!.. В милицию!..» Тут, к счастью, подбежала мама, остановила отца и еще заплатила за порванную рубашку, а мужик, оправляя одежду, говорил: «Да что ты?.. Это ей все одно что по заднице ремнем пацана...»

В НКВД отец ушел с улыбкой. Он вернулся к вечеру.

— Ну, как я и думал, ерунда. Ружье. Какая-то сволочь донесла, что я тайно храню нарезное оружие. Слава Богу, я захватил с собой охотничий билет и разрешение... Они свое: «Принесите ружье». Я объясняю: «Меня проверяли во время байкальской экспедиции пограничники: документы, оружие, — никаких претензий!» Требуют, чтобы принес.

У отца было два ружья — тульское охотничье центрального боя и трехстволка: два ствола гладкоствольные, третий, нижний, — нарезной для охоты на медведя, тигра. Кто-то из приятелей отца донес на этот третий ствол...

— Отдай ты им, Сережа, — сказала мама.

— С чего это? Только через суд! Я понимаю: им самим хочется иметь такое ружье, я уже по вопросам понял, что это охотник... кто беседовал со мной...

— Отнеси, я прошу тебя! Хочешь, чтобы они пришли сюда?

Словом, мама уговорила отца, и он в тот же вечер отнес ружье.

— Нет, ну это удвительно! — говорил он. — Я принес, положил следователю на стол, он кивнул: можете идти, — и подписал пропуск! Ни оформления, ни протокола...

В декабре 1937 года от Бабушки пришла первая открытка с обратным адресом: Каракалпакия, почтовое отделение Долинское. «Устроилась довольно сносно», — писала Бабушка и перечисляла, что посылать из вещей и продуктов. Отец, успокаивая маму, произнес фразу, оказавшуюся пророческой: «Аида, вот увидишь, Елизавета Федоровна вернется, будет жить в новом доме и пойдет за моим гробом».

В новом отцовском доме можно было жить лишь в кухне — туда переехали Кулюша и Нина, — родители стали жить в комнате отца в коммуналке, а я, чтобы не прерывать занятий в школе, остался на Удельной у нашей родственницы тети Жени. Это было совсем рядом с прежним домом на Ярославском, рядом были Мишка, и Толька, и другие ребята, и надо мной не было никакого контроля.

Приближался новый, 1938 год. Уже официально разрешили новогодние елки, это даже поощрялось. 31 декабря за мной заехала мама и повезла меня к себе на Литейный, украшал елку папа, и мы втроем встретили Новый год. Когда по радио кремлевские куранты начали отбивать полуночные удары, я взглянул на маму, она улыбалась сквозь слезы. Папа наклонился над нами и сказал:

— Кончился этот кровавый год... И слава Богу, что кончился!

Волнение мамы передалось мне, я почувствовал, что и у меня слезы помимо моей воли подступают к глазам, я запрокинул голову, чтобы они не капали. Потолки в комнате были высокие, и в каждом углу вырисовывался барельеф младенца с крылышками — дом был старый. За окном гремели трамваи.

Летом мы въехали в новый дом, там уже хозяйничали Кулюша и Нина. Дом стоял у самой Сосновки. Между домом и лесом пролегла песчаная, вся в рытвинах дорога — Старопарголовский проспект, он шел от Поклонной горы до Большой Спасской, это километров шесть.

Для Акулины Яковлевны была отведена маленькая комната при кухне; Нина разместилась в кухне; комната-фонарик была спальней родителей, там же и папин кабинет. А в большой столовой отвели угол мне, там стояли моя кровать и стол для приготовления уроков.

В саду у нового дома на горке стояла огромная береза с величавой кроной; дерево это царило над всей местностью. Снизу оно было в три обхвата, и на него трудно было забраться: ветви начинались высоко над землей. Однажды летом Кулюша вышла в сад и долго-долго смотрела на березу, потом с неудовольствием покачала головой, повернулась и пошла в дом. Я тоже стал смотреть на березу и понял, что расстроило Кулюшу и что я раньше видел, но не придавал этому

значения: самая верхушка березы засохла и над зеленой листвой торчали сухие черные сучья. Кулюша знала какую-то примету, недобрую...

Я решил подобраться к березе с крыши, над которой простирался один из ее длинных сучьев. Взобрался на крышу, дотянулся до ветвей и притянул сук так, что, слегка пригнувшись, он уперся в крытую толем крышу. Потом, ухватившись за сук руками и ногами, а головой вниз, я стал медленно перебираться по нему к стволу дерева; высота была метров десять, не больше, но сук прогибался сильнее, чем я надеялся, это вынудило меня не делать резких движений. Добравшись наконец до главного ствола, я полез вверх, на вершину березы. И добрался до самой сухой верхушки; по ней лезть было опасно. Но и отсюда весь город был как на ладони. Я различал сиявший на солнце купол Исаакиевского собора, и петропавловский шпиль, и черную извивающуюся ленту Невы... Правее, западнее, синел Финский залив. Наглядевшись вдоволь, я стал спускаться с дерева и уже хотел было перебраться вниз головой по суку на крышу, как вдруг услышал спокойный голос снизу:

— Боря, этот сук ненадежен. Подожди, я принесу лестницу.

Внизу у ствола стоял отец. Я объяснил, что лестница не достанет, он согласился и принес веревку, закинул ее мне, и я по ней спустился. Отец сказал, критически осмотрев меня:

— Иди почистись. Уж коли лез, взял бы пилу спилить сухую верхушку, а ствол прикрыть толем и обмотать веревкой... Я собирался это сделать, но теперь, кажется, поздно, время упущено. Жаль, засохнет такое дерево! А может, уже и срок... Кто знает...

Он ушел в дом. Но вскоре позвал меня к себе.

— Я знаю, ты увлекаешься разными поджигалками и прочим... Покажи, что у тебя.

Я покраснел. Накануне я выменял у ребят со Стандартного поселка ржавый револьвер «смит-вессон», найденный у кого-то на огороде и закопанный, наверное, еще с гражданской войны. За этот ржавый револьвер я отдал на весь день покататься свой велосипед с красными шинами, еще пустые гильзы охотничьих патронов, которых у нас было много, и еще что-то. Я надеялся отмочить револьвер в керосине. Про него я бы, конечно, не сказал отцу, но раз он спросил, врать я не мог и предъявил «смит-вессон».

Он внимательно осмотрел револьвер и строго сказал:

— Стрелять он уже не будет, проржавел ствол, но при желании его можно признать за огнестрельное оружие. Вышел новый указ о привлечении к уголовной ответственности подростков начиная с двенадцати лет. Я сейчас отнесу эту штуку в милицию и сдам, пока сюда не пришли... С этим шутить нельзя! Другое дело охотничье ружье, всякий знает его назначение, но револьвер — оружие боя! Не тащи ты домой всякой дряни... У тебя есть воздушное ружье — и довольно!

Но страсть к оружию жила во мне еще долго.

Спустя год мама добилась разрешения на свидание с Бабушкой и в свой отпуск отправилась в далекий путь до Караганды на поезде, а оттуда еще несколько сот километров на попутных машинах в каракалпакский лагерь. Много лет спустя я прочел у Солженицына описание этого концентрационного лагеря под названием Долинское. Это была зона на десятки и десятки километров в открытой степи.

— Бабушка наша осталась собой, — рассказывала мама, — в лагере она с разрешения начальства принимает больных. И охрана идет к ней лечиться. Она обрадовалась, что я привезла ей лекарства. Но тюрьма есть тюрьма... Тяжким было наше расставание: мама стояла у ворот, где охрана лагеря, я должна была ехать с попутной машиной. Она перекрестила меня и заплакала. Увидимся ли еще?.. А потом я ехала на грузовике через степь. Прожектора, вышки...

Стояло лето 1939 года. Отец уехал с киногруппой на Памир снимать фильм «Тревога в горах». И здесь я хочу вспомнить о той, что осталась верной нашей семье. Мама хлопотала за Бабушку вместе со своей дальней родственницей Ольгой Халишвили; в гражданскую войну ее родители погибли: по словам самой Ольги, были расстреляны белыми. И Бабушка взяла Ольгу, ровесницу своей дочери, на воспитание. Еще она взяла в дом Люсю Бадмаеву, дальнюю родственницу со стороны деда. И дала ей образование. Но в 1937 году после ареста Бабушки Люся

ушла от нас и более не появлялась. А Ольга, хотя и была членом ВКП(б), принимала участие во всех хлопотах и носила передачи в тюрьму, ругалась с прокурором, крича:

— Моего отца расстреляли белые, я за советскую власть жизнь положу, но Бадмаеву вы, сволочи, ни за что посадили!.. Доберусь до Сталина!

Как ни странно, но это ей сходило, и даже прокурор робел перед ней.

— Аида, — говорила Ольга, — с ними только так и надо! Это ж сволочи, бюрократы... Опошляют идею!.. Жаль, я ему не набила морду...

Кулюше было под девяносто. Но она была бодра, ходила, распоряжалась, на Пасху и Рождество выпивала рюмку водки. Помню, как однажды она, взяв в руки платок, с русской удастью прошла круг, напевая: «Пить будем, гулять будем, смерть придет — помирать будем...»

В тот год однажды летом Нина тревожно сказала мне: «Боря, езжай в амбулаторию чи поликлинику к маме! Кулины Яковлевне плохо...» Я вскочил на велосипед и помчался по Старопарголово-скому к Поклонной горе, выехал на Выборгское шоссе и вскоре уже съезжал к озеру, на северном берегу которого стояла мамина 29-я поликлиника. Очевидно, мама увидела меня из окна своего кабинета: я встретил ее уже в коридоре идущей мне навстречу. Узнав, что Кулюше плохо, она тотчас закурила и велела мне ехать домой, ее подбросят на «скорой».

Когда я вернулся, мама сидела у постели Кулюши. На плите кипятился шприц. Но он так и не понадобился. Кулюша скончалась на руках мамы, успев лишь сказать:

— Прощай, Аидушка... Пора... зовут... Схорони по-христиански...

И душа ее отлетела. Мама закрыла ей глаза, перекрестила и вышла из комнаты. Смуглое лицо ее было серым.

Меня отправили к знакомым, но в день похорон привели проститься. В большой комнате стоял гроб с телом Кулюши. Шла панихида, пахло ладаном. В комнате у гроба стояли удельнинские старушки в черном. Робко подняв глаза, я увидел спокойное красивое лицо Кулюши в гробу. Акулина Яковлевна была похоронена на Шуваловском кладбище в той же ограде, где и дед Петр Александрович.

А вскоре мы с мамой встречали отца. Он был, как всегда, в своей брезентовой робе и на привязи вел крупного щенка овчарки. Я бросился к щенку. Папа сказал:

— Осторожнее, это волчица, действия непредсказуемы...

Потом взглянул на маму, сказал печально:

— Что? Акулина Яковлевна?

Мама кивнула и заплакала...

А черноглазая украиночка Нина собиралась замуж. За ней ухаживал молоденький лейтенант. В то время командиры Красной Армии были кумирами среди нас, ребят. Лейтенант показывал мне свой наган и, вынув патроны из обоймы, позволял щелкать курком. Он бывал у нас почти каждый вечер. А Нина все бегала к маме советоваться. Но вот они зарегистрировались, и мы поздравили их с цветами. С месяц они пожили у нас, затем лейтенанта перевели на Дальний Восток, и Нина уехала с ним.

В начале 1940 года мы получили телеграмму: «Выслана Волочек выезжаю двенадцатого московским поездом буду Ивановых Бабушка». Мама держала телеграмму в руке, приложив другую руку ко лбу, как всегда в трудных ситуациях.

— Сережа, что это означает? — спросила она отца.

Он улыбнулся:

— Полагаю, что Елизавету Федоровну освободили и дали вольную ссылку... Сколько было послано заявлений?

Мама поехала в Москву встречать Бабушку. Ее освободили из лагеря после трех лет заключения и дали «минус шесть», то есть право выбора за исключением шести крупнейших городов, в том числе Москвы и Ленинграда. И Бабушка выбрала городок, лежащий между двумя этими городами, — Вышний Волочек.

Как памятен мне довоенный Волочек, где я провел с Бабушкой лето 1940 года! В Западной Европе такой городок с его многочисленными каналами, шлюзами,

церковью, стоящей в центре у водохранилища и чудно отражающейся в его водах, в золоте купался бы от одних туристов... Это зеленый городок на воде — со своими торговыми рядами, гостиним двором, лавки которого были, однако, закрыты за ненадобностью.

Для Бабушки сняли приличную комнату на окраине, и вскоре уже в городе знали, что приехала «сама Бадмаева», и к ней потянулись и местные, и москвичи, и ленинградцы, имевшие те же «минус шесть». Елизавете Федоровне Бадмаевой было предписано каждую неделю отмечаться в местном отделе НКВД.

Бедно жила провинция. Вышневолоцкие жители даже не могли ездить по своим надобностям в Ленинград или Москву. В кассах продавали билеты на поезда лишь по предъявлении паспорта с московской или ленинградской пропиской или командировочного предписания. Я привез с собой волейбольный мяч и этим тотчас прославился: обычный мяч был редкостью для тамошних ребят. То лето было самое вольное: Бабушка не делала никаких запретов.

В конце августа Бабушка провожала меня, на перроне держалась бодро, но когда подошел поезд, она едва сдерживала слезы... Она стояла на перроне одна, и так мне и запомнилась ее одинокая фигура. И десятилетия спустя, проносясь в дневных экспрессах из Ленинграда в Москву, я после станции Бологое все ждал, когда же появится знакомый вышневолоцкий вокзал, та платформа, где когда-то стояла Бабушка и губы ее странно сжимались, чтоб не выдать слез. Экспрессы не останавливались в Волочке — видение промелькнет и исчезнет...

Сороковой год был, пожалуй, самым благополучным в нашей семье. Папа напечатал по материалам экспедиции повесть «Загадка Байкала» и путевые очерки; маму направили в адъюнктуру при кафедре хирургии Военно-медицинской академии. И у меня к этому времени наладились отношения с классом. Теперь одноклассники часто собирались в нашем дворе смотреть на волчицу, которую отец назвал Катькой. Она вымахала в здорового зверя; в отличие от собаки у нее всегда был опущен хвост и она не лаяла, а выла по вечерам. Она была привязана на цепи к толстому суку сосны, так что получалась довольно большая площадка для гуляния. Зимой, пренебрегая будкой, она спала на снегу, летом пряталась за будку от солнца и внимательно следила за границами своей территории, и если кто-нибудь входил в ее пределы, она на него бросалась. Но все знали это, и никто не входил, кроме папы и меня. И отец строго предупредил меня, чтобы я подходил к ней лишь в ватном таджикском халате, который он привез с Памира. Раз в неделю папа приводил ее в дом на цепи, доберман Гарька протестующе рычал, начиналась веселая свалка. Я любил играть с ней. Бывало, подойдешь к ней в халате, подставишь руку, она хватает не больно, видно, понимает, что это игра. Но однажды я дернул ее за лапу, она оскалилась, и верхняя губа поднялась, обнажив острые передние клыки. Она показала, что не расположена играть. А мне хотелось, я вновь дернул ее за лапу, и тогда она кинулась... Я привычно подставил полусогнутую руку, но по тому, с какой силой она стала вгрызаться в ватный рукав, понял, что это не игра. Однако справиться не мог: она повалила меня, кусала руки, подбиралась к горлу. Я как мог противился, катался по земле, и наконец удалось выкатиться из ее владений. Но подняться уже не смог: руки были как чужие. Ломило. Потом оказалось, что все руки в огромных синяках. Я скрывал их от родителей, боясь, что мне вовсе запретят подходить к Катьке.

Отец Мишки Егор Петрович Курочкин вернулся из тюрьмы, отсидев три года, кажется. И снова он ходил по двору, засунув руки в карманы брюк. Однажды я подошел к Мишкиной хибаре и уже хотел войти, но заметил сутролку. В передней стоял Егор Петрович и покрикивал. Мишка с любопытством глазел... Что-то выносили из дома.

— Боком, боком! Наклонить надо, иначе не пройдет, говорят вам! — командовал Егор Петрович. — Боком! Вывалится она... Попридержаться надо...

Они еще долго бранились, наконец показался гроб со старухой — Мишкиной бабушкой. Ее вынесли на улицу и поставили гроб на телегу. Раньше я часто видел покойную. Она выносила помои, стирала в деревянном корыте, тащила охапку щепок со стройки на растопку плиты... Но я никогда не слышал ее голоса: она была молчаливая, вся в заботах. И теперь меня поразила приземленность, простота того, как все это делалось, как, переругиваясь, несли гроб, как взвалили его на телегу — не дроги. И эта простота таинства смерти поразила меня так, что я не мог сдержать слез. Мишка заметил и рассмеялся:

— Ты чего, Борька, плачешь? Смотри, и верно!.. Да ей уж знаешь сколько лет-то!.. Папка сказал: пора, зажилась...

Позади гроба с красными от слез глазами, шмыгая носом, стоял Толя, младший брат Мишки, — он был другой породы, в мать.

Кулюша и Мишкина бабка Феня ушли вовремя, чтобы не опоздать, чтобы не лежать незахороненными, не тревожа родных заботой, где взять гроб...

Папа загорелся новой идеей — поехать на Лену и пройти на лодке до Ледовитого океана. В этой экспедиции должен был уже участвовать я. К концу 1940 года замысел поездки на Лену принял настолько реальный характер, что куплен был материал для паруса. Продумывался маршрут и стоянки. Но уже в январе сорок первого отец перестал говорить об экспедиции. Даже мама удивилась:

— Что-то ты про Лену замолчал.

— Нет, в этом году я не поеду... Этот год надо пережить.

— А что такое?

— Не знаю, но что-то будет: либо голод, либо война.

С этого дня он начал делать продуктовые запасы.

Отец говорил, вернувшись со службы:

— Ты заметила, на бывшем участке Елизаветы Федоровны повалился забор? Очевидно, столбы не просмолили...

— Я когда иду мимо того места, отвожу глаза, — ответила мама.

— А я пошел через сад напрямик. Бассейн опять превратили в помойку, в оранжерею все стекла побиты — полное разорение! Кусты поломаны... Я понимаю: ну отобрали, так хоть использовали бы с толком! Нет. Очевидно, в том и состоит цель, чтоб все разорить, разрушить!

Жить, однако, даже этой относительно спокойной жизнью оставались считанные недели: война была у порога.

От Бабушки пришло письмо, она писала, что ее вызвали и объявили: «Вам назначен сто первый...»; это значит, что разрешается жить на сто первом километре от Ленинграда, скажем в Малой Вишере или Чудове. «Я должна выехать из Волочка? В какой срок?» — спросила Бабушка. «Ваше дело. Вам дали послабление; не хотите воспользоваться — как хотите».

Снова волнения. Решили: надо переезжать, очевидно, это еще одна ступень к Ленинграду. Остановились на Чудове, оно в ста двадцати километрах от нас — три часа езды на поезде. «Все-таки это сдвиг! Я в воскресенье могу утром поехать к Бабушке, а вечером вернуться назад», — говорила мама. Мы с папой поехали в Чудово, сняли для Бабушки комнату и перевезли ее из Вышнего Волочка.

В мае неожиданно пришло письмо от Нины, бывшей домработницы. Пугая русский и украинский, она писала, что мужа ее, лейтенанта, переводят на Север, и просила разрешения на время, пока он устроится — недели две-три, — пожить у нас с дочкой. Мама прочла письмо и положила его на стол, озабоченная. Зашедшей приятельнице говорила: «Не знаю, как быть... У Нины годовалая девочка, а Сережа работает по вечерам». Но, как я понял уже позднее, маму тревожило другое: появление Нины в нашей семье было фатально связано с несчастьем. Как ни странно, но позднейшие события вновь подтвердили это! Вообще мама была суеверна, эта черта передалась ей от покойной Кулюши. В то же время Нина была очень честный и преданный нашей семье человек. Вопрос о ее приезде был решен в тот же вечер.

Отсчет последним мирным дням начался.

Однажды вернувшись вечером, в начале июня, отец сказал маме: «Аидочка, ты не возражаешь, если у нас поживет Лелин Шурик?». «Господи, конечно! Боре будет только веселей. Мальчишки ладят».

Шурик был сыном старшей сестры отца, Ольги Борисовны, по мужу Гинсбург; мальчик на год моложе меня, очень развитой, городской мальчик. Внешне он, кажется, больше походил на отца, Александра Наумовича, но глаголинский характер и неумение контактировать были свойственны и ему: у него тоже были сложности в классе. Однажды случилось — мальчишки столкнули его в Фонтанку на

хрупкий лед, он едва не утонул, спасли прохожие. Он был математик и отлично решал задачки по алгебре, которые мне были не под силу.

И вот в воскресенье мы сидим у нас в столовой и пьем чай с торгом, который привезла Ольга Борисовна. Она по обычной своей привычке отвлеченно смотрит на кого-то, будто изучая, долго смотрит на меня.

— Аида, он все-таки в вас, и чем старше становится, тем это заметнее.

— Верх лица мой, а подбородок типично глаголинский. Взгляните в профиль.

— Да, представьте... И у Шурика моего нос и лоб отцовские. Он, к сожалению, уезжает на днях в Алма-Ату, везет труппу...

— Александр Наумович уезжает? Надолго? — спросил отец.

— Практически на все лето. Предстоят гастроли...

— Алма-Ата, горы — это прекрасно! А чего ж тебе с Шуриком не поехать с ним? — спросил отец.

Ольга Борисовна улыбнулась очаровательной беззащитной улыбкой.

В тот вечер я случайно услышал, как мама сказала отцу: «Ты напрасно заговорил об Алма-Ате, только расстроил Олю». Ответа отца я не слышал: мне было внушено, что подслушивать дурно, но я успел понять, о чем речь. Позднее стал свидетелем семейной трагедии.

Настали неповторимые дни. Мы с Шуриком катались на велосипеде, ходили купаться на озеро. Я вижу большой пляж на берегу первого озера. Он усеян телами загорающих довоенных ленинградцев; тела эти скоро лягут навечно у Пулковских высот, под Лиговом или будут свезены на Пискаревское кладбище. Но пока, ни о чем не ведая, люди загорают в Озерках, бегут смотреть на очередного утопленника, без которого не обходится ни один летний день, жуют бутерброды, стоят в очереди за пивом, слушают привезенные с собой патефоны.

— Сережа! Сережа! Проснись, послушай, что рассказывает Боря...

Отец ездил в эту ночь на Финский залив на рыбную ловлю. Мы с мамой входим в полутемную от задернутых занавесок комнату, где спит он. Утро 22 июня. Я только что вернулся из нашего сосновского магазина, куда меня послали за булкой к завтраку. Обычно пустой магазин сегодня был до отказа забит поселковым народом, очередь за крупой и сахаром. Всклипывания, тревожный говор: «Немцы... Война... Бомбили...» Из-за прилавка же продавщица громко говорила в толпу:

— Граждане, не поддавайтесь панике!.. У меня наряжена машина возить с базы продукты. Уже завезено на три месяца вперед. И никаких ограничений: мы и раньше отпускали не больше килограмма в одни руки.

На мгновение говор стихает, и снова...

Возвращаясь домой, я все еще не уверен, что это серьезно, что, выслушав меня, папа скажет: «Глупости все это!.. Сплетни». Но нет. Отец внимательно выслушивает меня, приподнявшись на постели, говорит:

— Аидочка, это ужасно... Война — это кровь миллионов людей!

И я впервые вижу на его глазах слезы.

Время, которое, казалось, тянулось так медленно, вдруг развернулось, как отпущенная кем-то сильная пружина, и замелькали события, новости, слухи, сообщения.

Объявили всеобщую мобилизацию.

У подъездов домов появились дежурные с противогазами.

Маму отзывают с ее работы в военкомат — членом медкомиссии как хирурга. Она уходит в восемь утра и возвращается в десятом часу вечера и позже. Введен комендантский час.

В первые же дни к отцу заезжают его приятели, среди которых инженер Николай Иванович Юшков — он появился совсем недавно и купил у отца нашу «эмку». Быстро сдружился с отцом и ездил с ним на рыбалку.

Юшков (не видя меня, тихо отцу): «Сергей Борисович, я знаю их мощь: через месяц... нет, через три недели они промаршируют по Невскому... Надо бежать! Немедленно».

Отец (заметив меня): «Боря? Никому ни слова».

Андрей Лукницкий (товарищ отца по Кадетскому корпусу): «Не понимаю его стратегии. С севера, через Финляндию, было б естественней. Впрочем...»

Мама: «Представляешь? Огромный патриотизм!.. Я одного забракковала — дефект позвоночника, — так он прямо молил: „Пустите, доктор! Я должен идти на фронт!“».

Пликаис (скулыгтор, член ВКП(б), веселый и шалый): «А чего — повоюем! Сергей, как ты считаешь: будет голод?»

Отец: «Будет. Но я свою семью обеспечил».

Отец, конечно, не представлял себе масштабов будущего голода.

Нина (она у нас, об отъезде нет и речи, и родители довольны, что я не один): — Сергей Борысыч! А як же с волком? За крупой — очередь, дают кило в одни руки... А ей да Гарьке полкило овсянки в день дай — где брать?

Отец:

— Это проблема. Придется отдать Катюку в зоосад. Гарька — старая собака, жаль...

Но этих проблем он решить не успел.

30 июня в десять вечера отец зовет меня в свою комнату. Я вижу принесенный из сарая зеленый ящик кубической формы, внутри он обит фанерой. Этот ящик, небольшой, но емкий, отец брал с собой в экспедицию. Сейчас он укладывает в него пакеты с рафинадом и крупой, которые припас еще с зимы, и говорит:

— Пока не ложись. Чуть позже, как стемнеет, пойдем за сарай. Я закопаю этот ящик с продуктами в землю, а ты запомнишь точное место — где. Меня не будет, мамы, вероятно, тоже не будет. Откопаешь ящик, если голод придет. Но только в самом крайнем случае! Когда уж совсем станет нечего есть... И — никому ни слова. Мама, естественно, знает, но что и где — это ты. Ты уже взрослый. — Он внимательно смотрит на меня и добавляет: — А курить не надо! Даже пробовать.

И я чувствую, как кровь приливает к лицу. Я не курю, но — пробовал. И хорошо, что отец отвел взгляд. А может, он нарочно отвел?

Ближе к полуночи идем за сарай. Это самый укромный угол двора. С одной стороны стена длинного сарая, а от него метрах в двух параллельно — плотный забор между нашим и соседним участком. Получается коридор в бурьяне. Отец начинает копать.

— Ты встань у сарая с той стороны и, если кто-то покажется из посторонних, крикни: «Катя, Катя!» — будто зовешь волчицу.

Но никто не является. Отец зовет меня и показывает место, где закопан зеленый ящик. Мы идем к дому. Хлопает калитка, наверное — мама. Мы идем ей навстречу... Да, это мама, но не одна: с ней Алла, высокая молодая женщина из дома напротив. Мама пропускает соседку вперед, и они скрываются в комнате, дверь плотно прикрыта. Очень скоро выходит Алла и почти бежит через кухню. За ней мама, взволнованная. Закуривает...

— Представляешь, она мне сейчас предложила взятку! Я так растерялась, что не вдруг отреагировала. Говорю: «Уходите».

— Взятку — за что? — спросил папа.

— Чтобы я признала ее мужа непригодным к службе. Сует какие-то справки и деньги... А может, это провокация и о н и проверяют, не возьму ли я? Тем более кто-то стоял у калитки.

— Разве не муж ее? — спросил отец.

— Нет, не муж... Мужа я знаю.

— Странно... А что, много таких, кто пытается симулировать?

— Есть, конечно... — Мама грустно улыбнулась. — Главным образом средний возраст...

Уже за полночь, меня тянет ко сну.

— Ступай, Борюшка, у тебя глаза закрываются, — говорит мама.

Но я продолжаю сидеть, прежние нормы послушания уже не действуют, наступило д р у г о е время.

— А наши орденосцы обходят фабком стороной, — говорит отец.

— Почему? — спрашивает мама.

— Там идет запись в ополчение. Пожалуй, я завтра и запишусь.

— По приказу твой год еще не призван, — говорит мама.

Окончание разговора я слышу уже в постели.

— Нет, Аида, это надолго. В лучшем случае. А в худшем?.. Судя по темпам их продвижения, они скоро будут здесь и... промаршируют по Невскому, как выразился Юшков.

— Да, но вот именно поэтому... — голос мамы; но отец перебивает ее:

— Поэтому я и иду. Хотя... мне не с чем идти. За что?

— Но, по-моему, это понятно! — голос мамы.

И до войны, и особенно в начале войны мама была настроена очень патриотично. И даже после войны. Лишь в конце 60-х, в 70-е годы она часто повторяла: «Боже мой, как прав был покойный Сережа. А я спорила, доказывала... Теперь я спрашиваю: за что? Всюду обман, ложь...»

— В том и трагедия, что я пойду сражаться за родину, но объективно буду защищать и х беззаконие и произвол.

— Но ведь родина — одна.

— Это все так. Я не ставил картин о революции и — пойду. А те, кто прославлял революцию и получал за то ордена, уже нацелились на Алма-Ату.

— И все-таки подъем ощущается, он есть... Молодежь почти вся — на фронт, на фронт!.. Забракуешь по здоровью — «доктор, пустите!».

— Это — Россия! У нас из Кадетского корпуса бежали на фронт целыми группами...

Я уснул.

...Проснулся в тот момент, когда меня целовал отец. Он стоял над моей кроватью в черном драповом пальто, которое надевал лишь поздней осенью, и улыбался своей редкой особой, загадочной улыбкой. Он очень редко целовал меня, лишь перед дальним отъездом. И все это вместе: поцелуй, улыбка и пальто не ко времени — подействовали на меня как удар тока. Отец сказал:

— Не плачь.

Это поразило меня еще больше.

— Я не плачу... Почему ты так говоришь?

— Но ты плакал как-то вчера или позавчера...

— Я не плакал!..

Отец уже стоял в дверях и улыбался все той же улыбкой. Потом он прошел через свою комнату и вышел в переднюю, но вышел не один, с ним еще кто-то, и тоже не один, а несколько человек. Затем отворилась и затворилась кухонная дверь, ведущая на крыльцо. Я вскочил и подбежал к окну. По саду к калитке шли четверо: впереди — отец в черном пальто, с небольшим чемоданчиком в руках; за ним трое в штатском, один из них нес охотничье ружье отца. Они подошли к стоящей на улице черной «эмке», отец и двое сели сзади, третий — рядом с шофером, и машина тотчас поехала к шоссе. Было семь часов утра.

В комнату вошла мама. Смуглое лицо ее было серым. Она внимательно оглядела меня, видимо стараясь понять, догадываюсь ли я о том, что случилось. И — поняла.

— Так, за здорово живешь, явиться забрать человека — за что? Господи, вся жизнь на глазах! И в такое время! Ведь он собирался идти в ополчение...

— Они ничего не сказали?

— Не знаю. Что-то показали ему, вероятно ордер на арест. А главное, я связана с утра до ночи работой в военкомате и не могу даже начать хлопоты, выяснить хоть что-то... Где содержится?!

— А если я поеду?

— Нет, это абсолютно отпадает. С тобой вообще не станут говорить.

— Когда они приехали?

— Около четырех утра. Был обыск, но очень поверхностный. Заходили и сюда, где ты спишь... Старший сказал: «Не разбудите мальчика». Вели себя корректно, но...

Мама присела, закурила и сказала:

— Так... Надо сообразить, что делать сейчас. Я иду к Эрлихам — у них телефон — и звоню адвокату Киселеву, договариваюсь с ним о встрече днем... Попытаюсь встретиться с ним в обеденный перерыв. Что еще можно сделать?

— А тете Леле сообщить?

— Правильно. Она умная женщина и сможет что-то посоветовать. Ты ей позвони из автомата и просто скажи, что я прошу приехать в ближайшее воскре-

сень, — мы работаем до двух. Об аресте не говори. Спросит об отце — скажи, заболел. Все. Я пошла.

Мама быстро спустилась вниз к Эрлихам. Я — на кухню. Нина молча и сочувственно взглянула на меня. Отца мне было жалко, но серьезной тревоги не было. Я вспомнил, как братья отца — дядя Алеша и дядя Лева — всегда говорили: «Сергей ни в огне не горит, ни в воде не тонет», «Сергей найдет выход из любого положения». Наконец — «Сергею всегда везет...». К началу войны отцу было всего тридцать восемь лет и он уже многое успел... Маме же было тридцать четыре, и она считалась одной из самых красивых женщин в городе.

Ольга Борисовна нервно ходила по комнате и повторяла:

— Бедные вы мои! Бедные вы мои!

Нашему адвокату Киселеву удалось выяснить, что партия, в которой находится отец, направляется в Златоуст. Но он же сказал, что сейчас, до окончания войны, всякие хлопоты бессмысленны.

— Аида, а вы не можете поехать в Златоуст? Все-таки быть где-то рядом. Передачи и прочее...

— Оля, я мобилизована! И как только схлынет основная волна, меня направят в армию. На меня из горвоенкомата уже пришел запрос: военные врачи идут через горвоенкомат.

— Да, да, я понимаю, врач на войне — все!

Ольга Борисовна молча ходила по комнате, потом сказала, будто ее осенило:

— Я предлагаю сейчас же послать телеграмму Сталину. Да, именно ему! Такую примерно: Сережа... ну, естественно, фамилия... Сережа вырос в старинной русской дворянской семье. Получил патриотическое воспитание в Кадетском корпусе — там прививали любовь к России... Он не мог стать предателем, изменником — исключено! И эту телеграмму подпишем мы все, включая Леву... Он мобилизован, но еще в городе.

Мама на мгновение задумалась.

— По-моему, это наивно, Оля... Сталину сейчас не до писем и телеграмм, попадет в те же органы. А там вспомнят, что ваш с Сережей отец в Америке...

— Там особый случай! У нашего отца, Бориса Сергеевича, характерец не из легких. Вы знаете, что он даже с Горьким поссорился, хотя в молодости они были дружны...

— Это совсем другое, Оля, не стоит и вспоминать. Нет, это все не то. Я попробую захватить на киностудию: неужели их не интересует судьба человека, который проработал у них двадцать лет?!

— А вот здесь я вам скажу — нет. Им сейчас ни до чего. Студия эвакуируется, там сейчас паника... Мне рассказывали, что один режиссер, требуя срочной эвакуации, заявил: «Меня немцы повесят в первую очередь, я ставил фильмы о революции».

— Вот за одно это следовало б судить, — резко сказала мама. — Паникеры!.. И еще мужчина! Поэтому мы и отступаем...

— Аида, но ведь немцы очень близко...

— Знаю. А что вы решили, Оля?

— Наш театр эвакуируется. Но я не еду.

— Почему?

— Я не могу бросить квартиру... Саше я телеграфировала в Алма-Ату. Он ответил: воздержись до выяснения.

— До какого выяснения? — Мама особенно жестко произнесла слово «выяснение».

— Но должно же что-то проясниться...

Мама с сомнением покачала головой.

— А Шурик?

— Вот его я хочу отправить с нашим театром. Я уже говорила с администрацией — пожалуйста, хоть двоих! Хотите, я отправлю с Шуриком Борю? Здесь возможны бомбежки...

Тут вмешался я и заявил, что никуда не поеду.

— У нас иная ситуация, — сказала мама. — Потом, в такое время лучше не разлучаться. И вам нужно ехать вместе с театром, вместе с сыном. Введены нормы: что вы будете делать с иждивенческой карточкой?

— Подожду телеграммы или письма от Александра Наумовича...

Шурик уехал с театром, а Ольга Борисовна осталась беречь квартиру. Ее отправили рыть окопы где-то под Стрельней.

В марте сорок второго она умерла от голода.

Утром мама сказала мне:

— Пожадуйста, встретить меня сегодня на остановке трамвая у Скобелевского вечером, в полдесятого, если не будет тревоги.

— Поеду на велосипеде.

— Все равно. Я не хочу идти одна. Меня буквально ловят у остановки. Знакомые и незнакомые. И просят за своих сыновей, мужей... А я не имею права.

— Как это?

— Ну, мы, комиссия, решаем: годен — не годен, годен к нестройной, ограниченно годен... Сидим в одном кабинете и вместе решаем. А односторонне выслушивать жалобы не положено. Понял? И осторожнее на велосипеде, не выезжай на шоссе. И далеко не заплывай на озере! Чтоб я хоть за тебя была бы спокойна.

И я встречал маму на остановке недели две подряд, пока ее не отозвали из комиссии в распоряжение городского военкомата. И там произошло то, о чем мама рассказывала как о чуде. Она получила назначение в дивизию, оборонявшую Красное Село, под Ленинградом. Там шли тяжелые бои.

— Получаю назначение, выхожу в коридор, — рассказывала потом мама, — у меня одно в голове — как предупредить Борю, он на другом конце города, а главное, что будет с ним, если немцы возьмут город... Такие слухи ходили. Крутом военные. Я докуриваю папиросу, и до меня наконец доходит: я — мобилизована, надо ехать под Красное, выполнять приказ. И вдруг двери кабинета, из которого я вышла с назначением в дивизию, открываются, выскакивает подполковник, увидел меня — схватился за голову: «Вы еще здесь?! Какое счастье, что вы не ушли... Давайте назад свое предписание! Организуется новый госпиталь — там ни одного хирурга, а ночью поступает уже первая партия раненых. Направляем вас туда, вы там нужней...» Я спросила, где госпиталь. «На Выборгской стороне, в Политехническом институте. Езжайте прямо туда...»

Политехнический институт в пяти километрах от нашего дома, по ту сторону Сосновки.

Утром впервые она надела военную форму — гимнастерку со шпалой в петлице: военврач 3-го ранга, что соответствовало званию капитана. Уходя предупредила, что, если поступят раненые, ночевать не придет.

Днем мы с ребятами ходили на озеро купаться. Когда я вернулся, волчица Катька лежала без движения, с пеной на зубах. Я побежал к Нине. «Можга, заболела», — сказала она. К вечеру Катька сдохла. Конечно, ее отравили, — а что было делать? Я не мог взять ее в зоосад. Но в точности кто отравил, я не знаю до сих пор. И дознаваться охоты не было.

Теперь мама жила в госпитале. Изредка забегала домой и приносила свой паек.

— Вчера у меня была беседа с нашим особистом, — сообщила она.

Я понимал, что это означает, и насторожился:

— О папе?

— Странно, но об этом он как раз не спросил. Возможно, проверял... Я сама сказала ему об этом — все равно б выяснилось.

— И что он?

— Ничего не сказал, но я поняла, что ему все известно. Сказал: «Работайте спокойно. Я пригласил вас, чтоб познакомиться, вы возглавляете крупное подразделение». Господи, я впервые услышала от них человеческие слова — и в такое время! Какой тут покой, когда бои уже у Пулкова!..

— Как?

— Так. Но об этом никому ни слова. Я-то знаю, откуда поступают раненые... Далеко от дома не уходи, слышишь? Все может случиться...

— Немцы могут взять Ленинград?

— Надеюсь, нет. Не дай Бог! Но все может быть... Тогда мы должны быть рядом и уйдем вместе с армией.

— А куда, мама? Город окружен.

— Очевидно, в леса... На восток. Потому и предупреждаю тебя: я могу в любой момент захватить за тобой на госпитальной машине. Всегда говори Нине, где ты находишься!

...В раннем-раннем детстве, когда я еще учился в немецкой школе — я уж не помню, сколько раз, — повторялся эпизод, который запал мне в память. Идет урок пения — он всегда бывал последним уроком... Наша учительница Эмилия Ивановна разучивает с нами новую песню на немецком языке с часто повторяющимся словом *Der Rotarmeister* («красноармеец»). Мотив нудный, а за окном май, солнце — так тянет на улицу! Эмилия Ивановна с энтузиазмом энергично бьет и бьет по клавишам и поет от всей души, и голос ее даже дрожит от волнения, а мы заунывно подтягиваем. Закроешь глаза и мысленно представляешь себе, что ты уже дома и Бабушка еще не уехала на прием... Но новый энергичный удар по клавишам: «*Der Rotarmeister!*»

Добрая Эмилия Ивановна в 1936 году вместе со своей директрисой сгинула в ГУЛАГе.

А сейчас в паре с Гопией Куликовым я обхожу этажи в своей 118-й школе, что на углу улицы Рашетовой и проспекта Энгельса. Старшие классы отправили на рытье окопов еще в конце июля. 1 сентября занятия не начались, а нас, семиклассников, вместе с учительницей назначали дежурить по школе — ночью.

Пустые, темные классы. Кто здесь будет прятаться и — зачем? Обойдя этажи, поднимаемся на крышу. Здесь не страшно, у карнизов решетки. В темнеющем небе видны змейковые аэростаты — слабая преграда немецкой авиации. Кругом ни полоски света, город затемнен. Вдали смутные очертания городских зданий.

— Гляди-ка, зенитки бьют! — вскричал Куликов.

Высоко над городом мелькали огни от разрывов зенитных снарядов.

«А почему не объявляют воздушной тревоги?» — подумал я. Но уже через минуту завывли сирены. До нас доносятся хлопки разрывов, потом глухие сильные взрывы: бомбежка идет где-то в центре города, а мы на северной окраине его. В наш зеленый район самолеты не пошли. Наиболее интересными объектами, близкими к нам, были заводы «Светлана» и имени Энгельса — всего в трех остановках трамвая. Позже немцы добрались и до них.

Мы спокойно отдежурили, около двух пополуночи мирно улеглись на диване в канцелярии, проспали до утра, а когда рассвело, отправились по домам.

В эту ночь — на 8 сентября — произошли два самых трагических для Ленинграда события: немцы взяли Шлиссельбург, замкнув таким образом кольцо вокруг города, теперь выехать из Ленинграда на Большую землю можно было лишь через Ладожское озеро; в эту же ночь вражеская авиация подожгла знаменитые Бадаевские склады, где были сосредоточены основные продовольственные запасы города.

В первые месяцы войны власти не бездействовали, но делали все не то: арестовали, выслали из города десятки тысяч боеспособных людей, то есть тех, кто был репрессирован; эвакуировали школьников, но — куда! Под Лугу, как раз навстречу наступающим немцам! А потом под бомбежкой обезумевшие родители искали своих детей, чтоб вернуть обратно. Понастроили бесчисленное количество амбразур внутри города, как будто они в чем-то могли помочь, если б немец взял город. Глупостей наделать успели, а необходимое: развести запасы продовольствия по разным районам, рассредоточить его — не успели. А время было!..

Бомбежки и обстрелы начались ранней осенью. К нам в сад пригнали человек пятьдесят женщин, и они под командой воентехника рыли окопы. Работали быстро и четко, просили попить, и я с кружкой бежал из кухни к ним. Выкопав окопы с брутством и командной землянкой, ушли.

Скоро стали приезжать из центра города знакомые, родственники в надежде обменять вещи на продукты. Но вещи никто не брал. Это позже налачился обмен, но и тогда брали только спирт и золото.

Ночью к нам в дом приходили проверять, нет ли посторонних, и участковый велел мне заколотить окно на крыше, ведущее на чердак. «Не ровен час, кто-нибудь там укроется и станет работать...» «Как — работать?» — не понял я. «Что, маленький, не знаешь, как работают диверсанты?»

Во время разгула шпиономании ловили всех, кто вызывал подозрение; в Стандартном поселке схватили полковника только потому, что он шел пешком: «Полковникам машина положена...»

Приезжал Шура Пликаис. Расспрашивал о продуктах: мол, отец ему говорил про запасы... Дважды я смолчал. А в третий раз он приехал и говорит: «Нехорошо, Борис, твой отец всем делился со мной... Вот сейчас и есть крайнее время! А прорвут блокаду — кому нужен будет твой сахар?» Это было в конце сентября, когда слово «дистрофия» еще не знали. «За сараем закопано?» — спросил он. Я кивнул, но не стал показывать где. Так он с ломом пошел и нащупал. Правда, половину отдал нам. Когда я рассказал об этом маме (она уже была в госпитале), она вздохнула: «Что-что, а друзей отец выбирать не умел».

Началась б л о к а д а. Госпиталь в Политехническом институте с его стенами двухметровой толщины стал для меня островком спасения. Эти стены выдержали удар полутонной бомбы, угодившей в северный подъезд; вестибюль пострадал, в здании вылетели рамы со стеклами, но само здание устояло. А мама вывела меня из вестибюля за несколько секунд до того, как бомба разорвалась, — часового у входа разнесло в клочья. После этой ночи с 6 на 7 ноября 1941 года центральное отопление и электричество больше не работали, и госпиталь погрузился во тьму и холод, но продолжал функционировать, принимая в свои корпуса по две тысячи раненых... Десять отделений. В каждом — по двести и более человек. Мама была начальником 1-го хирургического. Она одна хирург с семилетним стажем, и под ее началом пять выпускниц медвуза. Ну и сестры, и двести пятьдесят тяжелораненых. В аудиториях, превращенных в палаты, ставили печки-буржуйки из листового железа. Но и их не хватало, а морозы стояли за тридцать градусов. Питание у военнослужащих и раненых было немного лучше, чем у гражданских, но у многих военных, как я у своей матери, оставались в городе дети, матери, старики... Я выжил лишь благодаря материнской помощи: ходил с котелком в столовую и приносил баланду в первый профессорский корпус, опустевшие квартиры которого были отданы начсоставу. Мама, конечно, пихала мне в рот еду... я слабо противился: «Нет, ты ешь». «Я уже ела. Ну пожалуйста!» Господи, эти блокадные слова у меня в памяти! И они остались на всю жизнь, как и привычки.

Между мной и матерью была духовная близость, возможная лишь в то тяжкое время. Помню ранние зимние закаты, когда идешь в госпиталь по бесконечному пятикилометровому Старопарголовскому проспекту, помню опасный участок этого маршрута — мимо тылов заводов Энгельса и «Светлана», которые немцы постоянно обстреливали. И на этом пути непременно встретишь трупы, еще не занесенные снегом. И вот уже в сгущающейся тьме вздымаются очертания главного корпуса, где мамино отделение и где на третьем этаже, по слухам, располагается командование — начальник госпиталя и комиссар... То были таинственные люди, которых никто не видел, и чем они занимались — неизвестно. В столовой не бывали — еду им носили на дом. В палаты не заглядывали. Да и опасно было показаться в палате, где лежат до тридцати человек с ранениями разной степени тяжести. Дымно — буржуйки, наскоро сварганенные, дымят; холодно и голод. И два-три трупа лежат не вынесенные тут же. После того как парторга госпиталя побили костылями, никто уже из начальства в палаты не показывался. И дело с избиением парторга замаяли, под пятьдесят восьмую не подвели. А может, потом и подвели, кто знает...

Даже вынести покойника и отнести его в морг, расположенный в соседнем корпусе и уже забитый до отказа, была проблема. Санитары и санитарки — все вольнонаемные, они жили на карточки, пайка не получали... Так их потом и не стало вовсе. Большинство перемерло. Оставалась охрана из нестроевых солдат, их просят... Приказы уже не действовали.

И в то же время в этом же ЭГ-11/16 на виду у всех гуляла компания во главе с начальником продовольственного отдела. И хорошо гуляла! Устраивала ночные попойки с танцами под патефон, приглашали хорошеньких медсестер, и те потом хвастали подругам: допущены, сыты! И пьяны! Так чего ж удивляться? Вся эта сытая компания ходила открыто, не стесняясь. И было с кого снимать навар: две с половиной тысячи ртов вместе с медперсоналом. Однажды не выдали недельную пайку сахара. Начпрод объясняет: мешок песка растаял — вода прорвалась. «То-

варищи, мы потом компенсируем!» И ничем не компенсировали. И обвешивали, и недоливали, и разбавляли и без того жидкую баланду. Это при том, что на кухне ежедневно дежурили политруки отделений и инструкторы политотдела! Но каждый политрук ждал своей очереди подежурить, попользоваться. И не было офицеров, которые бы гордились, что питаются из солдатского котла. Какое это было по счету избиение России?

Начпрод был фигура, красивый тридцатипятилетний мужчина в osobистском кожаном военном пальто, с португеей и револьвером. Он ходил сияя и ничуть не стесняясь ни своего сытого вида, ни слухов об устраиваемых им пирушках. В январе 1942 года, когда врачи падали у операционных столов, санитарное управление фронта выделило на госпиталь пять дополнительных пайков, они так и назывались — хирургические. В числе пяти ведущих хирургов была и мама. Но никто из хирургов пайка так и не получил, а диетсестра разъяснила: «Зачем вам, товарищи, возиться с продуктами? Мы их вложим в ваше питание! Вы видите масляное пятно в супе, это — жиры, доппаек!» Начпродовская публика понимала: эти пять человек никуда не пойдут жаловаться. Сестра-хозяйка в мамином отделении пыталась мне сунуть порцию каши, может быть, и не ворованную, а оставшуюся от покойника. «Нет, от нее нельзя брать, — сказала мама. — Тогда я не смогу спросить с нее».

Молодая женщина, политрук отделения, в дни своего дежурства по пищеблоку отдавала мне свою талонную книжку и, улыбаясь, говорила: «Шоб я этим хапугам давала талоны! Обойдутся, и так обязаны накормить».

И вдруг по госпиталю прошел слух: комиссар вызвал начпрода и отобрал у него пистолет. Больше начпрода никто не видел. Собрав командный состав, комиссар объявил, что допущен серьезный просчет (чей?!) и на руководящей командной должности начальника продовольственного отдела оказался случайный человек, к тому же вольнонаемный! Выяснилось: начпрод подал заявление об уходе по собственному желанию — и исчез. Еще позже выяснилось: улетел на Большую землю, прихватив золото.

«Почему я должна сделать вывод из того, что они проглядели мерзавца? Я чего-то не понимаю тут», — удивлялась доктор Фарфаровская, начальник соседнего с маминим отделения. «А вы думаете, я понимаю?» — отвечала мама.

Не понимали, потому что все еще наивно верили... И все то блокадное время озарено надеждой: вот-вот прорвут блокаду или союзники откроют второй фронт. И если исключить воровскую банду начпрода, отношения между людьми были человеческими, гораздо человечнее, чем сейчас. И поэтому, наверное, я порой с тоской вспоминаю то время — и в душе крик: «Пустите назад, в блокаду! Я снова готов совершать пятикилометровые марши по Старопарголовскому проспекту, видеть кровавые закаты, падать на снег при свисте снаряда и надеяться, надеяться!.. И главное, быть с мамой!»

А сейчас у меня в земной жизни никаких надежд нет. Надежда лишь, что сбудутся вещи слова: «И паки грядущего со славою судити живым и мертвым. Его же царствию не будет конца».

В памяти встают и другие картины. Зимний день. Раненые из выздоравливающих собираются группой — идти ломать заборы на дрова для печурки. Идут лишь с разрешения начальников отделений — медперсонал раненые признавали и подчинялись беспрекословно, да и политруков признавали, хотя, случалось, и гнали из палаты: «Пошел ты со своей политинформацией!.. Сестру зови, санитарку зови!.. Судно подай!» — но это уже безногие инвалиды, доведенные до отчаяния. Когда кто-то из персонала ходит в палату, из разных концов несетя: «Сестричка, кто там! Судно, утку и попить!» Эти слова мольбы «судно, утку и попить!» стоят в ушах до сих пор...

Существовал мрачный блокадный юмор. Рассказывают... Утро. Начальники отделений сходятся у начальника госпиталя или начмеда на обычную пятиминутку. Докладывает дежурный врач: «За время моего дежурства никаких происшествий не наблюдалось. Констатирована смерть тридцати тяжелораненых. На седьмом отделении обнаружен труп санитарки. Санузлы заледенели».

Обед... Ходячие выстраиваются с котелками у буфетной, а лежачим по палатам обед разносят буфетчица Тамара и выздоравливающие. Тут уж все — тишина, разговоры смолкают. Кто-то достает из тумбочки остаток утренней пайки хлеба; стучат ложки о котелки, о железные миски, доедают, доскребывают. У кровати бойца-ленинградца то жена, то мать. Он им что-то из пайки отложил, а они ему

из дома принесли, иногда талонной водочки, это не запрещали. И — разговоры, планы, надежды.

У кого ампутирована нога или рука, того на демобилизацию. А что на гражданке?.. В госпитале какое ни есть, а трехразовое питание. Лучше б здесь задержаться. Но только рана зарубцевалась — на выписку. Поступают обмороженные, лежат в коридорах, на каждом совещании врачей накачивают: «На выписку! На выписку!» Ускорять движение больных! Это усиливает боеспособность армии.

Вот так...

Уважаемая Аида Петровна!

Поздравляю Вас с Международным женским днем!

Желаю Вам и Вашей семье всего наилучшего в Вашей жизни, работе.

Желаю хорошего здоровья и счастья.

Бывший тяжелораненый, которого Вы лечили в госпитале, расположенном в Политехническом институте в 1941 — 1942 гг.,

Лапковский М. 7/III 1966 год.

Эта открытка попалась мне под руку в 90-е годы, когда я разбирал старые бумаги. Но фамилию эту я помню и, кажется, смутно — облик. Это был очень тяжелый больной: оскольчатое ранение груди и живота...

В мамином отделении старшей сестрой была Анна Ивановна Попова, с которой мама очень сдружилась. Анна Ивановна была классическая старшая сестра, лет за сорок, которую беспрекословно слушались девочки-сестры. Очень порядочный человек. Контролируя отделенческий пищеблок, сама в феврале свалилась с дистрофией. У нее был муж, член ВКП(б) с дореволюционным стажем. Его не обошел тридцать седьмой год. В годы революции он был в плену у Колчака. Удалось бежать. НКВД доискивался, каким же образом ему удалось бежать из контрразведки Колчака. Обвиняли в том, что он был выпущен со шпионским заданием. Алексей Яковлевич Попов был из крепких сибирских людей и выдержал допросы, не подписав ничего. В 1939 году его освободили и восстановили в партии. Он вышел с подорванным здоровьем. В 1940 году у него обнаружили рак легкого, дали пенсию и отправили на инвалидность. У него, человека пожилого, опухоль развивалась медленно. В первые дни войны он пошел добровольцем, его назначили комиссаром крупного соединения на Ленфронте. Мы все ждали его приезда. Комиссар! Все может. Он придет, и все перевернется.

И он приехал — усталый человек в морском кителе. Никакого мешка с продуктами, как мы ожидали, он не привез, а лишь свой суточный паек. Анна Ивановна всплеснула руками:

— Алеха, а мы-то думали! Ты ж большой начальник...

— Ну так у меня тоже паек. Фронтовой, чуть больше вашего... Где ж брать?

— А что, твой начпрод не ворует?

— Воровал. Я его отправил под трибунал. И нынешнего предупредил.

В блокаду раковая опухоль Алексея Яковлевича остановилась, и он служил до сорок третьего, а после прорыва блокады — слег и умер.

Наверное, в марте, когда стало полегче, мама сказала, что берет увольнительную, чтоб побывать на «Ленфильме» — может, там что-то знают об отце. По утрам из госпиталя уходила грузовая машина за продуктами, на ней мама и уехала в город. Вернулась расстроенная:

— Как пусто. Те же переходы, те же коридоры, думаешь: вот покажется Сережа, как бывало. Никого! Нашла дежурную... работник отдела кадров. «Вы жена режиссера Глаголина?! И в армии?!» — «Я же врач». — «А мы думали, он арестован из-за вас». — «Господи, почему же из-за меня?» — «Но мы же знали, что Глаголин женат на дочери лейб-медика и монархиста Бадмаева». Я спросила, почему они не поинтересовались, за что арестован человек, проработавший у них почти двадцать лет. Она лишь развела руками. Больше мне ничего не удалось узнать. Директор был в Смольном. К тому же это новый на студии человек. А кроме вахтера, больше никого там нет... Пустота, пустота!..

В самое суровое время — декабрь, январь — я жил при госпитале у матери, но ходил домой на Рашетову: там в домоуправлении ежемесячно давали продук-

товые карточки, там я был прикреплен к магазину, отоваривавшему карточки. Хлеб можно было брать в любом магазине, а крупу, масло растительное давали лишь там, где прикреплен.

В один из приходов я и обменял часы «Мозер» на муку и картошку. Вернулся, сел на кровать в кухне, привычным жестом сунул руку под подушку, куда прятал бумажник. Бумажника не было. Я испугался. В этом большом бумажнике были самые ценные вещи: хлебные карточки, деньги (больше тысячи рублей), папино обручальное кольцо, которое он снял с руки и оставил дома, когда его уводили, мои метрики и, наконец, медный короткий карандашик — запал от гранаты РГД, который я очень берег, ибо без него спрятанная в подвале граната была ничто. И носил я запал с собой в бумажнике, когда шел в госпиталь.

— Нина, — сдержанно проговорил я, — ты не видела? Нету!

Она стала божиться, что не брала, и даже перекрестилась, будто я и так не был уверен в этом. Потом спросила:

— А може, ты где оставил, потерял?

— Нет. Это точно. Положил и оставил здесь, как шел менять... Никто не заходил?

— Был. Твой Мишка... Так он постоял у дверей и ушел. С час будет. Если Мишка, откуда он знал, где бумажник?

— Это он знал.

— Боря! Он знал? Так он и вкрал. Я на минуту к Ляльке заглядывала. А ему и минуты не нужно...

— Значит, он.

Наверное, я, как и папа, не умел выбирать друзей. Но так сложилось: въехали Курочкины к нам во двор — и появился мой ровесник Мишка. Я знал, что Мишка может стащить... И специально показал ему бумажник. Я же рассчитывал на его благородство!

— Боря, — сказала Нина, — дело, конечно, твое, а хочешь вернуть бумажник, ступай сейчас, пока он не проел, не растратил... Ох той Мишка!..

Было около шести вечера, темно. Пошел к Мишке прямо через пустынное Лихочево поле. И вот знакомая хибара, темница, в передней на полу лед. Нашупал ручку двери. Комната слабо освещалась коптилкой. У окна на кушетке лежал Толя, младший брат Мишки. Увидев меня, он не улыбнулся, как прежде, не удивился. Я спросил, где Мишка.

— Кто его знает... Ушел.

— Давно?

— Недавно. Подожди, может, придет.

Я присел на стул. Говорить или не говорить Толе? Или подождать Мишку? Все ж братья, как ни скажи...

— Борис, кто у вас в хлебный ходит? — спросил Толя.

— Я. Когда Нина. А что?

— Вот скажи: может быть так, чтобы каждый раз норму давали без довеска?

Я сразу сообразил, о чем речь: Толя уже не вставал и в магазин выкупать хлеб ходил Мишка.

— Не бывает. Если бывает, то очень редко, когда продавщица отрежет тик в тик. Почти всегда с довеском.

— А Мишка каждый день без довеска несет мне мою норму. И говорит: «Так отрезали». Говорю: «Хоть не ври, скажи, что съел». Бросит карточку, скажет: «Сам ходи!» Знает, что не могу...

— Встаешь?

— Нет. Если только пописать. Вот прорвут блокаду, прорвут же ее... — наемся досыта и встану.

Не встанет уже. Хотя передо мной лежал не прежний маленький Толя: вдруг перед войной он пошел в рост и обогнал брата и всех нас... Стыдился — ходил в прежней одежде, из которой вырос.

«Вот прорвут блокаду...» А промерзлая, болотистая земля у пригородной деревни Пискаревка вела свой счет уже не на десятки, на сотни тысяч...

— Толя, Мишка взял у меня бумажник с деньгами и карточками.

— Он был у тебя сегодня?

— Был. Но меня дома не было.

С минуту он равнодушно молчал. Вдруг, как бывало прежде, когда он доказывал нам нашу мальчишескую неправоту в играх, Толя приподнялся на кровати и запальчиво проговорил:

— Он мне ничего не говорил, но входит — и я вижу, у него денег много. И что-то в шкафу спрятал. Я спросил: «Где взял?» «Нашел». Он и с мамкой чего-то говорил. Спроси ее, она сейчас в Башкирове в очереди, растительное объявили.

Я пошел в магазин и в очереди к прилавку тотчас увидел тетю Маню в старом коричневом пальто. Увидев меня, она вышла из очереди, и по лицу ее я понял, какого она ждет от меня вопроса.

— Тетя Маня, Мишка взял у меня деньги и карточки... В бумажнике!

Она взглянула на меня такими же, как у Толи, глазами и ответила:

— Вот что он принес домой и сказал, что нашел.

Она достала мой бумажник. Я осмотрел его, там были кольцо, триста рублей.

— А карточки?

— Это все, Боря, что я нашла у него.

— Там карточки были, деньги тысяча рублей, еще и такой медный карандаш...

— Я велю ему сегодня прийти к тебе. Дома будешь?

Она говорила усталым голосом и ей, видно, было не до возмущения. Я взял бумажник и пошел домой ждать Мишку. Заглянул в холодные комнаты. Здесь на окнах не было маскировки и потому светло от лунного света. Все было как до войны: и книжный шкаф, и рояль, и круглый стол посреди комнаты. Шаги в передней, скрипнула дверь. Вошла Нина.

— Боря, иди... Мишка пришел, плаче... Карточки принес.

В кухне у дверей, размазывая по черному лицу слезы, стоял Мишка. Вернул запал, карточки, четыреста пятьдесят рублей, а остальные, сказал, истратил на полбуханки хлеба.

Когда в один из весенних дней утром я шел с котелком из столовой в главный корпус, то, проходя мимо обычно тихого трехэтажного корпуса, морга, заметил какое-то оживление. Приблизившись, понял: солдаты выносят мерзлые тела покойников, скопившиеся за блокадную зиму. Дело было, видно, для этих солдат привычное: трупы не сгибались, их брали через плечо и клали штабелем на стоящую тут же полуторку. Все покойники были в одной форме — синие кальсоны и белые рубахи без воротничков. Отмучились... Да было бы за что! За мачеху родину, готовившую своим сынам новые послевоенные ГУЛАГи и голод?

Впрочем, к концу войны в Ленинграде в коммерческих магазинах уже было всё. Но когда в 45-м я оказался на Невском и зашел в Елисейевский, меня ошеломили цены...

Эпопея несчастного госпиталя 11/16, обкрадываемого, холодного, управляемого плохими начальниками и вопреки всему все-таки ставящего на ноги сотни и сотни раненых и возвращающего их в строй, ну или в «пятый» корпус, как называли морг (не было же ни пенициллина, ни антисептики)... — так вот, эпопея госпиталя окончилась летом 1942 года: это учреждение, как оказалось, одно из образцовых лечебных учреждений фронта, по просьбе большой группы фронтовиков, чьи семьи, не успев эвакуироваться, находились в бедственном положении, передали для гражданских лиц с тяжелой степенью дистрофии. Своих раненых 11/16-й отдал в другие госпитали, а в Политехнический стали поступать гражданские... В основном женщины. Темные, опухшие или высохшие лица тридцати- и сорокалетних старух. Их вели в палаты под руки, а иных несли на носилках.

И здесь, в госпитале, люди начали умирать. Кого-то спасли... Но мамыны руки хирурга были здесь не нужны: они требовались в другом месте. И она получила назначение в один из армейских полевых госпиталей. Я же чувствовал, что уже не могу быть при маме, а должен найти свое место в войне. Хотя бы воспитанником в часть. И я узнал, что берут для разноски писем с полевой почты, для связи. И эта мысль завораживала меня все сильнее и сильнее. И в один из дней августа 1942 года на шестнадцатом году жизни — в благословенный час! — я переступил порог нашего Выборгского райвоенкомата.

## МИХАИЛ МАМОНТОВ

## Как я узнавал пословицы

Внукам.

**П**ословицы и поговорки можно узнавать по-разному. Самый доступный способ — взять сборник пословиц и поговорок и полистать. Однако и прок от такого узнавания будет невелик, особенно если у человека мал жизненный опыт и тем более не развита наблюдательность. Много людей, однако, сборников в руках не держали, а знают и к месту употребляют в своей речи множество пословиц и поговорок. Это люди, как правило, с большим жизненным опытом, развитой наблюдательностью и речью. Но труднее всего и в то же время гораздо плодотворнее и поучительней узнавать пословицы на своем жизненном опыте, на своей шкуре, как говорят. Так они лучше запоминаются и глубже в сознании откладываются.

Например, знал вот я, хорошо знал такую, допустим, пословицу, несколько грубоватую: заставь дурака богу молиться — он и лоб расшибет. Знал, что говорится в ней о неразумной, чрезмерной старательности, когда человек из усердия (качества, конечно же, похвального) поспешностью своей принесет не пользу, а только вред (или больше вреда, чем пользы) и заслужит не похвалы, а порицания. Коротко сказать — когда перестараться.

Знал я это все и сам иногда говаривал, но однажды, уже на семнадцатом году моей жизни, она, эта пословица, предстала передо мной в совершенно ином свете — обидном, уничижительном, несправедливом — только потому, что я сам оказался на момент в роли такого вот неловкого, чересчур старательного дурачка.

А было это так. Работал я тогда на одной большой сибирской теплоэлектростанции зольщиком. Зольное помещение на тепловых электростанциях — нижний этаж (нулевая отметка, как там говорят), где смывают из топок паровых котлов шлаки и золу, где установлены дымососы, пылеуловители и тому подобное. Так вот. Однажды нашей бригаде зольщиков — пять человек нас было — дали задание: загрузить шаровую мельницу шарами. Шаровая мельница — это громадный вращающийся барабан с чугунными шарами внутри, в этот барабан по конвейеру подается уголь, а шары этот уголь перетирают в пыль, а пыль эта угольная сжатым воздухом подается в паровые водотрубные котлы (господи, сколько техницизмов!.. а как быть?), где на лету и сгорает. Шары эти, естественно, перемалывают не только уголь, но и сами стираются на нет со временем, и их регулярно приходится в барабан добавлять. И нам, стало быть, дали задание — дополнить шарами мельницу. Но я всего этого не знал — работал тут без году неделя.

Вывалил самосвал около люка мельницы тонны три шаров — «прошу, робяты, упражняйтесь». А «робяты», как потом выяснилось, эту работу не ахти как жаловали — шарики кидать — и, пользуясь отсутствием мастера, решили на мне, как теперь понимаю, прокатиться: срочно придумали заделье — ты, мол, дорогой, покидай пока, а мы вот там-то управимся и придем тебе поможем.

Ладно. Ушли они, попробовал я кидать — плохо дело двигается, этак мне и за день не перекидать. И решил я придумать некое приспособление, чтобы и себе облегчить и работу ускорить (шестнадцать лет — такой возраст: без выдумки никуда). Принес я лист железа, загнул его в форме желоба с подобием черпака на конце, козелки приволок, желоб этот на козелках укрепил, попробовал: нагну желоб к шарам, лопатой-грабаркой шаров в черпак накатаю, потом перевалю желоб, и шары — гур, гур, гур — в люк мельницы скатятся... Здорово это у меня получилось! Разработался я, и так радостно на душе: придут «робяты», а я уже все сделал; так хотелось удивить их — какой я мужик деловой!

Часа полтора, не то два «робят» не было, а пришли, глянули, как я пылью ржавую подчищаю, — и рты от удивления раскрыли. А я довольный стою, улыбаюсь: удивил я их капитально...

Долго длилось их удивление, становилось уже и неловко, и скоро я узнал — почему.

— Так это ты все шары перекидал? — спрашивает старший, будто не верит глазам своим.

— Ага, — отвечаю. — Уметь надо!

Молчали они еще долго. Не утерпел я и спросил:

— А что случилось?

А старший не мне, а «робятам» говорит:

— Вот уж правда: заставь дурака богу молиться — он и лоб разобьет...

Короче говоря, оказалось, что в эту именно мельницу шаров надо было добавлять что-то около тонны, а я все убухал...

Теперь мой был черед открыть рот, я его открыл и сказал:

— А почему вы мне это сразу не сказали?

— А кто ж тебя знал, что ты такой дураком...

Еще длилась немая сцена, а потом я сообразил и сказал:

— Ничего страшного. Другой раз не добавлять.

— Ну да, — сказали мне. — Шибко ты грамотный. Тут иной раз немного переложишь — мастер велит выкинуть лишние. Она, мельница, тоже на определенный вес рассчитана. Выкидай теперь назад две тонны, дураком!

Пришел мастер, узнал, в чем дело, но, странно, он не стал меня ругать, а расхохотался и мне сказал:

— Не расстраивайся. Сачков так и надо учить. Знать будут, на ком кататься. На мне бы вы где сели, там и слезли, а этот дальше провез — тоже хорошо. Сиди, не помогай им выкидывать. А выкидать все до последнего шара! Проверю. — И ушел.

А мы вторую половину смены потратили на то, чтобы выкинуть эти злополучные две тонны шаров. Туда-то было проще их скатать. А в мельнице пылища, духотища! Тесно — вдвоем только и можно у люка работать. Так поочередно кидали весь день. Сидеть я, конечно, не стал, потел вместе со всеми, но слава обо мне пошла именно такая: будто я умышленно такую хохму отхохмил. А мне было обидно. Не столько обидно, что я стал без вины виноватым, сколько то, что меня этак даже зауважали люди со стороны — зауважали за то, на что я не был просто-напросто способен. И странно мне было и непонятно: зауважали, в сущности, за нехорошее дело (если бы я это с дурным умыслом сделал).

Так произошла в моей душе предварительная подготовка к пониманию крылатой фразы-истины: «Как много нужно наделать зла, чтобы завоевать народную любовь...» Такие парадоксы неподготовленной душой не воспринимаются. А ведь именно поэтому так велика и устойчива народная любовь к Сталину: он больше всех наделал зла...

Вот о таких — иногда смешных, иногда серьезных — случаях из моей жизни, так или иначе связанных с пословицами, и будут эти рассказы. Многие из них — из детства. Самый плодотворный период в жизни человека (в смысле познания) — детство. Но детство у всех разное, и мне, по-видимому, нужно предварительно рассказать в общих чертах о своем детстве — где оно прошло и какое оно было.

Родился я перед второй мировой войной, в 1937 году, в деревне Усть-Познасс, в Горной Шории. Это в Западной Сибири, Кемеровская область, южнее Новокузнецка. Если сесть в Новокузнецке на поезд до Таштагола, то приедешь в Горную Шорию. Вот станции мои родные, от одних названий сердце замирает: Калтан, Осинники, Кузедеево, Мундыбаш, Темиртау, Чугунаш...

Так вот если сойти в Мундыбаше и пройти в сторону от железной дороги в горы километров тридцать, то можно прийти на мою родину, на то место, где некогда была деревня Усть-Познасс. Сельская Горная Шория разбежалась от невыносимой жизни в колхозах в начале 50-х, сразу как отменили советское крепостное право, то есть выдали колхозникам паспорта. Убежали так же, как и прибежали. Прибежали, убегая от колхозов, и убежали — убегая из колхозов. До 30-х годов Горная Шория была малонаселенной горной лесной местностью Западной Сибири. Жил там малочисленный народ шорцы. Были они в основном охотники, жили не кучно, вразброс, и крупных населенных пунктов там не было. Были и россияне-староверы (жержаки — так у нас их называли). Эти скрывались здесь от преследований. В 30-е годы, убегая от сплошной коллективизации, хлынули из России сюда крестьяне, которые не хотели идти в колхоз. До сих пор можно услышать рассказы, легенды о тех массовых переселениях. Посылали сперва ходоков. Возвращаются ходоки и говорят: «Там трава — по пояс! Коси сколько сможешь, зазря пропадает!» «Да ну! — удивляются мужики. — Как такое может быть — не косят, что ли?» «А шорцу на ту траву наплевать. Он охотник». — «Как! Не пахнут, не сеют, скотину не держат?!» — «Нет. Бегают по лесу, по горам, охотятся». — «На кого охотятся?» — «А там зверья тьма всякого. Лес — сосны, кедрач, неба не видно!»

Можно представить опалелые глаза тех нищих российских крестьян в их нищих деревнях... И хлынули. И Горную Шорию заселили и обжили. Колхозы догнали их, разумеется, и здесь, а потом пришла и индустриализация, открывались железные рудники и угольные шахты. Удрать из колхоза на шахту или рудник — это было счастье. Держали, однако, людей в колхозах мертвой хваткой. Но была это «резервная трудовая армия», и когда понадобилась она на производствах, выдали паспорта, и деревни вмиг опустели.

Но это потом. А пока... На берегу красивой горной речки Кондомы (теперь усохшей и превращенной в канализационный коллектор) раскинулась подковой наша деревня Усть-Познасс. То есть в устье речки Познанки, впадающей в Кондому. Светлая деревня, тоска моя и любовь моя, безысходная ностальгия... Страшные были годы — голодные и холодные, а воспоминания остались светлые. Конечно, память моя избирательна — на доброе, но и в какой злой душе можно заглушить те знания о жизни и природе, которые получали мы не из книжек и рассказов, а прямо из первых рук — от самой природы. Не по книжкам и рассказам мы узнавали, как ползает крот под землей, как гнездятся в скалах стрижи, филины и змеи, как пахнет сено в скотном сарае, как лошадь берет из рук корочку или соль и почему у нее губы бархатные, как приучают теленка пить молоко из тазика, как щекотно и немного страшно, когда он сосет палец твоей руки, опущенной в молоко, будто материну сисыку, как собаки лечатся от укуса змеи, как дрозды «обстреливают», когда приближаешься к их гнезду, как таймень жарким летом стоит в устье холодного горного ручья, как синь и тихо в снежных пещерах, вырытых в сибирских сугробах, как бурундук всовывает свою голову в силко, укрепленный на длинном шесте, как медведь ульи таскает и мед ест, какого вкуса пикан, пестик, ремень, колба — тасжные съедобные травы, как ходить с пиканной дудочкой во рту по дну реки, как по ночам лучат сонную рыбу при свете берестяного костра на носу лодки, как ставить мордушки, переметы, как водить бредень, как сачить рыбу, как ястреб таскает цыплят, как пчелы выбрасывают трутней из улья, как запрягать лошадь, как косить траву и метать стога, как ходить за плугом, бороной, как работать на конных граблях, как сеять ручную хлеб, как его жать и молотить, как его печь в огромных русских печах и как он обворожительно пахнет — «только из печи!».

На производствах наших я, как многие, зверел, тупел, но меня спасали воспоминания. Я вспоминал нашу горную речку, песчаную излучину перед нашим домом, на которой мы пропадали целыми днями, мелкие заводи, подернутые тонким прозрачным осенним ледком, под которым тихо плавают чебачки, красноперки и окуньки (куда там аквариум!), вспоминал запахи и названия трав, как хомяк таскает зерно за щекой в свою нору и какая у него в этот момент смешная раздутая мордашка (почему у нас всех мордатых, круглощеких и называли хомяк), как первый раз сел на лошадь, как первый раз запряг лошадь, как первый раз привез из лесу воз дров, как учился траву косить и как сказали мне потом: ты косишь уже не хуже любого из нас... — вспоминал, и воспоминания спасали мою душу.

И пишу я эти рассказы для тех, кто в детстве не имел всего, что имел я и что сформировало, а потом спасало мою душу.

А теперь немного о пословицах.

Пословица, как и всякая мудрость, многозначна. Она верна в прямом, буквальном смысле (так мы ее узнаем в детстве), второй ее этаж, второе ее значение — применительно к людским характерам, житейским ситуациям и обстоятельствам, она же несет зачастую в себе и более глубокое — философское или религиозное — содержание. Так, к примеру, пословица «кто смел, тот и на коня сел» имеет прямой, точный смысл: трус на коня не сядет, побоится; но у нее и более глубокое содержание: только смелым и самоотверженным покоряются большие дела. Однако и того мало, она учит: не упusti случай, свою удачу (в хорошем смысле), судьба дает человеку случай, удачу только раз, оплошал — пеняй на себя. А разные ловчилы понимают ее так: кто смел, тот два съел. Пословицу, увы, можно понимать в меру своей испорченности.

В детстве мы познаем пословицы, как правило, только в прямом смысле. Я хочу ехать с братом в поле, но боюсь сесть на лошадь, брат насмехается надо мной, трусом обзывает, и я сажусь на коня, конь становится на дыбы, и я лечу с него в бурьян. Это все, что я узнал из этой пословицы. Другое пришло потом.

«Без труда не вынешь рыбку из пруда» — тысячу раз, кажется, слышал я эту пословицу, но запомнил ее на рыбалке, когда по горло в студеной воде водил

брeдeнь, а тятя (у нас в Сибири отца дети звали не папа, а тятя) расхаживает по бережку и эту поговорку приговаривает и еще отсебятинку добавляет: «Рыбка плавает по дну, не поймаешь ни одну».

Теперь я знаю, что эта поговорка более точно звучит так: «Без труда не вынешь и (даже) рыбку из пруда» — и все. Потом, конечно, и «и (даже)» присоединилось, но это потом.

В этих рассказах многие поговорки предстают только в прямом, не в переносном смысле — так, как их обычно воспринимает ребенок или подросток. Но иногда и в этом возрасте поговорка предстает во всей ее многозначности и даже парадоксальности. Такое восприятие производит глубочайшее впечатление на души, будит мысль, заставляет задуматься и наблюдать. Так, поговорку «сколько волка ни корми — он все в лес смотрит» я слышал и до случая, здесь описанного, и расценивал ее только как попрек в неблагодарности, как осуждение неисправимому, но вот я услышал ее в другой ситуации и произнесенной не так, как обычно, — и мне открылся ее более глубокий смысл.

### Без труда не вынешь рыбку из пруда

Лето в Горной Шории, как обычно, жаркое. Пройдут весенние дожди, яркое засверкает солнце, густой аромат лесных трав напитает воздух, в лесу не продохнешь, воздух густой, насыщен испарениями. Река наша к середине лета обмелеет, вода в ней — будто щелок, теплая и аж какая-то склизкая...

Душно, жарко людям в полях, нечем дышать и рыбе в реке. Табунится она в глубоких прохладных омутах да лениво стоит в устьях родников и холодных ручьев, текущих с гор. Невелика речка Кондома и усыхла она уже и тогда (леса в наших краях вырубали и сплавляли в начале индустриализации; остался лес, но только лиственный), однако водилась в ней тогда рыба — щука, налим, окунь, чебак, красноперка, пескарь, захаживал к нам и сибирский рыбный боярин — таймень... Правда, поймать тайменя — рыбу большую, сильную и осторожную — ни в бредень, ни на крючок, ни сачком никому не удавалось, но видеть этих огромных красавцев доводилось многим, и знали наверное: по весне в большую воду — заходит.

Бывали и такие случаи. Однажды мой сводный брат пошел вверх по реке — дровишек по берегам собирать и приплавить. Весной много всякого лесу, оставшегося от лесосплава, валялась по берегам. Строевой, конечно, не возьмешь, если не хочешь схлопотать срок, но мелочь разную, обломки собирали по берегам, сколачивали плотники (у нас их называли салики) и приплавляли к дому. И вот шел он по прибрежной галке, видит — в обмелевшей заводи лежит в грязи небольшое бревешко. Хотел он ткнуть бревешко багром и вытащить из грязи, как вдруг измазанное в грязи бревешко зевнуло... Пригляделся он, а это не бревешко, а рыба таймень. Была большая вода, таймень зашел в заводь, а большое бревно возьми да и перегороди устье заводи. Таймень метался, метался, выбраться назад в реку не может. Большая вода ушла, а бедный таймень так и остался лежать в высыхающей заводи. И уж совсем заводь высохла, таймень бился в тине и мучительно умирал. Приплавил брат на салике рыбину домой, взвесили — двадцать три килограмма!

А однажды еще чудней случай был. Шли косари с покоса по берегу реки. Жара, была несносная, дождей давно не было, река обмелела, рыбе в теплой воде нечем дышать, одно спасение — стекающие с гор холодные ручьи. Табунится рыба в устьях этих ручьев. Появится человек у ручья — шарахнется рыба в сторону, но ненадолго, возвращается назад. И увидели косари: среди мелюзги всякой стоит в устье такого ручья здоровущий красавец таймень. Этому хуже всего: грузная жирная сибирская рыбина эта любит только холодную воду. Не спустился он вовремя в большую реку, в Томь, а теперь ему одно спасение — прохладная вода горного ручья. Бедняга к этому ручью мордой присунулся — плавники красные из воды торчат. Не растерялся один парень, поднял большой камень и ухнул им в тайменя. Попал, не попал. — ушел таймень.

Все пошли домой, а парень остался: знал — некуда тайменю деваться, вернется он к ручью. И точно: минут через десять таймень вернулся, приник к светлой прохладной воде ручья — дышит не надыхнется. А парень заранее косу с черенка снял и с косой этой прыгнул на тайменя и вонзил в него косу. Рана оказалась несмертельной, и таймень — могучая рыбина — поволок парня на глубину. Парень был не из робкого десятка, одолел тайменя, за жабры его ухватил и выволол на

мелководье. Несет тайменя по деревне — хвост по земле волочится. Взвесили — тридцать два килограмма! Для наших мест рекорд.

Помню, как часто ходили мы с бреднем по берегу реки. Иной раз иззябнешь весь, измучаешься — нет рыбы! А другой раз как ни выведешь бредень — кишмя кишит. Отчего так — никто толком не знал, но знали наверное: в дождь рыба в бредень лучше идет. Но это легко сказать — в дождь, а попробуй походи, поброди по горло в студеной воде в дождь. По горло в воде, а иногда и вплавь тащишь бредень, выходишь из воды, а тебя холодный дождь сечет — зуб на зуб не попадает! Но голод не тетка. К месту будет сказать, у нас никто никогда в те годы рыбалкой из спортивного или любительского интереса не занимался, ловили только из необходимости — когда есть совсем нечего. Ну вот. А тятя, стало быть, ходит по бережку в плаще, с ведерком и приговаривает «без труда...» и все такое, да еще припевает: «Рыбка плавает по дну, не поймашь ни одну...»

Но иногда и вправду бывало — без особого труда рыбу ловили. Поздней осенью ходили мы рыбу подо льдом глушить. Идешь по берегу, в руках у тебя березовый дрын, смотришь — заводка, покрытая тонким прозрачным осенним ледком, вода под ним, как слеза, прозрачна, все до камушка, до травинки малой видно, а если рыба зашла — издали видно. Вбегаешь на лед и гонишь рыбу по заводи в сторону берега — где мелко, — а потом бьешь березовым дрынком по льду — оглушить рыбу. При хорошем ударе вся оглушенная рыба всплывает кверху брюшком к поверхности, и вот тут не зевай, прорубай во льду лунку и выбрасывай рыбу на лед. Тут быстро надо: рыба вскоре очухается и уйдет, это для нее несмертельно, она на какой-то момент теряет сознание. Иногда и так бывает: ты дрынком по льду — трах, а лед под тобой — бах, проломился, и ты в воде. Тут не долго думая беги домой, снимай все с себя и лезь на печь. Печь была наша спасительница.

Однажды (я еще совсем маленький был, без подсказки взрослых и не вспомнил бы этот случай) с разбегу влетаю я на тонкий лед и вижу: под моими ногами подо льдом кто-то черный и длинный извивается... Я закричал (скорей всего от страха), взрослые услышали мой крик, прибежали и увидели: это я налима придавил подо льдом и он не может из-под меня выбраться. Налим зашел на мелководье, а я вбежал на тонкий гнучий осенний лед и придавил его ко дну. Вырубили лунку и вытащили бедолагу налима. Вкусный очень, говорят, был.

Но больше всего мне нравилось лучить рыбу. Сам я, признаться, лучить не пробовал, был лишь в подсобниках, но сам процесс лучения мне нравился и остался в памяти на всю жизнь.

Собираются взрослые сегодня ночью лучить рыбу, а ты возле них крутишься, уговдаешь и просишь взять с собой. Иногда брали.

И вот ночь — темная, хоть в глаз коли, мы идем к реке, к лодке. В руках у меня ворох бересты и сухой щепы, у взрослых братьев и отца — шести и остроги. Лодка заранее подготовлена, на носу ее на шесте укреплен железная корзина, в ней будет гореть костер. Садимся в лодку и на шестах тихо поднимаемся вверх по реке. Подальше поднимаемся, разожжем костер в корзине на носу лодки и тихо по течению плывем. Тревожно, жутко и в то же время до восторга радостно станет у тебя на душе. Яркий костер освещает прибрежные скалы, деревья; места не можешь узнать — так все преобразается в свете костра. Вода в реке освещается до дна (время нужно выбирать — чтобы вода была прозрачная и спокойная), любую травинку, любой камушек на дне видно. Братья лежат на бортах лодки с острогами наготове. Лодка плывет сама по себе, отец на корме лишь слегка ее направляет, а твое дело — костер: следить, чтобы ярко горел. И не дай бог шумнуть, чихнуть или кашлянуть — никогда больше с собой не возьмут! И вот издали видишь — стоит в траве щука или большой окунь, спит... Приближаемся, брат изготавливается — ширк! Острога молниеносно уходит в воду. Тут меткость и твердость руки нужны снайперские. На момент ничего не видно — муть, но вот муть и рябь утихли: извивается щука под острогой. Бывает — удачная охота, несколько рыбин принесем, а бывает — с пустыми руками вернемся. Раз на раз, как говорят, не приходится.

А если скажут, что это браконьерство, я скажу: нет, это добывание себе пищи. Ни по каким иным причинам мы рыбу не ловили.

Не до жиру — быть бы живу.

### Сколько волка ни корми...

Казалось бы, лучшего и желать нечего. Меня вырвали из цепких лап голодной смерти. Теперь я сыт был каждый день. И хотя недостатком аппетита я не страдал,

но бабка, усаживая меня за стол, каждый раз приговаривала: «Ешь, Мишутка, ешь. Ешь больше, справнее будешь. Вишь, ты уже и на человека запохаживать стал...»

И она вспоминала, как увидела меня опухшим от голода. А мне не нравились эти уговоры больше есть, у нас все было по-другому. Мачеха ставила на стол ведерный чугунок картошки, по стакану снятого молока (цельное нам давали лишь по великим праздникам: на корову надо было сдать двенадцать килограммов масла в год): «Молотите». И мы молотили, уговаривать никого не надо. Семь рук враз тянулись к чугуну, хватили картошку покрупней, торопливо, обжигаясь, снимали с нее кожуру и незамедлительно отправляли по назначению. К концу непременно находились обиженные, и конфликт разрешался щелчком ложкой по лбу. Я к этому привык. Я не видел прелести в спокойной, размеренной еде, и есть у добрых стариков было решительно неинтересно. Вкусно, досыта, но скучно. Правда, потом у нас дома стало совсем плохо. Приели картошку, перестала доиться корова...

«Она, мачеха-то твоя, баба добрая, зря не скажешь, а вот не опух же с голода ее родной сынок, а ты опух... Нет уж, каким добрым ни будь, а рука с хорошим куском сама к родному дигтю тянется...» Я обижался за эти слова на бабу, но помалкивал. Я любил свою мачеху. Она — я был уверен — относилась ко мне не хуже, чем к родному сыну, а что опух с голоду я, а не кто-то иной, это потому, что я, когда хотел есть, орал (не плакал, а именно орал) на всю деревню, а когда орешь, есть еще пуще хочется. Так мне объяснили взрослые. Но не орать я все равно не мог (как раз это-то, возможно, и спасло мне жизнь).

Но не это было главное — не уговоры больше есть и не хула на мачеху, не скука за едой, — многое мне не нравилось в этой деревне: речки здесь не было — вот что главное, и деревня не как наша — она в глухом, сумрачном логу, а не на открытом взгорье, как у нас, и пацаны здесь какие-то не такие — вялые, неазартные, играют совсем не так, не в те игры: у нас они соревновательные, огневые, а здесь как у стариков... И вообще скучно, сумрачно, все не так...

Все казалось мне здесь чужим, неинтересным. Я стал скучать по дому. Садился на подоконник и подолгу смотрел в окно на дорогу, убегающую по логу в сторону нашей деревни. Я представлял, что иду по этой дороге все дальше и дальше, дохожу до гумна на горе, спускаюсь еще в один лог, поднимаюсь на гору... Я выхожу на гору, на скалы перед нашей деревней, и мне открывается милая до боли картина: далеко-далеко раскинулись зеленые лесистые горы, блестит между ними изгибами Кондома-река, передо мной на той стороне реки — наша деревня; все так приветливо, вокруг так светло, так все радуется моему возвращению... Я бегу с горы, кричу на тот берег, мне подают лодку, а у дома стоит моя мачеха со всей оравой родных, полуродных и сводных сестер и братьев, они приветствуют меня, они радуются моему возвращению, и я счастлив!

И вся эта картина и десятки других с такой отчетливостью предстают в моем тоскующем сознании, я забываю, где теперь нахожусь, забываю, что там жесточайший голод, и допустить себе в мыслях не могу, что меня там не ждут, что мне не будут рады... Я все забываю, и смотрю и смотрю в окно на дорогу, и уже ничего не вижу — слезы, слезы застилают мне глаза, стекают по щекам, подбородку, падают на подоконник, я растираю их пальцем, соединяя в озера, реки... Я перестал играть со своими новыми друзьями, целыми днями сидел на подоконнике и смотрел на дорогу.

Бабка заметила это и однажды подошла тихонько и спросила:

— Ты чего это, Мишутка?

Я вздрогнул, обернулся, увидел участливое лицо и горько, стыдно разрыдался... Умная, добрая бабка все поняла и без слов... Вечером, когда возвратился с поля дед, бабка сказала ему:

— Мишутка-то заскучал по дому...

Дед снял сапоги, побряхтел, поскрипел (мне всегда казалось, что он скрипит, такой он был костлявый, и голос у него был скрипучий) и пробурчал:

— Волка сколько ни корми — он все в лес смотрит.

Я обиделся. Я знал эту поговорку только в прямом смысле — как попрек в неблагодарности — и не хотел быть в роли дикого волка. Но странно! — я не увидел осуждения, неудовольствия в глазах деда, наоборот: он посмотрел на меня как бы даже с уважением, вдумчиво, без былой жалости — как на взрослого человека. Я долго потом вспоминал этот взгляд и долго не мог понять, в чем тут дело, но в конце концов пришел к выводу: видно, и сам дед бывал в подобных обстоятельствах, — и подумал тогда: родина, какая бы она ни была, всегда милее сытости.

## Тише едешь — дальше будешь

Был какой-то праздник и, соответственно, гулянка.

А гуляли раньше не так, как теперь, и гулянки были не такие. Наварят браги-медовухи к какому-нибудь празднику, сколотят на поляне столы, лавки — и гуляют всей деревней. Именно гуляют, а не только пьют. Это так и называлось — гулянка, а не пьянка. Главное в этих гулянках — много пели и плясали. И пили, да. Но пили — пели, пили — плясали. И ничего дурного в этих гулянках, на мой взгляд, не было. Гулянки эти были в конце весенней пахоты и сева, в конце страды осенней — в конце уборочной. Люди после долгих, тяжелых трудовых будней получали какую-то разрядку весельем. Но нашлись деятели, которые усмотрели в этом коллективную пьянку, и пресекали. Теперь коллективных пьянок нет — ну и радуйтесь.

А как пели! Самое дорогое, самое отрадное воспоминание из моего детства — песни. В Горной Шории были, как уже писал, переселенцы. И переселенцы из «поющих губерний», тоскующие по родине и поющие песни родных деревень и краев. Отец у меня был певец знаменитый. На гулянках на всех он главный заводила, запевала, и слушать его было моим истинным в те годы наслаждением. Помню я и эти долгие сибирские вечера. Отец сапоги чинит, мачеха (тоже певунья именитая!) шьет что-то, мы на печи, я лежу с краю и жду, когда запоют. А они запоют обязательно, они не могут такую работу делать без песни. И вот отец прокашливается и заводит густым сочным баритоном:

Все пташки мелки пели,  
Их голос чуть слышать.

А мачеха тонюсеньким-тонюсеньким дискантом за ним выводит:

Два храбрые наши героя  
Просились ночевать.

И ничего в той песне нет. «Любезная наша хозяйшюпка, пусти нас ночевать», а хозяйка отвечает: «Я печку не топила, гостей я не ждала». А они, «храбрые герои», ей говорят: «Любезная наша хозяйшюпка, не надо нам ничего, мы завтра рано на рассвете опять в поход пойдем». И все! Нет там больше ничего, и много раз я слышал эту песню, но почему я с таким замиранием сердца слушаю ее? Что мне эти переливы, переходы, это цветистое, разноголосье и распев, почему блаженство овладевает моей душой, а из глаз сами по себе текут слезы счастья и тихого восторга? Или: «По морю корабель плывет». А в том корабле «три полка солдат, три полка солдат, молодых ребят». Молодой солдат домой просится: «Командир-майор, отпусти меня домой — к малым детушкам, к родной женушке». И все! Даже не сказано, отпустил его командир домой или нет. И я опять — в который уже раз! — с замиранием сердца слушаю эту долгую, протяжную песню и жду: может, они один куплет прошлый раз не допели и теперь допоют — отпустили солдата домой или нет? Как мне хочется, чтобы его отпустили! Он тоскует по дому так же, как я в Бедревке тосковал по нашему Усть-Познаосу...

В самый разгар веселья, помню, подзывает председатель взрослого парня и говорит ему:

— Петя, скотине на ферму надо травы накосить и привезти...

— А почему я? — взвился было тот.

— А потому что больше некому. Ты у меня самый умный и самый трезвый...

Петр стоял растерянный: после такого подхода отказать трудно, но как ехать за травой неохота! Я подошел к нему и сказал:

— Хочешь, я с тобой поеду? И запрягу и распрягу...

— Ладно, — решился Петр. — Где наша не пропадала... Дуй на конюшню, запрягай Рыжуху.

Дорогой Петр молчал, переживал. Сказал только с обидой:

— Пра-а-вильно! Петруха безотказный — потому и езжай. Кто везет, на том и ездят...

Но пока косил траву, понемногу развеселился.

— Ничего! Мы свое наверстаем!..

Назад поехали вкружную, по берегу реки: дорога тут лучше и с возом коню легче, чем через гору, быстрой доедем.

— Но, Рыжуха, двигай! — кричал Петр, подгоняя и без того резво идущую лошадь. — Без меня там всю брагу выпьют. Пошла, Рыжуха!

Лошадь была молодая и горячая. От первого же окрика она пошла рысью, а потом, взбрыкнув, пошла наметом (вскачь).

Догнали мы деда-пасечника. Чикилял он по дороге в деревню (на праздники с пасеки шел), а завидев нас, посторонился, подслеповато щурился, узнавая — кто? Узнал и почилял дальше.

— Садись, дед, подвезем, — предложил Петр.

— Да нет уж, спасибочки. Мне скорей надо, — отмахнулся дед.

Петр недоуменно посмотрел на него, на меня и заключил:

— Обьелся дед меду.

Обогнали мы деда и помчались дальше. Рыжуха в раж вошла — и подгонять не надо, сама рысью идет, а прикрикнет на нее Петр — охотно в галоп переходит. И так это мы разогнались! Я вцепился в бастрик (выкинуть с воза запросто может) и с опаской поглядывал на мутную Кондому (была весна), текущую, казалось, под нашими колесами — под низеньким ярком, по краю которого шла дорога.

— Давай, Рыжуха! — кричал Петр.

Им овладел восторг от скорости. Восторг требовал выхода, и Петр заорал дрожащим от тряски голосом известную абракадабру (на мотив «Выпрягайте, хлопцы, кони...»):

Выпрягайте, запрягайте,  
Запрягайте выпрягать!  
Эх, выпрягайте, запрягайте,  
Выпрягайте — запрягать!

Кто работал в колхозе, знает горький смысл этой абракадабры...

Вдруг что-то хрястнуло внизу. Воз бросило в сторону и развернуло. Я не смог удержаться, меня оторвало от бастрика, и я шлепнулся в реку. Выбрался я на берег и увидел: возле лежащего на боку воза стоит Петр, смотрит на поломанное переднее колесо и оторванный передок телеги. Рыжуха как ни в чем не бывало щиплет в сторонке траву...

— Вот чертова промоина! — сказал виновато Петр. — Два дня назад проезжал — не было...

Подошел дед-пасечник.

— Это ты, старый, накаркал! «Езжайте, мне быстрее надо!» — передразнил деда Петр.

Дед не обиделся (как не обижается врач на больных), посмотрел на телегу, на колесо и сказал:

— Чего тут каркать. Вам бы еще молоко пить, а вы — брагу. Тише едешь — дальше будешь. Не слышал? И ежу понятно: весна, половодье, дорогу в одну ночь может размывать — и куда вы перлись сломя голову?

— Ну так бы и сказал!

— А ты не знал? А сказал бы — ты послушался? Вот то-то и оно! Ладно. Приду — скажу председателю, помощь пришлют. Сено-то довозите. Ведь голодная скотина останется на ночь.

И почилял дед дальше.

### Кто смел, тот и на коня сел

Двум занятиям у нас обучались с самого раннего детства — плавать и на конях ездить. Плавать — на берегу речки деревня стояла — хочешь не хочешь, а научишься. Другой ребенок сидеть еще толком не научился, а волокут его старшие братья на реку, посадят на отмель или таскают его по воде, как кутька. Бывало, выучивались одновременно ходить и плавать.

А кони и подавно. Машин, тракторов не было, всё на конях, и тоже хочешь не хочешь, а с конями обращаться научишься. Но «не хочешь» здесь не было: коней любили все пацаны и ездить на них, запрягать, распрягать выучивались в большую охотку и с самого раннего детства. И взрослые это всячески поощряли, им это выгодно: взять с собой в поле пацана, умеющего обращаться с лошадьми, — какое облегчение взрослому! И потому мы с малых лет работали со взрослыми на конных работах. Сперва обычное дело: «Распряги, напои лошадь, отведи на конюш-

ню». Потом — на снях, на конных косилках, конных граблях и прочих конных работах. Но это потом.

А пока посадят тебя раскорякой на хребтину коня — вот уж страх и восторг! Или посадят тебя впереди себя в седло — и поехали. Как во сне помню этот момент: посадили меня впереди себя мой старший брат, и поехали мы куда-то. Хорошо помню ощущение страха и восторга — как лошадь гулко топает по дороге, а навстречу тебе движется земля. Но брату и этого показалось мало, он пустил лошадь рысью. Я хотел было попросить ссадить меня, но не мог — дух перехватило... Навстречу мне летела земля — с травой, деревьями и хлебными колосьями, и гул, такой гул, будто конь бежит не по земле, а по барабану... Страх уже прошел, и начал овладевать восторг, но брат пустил лошадь вскачь, меня стало так подкидывать, земля так загудела, ветер так засвистал в ушах, все слилось во что-то стремительно летящее навстречу... я судорожно вцепился в рубаху брата, и он придержал коня.

Помню и такой случай. Старший брат поехал одвуконь в поле. Я стал, как обычно, просить его взять с собой прокатиться. Брат не брал меня, но я пристал, надоел ему. «Ладно, — говорит он, — садись на Рыжуху, только если сбросит, чур, не плакать». И подсадил меня на Рыжуху. А Рыжуха — молодая, норовистая кобыла и страшно щекотки боялась, верхом на ней не ездили, но я того не знал. Брат знал, что кобыла эта не верховая, на ней не всякий взрослый сможет ездить, да дурушлеп был, как все в этом возрасте, пятнадцать—шестнадцать лет, он меня затем и посадил на Рыжуху, чтобы посмотреть, как она меня сбросит...

Только я хотел взяться за повод, Рыжуха как взбрыкнет, как поддаст задом — чудом я успел удержаться, вцепиться ей в гриву. Вцепился я ей в гриву, прилип к ней, а Рыжуха знай поддает, знай лягается! Стоит на одном месте и взбрыкивает. А брат хохочет. А Рыжуха всерьез рассердилась, видит, что таким манером не сбросит меня с себя, — на дыбы встала и норовит пасть на спину... Тут и брат мой видит, что дурна курятина, эта игра не доведет до добра, стал ловить повод уздечки и умирять Рыжуху, а она не дается, бьет копытами и кусается. «Прыгай!» — кричит он мне, ну я и сиганул с Рыжухи в траву, а в траве лежали жерди, я шарахнулся на эти жерди, колени, локти посбивая, брат подбежал ко мне, щупает, нет ли перелома, подорожник на ссадины прикладывает и уговаривает никому не говорить... «Садись, — говорит, — на Гнедка, он смиренный». А я уже и на Гнедка — старого, спокойного мерина — сесть боюсь. «Э, да ты трус, — брат говорит. — Смотри, как надо, кто смел, тот и на коня сел». Вскочил он на Рыжуху, та было взвилась, но он так огрел ее плетью, так задрал ей морду — она вертелась, взбрыкивала, на дыбы вставала, взмокла вся и присмирела. Сошел брат с нее и подсадил меня на Гнедка. А Гнедок, и правда конь очень смиренный, пошел себе потихоньку, будто и нет меня на его спине.

Но не таким только способом — с помощью взрослых — выучивались мы ездить на конях. Высшая доблесть — прокатиться, удержаться на необъезженном жеребчике. Это могли немногие, у меня на это смелости не хватало. Было это очень опасно: жеребчик в испуге и гневе так отчаянно начинал прыгать, бить копытами и пускался в такой бешеный галоп, что лихой наездник кубарем летел с него, и тут главное — не угодить под копыта.

Мы, пацаны поменьше, заигрывали с жеребятами. Такие они милые, такие красивые, жеребята, погладить его — удовольствие. Но легко сказать — погладить. Жеребенок пугливый, и хорошо, если он от тебя убежит, а иной задом быстро повернется да как даст копытом! Одному пацану досталось. Пристал он к жеребенку: протянув руку, будто в ладони лежит что-то, и приговаривая «соль, соль», стал подходить к нему. А кони соль любят. Протянешь ладонь и говоришь: «Соль, соль, соль» — подходят или стоят, не убегают. Так мы их обычно под узду ловили. Но жеребчик не старый конь: пацан ему «соль, соль», а он задом поворачивается, норовит лягнуть. Пацан опять заходит спереди и манит. Жеребенок вроде успокоился, пацан подошел к нему; а тот вдруг резко повернулся да как даст копытом пацану в живот! Хорошо, что пацан поодаль стоял, но и то упал, свернулся калачиком, катается от боли, ойкнуть даже не может: дух перехватило. А как отошел и встал, поднял рубаху — на животе синее пятно в форме копыта... Долго он эту отметину на животе носил.

Но это единственный случай. А вообще кони нас, пацанов, любили. Настолько умные животные: видит, что пацан его запрягает, сам помогает хомут на себя надеть, пригнет голову и повернет ее так, чтобы хомут свободней прошел. Очень

любят кони, чтобы их чистили и в реке мыли. Взрослые этим редко занимаются, нам поручают. Заедем мы на конях в реку и моем, чистим их. Летом коней гнус одолевает, все тело у них изранено, потом изъедено, и мытье для них — блаженство.

В большую воду перегонять коней через реку, когда вброд нельзя, тоже наша, пацанов, святая обязанность. Если пацан маленький, он так и сидит на лошади, а та плывет, а взрослые плывут рядом с конем, держась за повод. Тут важно поймать момент, когда лошадь достанет ногами дно: не успеешь сесть на нее в этот момент, она уйдет от тебя, ждать не будет, и тебе придется за ней по глине и тине выбираться на берег, а если лошадь норовистая, совсем может уйти, замучаешься ее искать в лесу.

Лошадь, как и любое животное, требует за собой хорошего ухода. Вовремя дать сена, вовремя напоить, почистить навоз — это тоже в основном пацаны делали. Конюх на конюшне есть, но возле него всегда вертятся пацаны, те, кто особенно любит коней — лошадики. У некоторых эта любовь к коням остается на всю жизнь, но коней извели, и эти люди стали по-своему несчастными...

Многого мы лишились из того, к чему привыкли в детстве, и потому так трудно было привыкать нашему поколению к городским, заводским условиям. Потому и спились, погибли многие. Слишком резко сменился привычный уклад, ритм жизни, разрушилась «власть земли», и ни морально, ни духовно мы не были готовы к таким резким изменениям. Главное — в городах и рабочих поселках, куда мы перебрались из деревень, появился у нас досуг, свободное время, вещи для нас дотоле неслыханные. Досуг, свободное время — само по себе благо, но досуг без духовных занятий порождает скуку, самый страшный бич человека, и от скуки многие стали пить... Даже благое приобретение сталинского социализма — досуг (свободное время у рабочих) послужил ему, этому социализму, на погибель... Пьющий рабочий — это, конечно, идеальный раб, но и толку от него мало.

Ну да это, кажется, я не туда заехал...

### Вор ворует не для прибыли...

Однажды ранней весной приключилось у нас в деревне чрезвычайное, необычное происшествие: ночью в амбар залез вор...

Было раннее утро. Сторожиха подняла тревогу, к амбарам сбежался народ. Прибежал и я (наш дом недалеко от амбаров, и шум меня разбудил), протиснулся вперед и стал искать взглядом страшного вора. Но кругом были все наши деревенские, а того громадного, свирепого, заросшего до бровей черной бородой, связанного по рукам и ногам, того, кого называют рычащим словом «грабитель» или не менее страшным сибирским «сиблонцем», не было. В середине меж людей топталась сторожиха Матрена и, отчаянно жестикулируя, рассказывала, как поймала вора:

— Пошла я к утру посмотреть амбары, слышу — шебаршит что-то... Тихенько подошла я спереду, заглянула под пол меж сваев и обомлела... доска-то оторвана. Ох светы мои! Ох страху-то натерпелась! Закричу, думаю, он меня приберет... А делать нечего — наставила ружье и кричу: «А ну вылезь, окаянный!» Смотрю — спускается по доске. «Стой, стрельну!» — кричу. Он замер, по пояс наружу, а верх в амбаре. Вижу: и он меня боится. Отошла я чуть подальше, наставляю ружье и говорю: «А теперь совсем вылезь!» Вылез он, а я так и обмерла. «Спиридон, ты это чего?..» — говорю...

Рядом с ней стоял Спиридон, наш деревенский мужик. Я ошарашенно и разочарованно глядел на него: вот так вор... Мужик этот был дщедушный, небольшого роста, рябой, он и мухи не обидит — и он грабитель?!

Спиридон молчал. Стоял понурясь и молчал.

— Ты чего это натворил, Спиридон? — сказал председатель колхоза.

Спиридон молчал.

— Да ведь и в амбарах пусто... — сказал кто-то.

— А вор ворует не для прибыли, а для гибели, — бойко сказала Матрена-сторожиха. Очень она рада была, что изловила вора: не спала, честно сторожила колхозное добро, не напрасно ей трудодни пипут!

— Ну ладно, — сказал председатель. — Колька, седлай Серка и езжай в Чарыпту за милиционером, а ты, Степан, возьми у Матрены ружье и стереги вора в конторе. Всё. Пошли по домам.

К ногам председателя упала жена Спиридона Физа:

— Иван Алексеич, не погуби! Голубчик Иван Алексеич, не погуби! Ведь посадят его! А куда я одна с тремя-то! Спирия не в своем уме, ты же видишь! Ведь в этом амбаре уже и мыши перевелись — что там брать! Иван, родненький, не погуби... Век бога молить за тебя буду! Пропадем мы без него!

Председатель поднял Физу, поставил на ноги.

— Не могу, Физа, — сказал он. — Теперь поздно. Я скрою — посадят меня...

— Спирия, что же ты наделал! — рыдала Физа. — Пропадем мы без тебя! Пропадем...

Спиридон молчал. Стоял в том же положении — низко склонив голову. Похоже, он и вправду был не в своем уме. На моих глазах происходило что-то непонятное. Многие не понимали, в чем тут дело, а кто догадался, благоразумно помалкивал. Но даже и я детским моим сердчишком чувствовал: что-то тут не то...

Степан, взяв у Матрены ружье, увел Спиридона в контору, и люди разошлись. В конторе до приезда милиционера произошло вот что. Спиридон сидел на лавке у стола, Степан — у двери, ружье держал наготове. Тусклый желтоватый свет керосиновой лампы высвечивал грубый стол, рябое лицо Спиридона, выцветший лозунг в углу. Степану было немного жутко от тишины и одиночества. Долго они сидели так молча. Спиридону тоже наскучило это, он встал.

— Сядь, Спиридон, — сказал ему Степан.

— Брось ружье, Степа, — сказал ему Спиридон. — Не убегу я. Не для того в амбар лез...

— А кто тебя знает... Удерешь — меня вместо тебя засунут.

— Ну что ты, Степа, ты же умный парень... Ты что, тоже не сообразил?

— А что мне соображать... Дурочку ты сморозил — теперь расхлебывай.

— Ты бы, Степа, хотел из колхоза уйти?

— Какой вопрос! Кто меня отпустит... Пустой это разговор.

— Болтать не будешь? Скажу я, пожалуй, тебе. Не растрепешь?

— Могила!

— Из колхоза я хочу удрать. На суде скажу: овса хотел на затируху набрать. Год-два за это дадут, отсижу... А выпустят — с паспортом! На производство устроюсь. Подземщикам и в войну хлеб давали, говорят, от пуза. Заберу семью, детей спасу от этой каторги. Каждый день, Степа, хлеб есть будем. Каждый день — хлеб...

— Вот это да... — только и смог сказать Степан. — А вдруг больше вяпают?

— Не вяпают. Я узнавал. До трех лет теперь дают за мелкое хищение, а я ничего не взял, с дуроты, с отчаяния полез — поймут, учтут, не то уже время.

— Во ты даешь! — удивлялся Степан. — Вот это Спирия...

— Не проболтайся, Степа.

— Ну что ты! А как же семья тут без тебя — год-два переживут?

— Переживут. Что толку, что я круглый год в колхозе мантуло? Что я получил? Пятнадцать граммов на трудодень зерна пополам с птичьим пометом? Переживут. Лешка уже большой, картошку посадят, сено для коровы накосят, а больше теперь и нет ничего. Нету, Степа, другого пути. И ты отслужишь в армии — тикай с колхоза! Здесь никогда люди по-человечески жить не будут. Для того нас в них и загнали — обирать до нитки...

Все утро до прихода людей проговорили вор и охранник.

Степан свое слово сдержал. Все это он рассказал только тогда, когда до нашей деревни дошел слух, что Спиридон (он отбыл уже срок наказания, устроился в подземный рудник, получил комнату в бараке, забрал семью) погиб под обвалом на одном из таштагольских рудников.

### Не та мать, которая родила...

Невелика река наша Кондома, и переплывали мы ее летом на спор туда и обратно по несколько раз, но в весеннюю пору она становится поистине неприступной. Посинеет метровый лед на ней, образуются широкие полыньи, обманчиво припорошенные снегом, а приходит время — грохотом, пушечными выстрелами оповестит она: ледоход! Не было и не могло быть такой силы, чтобы удержать нас в начале ледохода на уроках. Учителя и не противились, вместе с нами при первых

выстрелах выскакивали из школы и бежали на берег смотреть великое чудо природы — ледоход. Сперва выстрелы по всей реке — это лопаются льдины в подвижках. Потом начинают льдины налезать одна на другую, становиться на дыбы, обрушиваться с грохотом. Но вот лед вроде тронулся... опять застрял... И опять подвижки, грохот, пушечные выстрелы. А мы на берегу помогаем: «Давай, давай!» Бывает так: постреляет, погрохочет, поторосится и остановится лед. А тут — морозы, и еще на несколько дней откладывается наше излюбленное зрелище. Но нет... напирает, напирает лед от мыса — бах, трах! — льдины, как два борца, уперлись друг в друга — кто кого. Бах! — одна из них рушится, лед тронулся... пошел... нет, опять застряло!.. «Ну давай, давай, нажимай!» — кричим мы. Учителя с нами кричат и смеются — счастливые тоже болельщики... И вот пошел, пошел лед... нет, на повороте битва: льдины упираются в берег, другие давят, эти ползут на берег, вспахивают землю, встают на дыбы... Близко у берега стоять нельзя: не успеешь отскочить — льдиной раздавит, выталкивает их на берег на несколько метров. По берегам торосы река установит — как стены неприступной крепости: не подходи, теперь не до вас!

К этой поре — к ледоходу и большой воде — взрослые готовятся загодя. По крепкому льду заранее съездить по реке, куда тебе надо, вывезти из-за реки сено, дрова — это главная к этой поре работа. Не вывезешь что надо, прозеваешь — потом терпи без дров и без сена: к реке не подступиться. Бывали смельчаки, но они, как правило, кончали плохо. Река будто мстила тем, кто, нарушая запрет, приближался к ней.

И для нас, пацанов, это время тоже не очень удобное. На лыжах не походишь, утром можешь побегать и даже в лес сходить по промерзшему насту (по-сибирски — чирым), а пригреет — сиди дома. Река — главная наша воспитательница и нянька — пока неприступна. Хорошо если лодка есть, вода немного спала и льда нет, но и лодки отнимала на ту пору река — ломала, уносила, и бывало так, что без лодок оставалась вся деревня. И шастаем мы тогда друг к другу, надоедаем взрослым. В другое время взрослые прикрикнут: «А ну марш на улицу!» — мы с удовольствием срываемся: на улице интересней. А в эту пору там делать нечего, и взрослые нас терпят. Терпят еще и потому, чтобы на реку не ушли.

В такое вот время играл я с одним пацаном у него дома. Надоели мы, видать, Дарья, матери того пацана, и она сказала:

— Ну хватит озоровать. А ты, Миша, иди домой, а то мать тебя потеряла, ищет.

А я к той поре уже узнал, что живу я не с матерью, а с мачехой, что мать моя давно уже умерла, и мне нравилось выставлять себя иногда таким несчастеньким сиротой. (Помню: когда умер и мой отец, я совсем загордился: теперь я круглый сирота!) И я сказал Дарье:

— Не ищет она меня, не нужен я ей...

— Это почему? — насторожилась Дарья. Она не знала, что я знаю.

— А потому что она не мать мне, а мачеха.

Дарья помолчала, подумала, а потом сказала:

— Ты зря языком, Мишка, не мели. Мачеха у тебя хорошая, радуйся, что такая досталась. И помни, всегда помни: не та мать, которая родила, а которая вскормила.

Короче, отчитала меня Дарья и навсегда отбила у меня охоту козырять тем, что у меня не мать, а мачеха. И мне ее слова запомнились. Но вскорости — будто преднамеренно! — произошел случай, который раскрыл мне и обратную сторону медали этой, конечно же, бесспорной истины: не та мать, которая родила, а которая вскормила.

Вода была еще большая, лед по берегам еще лежал, и два пацана, два сводных брата, играли на берегу, и один из них соскользнул в реку, другой стал ему помогать выбраться и тоже соскользнул, и их понесло течением. Пацаны эти, как и все мы, отлично плавали, но по берегам лед, не выберешься сам, а вода ледяная, долго в ней не продержишься, тем более в зимней одежде. Пацаны стали кричать, звать на помощь. А в эту пору в деревне остаются малые дети, беспомощные старики да бабы. Выбежали мы все на берег, а помочь ничем пацанам не можем: лодки нет, а пускаться помогать вплавь — толку мало, сам не выберешься. Побежал было старик один за шестом, а пацанов уже отнесло от берега, не достанешь, и изнемогают уже они, не могут бороться с течением. Те, кто постарше и поопытней, кричат пацанам:

— Не бойтесь, держитесь на воде! Вас течением вынесет на косу!

И пацаны смирились с тем, что им никто не поможет, и молчком стали править к косе.

По берегу, по ледяным торосам бегала тетка Анисья — мать одного (Бориски) и мачеха другого пацана (Ульяна). Бегала она по берегу, хлопала руками, как встревоженная клуня, и вопила дурным голосом, просила всех помочь и тем еще пуще надрывала всем сердце.

И все кончилось бы хорошо, пацанов отнесло бы на косу, они спокойно бы там выбрались на отлогий галечный берег, не закрытый ледяными торосами, но тут произошло очень опасное — Бориска попал в коловерть, в воронку, как у нас ее называли. Для ослабленного, неопытного человека это очень опасно: воронка затянет его вглубь и не скоро выпустит, если человек не знает, как из нее выбраться, или у него нет для этого сил. Бориска отчаянно сопротивлялся, старался вырваться из бешеной коловерти, но тщетно: она втягивала его в себя.

— Мама! — необычайно отчетливо и пронзительно разнесся над рекой детский крик.

Бориска не мать звал — так всегда кричат перепуганные дети. И не успели мы опомниться, как тетка Анисья, которая и в жару боялась воды больше курицы, эта тетка Анисья, глухо охнув, плюхнулась в воду и, по-бабьи бултыхая ногами, поплыла к сыну.

Бориска между тем выбрался из коловерти, вернее, она выкинула, выплюнула его — так бывает. Ему, Бориске, теперь ничто не угрожало, но та же коловерть, будто играясь, будто издеваясь, приблизилась к Ульяну, закружила его, подтягивая к воронке... Тот же леденящий душу детский крик «мама!» понесся над водой. И тут произошло, казалось, непостижимое: тетка Анисья находилась ближе к Ульяну, которого засасывала воронка, надо бы ему помочь, но она прошла мимо — к родному сыну Бориске, плыла и приговаривала:

— Держись, сынок, держись!..

Она прошла мимо неродного утопающего сына, чтобы помочь родному, которому теперь ничто уже не угрожало...

Мы видели, как воронка засосала Ульяна (подплыви к нему Анисья — воронка не смогла бы двоих засосать, у нее не хватило бы мощи на это). Мы знали, что из коловерти можно выбраться, нырнув в глубину и в сторону, и кричали Ульяну:

— Подныривай!

Ульян или услышал нас, или сам сообразил, вспомнил — мы слышали, как он, перед тем как скрыться под водой, набрал воздуха с выкриком «а!». Напряженно вглядывались мы в мутные воды, некоторые старые истово крестились, призывая Бога спасти пацана. Обнявшиеся Анисья с Бориской покачивались на упругих волнах, приближаясь к косе на повороте реки.

Но Ульян вынырнул! Сперва вздох облегчения вырвался у всех, а потом мы, пацаны, заорали «ура!». Теперь уже ничего плохого не будет, уже отмели пошли, минуты две-три, и все выберутся на берег.

Дарья, моя наставница, тоже была здесь. Я ничего не сказал ей, и она тоже молча смотрела на меня. А потом отвернулась и сказала:

— Мал ты еще, чтобы это понимать. Подрастешь — поймешь.

### От доброго не бегай, а худого не делай

Очень хорошо помню, как я первый раз украл. А украл я не что-нибудь, а зайца.

Ходил по округе шорец-охотник. Это был своего рода Дерсу Узала. Своего дома он, как и Дерсу Узала, не имел, зимой и летом жил в лесу. Колесил по округе на своих коротких, широких, обитых мехом лыжах, кормился только охотой. Захаживал и в деревни. У нас в деревне привечал его мой отец. Помню, войдет этот шорец в избу, ружье и котомку с плеч снимет, в угол поставит, скажет: «Здравствуйте вам», скинет засаленный зипун, скажет еще: «Ночевать буду» — и ничтоже сумняшеся располагается у двери на лавке, то есть на том месте, где никто не спит.

Как теперь понимаю, все это было в высшей степени разумно (учитывая голодные годы). А необычность списывалась на счет таежности и нерусскости. Шорец на то, видимо, и рассчитывал.

Пригласят хозяева поужинать — не откажется, не пригласят — не обидится, так переспит и словом нигде не обмолвится неуважительно ни о ком, не осудит.

А потому и принимали его тоже без всяких церемоний. Есть чем покормить и не жалко — покормят, нечем — и так сойдет. Утром встанет шорец затемно, скажет кому-то «до свиданья вам» и уйдет в лес. И может в этой деревне год-два не появляться. Появится — все повторяется, и люди говорят: «Шорец у нас ночевал» — и все.

Однажды он пришел к нам и сказал: «Хворать буду». Для всех хворых у нас одно было лекарство и врач — баня да печь. Истопили и ему баню, постелили на печи. Два дня он отвалился, сказал: «Спасибо вам» — и ушел в лес.

Но иногда он говорил. Помню, восторгался: «Русская какая! Нет лица, одна нос... А мы, шорца, — нет носа, одна лица...» И при этом заразительно, чисто по-детски смеялся. И действительно, на его широком плоском лице носик пуговкой почти незаметен.

Так вот у этого шорца я и украл из петли зайца, не подозревая, что совершаю воровство.

Лет семь-восемь мне было. Точно не помню, но помню, что в школе уже учился и на зимние каникулы пошел в гости в соседнюю, верстах в десяти от нас, деревню Бедревку. Там жили старики, которые меня в войну от голодной смерти спасли. В гости пошел и подкормиться, затем и звали они меня.

Пошел я в Бедревку на лыжах, но не через горы, а вкружную, по Кондоме, а от нее по логу вверх — так дальше, но для пацана безопасней. Прошел я белокаменскую прямую, пересек Кондому и вошел в бедревскую согру. Вдруг вижу — недалеко под березкой заяц прыгает на снегу на одном месте. Мне почему-то подумалось, что заяц, как собака, радуется мне или есть просит... Заулыбался я и пошел к нему. Не дошел я метров двадцати до него — заяц несколько раз подпрыгнул и упал... Я подошел и увидел: заяц-то в петле... Проволочная петля привязана к березке на заячьей тропе... Заяц бежал и в петлю угодил. Увидев меня, он, разумеется, не обрадовался, как наша собака Соболь, а стал вырываться из петли и затащил ее еще сильнее... Рослый такой беляк!

Заяц был мертв. Зная, что зайцев едят и пкурка их ценится, не думая и не давая себе отчета в том, что совершаю воровство, взвалил я тушку в петле на загорбок и пошел своей дорогой. Помню еще, что я заблудился, не попал в бедревский лог, а ушел по прибрежной роще в сторону деревни под названием Белый Камень, потом сориентировался, вернулся назад и тем самым неумышленно запугал след.

По дороге в Бедревку я смекнул, что старики-староверы есть зайца не будут. Зачем зря добру пропадать? Размотал зайца в петле над собой и забросил его подальше в снег и место приметил, чтобы по дороге назад забрать и принести домой: у нас был голод.

В Бедревке я ничего не сказал старикам, погостил у них несколько дней и той же дорогой пошел домой. Без труда я нашел смерзшуюся тушку в снегу, принес домой, а вскоре в деревню пришел шорец — «нет лица, одна носа». Пришел к нашему дядьке (туда вел мой лыжный след) и рассказал, что у него из петли украден заяц мальчиком лет семи-восьми, что мальчик шел от нас в Бедревку, забрал зайца, выбросил его по дороге, а возвращаясь домой, подобрал его.

Тетка моя сообразила, что дело приобретает дурной оборот, и как-то сумела убедить шорца в том, что такого мальчика ни у них в доме, ни в деревне нет. Но это она так считала — что обхитрила простодушного шорца. Дело обстояло, по-видимому, иначе: шорец сообразил, что зайца у него украли из дома, хозяина которого он уважал — моего отца, и решил скандала не затевать, ушел молчком и никогда ни в нашей деревне, ни в нашем доме больше не появлялся... Ибо я совершил самое тяжкое для шорца-охотника преступление, самый омерзительный проступок — украл добычу из петли в лесу, где нет и не может быть замков и запоров, а все основано на взаимном доверии...

Тетка же мне и объяснила (и послушницу эту мне выдала), что со мной было бы, если б шорец меня с зайцем догнал. «Он бы, — говорит, — тебя на петле, как ты того зайца, над головой размотал и забросил в сугроб...» Не за зайца, а за нарушение святого закона тайги: нет для шорца гнуснее преступления, и таких, как я, нужно просто убивать! Вряд ли я сумел бы убедить шорца в том, что не знал такого закона... Если бы заяц лежал в доме, в избе, я бы его не взял, потому что брать чужое — воровство. А это в лесу... Но мне объяснили: ты петлю поставил? Нет. Стало быть, и заяц не твой, а того, кто поставил на заячью тропу петлю... И стало быть, ты украл. И сказали: худого, парень, не делай, а от доброго не бегай.

Но странно мне даже и теперь: почему отец мой промолчал, ничего мне не сказал? Уж я-то знаю, какой был строгий мой отец в этих вопросах: за воровство сына родного убьет. От тетки я урок получил, а отец смолчал. Зайца съели дружно...

По-видимому, две причины на то были: во-первых, так силен был голод, что даже такой честный человек, как мой отец, молчком ел уворованного зайца; во-вторых, у него, как и у меня, сознание было не то, что у шорца: шорец не мог украсть в лесу, мы не могли украсть в доме. Потому что шорец родился в лесу и жил в лесу, а мы родились в доме и жили в доме. Так-то.

### Старый поспех людям на смех

Самой интересной сельской работой была для меня молотьба хлеба, работа на гумне. Но прежде чем рассказать, как раньше производились работы по обмолоту хлеба на гумне, я должен сказать вот о чем. Ранешние сельские работы — очень трудные работы, в них было много грубого физического труда, механизации никакой, техники тоже; физический же труд приятен и полезен лишь в меру, а без механизации, без техники меры этой не было, люди работали буквально на износ. Но — помните у Некрасова?

Но даже и труд обернется сначала  
К Ванюше рядной своей стороной.

Главное тут — необязательность: если берут подростков в поле на работы, то только в помощь, и как правило — по уходу за конями, а также на более легкие подсобные работы; необязательна, конечно, и норма выработки, да и поблажки разные — отдохнуть, сходить покупаться и т. д.

Но даже при этой необязательности годам к двенадцати я мог хорошо косить, работать на конной жнейке, на конных граблях, боронить, возить и укладывать копны, стоять на стогу и тому подобные сельские работы. Мне нравились коллективные сельские работы, и именно на коллективных работах я работал всегда с полной самоотдачей. А если еще и похвалят, я готов был в лепешку расшибиться. Именно поэтому — по моей внутренней сути, предрасположенной к коллективному труду, — самой интересной работой для меня была работа на обмолоте хлеба, или, как у нас проще говорили, на молотьбе.

Комбайнов у нас тогда не было, да в наших горах они не пошли бы. Хлеба вкашивались конными жнейками, потом вязали снопы и составляли их в суслоны. В суслонах хлеб подсыхал и дозревал, затем снопы возили либо на ток, либо на гумно (крытый ток) и там сразу обмолачивали либо складывали в скирды, а потом молотили.

Конная молотилка — механизм мудреный. Большое колесо, похожее на гриб, к этому колесу приделаны четыре бревна-слегги, к слеггам пристегивают лошадей, лошади ходят по круту (погоняльщик стоит на грибе, погоняет их) и вращают колесо-гриб, а от него идет металлическая длинная штанга, которая вращает маховик, а от маховика — ременная передача на вал молотилки. Сама молотилка — это большой, утыканный зубьями барабан, вращающийся с большой скоростью (и своеобразным завыванием) в металлическом корпусе, дальше идут наклонные грохота, проще сказать — большие подвижные сита, просеивающие зерно. Когда барабан наберет нужные обороты (определить это можно по гулу-завыванию), подавальщик сует разрезанный сноп в этот барабан колосьями вперед, и из молотилки вылетает вышелушенное зерно и солома. Солому оттребают, протрясывая ее, удаляя остатки зерна, и скирдуют, а зерно тут же на веялках провеивают. (Между прочим, веялки крутить нужно уже вручную, и крутят их вдвоем мужики помощнее, тут сила и выносливость нужны.)

Работы на молотьбе всем хватает, и работа горячая, спорая, не отдохнешь, не посачкуешь, пока ревет барабан и подавальщик подает. Но и веселая работа, с шуточками, весело делается. А если тучки появятся, дождь грозит пойти — о, что тогда творится на току! Успеть до дождя обмолотить хлеб — тут всё бегом, успевай поворачиваться. Возчики снопов гоняют коней с телегами вскачь, подавальщик (он главный тут) кричит в случае малейшей задержки; вороха соломы, зерна, кони и люди, мокрые от пота, на запяленных лицах сверкают одни зубы да глаза, и никто не скажет: «Давайте отдохнем», работают до упаду. Ибо намочит дождь снопы — жди тогда хорошей погоды: влажное зерно не обмолишь.

Проще и спокойней работа на гумне. Сухие снопы сложены в скирды, крыша есть, дождь не намочит, и работают на гумне в любую погоду.

Хорошо помню: однажды молотили на гумне, и меня поставили резчиком. Это особое доверие. Обычно резчиком ставят взрослых, но тут нехватка людей была, подумали, кого резчиком поставить, и решили — меня. Это вызвало некоторую зависть у пацанов: были здесь пацаны и постарше меня.

У резчика — острый-преострый косой нож из серпа, перед ним наклонный железный стол, отполированный снопами до блеска, на этот стол кидают со скирды снопы, резчик должен быстро взрезать на нем опояску, развернуть, разворошить сноп, посмотреть, нет ли чего постороннего в нем — камень, бывает, попадет, железяка, палка какая, любой твердый предмет может разбить барабан, поломать молотилку и людей побить, потому так важно, кого ставить резчиком. Подавальщик тоже сноп осматривает, но уже не так тщательно: у него своих дел хватает.

И вот работаем. Летит со скирды сноп (бросает его тоже пацан), я его подхватываю, быстро вспарываю опояску, разворачиваю, осматриваю и поддвигаю подавальщику. А подавальщиком поставили одного старика. Все посмеивались: старый да малый — эти наработают. Старика, видать, это заело. А на молотье все от подавальщика зависит, он задает ритм работы.

Старик этот был лучший подавальщик в свои годы (тут особое умение, старание и сила нужны: сноп под барабан нужно подавать не вдруг, а сперва сунуть колосья под него, оттягивая сноп назад, — барабан зёрна, колоски обобьет, а потом, тоже с оттяжкой, нужно отдать сноп барабану весь), но возраст сказывался: сила уже не та. Но старика подкусили. Тихо шепнул он мне:

— Зададим им жару?

— Зададим! — отвечал я.

И стали мы задавать жару. Старик кричит: «Погоняй!» — это чтобы коней по кругу быстрее гоняли. Я кричу: «Снопы!» — это чтобы быстрее снопы на стол бросали. Старик быстро сует в молотилку один сноп, тут же другой, третий без перерыва, без обычной паузы, я еле успеваю разрезать, осматривать и поддвигать ему снопы. Ворошилщичики, метальщичики забегали. Завалили мы их, а старик знай поддает жару! Ворошилщичики посмеиваются: надолго ли нас, старого и малого, хватит? Но посмеиваются уже невесело...

— Стоп, — кричат мужики, — старый да малый! Отдохните! Завалили!

— Ага, канальи! — смеется дед. — Мы вам покажем — старый да малый... Этот малый кой-кому нос утрет, да и я свое еще не упусти, да и чужое, если что, не прозеваяю!..

— Да куда тебе! — смеются женщины. — Стар стал.

— Старый конь борозду не испортит.

— Но и неглубоко вспашет...

Опять старика подкусили... Перекурили мы (дед курил, а я на снопах отлеживался), пока мужики вороха соломы на омет побросали.

— Погоняй! — кричит дед.

Завыла молотилка, и стали мы снова поддавать жару...

— Вы, старый и малый! Вы чего там, рехнулись?! — кричат нам люди.

— Мы вам сейчас вспашем! — отвечает дед.

И вдруг трах-тарарах! — страшный грохот и визг: в молотилку что-то попало! Старик схватил лом, подставил его под шкив и сбросил шкив с маховика. Стали смотреть, что попало и целая ли молотилка. Барабан и корпус молотилки были сильно побиты, несколько зубьев срезало, грохота пробиты. Нашли и то, что попало, — искореженный зуб от бороны. Не утлядел я... Как же я мог прозевать?! Так уж смотрел... Но все напустились на старика:

— Эй ты, старый, поспех людям на смех, доигрался!

А мне обидно до слез: подвел старика. Думал, он меня ругать станет, но он ни слова не сказал, а это еще хуже; лучше, если бы ругал.

Молотилку кое-как починили, хлеб домолотили, но уж такой это был день неудачный... К вечеру меня еще собака укусила. Была в нашей деревне такая злючка — выскочила она из-за скирды и ни с того ни с сего молчком цап меня за ногу, прямо клочок кожи с мясом выкусила, шрам на всю жизнь остался...

Много лет прошло с тех пор, все забылось, но встретил я как-то в Новокузнецке сверстника из нашей деревни. Обрадовались, обнялись, разговорились, вспомнили нашу деревню, детство... На радостях ли, по простодушию ли он признался:

— А помнишь, как ты в молотилке зуб от бороны проглядел и собака тебя в тот день укусила?

— Помню, как же...

— Так это я тебе подстроил.

— Что подстроил?

— Зуб подбросил в сноп и собаку натравил.

— Да ну?! А зачем ты это сделал?

— Позавидовал...

Не сказать чтобы мне было приятно это услышать, но много лет прошло — обижаться, злиться было грех.

### Береги платье слову, а честь смолоду

Эта пословица сыграла в моей судьбе решающую роль. Благодаря той мудрости, которая в ней заложена и в которую я, по счастью, уверовал, не натворил я по молодости ничего такого, за что потом пришлось бы расплачиваться всю жизнь. Из сиротства моего я вышел чистым.

Наша деревня была безбожная, в Бога у нас не верили, обрядов, постов не соблюдали. Рядом были старообрядческие деревни, там жил и строго хранил свою старую веру и старые обряды глубоко религиозный и даже фанатичный народ, а наша деревня — с бору по сосенке, переселенцы из разных российских губерний, в основном батрачный, на Бога уже не надеющийся и не верующий в Бога лапотный крестьянин. Были кое у кого в избах иконки, крестились по привычке, когда гром грянет, — и вся религиозность. Но детей крестили. Крестила нас всех в своей избе одинокая женщина-староверка Матрена. Вполне возможно, что она несла либо послушание, либо свой крест: кому-то надо было и нас крестить, а кроме нее было некому. Для меня теперь ясно одно: она могла в любой момент перебраться к своим в старообрядческую деревню, но она этого не сделала и крестила детей до конца своих дней — царство ей небесное!

Крестила она нас, естественно, по старому обряду, делать из нас обливанцев она, разумеется, не могла. А из наших мало кто в этом что-то понимал: окрестили — и ладно. Но рассказов об этом крещении я слышал много. Воду для купели брали из реки, и никакого подогрева даже зимой, только льдинки Матрена отчерпывала и окунала младенца полностью, но ни один не простыл, и больше того (и это рассказывалось женщинами с особенным трепетом и почтением) — ни один ребенок не заплакал, не кричал от холода или страха. Все — и мужики — с этим соглашались: да, не простывали и не кричали; но не верующие совсем и умные объясняли это чисто материалистически: простыть не успевали, а не плакали — сердце от холода заходится, не крикнешь. А что тут же засыпали — «макни и тебя в ледяную воду, а потом в тепло — тоже уснешь».

В Бога у нас не верили, а заповеди еще соблюдали. Скажем проще: не заповеди — о них мало кто что знал, — а некие крестьянские нравственные нормы, жизненные правила. Украсть, солгать, обмануть, прелюбодействовать было величайшим — нет, не грехом (если Бога нет — и греха нет), а стыдом и позором. И в этих жизненных правилах и нерелигиозных нравственных нормах росли и мы. Поздние совковые постулаты «не украдешь — не проживешь», «не обманешь — не проживешь», «обдурь ближнего твоего, ибо ближний обдурит тебя и возрадуется», — эти постулаты, на наше счастье, пришли значительно позже.

Должен тут сказать еще и вот что: в наше время, а точнее — в нашей семье, не было никакого двоемыслия, не было поведения и правил «для службы» и правил «для дома», не было нравственных норм для людей (на людях) и для себя, не было также морали для взрослых и морали для детей. Все было едино и все было для всех в нашей семье, а еще точнее — в нашем отце. Мать свою я совсем не помню и ничего о ней не знаю, кроме рассказов об ее феноменальной трудоспособности.

Отец мой был из тех цельных, нераздвоенных натур, убежденных коммунистов, которых в сталинское время поголовно извели и изживали оставшихся. Мачеха рассказала мне один случай с отцом, очень характерный, и я его здесь тоже расскажу, для того чтобы развить свою мысль.

Старший мой брат после войны некоторое время работал пчеловодом на нашей колхозной пасеке. Отец мой был председателем колхоза. Предвижу: «О! Неплохо устроились!» — и уже не хочется рассказывать... Но я расскажу, хотя знаю, что из

«насмешливого поколения» никто не поверит. Но ведь я не для «насмешливого поколения» пишу... Однажды отец с моей мачехой шли мимо пасеки с покоса и зашли на пасеку. И уговорили моего отца мачеха и мой старший брат-пчеловод взять с собой домой чайничек меда. Отец с неудовольствием, но согласился. Если напрямую выразиться, уговорили отца украсть. Это отца-то! Отец нес этот чайничек меда, и он ему, по-видимому, руки жег... Настроение его чем ближе к дому, тем больше портилось, он стал ворчать, ругать жену за то, что его на это подбила... Донес отец этот чайничек меда только до дома, в дом занести не смог — шваркнул чайник об угол и выбросил в крапиву.

Да, да, когда-то и я осуждал отца за такое поведение в голодные годы, тем более оно стало причиной его гибели... Приехал райкомовский уполномоченный — молодой, да ранний — и, уезжая, подал моему отцу туссок: «Набери мне меда...» Представляю лицо отца... В просьбе было отказано, и отказано не в дипломатических выражениях. Это я предполагаю, зная характер отца. Мне непонятно тут вот что: этот уполномоченный либо глупый был совсем, либо совсем охамевший. Все, кто знал моего отца, и помыслить бы даже не могли подойти к нему с такой просьбой... Или это была провокация? Но зачем? Ведь они и без того вскорости нашли, за что его снять и исключить из партии. Что они нашли у него, за что они в один вечер, в одно заседание райкома сняли его с председателей и исключили из партии — о том уже не узнать... Мачеха рассказывала — прискакал он на взмыленном коне из района страшно возбужденный, сует ей книжечку: «Спрячь партбилет! Партбилет я им не отдам!» Ах, батя, батя! Плевать они хотели на твой партбилет! Если бы ты знал, отец, какой страшный путь пришлось мне пройти от твоего «спрячь партбилет!» до моего «в вашу банду я никогда не вступлю!».

Ожидалась и отцу посадка, но райкомовские негодяи верно рассчитали, не ошиблись: от нервного расстройства и переживаний туберкулез, подхваченный отцом в финских болотах (его призвали в финскую — в тридцать девятом году), заглохший было, полуизлеченный, в считанные месяцы пожрал его...

Помню отца еще в одном эпизоде. Наши деревенские пацаны залезли ночью в чужой огород, причем к женщине одинокой, из подлого, трусливого расчета остаться безнаказанными и не столько там поели, нарвали, сколько напакостили. Женщина, естественно, пожаловалась моему отцу как председателю; участкового в нашей деревне не было, отец, страшно возмущенный такой невиданной доселе у нас подлостью, стал искать виновников, и я хорошо помню этот его взгляд и непривычно тихий голос, когда он меня спросил: «И ты там был?» Отца, его гнева, я боялся как огня, но тут я стал с ним вровень — так же спокойно, но твердо, на равных смотрел ему в глаза. Смелости мне придавало не столько то, что я там не был, сколько — я там и не мог быть и отец мог меня об этом и не спрашивать. Отец меня именно так и понял. Проверил, конечно, и убедился, расследуя это дело, но когда на собрании кто-то сказал ему: «Да и твой Мишка там был!» — отец, как мне рассказали, ответил: «Да нет уж, Мишка на такие подлости не способен, в чужой огород не полезет».

И эта фраза, можно сказать, спасла меня. Когда я, будучи уже круглым сиротой, блукал по необъятной нашей стране в послевоенные годы разрухи, вербовали, тянули и меня в воровские шайки и банды, и всегда я отвечал спокойно и четко: «Нет. Я на это не способен», хотя был вечно голоден, раздет и разут. А там, где банда круто вербовала меня (однажды, видя, что я из неподдающихся, хотели даже в отместку меня «опустить»), я отбивался, но отбивался не только за счет своей огромной физической силы и ловкости, но, как теперь понимаю, уже охраняло меня Нечто... Уже, видимо, было за что охранять... И именно за то, что в крайней нужде я никогда не взял чужого.

Помню, как отец в конце одного разговора сказал: «Да уж, правду говорят: береги платье снову, а честь смолоду». Может быть, он сказал не «честь», а «честность». Слово «честь» для крестьянина чуждое, «честь» бывает у дворян, офицеров, а у крестьян — честность, и ее, честность, берегли, и берегли именно смолоду. Не сбережешь смолоду — нужно расплачиваться и восстанавливать честь (честность), а это гораздо сложнее. Можно и не восстанавливать, продолжать быть бесчестным, но тогда погубишь душу. А это самое плохое из всего, что может вообще случиться с человеком. «Что пользы тебе, если ты приобретешь весь мир, а погубишь душу?» Вот это, может, самая мудрая истина на свете. Да только люди никак этого не могут понять!..

### На Бога надейся, а сам не плошай

Две пословицы — «на Бога надейся, а сам не плошай» и «Бог-то Бог, но и сам не будь плох» — я считал одинаковыми по смыслу до зрелых лет и лишь «на высоте всех опытов и дум» пришел к выводу: эти пословицы только внешне обманно похожи (сбивают еще с толку «не плошай» и «не будь плох»), а по смыслу, по мудрости, в них заключенных, они несопоставимы совершенно. Лично у меня, если честно сказать, не хватало знаний, опыта, культуры, чтобы увидеть всю неизмеримую глубину второй пословицы — «Бог-то Бог, но и сам не будь плох».

Первая же пословица («не плошай») — в общем-то, неглубокая, с чисто практическим предупреждением: не плошай — не ленись, добивайся своего, иди к цели, сделай первый шаг, не упусти случай, а там судьба сама поведет тебя. Главное, по-видимому, — не упусти случай, или не будь жертвой случая.

В моей жизни был такой случай, жертвой которого я стал. Природой, Богом — как хотите считайте — мне был дан исключительный голос (теперь, когда все кончено, я не стесняюсь так говорить). И это было не случайно: «мамонтята» все были певуны, а к голосу — и характер, как охранная грамота. Повторяю: мне не стыдно это утверждать, мне лишь до слез горько и обидно сознавать, что все это растрачено впустую. Теперь я четко и трезво сознаю: счастье мое было (могло быть) только в пении, только в нем. Но судьба, случай, мое невежество, некомпетентность не дали мне реализовать мой талант, и жизнь моя превратилась в сплошную муку. Талант, не находя выхода, несомненно задушил бы меня, но, по счастью, я нашел для него отдушину — литературные занятия, и это облегчило мою участь, спасло меня.

Но мы отвлеклись. Судьба бьет, испытывает на стойкость, и чем больший даден талант, тем большие испытания она определяет. Таков закон, и не нам его менять. Нужно только знать это заранее и не плошать.

А я именно оплошал. И подстраховать, подсказать было некому: вокруг меня были люди не того уровня, чтобы научить, подсказать, и тем более не было человека, который понимал бы, что талант — это дар Божий и общенародное достояние...

И судьба по-подлому ударила в самое уязвимое место — в мою больную ногу... Каким ветром надуло в нашу Горную Шорию эту заразу, именуемую полиомиелитом, но в нашей деревне он поразил двоих — Душечкина Павла и меня. Павла изуродовал полностью, нетронутой осталась только голова, меня же пощадил (врач как-то сказал: «Ты в рубашке родился») — поразил левую ногу и сам по себе заглох. Нога суше, короче, частичная атрофия мышц, конская стопа, но в сравнении с тем, что могло быть и бывает, — да, в рубашке родился.

А голос был исключительный — из тех, что и дикий зверь замирает, заслышав. И все мечты мои, все устремления мои были — стать певцом. Единственное, что я любил делать, — это петь, и только в пении я испытывал истинное и глубокое счастье.

И вот читаю газетное объявление: производится набор в музыкальное училище, есть класс вокала. И в конце приписка: «Принимаются лица, по состоянию здоровья годные для работы на сцене». Меня как обухом по голове ударили. И не было подле меня человека, который вразумил бы: петь можно и не на сцене и поют не ногами, а голосом...

Страдание усугублялось тем, что переживалось оно в полном, абсолютном одиночестве: никому до меня не было дела и открыться было некому. И страдание сломало меня: вместо того чтобы сделать хоть какой-то первый шаг, начать петь в каком-нибудь хоре (такая возможность была), я стал ломать, уродовать мой голос, этот несомненный Божий дар...

По этой пословице можно много рассказывать, но главное, как мне кажется, я сказал: на Бога надейся — каждому человеку дается какой-то талант. А дальше — не плошай: нужно талант определить (мерилом в поиске пусть будет ощущение счастья в каком-то деле), а определил, к чему ты предназначен, — делай первый шаг, ни с чем не считайся, делай шаг, иди, а дальше судьба сама поведет тебя. Это тоже жесткий, непреложный закон: первый шаг ты должен сделать сам — противоборствуя обстоятельствам и даже самой судьбе! — а дальше судьба покорится и сама поведет тебя.

А я этого не знал, и подсказать было некому.

И используй случай! Каждому человеку в достижении его цели дается случай — лови, используй его! Не поймал, упустил, прозевал, струсил, о п л о

ш а л — все, «кина не будет»... Это тоже жесткий закон. Так что я, печалуясь о загубленном таланте моем, утешаюсь иногда тем, что если бы сделал я первый шаг (пошел петь в хор, положим), я бы мой шанс, мой случай все одно прозевал (потому что я об этом — о единственно даруемом шансе, случае — тоже не знал), а прозевал, о п л о ш а л на этом этапе — стал бы зауряденьким, полунесчастливым певцом, а это тоже нехорошо, уж лучше быть хорошим рабочим, чем плохим певцом.

Потому-то и говорится: учись, читай, совершенствуй себя, будь компетентен, если хочешь добиться успеха и счастья. Все другие пути — в никуда!

### • Бог-то Бог, но и сам не будь плох

Сперва я расскажу о трех случаях в моей жизни, когда я мог запросто погибнуть. Случаев, когда я мог погибнуть, было значительно больше, но нет нужды о них рассказывать, ибо это не самоцель.

Случай первый. Детство.

Я умирал от голода. Опух так, что и глаза не открываются. Смерть была неминуема. Спасла случайность (правда, я сомневаюсь — случайность ли это?). Приехал в деревню уполномоченный из райкома, случайно зашел к нам в избу, случайно увидел меня, лежащего на лавке и укрытого, как делают с умирающими, с головой, случайно поинтересовался: «А это у вас кто?» — и приоткрыл рядно, случайно это оказался сострадательный человек (а тогда среди коммунистов такие еще были), случайно у него оказался с собой хлеб (а впрочем, это не случайно: он знал, куда ехал), случайно этот человек оказался разумным, компетентным (он не дал мне хлеба, а велел вскипятить воды, размочил хлеб в кипятке и сперва поил меня хлебной жижкой и мачехе наказал делать так; не сделай он этого — скорая и мучительная смерть от спазмов в желудке и заворота кишок), случайно этот уполномоченный имел возможность выписать на меня продуктовую карточку — единственную не только в деревне, а может, и в округе, ибо колхозникам продуктовых карточек не давали, не положено.

И я остался жить.

Второй случай тоже все объясняли случайностью, но тут уже были некие зацепки для сомнений и размышлений...

Приехал я в Среднюю Азию в 1959 году. Помыкался в Ташкенте — прописки нет, на работу, стало быть, не устроишься. Говорят мне: езжай в Алмалык, там новостройки, рабочие руки нужны, общежитие дадут. Так везде было: приехал в Тбилиси — езжай в Рустави, приехал в Полтаву — езжай в Крюково, приехал в Горький — езжай в Котово.

...Медкомиссию на паровоз — кочегаром — проходили вместе с одним казанским татаринком (имя и фамилию его теперь забыл), лет под сорок мужик, в моих глазах — старик. Вместе же вышли на работу. Как теперь помню, меня поставили на маневровый паровоз «23-ю» (вообще-то номер паровоза «ЭУ 4723», но мы называли по последним цифрам — «двадцать третья»), а мужика этого поставили на «38-ю» — новый паровоз серии «ЭУ» (усовершенствованный) румынской фирмы «Маваг». Таких паровозов на участке было всего два, и попасть на них — честь, они работали под рудой (возили с рудников руду на обогатительную фабрику, там, на крутых затяжных подъемах в горах, требовались хорошие паровозы). Мне было обидно и завидно, почему не меня, а этого старика туда поставили, — и паровоз новый, и заработки под рудой значительно выше.

Но однажды случилось так, что этот мужик не вышел на работу в ночную смену. Воскресенье, ехать искать, вызывать бесполезно: никого не найдешь, а если найдешь — не в форме. И нарядчица с начальником смены решили сделать так: «23-ю» (старушку) отставить в резерв, а кочегара, то есть меня, — на «38-ю» (рудный паровоз в резерв не отставишь). «Сможешь?» Какой разговор! Но еще ждали кочегара с «38-й», и трудовой держали, не отправляли. Трудовой — это паровоз с классным вагоном, который развозит рабочих по станциям. Однако все сроки вышли, и нарядчица говорит: «Ну все, ждать некогда. — И мне: — Иди на „тридцать восьмую“». Я пошел, сел в трудовой, поехали. Не успели разогнаться — крики, сигналы остановки. Что такое? Бежит тот мужик-кочегар — опоздал. «Все отменяется, Мамонтов, иди на свою „двадцать третью“». Сошел я с трудового, пошел на свою. Работаем. А в четвертом часу ночи страшное известие: вся локомотивная бригада «38-й» погибла на перегоне Терекли — Фабричная. Их разнесло (это когда

поезд теряет управление на затяжном спуске), и в кривой перед мостом через сай паровоз сошел с рельсов и обрушился с моста. Погибли все трое — машинист, помощник и кочегар. Машинист и помощник погибли мгновенно, а кочегару досталось... Ему выдернуло ноги... Не переломало, не отрезало, а именно выдернуло, выдрало из туловища. Он сумел выползти на насыпь, на автомобильную дорогу, его подобрал грузовик, и по дороге в больницу он скончался.

Опоздай этот мужик еще на десять — двадцать секунд — быть бы мне на его месте... В нашей среде на все эти вещи смотрят просто — повезло. Но я впервые стал задумываться: а может, все это не случайности? Слишком много таких случайностей у меня уже к тому времени набралось, не мудро было подумать и о какой-то закономерности. Но еще малы были в ту пору мое образование, культура и интеллект на то, чтобы найти ответ на подобные вопросы. Но кое-что к той поре я стал уже замечать. Так, к примеру, я заметил за собой вот что: стоит мне сделать что-то нехорошее, как незамедлительно я получаю в ответ удар, что-то меня бьет, наказывает за это нехорошее, какое-то возмездие сразу же — и очень жестко! — наступает меня. И я, помню, этак даже возмутился и обиделся: другие и не то делают... А того пока не замечал (и не мог еще заметить) — другим тоже идет за все возмездие, только многие не связывают одно с другим, для них все одно: повезло — не повезло, удача — неудача. И причины своих поражений и бед ищут в ком угодно, только не в самом себе. К слову сказать, весь народ у нас такой: до сих пор мы ищем, кто виноват во всем, что с нами произошло. Но никогда мы, по-видимому, не скажем: сами мы во всем виноваты и заслуживаем всего, что с нами произошло...

В рассказанном мной случае роковую роль сыграла профессиональная некомпетентность или, может быть, лень. Пришли новые цельнометаллические вагоны-самосвалы (думпкары), из них сформировали состав (вертушку), и никто — ни вагонники, ни локомотивная бригада — не проверил, на каком режиме стоят у них тормозные воздухораспределители. Они — во всех вагонах! — стояли на равнинном режиме, а в горных условиях равнинным режимом пользоваться нельзя, тормоза на кругом многокилометровом спуске истощились, и поезд потерял управление. Этот чисто технический вопрос я не случайно здесь затронул, прошу это заметить.

Между этим и третьим случаем, когда я мог запросто погибнуть, мной был пройден огромный, тяжелейший путь самосовершенствования, чудовищной по напряжению и риску борьбы со средой и с самим собой, полного саморазрушения (до нуля, как это водится у Скорпионов), мучительного очищения и восстановления. Не шадил я себя, выбираясь из тупикового лабиринта голого материализма, глубокою рыл шахту в своей душе, неосознанно подготавливая извержение, взрыв, выброс огня, из которого душа человека, как Феникс из пепла, возрождается обновленной, очищенной и просветленной. Взрыва этого могло и не быть, если бы я мог воспринять два оставшихся не воспринятыми момента: во-первых, заметить (как заметил когда-то: меня что-то бьет, наказывает за нехорошее), что давно уже все каким-то непостижимым, но оттого не менее удивительным образом оборачивается в мою пользу, даже явные мои ошибки и прогляды, и что, во-вторых, «Бытие Божие воспринимается, а не доказывается» (А. И. Введенский).

Первое я мог заметить интуитивно и с помощью уже достаточно развитого интеллекта, но чтоб воспринять второе, ни интуиция моя, ни интеллект, ни простое знание — ничто не могло помочь, нужен был взрыв. И взрыв произошел.

Случай третий. Взрыв.

Долго и не место здесь рассказывать, как я попал работать слесарем на ведомственную автозаправку, скажу лишь, что к той поре я имел стойкую репутацию камикадзе (так у рабочих называют неугодных начальству изгоев, правдоискателей) и деваться мне попросту было некуда: я был загнан в глухой угол.

На автозаправке — бензин и прочие материальные ценности, а при развитом социализме в таких местах устанавливаются воровские порядки, подбирается соответствующий контингент, и я, залетев туда случайно, сразу стал белой вороной. Ибо к той поре я утвердился в благой истине: если я в трудные послевоенные годы и будучи круглым сиротой ничем не замарал свою совесть и душу и не натворил ничего такого очень уж плохого, за что расплачиваются потом всю жизнь, то теперь, считал я, не стоит этого делать ни за какие коврижки. Во мне утвердилось и окрепло изначальное отвращение ко всему бесчестному, ко всем этим хитрым и скользким дорожкам, да мне и не было, если честно сказать, во всем этом нужды: к той поре я жил уже наполовину, если не больше, духовной жизнью, а при таком раскладе, как известно, материального много не надо.

И не мешал я этим любителям кормушек, ибо не настолько же был я глуп, чтобы, зная, что страну растащили, мешать кому-то уворовать несколько десятков тонн бензина. Но у них там свои законы, все должно быть замараны, кто причастен, всем надо быть на крючке, и всякие белые вороны изживаются — даже если они никого не трагают и никому не мешают — самым изощренным образом. Но я к той поре прошел уже огромную школу по борьбе с негодями всех мастей и рангов, и взять меня голыми руками было непросто. И был я уже под некоей эгидой, о чем хочу рассказать, ради чего и затеял этот рассказ.

Все известные способы изживания неудобных, как то: алкогольный, мелкое хищение, химизация, провокационный и т. д. — я прошел успешно, без проколов, и надумали мои боссы применить безотказный — спровоцировать нарушение техники безопасности. На автозаправке это проще простого: всего-то и нужно заставить делать огнеопасные работы. На все огнеопасные работы требуется наряд-допуск, но таких нарядов давным-давно уже никто не пишет (кому охота брать ответственность на себя), а всякий отказ от работы — увольнение по статье, и потом попробуй докажи при нашем-то телефонном праве, что там нужен был наряд-допуск. Поэтому рабочие идут на нарушения скрепя сердце или — там, где работы явно с риском для жизни, — увольняются. Шел на нарушения и я, ибо деваться мне, повторяю, было некуда.

Эту заглубленную емкость из-под бензина (цистерна в земле на 22 куба) можно было не ремонтировать, дефект, как потом я узнал, был допущен при монтаже — и ничего, обошлись, но, по-видимому, решили: здесь-то я и погорю... Очистил я эту емкость, выпарил, промыл с содой тоже с грубейшими нарушениями, а из начальства никто и близко не подходил — чтобы не засветиться. Когда все было готово, взяли анализ воздушной среды в этой емкости — все чисто, можно ремонтировать. Но долго что-то тянули резину... (Я тогда не подозревал, что тут затевается.) Хорошо помню: за день до трагедии я хотел спуститься в эту емкость и замерить размеры латок, которые нужно было внутри ее наварить, а голос — явственный, отчетливый, требовательный голос — говорит мне: «Не лезь туда! Никто тебя не заставляет — не лезь!» Помню, я этак даже удивился: так называемый внутренний голос во мне развит — в страданиях — необычайно, но это было уже нечто иное, не только внутреннее. Потом-то я все сообразил и уяснил, а пока... И я в эту емкость не полез, потому что при очередной попытке мне было сказано уже нечто обидное, поскольку верное: «Какой же ты все-таки дурак! Другие сачкуют по-черному, а тебя никто не заставляет — и ты лезешь... Дурак!»

Что дурак — с этим я был согласен. И не полез.

На другой день утром приходят механик и сварщик и говорят: сегодня начинаем ремонтировать эту емкость. Кто, как, зачем и почему превратил меня в изощренного артиста — это я теперь понимаю, а тогда все неосознанно, чистойшей воды экспромт. Сперва я сказал просто: «Но мы еще не решили — латки будем ставить или так обварим?» А дальше зачем-то выдаю грубейшую лесть, но тонко играю, поистине как артист: «Ты сварной, ты у нас профессор, тебе и решать. Решай. Если латки, то нужно замерить, потом вы пойдете в цеху вырезать, а я здесь буду подготавливать все к работе».

Так мне больше никогда не сыграть. У сварщика в зобу дыханье сперло, и он — осведомленный во всем, что здесь затевалось, как потом я убедился, — забыл обо всем (для того я и играл!) и говорит с полным сознанием своего достоинства: «Латки будем ставить». «Хозяин — барин, — говорю. — Давайте спустимся, замерим». И механик, тоже осведомленный если не во всем, то во многом из того, что здесь затевалось, тоже подпал под эту мою игру, забыл обо всем и говорит: «Давайте спустимся, и я посмотрю».

Есть еще одна замечательная русская пословица: Бог, прежде чем наказать, отнимает разум. Здесь именно это и произошло. Ничем иным я не могу объяснить, почему они, зная обо всем, о том, что в цистерне уже подготовлена горячая смесь, — почему они туда полезли, а сварщик, как оказалось, еще и с горящей сигаретой!..

И еще есть русская пословица: не рой другому яму — сам в нее попадешь.

Замыслилось же здесь — по моим предположениям — вот что: перед началом работы мы должны были бросить в емкость факел, произойдет выброс огня, и тогда меня за плохую очистку емкости — убрать. Если же я по неосторожности в том огне сгорю — туда мне и дорога: прикрытие у этой шайки в правоохранительных

органах, как потом я убедился, было. Объяснение простое: сам полез, никто его не посылал: механик и сварщик скроют, что приходили, откажутся.

И вот полезли мы в емкость. А голос непрерывно и требовательно говорит мне: «Не лезь туда! Не лезь туда!» — но я ничего не слышу; вернее, слышу, но не реагирую. Сварщик спустился по лестнице первый, а за ним хотел спускаться я, но голос требует и гремят небесные колокола, и я у люка этак замешкался, и вместо меня полез механик, а я стал поддерживать лестницу и вентиляционный рукав, нагнувшись над горловиной, чтобы механик не запачкал костюм (он был в чистом). А голос требует: «И не держи! Не шестери, отстранись!» И была у меня еще секундоочка отстраниться, отпрыгнуть от люка, но я не послушался, и в этот момент взрывом, мощным выбросом огня ударило мне в лицо! — я отпрыгнул от люка, зажал лицо ладонями от адской боли и упал на землю ничком, а потом вскочил и увидел страшную картину: механик (уже совершенно голый! на нем вмиг сгорела вся, буквально вся одежда: такова была сила, температура огненного выброса!) вздымает обгорелые, с ошметками кожи руки из горловины емкости и кричит мне: «Вытащи меня!!! Спаси меня!!!» Я дико закричал, сколько позволяла адская боль в обгоревшем лице и голове, сбежались люди...

Механик обгорел на 96 процентов и умер, мы со сварщиком получили несмертельные ожоги и вылечились. Но умей я в ту пору слушать голос и повиноваться ему — я бы совсем не пострадал...

Но дело не в этом и не для того я рассказываю.

В больнице я пережил этакую эйфорию. Во-первых, у меня осталось нетронутым зрение. Голова черная, обгорелая, как крестьянский чугунок, и трюшко веки, глаза целы: так плотно успел я их зажмурить. Но главное не в этом. Этот взрыв произвел и в моей душе взрыв, и началось извержение, которое я неосознанно подготавливал, можно сказать, всю жизнь.

Доверюсь-ка я лучше более сведущим в этом деле людям и процитирую:

«Надо изнутри себя взорвать некие ключи, надо, чтоб внутри тебя началось извержение Везувия. Внутри себя делай глубокую шахту, чтоб огонь вырвался и твой ум и сердце разжег через себя, в себе; своим подвигом найдешь ты Бога, поймешь, что все в Нем. Стяжав Бога, восхитив царствие небесное в душу, оставишь как детские игрушки и все твои теперешние недоумения относительно «данных современной науки» и утверждений религии» (Б. Шергин);

«Древнее библейское провозвестие говорит нам о том, что мы можем совершить внутренний переворот и сказать бытию — да. Довериться тому, что кажется страшным и грозным. И тогда через хаос, через абсурдность, через чудовищность жизни, как солнце через тучи, глянет око Божье» (А. Мень).

Взрыв в цистерне был как бы детонатором или искрой для взрыва, переворота в моей душе. Годами в неимоверных страданиях, в неустанной работе над внутренним моим миром, в противоборстве с развратной окружающей средой неосознанно подготавливал, накапливал я взрывоопасную смесь, необходимую для такого взрыва, переворота. В коротком рассказе об этом не расскажешь подробно, но в общих чертах и о некоторых моментах — скажу.

Главное — теперь я отчетливо, однозначно увидел, ощутил: на этот раз ни о какой случайности и речи быть не может — вмешательство неких Высших Сил было очевидно, не погиб я в огне не случайно, я нахожусь под охраной, под покровительством этих Высших Сил. Открытие это было для меня ошеломляющим на первых порах и, может быть, самым счастливым временем в моей жизни. Близкие, навещая меня в больнице, ожидали застать меня подавленным, мрачным, убитым и очень удивлялись, видя меня счастливым. Не мудрено было удивиться: черная, как чугунок, обгорелая голова, слезающие ошметки обгорелой кожи — и счастливый, блаженный смех пострадавшего. Им я не говорил о причине моего счастливого состояния («Радуюсь — глаза целы!»), а я был действительно и настоящим счастливым счастлив этим необычайным открытием. Ибо это был действительно переворот в моей душе, многое мне теперь открылось и предстало совсем в другом свете и смысле, и ушли страхи из моей души. Тут же в больнице я спокойно, без малейшего страха и паники предотвратил три покушения на мою жизнь, и сделал это просто, буднично, спокойно — будто только тем и занимался, что предотвращал покушения на мою жизнь. Счастье и беспечность ни на минуту не покинули меня и тогда.

Всегда бы так!

Все, оказывается, гениально просто: мне была заблаговременно дана информация об интоксикации. Именно — д а н а, а не с л у ч а й н о прочитана или прослушана по радио; теперь я это так и называю — д а н а. И именно заблаговременно — незадолго до того, как она мне понадобилась, то есть перед тем как нам погореть. Теперь я и не вспомню — прочитал я где-то про интоксикацию или в ночной бессоннице вполуха радиопередачу прослушал. Да это и не важно: форм и способов подачи информации для мыслящего человека у этого Нечто множество, и, по-видимому, чем обширнее интересы такого человека, тем больше способов и форм подачи нужной ему информации.

В больнице я, естественно, задался вопросом: а дальше что эти бесы предпримут? Вернее, не задался вопросом, а задал вопрос и прислушался, учась воспринимать, и получил ответ: интоксикация... Дальше — элементарная мысль. При ожогах главное — уровень интоксикации, и все заботы врачей — снизить его, этот уровень, до приемлемых величин. Смертельный уровень интоксикации начинает идти при ожогах тела на 50 процентов и выше. У меня примерно 20 процентов — чепуха, можно и без капельницы обойтись, что я и сделал. Но если увеличить искусственно интоксикацию... А как можно увеличить? Через еду и питье, приносимые сострадательными товарищами по работе... И так я трижды — спокойно, без страха, без паники — предотвратил три покушения на свою жизнь. Первый раз — грибочки, другой раз — пришли умершего в реанимации механика помянуть (сварщик, который погорел вместе со мной и лежал рядом, неблагоприятную роль сыграл в этой операции, чем окончательно выдал передо мной себя, теперь я увидел: и он и механик были с ними...). В третий раз я просто поменял местами одинаковые продуктовые передачи от профсоюза: сварщику — свою, а сварщика — себе. А завтра утром забегали врачи и медсестры: у сварщика пошла большая интоксикация!.. Три капельницы ему влили — живой.

Теперь я по-новому взглянул на всю свою жизнь, пересмотрел все — и большие и малые, и подобные и иные, их было великое множество! — случаи и моменты и отчетливо увидел: оказывается, с каких-то пор (предстояло узнать — с каких именно) все непостижимым, удивительным образом оборачивается рано или поздно в мою пользу — даже явные мои просчеты, ошибки и прогляды! — а в экстремальных, смертельно опасных моментах это Нечто защищает меня, не дает погибнуть или низко пасть. Так, к примеру, от той банды, которая круто вербовала меня, а потом, видя, что я из неподдающихся, хотели меня «опустить», я отбил и ускользнул от них не за счет своих личных каких-то качеств, как я считал (там и не таких ломали), а именно из-за этого вот покровительства. Сам бы я не отбил и не сообразил уехать подальше (из Сибири в Грузию), уехать внезапно, никому не говоря ни слова, что я и сделал, но сделал бессознательно, по беспечности, как считал, а на самом деле это Нечто вело меня и охраняло. Зачем? Почему? А это был пока вопрос. И нужно было сперва установить — для чего? Или — почему? Ошибка в постановке вопроса тут могла дорого стоить, и до этого я тоже должен был дозреть. В одной этой — неверной — постановке вопроса можно было так запутаться, что всё — все приобретения и покровительство, — все шло насмарку; всего разом лишишься, если хоть кроха гордыни укоренится в душе твоей!

И увидел я также (к большому своему огорчению!) прошлые мои страдания, отчаяние, страхи, мучительные бессонницы, нервные истощения (до нуля!) — все то, что так невыразимо мучило меня, доводило до идиотизма, все было напрасно, глупо — если бы знать, что нахожусь я под столь удивительной защитой и опекой! Если бы знать! Но откуда мне было знать, что может быть, что есть, что у меня — такая защита и опека?! Не из кодекса же строителя коммунизма! От религиозной да и от всякой, где можно хоть что-то узнать про эти дивные дела, — от подобной литературы мы были отринуты наглухо, тем более в глубокой провинции, а стало быть, узнать это я мог только, так сказать, чувственным путем, то есть через собственный жизненный опыт, через страдания — иного просто не дано. Будьте вы прокляты, вожди-коммуняки, за одно даже это — что отринули нас, изолировали от лучших знаний, общечеловеческих истин, которые накопило человечество за множество веков, и тем самым ввергли нас в невероятные страдания. Многие из нас — миллионы! — так и стигнули, не узнав ничего решительно и блуждая во тьме! Это чудовищно, но это так: нам, простым, посредственным людишкам, нужно было сделать каждому в отдельности открытия, равные, допустим, открытию Америки, и где же бы нам набраться таких сил и прозрений!.. Вот и гибли, как слепые котятка...

Погиб бы и я, да было, было еще что-то остаточное в наши детские годы и запало, как искорка, в ребячью душу, и жива еще была тетка Матрена, и еще не разворочен был до нуля крестьянский быт и уклад, и были еще отцы настоящими мужчинами... Последующие поколения пришли уже на пустое место, в черный квадрат, где все уже было поставлено с ног на голову... И теперь, теперь — хотя бы теперь! — сумеем ли мы отличить добро от зла или так-таки обречены? Нам, знавшим только зло, не с чем даже сравнить, ибо добра мы никогда не знали... В том-то вся и беда: раб не знает и боится свободы, как нищие духом имеют отвращение к пище духовной... Но неужели, неужели все так безнадежно, Создатель, и мы нужны были лишь для того, чтобы указать человечеству — в который раз! — безнадежный тупик, куда ходить не надо? И был ли это тупик, или то наши вожди-остолопы завели нас туда, куда не надо? Нет нам ответа. Чудным звоном заливаются колокольчик — «поехали!». Опять поехали... Поехали, не зная, кто мы и чего хотим... Куда-то приедем...

Но я отвлекся.

Чувственно я воспринял об этом Нечто все, что могу понять (помог, разумеется, и интеллект), и мне теперь не нужно орать: «Верую!» Ибо я не верую — я ощущаю, я воспринимаю. Присутствие Божье, Духа Святого я ощущаю теперь буквально во всем (и в себе, разумеется), и оно, Бытие Божье, для меня уже не истина, а сам я его частица, как несомненная частица меня самого вот эти руки, печатающие вот эти буквы, и это не религия, не вера, это духоразумение, духоощущение, духовосприятие (как хотите-называйте), без чего я и дня прожить уже не смогу, а оно, это духоощущение, добытое мной такой страшной ценой, не умрет вместе со мной, а крошечной капелькой войдет во Всеобщую Духовную Энергию, которую копит, собирает, умножает многострадальное человечество, и это была цель и смысл моей жизни, только я этого, увы, не знал. Я, как Колумб, приплыл к материку и толком не знал, что это — Индия? Но радость, ощущение счастья открытия были потрясающие.

Да, разумеется, обратился я и к религиозной литературе, благо появилась уже такая возможность, и предварительно по ее подсказкам определил, назвал то, что открыл.

Но важно было и самому определиться в этом чудодейственном Нечто. Определить, назвать, узнать, за что, для чего, почему мне такая честь, — вот что было главное.

Вот здесь — внимание. Без мудрых наставников, хорошо знающих то, что я открыл — а у меня таких наставников не было и быть не могло, — я мог бы нафантазировать, нафанфаронить, гордыни на себя напустить много, но в том-то и универсальность этого Высшего Разума: всякое знание дается человеку вовремя — когда ты до него дорос, когда ты можешь хотя бы вопрос правильно поставить: не — для чего? а — почему? Если бы раньше такое чувственное знание открылось мне, я бы мог совершить роковую, непоправимую, может быть, ошибку, возомнил бы о себе, что я к чему-то там призван, особо отмечен, но к той поре я уже убедился — и тоже в тяжелых страданиях, — что был я, как многие, зван, но, увы, не был, как некоторые, избран, и потому и вопрос поставил теперь правильно, не для чего мне такая честь, опека и охрана, а — почему?

И не только по тщеславию я мог ошибиться и нафанфаронить — по природе нашей русской мог запросто. Ибо, как все мы, русские, и я был устремлен в будущее (мы все живем только будущим, настоящим мы жить не умеем, и это наша беда) и тоже истерзал себя вопросом: зачем живу, для чего?!

А мне подсказывают (ведь я уже воспринимаю!): «Оглянись назад. Вспомни — что хорошего и что плохого ты сделал?»

Оглянулся я назад и увидел... много всякого мусора: так безалаберно я жил. Никакой системы, планов разумных, устоев жизненных — мотало по жизни, как дерьмо в проруби. Но при более пристальном внимании усматривался, выстраивался и некий порядок, направление... Выстраивался он стихийно, но устанавливался и приобретал формы некоей системы, основополагающих принципов. И среди всей этой мешанины добра и зла, которые я за свою жизнь натворил, высветилась, остановила мое внимание («Меня не забудь!») — что бы вы думали? — пословица!..

**«Береги платье снову, а честь смолоду».**

Пословица, в которую я уверовал в детстве, а в юности принял за непреложное правило. (Еще Гринев мне очень понравился! А Швабрин — мерзость, и фамилия такая же.)

Усвоив, что честь (честность) нужно беречь смолоду, я в молодые годы не натворил ничего такого, за что, как говорят, Бог отвернулся от меня и за что пришлось бы расплачиваться, может быть, всю жизнь. Минимальные нравственные основы, заложенные в детстве крестьянским бытом и, конкретно, отцом, я сохранил, и сохранил в экстраординарных, чрезвычайных, можно сказать, обстоятельствах — круглым сиротой в послевоенную разруху и голод. А это было, как теперь понимаю, уже кое-что, а дальше судьба сама повела меня, она сама не дала бы мне низко пасть. Так что я снимаю с себя героический ореол — за то, что впоследствии каждый день, каждый час, всю свою жизнь боролся, бился, чтобы остаться, быть чистым, быть человеком. И бился (и бьюсь, к месту будь сказано) в экстраординарных же обстоятельствах — когда даже элементарная порядочность воспринимается как идиотизм, а в лучшем случае — слабость («Слабо тебе украть — вот и не воруюсь. И мы не воруюем — мы берем»).

Но мало, оказывается — слишком мало! — быть чистым. И не в этом смысл жизни. Цель и смысл жизни нашей — «развивай, совершенствуй себя!».

В этом мне помог отец и помогли обстоятельства. Помню, отец послал своего помощника замерить саженью вспаханное поле. Тот замерил, подсчитал — столько-то соток (у нас в горах поля гектарами редко считали). Отец ему говорит: «Не может быть, там меньше. Как ты мерил?» Тот отвечает: «Замерил длину, ширину, помножил». «Ага! — говорит отец. — А поле-то разве квадратное? Оно углом. Как замерить площадь треугольника?» (У отца у самого образования было «три класса, четвертый коридор», но кто-то его, по-видимому, просветил про площадь треугольника.) Подзывает отец сводного моего брата и спрашивает: «А ну скажи, как замерить площадь треугольника». Тот (уже проходили) отчеканивает: «Замерить высоту и основание, помножить и разделить на два»; «Вот, — кричит отец своему помощнику, — вот что делает образование: пацан, а знает больше нашего с тобой!»

Помню я и то почтение, которое отец всегда испытывал перед образованными людьми. Никогда не допускал насмешки над ними, какими бы неловкими они ни были...

И обстоятельства помогли. Не бывает худа без добра. Как круглый сирота и хромой, я рано познал одиночество, привык к нему и даже пристрастился. В одиночестве человек приобщается к духовным занятиям, и ему уже не страшна скука — самый страшный бич человека. Досуг, свободное время, без духовных занятий порождает скуку, а скука порождает зло и преступления. Скука заставляет человека взбадривать себя вином и наркотиками, а это само в себе зло, и зло губит человека. Мое поколение погибло в основном от скуки. В рабочих поселках и городах, куда мы переселились из деревень после отмены социалистического крепостного права, у нас появилось свободное время, а к духовным занятиям мы не были приобщены, и свободное время породило в нас скуку, а скука пристрастила к пьянству. К тому же коммунистам нужен был раб, а лучший раб — это алкоголик: с ним в любой момент можно расправиться — методом алкогольным... К тому же зачем мучиться, развивать там разные «социальные сферы», когда можно просто: разлил побольше сучка и бормотухи — пей, весели душу, на Руси спокон веков «веселие — питье». И экономика экономна: заработал какие гроши — пропей. Конечно, мы будем тебя прорабатывать, воспитывать, но помни: пока ты пьешь, ты для нас — социально близкий...

Пристрастившись в одиночестве к чтению и иным духовным занятиям, я не стал социально близким этим бесам.

Одиночество приучает к размышлению, а это главное в самосовершенствовании. Одиночество приучает к наблюдательности, созерцанию и... к молчанию, а в молчании слышнее Божий Голос.

И наконец, именно в одиночестве (а не в стаде) понял я и принял самое-самое главное: никто и ничто не освобождает человека от личной, персональной ответственности за все его поступки и дела — ни компания, ни коллектив, ни тусовка, ни партия! — только ты сам — один и единолично! — за все в ответе. «Нам партия велела». Но это вам, стадным, она велела, и вы делали гадости и преступления; нам она даже и велеть такое не смела. Она, партия, знала, кому велеть; вот это она хорошо знала, отбор был совершенный, метода отработана — ошибки исключены: порядочный человек изгоняется, порядочных — к ногтю.

Есть общечеловеческие нравственные ценности, знай их и придерживайся — не ошибешься. Не вписываются в них дела твоей компании, тусовки, твоего коллектива, твоей партии — пошли всех подальше, если есть необходимость, и

покинь эту компанию, коллектив, партию. Невыгодно, пострадешь? Ничего, толще кожа будет.

Лично я так и делал. А когда стали круто вербовать в главную банду страны — в партию, — я сказал просто и четко: «В вашу банду я никогда не вступлю». И это, как теперь понимаю, тоже пошло в мой актив.

Множество путей ведут человека к Богу. Самый прямой и легкий — через детское пение в храмах, но мы этого были напрочь лишены и этим обездолены. Нам остались другие — куда более трудные, не прямые — пути, и в этом для нас наша беда и наше счастье. Но ни в коем случае не вина; и ничто и никто не должен, не вправе мешать нам искать эти пути. Ибо за все мы, как и все, расплачиваемся сами. В этом мы перед Богом равны с верующими. Но мы не можем — и в этом у нас существенное отличие от верующих, — мы не можем сказать: «Нам так наша религия велела, учила». Нам никто ничего не велел и никто ничему не учил — мы сами по крупицам добывали наше знание и ответственность за ошибки (злого умысла в наших поисках не может быть) несем напрямую, без посредников. И исповедуемся мы и каемся мы тоже напрямую — перед Богом.

Вот сколько я наговорил и написал, а ведь все это — и не только это, а огромные тома величайших учений! — вмещается в нашу пословицу, в это «про-странство, сжатое до точки»:

«Б о г т о Б о г , н о и с а м н е б у д ь п л о х ».



# ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Б. ЕКИМОВ

\*

## В ДОРОГЕ

**В** конторе вчерашнего совхоза, ныне акционерного общества «Кузнецовское», во время моего пребывания случился небольшой пожар. Конторский народ расходился на обед, и в это время закричали женщины: «Дым! Горим!» Бросил кто-то окурок в одном из кабинетов, стала тлеть бумага. Быстро вскрыли дверь. Ведро воды — и робкому еще огню конец. Дым скоро выветрился.

А вот в самом «Кузнецовском» горит и дымит давно. Считай, целый год. «Пожар» этот виден даже в областном центре, за семьдесят километров. Не раз слышал я: мол, в «Кузнецовском» Иловлинского района делятся — никак не разделятся. Клочки земли понарезали, теперь драка за землю, за технику, милицию приходится вызывать.

Приехал я в Кузнецы. Январь, 1993 год. «Пожар» сам собою утих. Потушили его не люди, а время. Как тушат пожар низовой, глубинный, долгие осенние дожди, снег; но дремлет огонь невидимый, угли его тлеют до времени, до поры.

Разговоры были спокойные. Никто никого особо не клеймил, сознавая очевидное: бывший совхоз «Кузнецовский» распался, и на землях его возникли три объединения — акционерное общество «Кузнецовское», то есть бывший совхоз, ассоциация фермерских хозяйств (тоже «Кузнецовское») и товарищество на хуторе Широковский. Между ними и шла война.

— Идет война народа с администрацией, — определил распря один из ее участников, понимая под «народом» ассоциацию новых фермеров ли, крестьян, руководимых М. А. Хабаровым, под «администрацией» — бывший совхоз со всеми его структурами.

— Прислали милицию, меня с хлебного поля гонят, а я на этом поле четверть века пахал и сеял, — говорит рядовой механизатор.

Кто его гонит с помощью милиции? Бывший совхоз, его нынешнее руководство.

Итак, вроде бы все яснее ясного: борьба старого с новым, партocrats с народом. Только в «народе» оказались: бывший директор совхоза, главный агроном, замдиректора, заведующий МТМ.

— Мы, совхоз, хозяева. Кто хочет уходить, пусть берет землю и технику, какую дадим. Но командовать, своевольно брать не позволим. Нам работать, — говорят руководители нынешнего совхоза.

— Мы хотим, чтобы у наших людей остались те машины, на которых они работали, — требуют «выходцы» из него.

Бывший механизатор П. Н. Шлепин (теперь на пенсии, но работает фуражиром) заявляет решительно:

— Новые фермеры — это не народ, а помещики. Хотели помещиками стать. Главный агроном, завмастерской, директор с ними, замдиректора. Все в их руках было, они всю технику забрали себе. А мы с пустыми руками остались. Сенокос подошел, а траву косить нечем. Хлеб убирать нечем. Землю пахать — хоть лопатку бери. У пенсионеров они повыманили паи, наобещали им коров, соломы, сена — златых гор. А ничего не дали. Механизаторов тоже заманили брехней. Сейчас все назад бегут.

— В фермерство, а вернее в их ассоциацию, сначала ушло много механизаторов, — вспоминает нынешний главный агроном. — Почему? Им наобещали скорых больших заработков. Ведь если ты фермер, тебе и налог не надо платить, и кредиты государство дает под малый процент, и зерно продавай кому хочешь, а не государству по твердой цене. Но быстрого богатства не получилось. Наши механи-

затары, те, что остались в совхозе, заработали хорошо. Глядя на них, стали возвращаться ушедшие.

— Да, — соглашается руководитель фермеров Хабаров, — нас осталось всего двадцать шесть человек. Но это твердый костяк. Те, кто выстоял. Ведь мы работали, а почти ничего не получали. Нас давили со всех сторон и чем могли. Но мы не надеемся, а твердо знаем, что выстоим и будем работать. Мы озимых посеяли почти в два раза больше, чем совхоз. Будем работать по-новому, как задумали.

Чего же они хотели?

Как и по всей стране, осенью 1991 года начались в совхозе «Кузнецовский» разговоры о реорганизации. Декабрьский приказ из Москвы был строгим: с колхозно-совхозной системой покончить за год. А перейти к чему? Думается, как и везде, будущее виделось в тумане. А тут, как на грех, в совхозе оказалась «лишняя» земля, которая уходила к районным властям, в фонд перераспределения, для создания фермерских хозяйств. И немалый кус — 8 тысяч гектаров.

Решили создавать ассоциацию фермерских, крестьянских хозяйств и производственных кооперативов, работающих совместно, на тех же землях. Вроде тот же совхоз, но уже из свободных фермеров, вышедших из хозяйства, а значит, можно оставить у себя «лишние» 8 тысяч гектаров земли и получить все преимущества, которые фермерам положены: отмена налога на пять лет, льготные кредиты и прочее.

Придумали все это, конечно, не механизаторы, не скотники, а руководители. Объясняли преимущества, новизну: вместо звеньев товарищества (полеводческое, животноводческое), отношения между ними договорные, у каждого свой счет. Руководство выборное.

Говоря о туманном будущем такого проекта, я вспоминаю недавнее прошлое, когда были в колхозных подразделениях свои чековые книжки, взаиморасчеты и прочее. Все минуло, не оставив следа. Это факт. Но категорично ставить крест на задуманном в Кузнецках не могу, потому что работающим на земле людям и специалистам виднее. Им работать и жить. Тем более что перемены в хозяйстве были нужны. Ведь рентабельность производства в нем — 6 процентов, удои на корову — 1,5 тысячи литров, среднесуточный привес крупного рогатого скота — 300 граммов, а привес свиней и вовсе цифра, которой трудно поверить: 14 граммов.

М. А. Хабаров, нынешний председатель мятежной ассоциации, а в пору начала преобразований — главный агроном совхоза, и сейчас уверен, что дело было задумано стоящее. И не только задумано, но и воплощалось в жизнь: проводили агитацию, разъясняли людям. Начали подавать заявления в районный земельный комитет, получали землю в собственность, но работали по-прежнему вместе: пахали, сеяли. Создавали вместо привычных звеньев товарищества, выбирали в них руководителей, утверждали взаимные договоры, но работа, повторю, шла, как и прежде, вместе. За зиму провели два собрания. Теперь никто не докажет, с кворумом они прошли или без кворума. Но пока — в согласье.

Но вот уходит прежний директор совхоза. (Другие скажут: «Директора убрали районные власти, потому что он не хотел их слушаться».) С уходом директора появилась оппозиция новому курсу в лице руководящего состава. Может быть, потому, что подошло время выборов руководства всего хозяйства.

И мне было сказано жестко, впрямую:

— Выборность руководства была не всем руководителям по нутру. Ведь могли и не выбрать. Могли спросить, например, чем кормит главный специалист двадцать голов крупного рогатого скота на своем подворье. Откуда берет корма? У одного двадцать голов одной лишь крупной скотины, не считая овец, коз и прочего, а у другого — одна корова. Значит, счастье и нажиток не тому, кто лучше работает, а тому, кто, пользуясь властью, может свободно взять или, пользуясь вседневными порядками, украсть совхозные или выпросить у начальника.

Это дело (нажиток, скотина) очень серьезное, называется оно — наша сельская жизнь, где на зарплату не проживешь, а спасение — «второй фронт»: личное подворье.

— Мы хотим честно работать, честно зарабатывать, не воровать или кланчить, — заявляли сторонники Хабарова.

— Хотят стать помещиками, — говорили другие.

Летом 1992 года состоялось третье совхозное собрание. Там грянул бой. Загорелось в открытую.

Если раньше разговоры шли тихомолком (о «помещиках», которые хотят все заграбастать, о том, что совхозы «в Москве запретили», не уйдешь в фермеры — и все пропадет, с пустыми руками останешься) — теперь пошел бой открытый. Ставка была серьезнее некуда — жизнь, которая не кончается. По-прежнему надо будет есть и пить, детей растить. И все это при нынешних сумасшедших ценах. Да и земле этой отдано столько лет и трудов — своя, родная. Другой нет. Тем более если на душу

полагается по 14,4 гектара пашни, по 2 гектара «золотой» орошаемой земли, 1,4 гектара сенокоса, большой кусок пастбища. Да еще имущественный пай. Это не бумажный ваучер. Это весомое, очевидное, не одним поколением найткое. Есть за что драться. В результате третьего собрания народ разделился почти пополам: 47 процентов — за фермерскую ассоциацию, остальные — за прежнее единение с новым названием «акционерное общество».

Тут пошла стенка на стенку, кто кого одолеет.

В хабаровскую ассоциацию фермеров ушли большинство механизаторов, захватив с собою собственной волею тракторы, комбайны, другую технику. Она ведь всегда при дворах стоит. Попробуй отними. Повод простой и весомый: «Я на нее жизнь поклял. Работал и буду работать. Никому не отдам».

Но земли, посевы на них, склад горючего, мастерские, банковские счета — все в руках бывшего совхоза. Спели хлеба.

— Мы пахали это поле, культивировали, сеяли, значит, оно наше, — говорили механизаторы-«выходцы». — Мы и будем убирать.

— Нет, не будете, — отвечали им. — По закону сеяли не вы, а совхоз. Совхоз и уберет. А уж потом выделим вам землю.

Понимали, что друг без друга не смогут провести уборку: у одних в руках техника, другие сторожат свои хлебные поля. Поэтому заключили договор о совместной работе, который продержался лишь день-другой. Страсти взяли верх. Уличили друг друга в самоуправстве, воровстве. Расторгли договор. Вызвали милицию, чтобы прогнать «вражеские» комбайны с «моего» поля. Пусть пшеница стоит, пусть осыпается, но «чужое не тронь».

С горем пополам убрали — и губили хлеба, нанимали варягов из задонских чужих хозяйств. Уборка не закончилась и в январе. Кукуруза стоит, ушло под снег сорго, не вспахали под зябь.

И прежде «Кузнецовский» достижениями не блистал, а нынешний «пожар» и вовсе доконал хозяйство. Возвращать надо срочные кредиты, платить проценты. Но из чего? Скотина осталась без кормов. Под нож ее.

Трудно всем: бывшему совхозу, тем, кто ушел оттуда и кто снова вернулся. После летних баталий и осенних итогов ассоциация Хабарова потеряла много людей. Если летом разделились почти пополам, то теперь у Хабарова не осталось и четверти. Возвратились в бывший совхоз пенсионеры, не получив желанного пая. Ушли и работники, поняв, что ассоциация и доходы ее — это еще журавль в небе, а жить надо сейчас.

Время, зимние холода остудили прежние страсти. Прежний совхоз и ассоциация делают землю, делают технику. Конечно, нелегко. Но верно сказал Хабарова:

— Те, кто занимается производством, всегда между собой договорятся, потому что ими правит экономика. А когда просто эмоции, — добавил он, — тогда худо.

Дележ еще не закончен. Пожар погас, но угли горячи. И пламя может снова проснуться. Потому что решается дело великое: земля, собственность, а значит, и ж и з н ь. Тех, кто работал, кто ныне работает и кому завтра жить на этой земле, в хуторе Кузнецы.

Вот, кажется, и вся невеселая история про «пожар» в хуторе Кузнецы. Остается последнее: зачем я туда ездил — чтобы просто вынести сор из хуторского дома? Нет. Чтобы найти виноватого? Да.

Времена нынче иные. Не разборов и оргвыводов я хочу. Но великий передел на нашей земле лишь начинается. И каждый опыт, пусть даже горький, для нас — урок.

Последний разговор в Кузнецях (уже при отъезде, на заснеженной улице) был с пенсионером, бывшим механизатором Николаем Лаврентьевичем Рогожниковым. Он не старец, выживший из ума, а крепкий еще мужик, общительный, энергичный.

— Ваша-то где земля? Ваш пай? — спросил я его. — В бывшем совхозе или в ассоциации?

— Какая земля?.. — не сразу понял он. — Бумажка эта, на какой написано? Отдавал я ее... этому... как его... — стал он вспоминать.

— Кому?

— Ну этот... Петро вроде...

Подошел тут П. Н. Шлепин, призвали его на помощь:

— Кому я землю отдал?

— Может, Тибирькову?

— Нет.

— Хабарову?

— Нет.

— Сашке Хомякову?

— Ему, ему! — обрадовался Николай Лаврентьевич. — Сказали, совхоз распускают, все пропадет.

— В помещики полез? За белыми буханками? — поддел товарища Шлепин. — Как же: корову дадут. Дали?

— Ничего не дали. Бумажку Сашка возвратил, говорит: не пужна ему.

— А теперь в совхоз вернетесь? — спросил я.

— Они вроде не берут.

— И не возьмем, — решительно подтвердил Шлепин. — Нацелился в помещики — туда и шуруй.

— Не берут. Приехал этот, как его... Попов. Говорит: дай. Я отдал. А потом приезжал начальник комплекса, тоже говорит: дай. Я говорю: где ты раньше был?

— А за что отдали? Продали или заключили договор? — добивался я, ведь разговор шел о земельном пае, что заработал этот человек за всю свою нелегкую жизнь.

— Не знаю, — ответил владелец земли и махнул рукой. — Ничего нам не надо. Подышать скоро...

— А подохнем, — вздохнул Шлепин, — опять совхозу хоронить, кому же еще...

— Конечно, — согласился «помещик». — Мы туда жизнь поклади. — И, распрощавшись, зашагал к магазину за хлебом.

Плакать ли тут, смеяться... Над кем? Над «помещиком» Николаем Лаврентьевичем с корявыми от труда руками?

Да все мы такие: и я и вы, мой читатель. Работали, жили... Было вроде бы все — мое. А в руках оказалось — пусто. Потом нас «пожалели». И выстояв, как послушные овцы, очередь, получили мы на руки блеклую бумажку с печатью — всего века нажиток. Теперь вот глядим на нее в городах и весях. Ломаем головы: что делать с этой бедой? Стать то ли фабрикантом, то ли помещиком? А может, сменить на бутылку водки да кус вареной колбасы?

Так что не будем смеяться над Николаем Лаврентьевичем и земляками его. Новая жизнь пришла, их не спросила. Как понять ее?

А ведь «понятливых» много. Целый год пылал «пожар» в Кузнецях. В том огне горел хлеб, скотина. Огонь и дым видны были в районном центре и областном, где высятся этажи руководства: Советы, комитеты, постоянные комиссии, администраторы, представители президента, специалисты по экономике, праву, земельной реформе. В Москве их и вовсе пруд пруди. И один другого умнее. По телевизору днем и ночью соловьями поют. Помочь Николаю Лаврентьевичу — прямой их долг: За это их хлебом кормят, и не коркой сухой, а с маслом да икоркой.

Не помогли. Лишь при случае приводили как негативный пример кузнецовские страсти. Может быть, это проводилась в жизнь мысль одного из руководителей Агропрома, всерьез ли, в шутку высказанная на одном из совещаний: «Надо в каждом районе распустить по одному хозяйству и глядеть, что получится. Для примера».

Пример, конечно, нужен. Но вчерашний колхоз ли, совхоз — это живые люди. Глядеть, как они корчатся от боли?

А еще это живая земля. Ее муки. Вот она — прикрытая снегом, тянется и тянется вдоль дороги. С неубранной кукурузой, сорго, с непашью в Кузнецях. С оставленными подсолнухом, ячменем, картошкой в других колхозах, районах. С погнившим сеном. С неубранной соломой. С запаханными в земле арбузами, капустой, помидорами.

«Акт от 18 ноября 1992 года... Комиссия в составе Государственного инспектора района... главного специалиста райкомзема составили настоящий акт на обследование и использование земли в колхозе им. Калинина... На день обследования в колхозе не убрано: просо — 200 га, кукуруза — 140 га, суданка — 182 га, подсолнечник — 751 га. Итого 1283 га. Вспашка зяби и черных паров составила 49% от плана... Колхоз своими силами не справляется в течение нескольких последних лет».

В течение последних лет не справляется, но когда четыре человека вышли из колхоза, получили землю, купили технику, семена, горючее и вышли в поле весной 1992 года, то «боевой отряд» во главе с председателем и главным агрономом, председателем сельского Совета выгнал законных хозяев с их земли. Вот здесь они «справились», отбив все атаки властей областных и прочих. Пусть все прахом идет, но 847 гектаров богатейшего чернозема никто не получит.

Только не сжата полоска одна...  
Грустную думу наводит она, —

когда-то печалился поэт. Тут не полоска, тут — поля и поля.

Знал, для чего и пахал он и сеял,  
Да не по силам работу затеял.

\* \* \*

Конторский пожар, о котором говорил я, потушен был вмиг. Потому что люди, почуявшие дым, не стояли и не рассуждали: загорится? а может, потухнет? Они не трагили времени зря, а взяли ведро воды — и огню конец.

Когда начинался «пожар» в Кузнецях, потушить его, наверное, можно было в самом начале. Объяснить людям, что жизнь не кончается, что пришли великие перемены и встретить их нужно по-крестьянски спокойно и мудро, всем миром. Объяснить и квалифицированно помочь в разделе земли, имущества.

Передо мной «Манифест 19 февраля 1861 года». Великая крестьянская реформа. Освобождение. Прочитаем последние строки: «Исполнители приготовительных действий к новому устройству крестьянского быта и самого введения в сие устройство употребят бдительное попечение, чтобы сие совершалось правильным спокойным движением, с соблюдением удобства времени, дабы внимание земледельцев не было отвлечено от их необходимых земледельческих занятий. Пусть они тщательно возделывают землю и собирают плоды ее, чтобы потом из хорошо наполненной житницы взять семена для посева на земле постоянного пользования или на земле, приобретенной в собственность».

Сто лет назад русским царем подписано. Нам не указ. Но может быть, хоть в науку тем, кто сегодня должен вводить «новое устройство селян», иметь о них «бдительное попечение», чтобы внимание нынешних земледельцев «не было отвлечено от их необходимых земледельческих занятий». Чтобы завтра могли они сеять «на земле, приобретенной в собственность». Каждому нужно делать свое. Это понимали царь Александр II и его окружение. Понимают ли наши «цари», от кремлевских до районных?

От хутора Кузнецы мой путь лежал на север по асфальту московской трассы. Зимняя дорога скучна: сизое, озябшее небо, короткий, в один взгляд, окоем. Летом вздымаешься с холма на холм, и раз за разом открывается просторная, на полмира, зеленая хлебов и трав, пенятся пахучие поля цветущей гречихи, золотится подсолнух, желтеет и бронзовеет пшеница, серебрится ячмень — будто все друг на друга похожее, сто раз виданное, но всякий раз от холма к холму сладко обмирает душа от земной красоты.

Нынче иное. Километры и мысли текут скучные, особенно после Кузнецов. Вель он не один, такой хутор, такая беда. Приходят на память камышинский «Великий Октябрь», «Логовский» в Суровикине, 2-я Березовка под Филоновом... Сколько их... Знамых, а больше незнамых. Вот они, тонущие в безвестье, в снегах хутора, которые остаются рядом с дорогой, а более там — в конце занесенного снегом проселка, куда зовут указатели: Авилов, Вилтов да Лог, Нижний да Верхний Герасимов.

Мой путь нынче — к Филонову, потом на Алексеевский тракт, в Хоперскую да Бузулуцкую округи.

Когда возвращаешься в родные края после долгой разлуки или приезжаешь в те места, где давно не бывал, первое дело — новости: что да как?

В Алексеевском районе я не был давно, целый год, наверное. Разве не приятно узнать, что станица Зотовская оживает: асфальт к ней пришел, народ появился, и даже храм начали восстанавливать всей округой. А ведь еще вчера лежала станица в забвении, в седых преданиях о былом величии, многолюдстве, о докторе своем — профессоре Протопопове, который лечил станичников всю жизнь и остался здесь на вечном покое.

Как не порадоваться, узнав, что не сдастся хутор Митькинский, живет и работает трудами одной семьи, Петра Васильевича Елисеева. А на Гореловском хуторе, где из живых оставался лишь одинокий инвалид, теперь взяли землю и работают Анфимовы, у которых пятеро детей, восемь внуков, из последних старший — Сергей — уже работник.

И еще одна новость, весьма интересная: четыре колхозных председателя недавно оставили свои кресла и ушли в вольные землепашцы. В. П. Касаткин из «Борьбы» имеет теперь 144 гектара земли, В. С. Аникеев с сыном из колхоза имени Карла Маркса — около 250 гектаров, Ю. Н. Столетов из «Ударника» — 146 гектаров, П. В. Зарецков из «Победы» — 86 гектаров. И все люди серьезные, с долгим опытом руководства в сельском хозяйстве. А некоторые из них еще вчера — ярые противники фермерства.

Проще всего прокукарекать восторженно: новое побеждает! И для такого кукареканья основание есть: ведь не мальчишки ушли, не городские неумехи, а поседевшие в колхозных делах спецы. И не один, не два, а сразу четверо. Подумать есть над чем. Давайте подумаем. А кукареканья у нас всегда хватало.

Первая поездка на землю алексеевскую — в колхоз, а теперь акционерное общество «Дружба» с центральной усадьбой на хуторе Самолшинский. Здешний председатель Евгений Васильевич Легчило молод, красив, легок на ногу, полушубок его — нараспашку. Шесть лет руководит он колхозом. На день моего приезда ни один человек из числа работников не пожелал выделиться из колхоза. (Теперь и далее буду называть все хозяйства колхозами, потому что они коллективны хозяйствуют, не в одиночку; а всевозможные акционерные общества закрытого да и открытого типа пусть останутся для бумаг строго официальных.)

Колхоз «Дружба» энергично строится. Напогляд видны новые школа, детский сад, жилые дома, телятник, свинарники, мастерская, магазин, крытые тока, маслобойка, новые дороги, линии электропередачи. Отопление почти везде электрическое. О дровах да угле у людей голова не болит. Скоро откроется новая столовая. Она уже под крышей. Там же будет кондитерский цех и пекарня.

Я пообедал в старой колхозной столовой за цену нынче смешную — 5 рублей. Эту пятерку в городе не везде возьмут при расчете. Скажут: «Капусту не принимаем». А я поел сытно. (Тут же обедали механизаторы — и вовсе за талоны.) Председателя рядом не было. Разговор я повел о колхозе, фермерстве, хуторской жизни.

— Будем вместе, — ответили мне. — Мы вроде теперь хозяева.

— В такое трудное время разбежаться нельзя.

— Ну, положим, возьмешь свой земельный пай — что с ним делать? Техники нет...

— Над колхозом и то всю жизнь измываются. Я двадцать лет на заправке проработала. Как весна, так и начинается мука: то денег нет, то фондов нет... Это колхозу! А на человека и глядеть не станут.

— Сто тонн первоклассного люцернового сена мы отдали нынче людям бесплатно, — скажет потом председатель. — В этом году ведь не было разлива, для личного скота косить было негде. Теперь решили все луга отдать людям. Колхозу хватит орошаемых участков. Продали людям достаточное количество зерна по низкой цене. Мясо безотказно выписываем по шестьдесят четыре рубля, на рынке вдвое дороже. Газ наши люди получают по льготной цене, электричество тоже. За детский сад совсем малая плата.

Вот, более удающихся, улущая стадо. Доводы председателя очень простые. Вот, более удающихся, улущая стадо. Доводы председателя очень простые. Вот, более удающихся, улущая стадо. Доводы председателя очень простые. Вот, более удающихся, улущая стадо. Доводы председателя очень простые.

Хаос в экономике страны не может продолжаться вечно. Не сегодня, так завтра животноводство будет приносить доход. Я в этом уверен, — говорит Евгений Васильевич. — А во-вторых, мы должны думать о своих людях: вырезать скотину — значит, лишит людей работы. А здесь не город, другой работы не сыщешь. И в-третьих, мясо для нас — валюта. В нынешние времена без него давно бы вся техника на приколе стояла без запасных частей. А мы ведь продолжаем строить и жить получше хотим. Объездили всю страну. Наладили хорошие связи с Нижегородской областью. Получаем от них строительный лес, для людей мебель — гарнитуры да стенки.

Осматривая хозяйство, приехали мы к новым крытым токам и встретили фермера. Он не самолшинский, из соседнего колхоза и хутора. История простая. Убирать подсолнух было нечем, он пропадал. Спасибо, Евгений Васильевич дал фермеру комбайн (конечно, за плату), разрешил сыпать семечко под крышу (тоже не за спасибо). Но семечко было влажное, сушить негде. Оно и прело и плесневело. Такое и свиная есть не будет. Теперь вот очищали от него ток.

Глядя на эту горькую работу, мой провожатый, молодой колхозный шофер, сказал:

— Себя мучает и землю.

— А на тысячу в месяц, как в нашем колхозе, можно с семьей прожить? — разогнувшись, спросил его одногодок-фермер.

Поистине: чужую беду рукой разведу, свою — ума не приложу.

Председатель в разговоре сказал четко:

— Кто захочет из колхоза уйти, пусть берет свой пай и уходит.

Желающих пока нет. «Дружба» живст дружно. При средней заработной плате в 1992 году около двух тысяч рублей в месяц. (Средний заработок промышленного

рабочего в нашей области был тогда более 5 тысяч рублей.) А значит, колхозник в «Дружбе», на других хуторах и в селах едет на козе. При чем тут коза? Объясню.

Когда едешь на север нашей области по московской трассе, то Михайловку не проглядишь. Там на высоком холме стоит фанерная ли, жестяная доярка с молочным бидоном. Что-то вроде монумента. Я давно думаю, что там или на другой какой горе, у Калача ли, Серафимовича надо поставить памятник донской пуховой козе. Да-да! Именно ей — рогатой, настырной, с выгнутыми глазами. Это она спасла и ныне спасает наши донские хутора, брошенные всеми властями — прошлыми, нынешними, земными и небесными. Ведь не надо быть больно грамотным, чтобы понять: колхозная зарплата прошлая и нынешняя — это филькина грамота. Никто на эти деньги не жил и не проживет. А вот бабными руками связанный пуховый платок — это деньги, прожиток. И тогда, когда он стоил 50 — 70 рублей, и теперь, когда за него можно несколько десятков тысяч взять.

Когда зимними вечерами хуторяне приводят козу в хату, валят ее на пол и всей семьей щиплют пух, рогатая от боли ревет. А ей внушают: «Терпи, Катька, такая наша жизнь». Подчеркну — н а ш а. Одинаковая у козы и у крестьянина. С тех и других живьем пух ли, шкуру снимают.

И прежде и теперь песня одна: «Свяжем платок, продадим и угля купим... Продадим и сына-дочку обуюм-одедем». И сам голый ходить не будешь. Цыгане ли, армяне (а теперь и наши) ездят по хуторам, меняют на платки, на пух красивые свитера, женские сапожки, цветастые шторы — все, чем обделяла и обделяет хуторян магазинная торговля.

В нынешний мой приезд на одном из хуторов муж упрекал жену:

— Тягаешься на эту ферму, с утра до ночи там, а больше двух тысяч не получаешь. Сидела бы да вязала платки. И дом с хозяйкой.

На другом хуторе жена-учительница мужа-тракториста корила:

— Две тысячи принес, это позор. Мне повысили, целых двадцать получила. Лучше бы дома сидел да за скотиной глядел. Да вязал бы... — И объяснила мне: — Он умеет. На машинке хорошо вяжет.

А те, кого корили малой получкой, доярка да тракторист, лишь вздыхали. И все, я в том числе, знали, что заплати им завтра еще меньше — все равно на работу пойдут. Здесь не только «привычка к труду благородная», но ясное понимание: уйдешь с колхозной работы — сразу лишишься сена, соломы, зерна, а значит, не сможешь держать ту самую козу Катьку, без которой семье погибеть.

Красивая легенда о том, что 3 процента земли личных приусадебных хозяйств дают 30 процентов производимого в стране мяса, молока и прочего, — не более чем легенда. Основой любого личного подворья, его твердым фундаментом, стержнем, являются колхозные угодья и колхозные машины с запчастями, горючим; все убираемое, убранный и брошенный, все, что плохо лежит и завтра все равно пропадет: кукуруза, силос, подсолнух, сенцо, дробленка, комбикорм, сенаж — все стодит-ся и вপুরу на своем подворье. И чем богаче подворье, хозяйственной мужичок, тем более зависим он от колхоза. Без него не прокормишь три-четыре, а то и пять коров (если рядом город, поселок, то базар заберет молоко, сметану, каймак, творог), без колхоза не выкормишь десяток-другой свиней, табун гуляка. Такие подворья есть, и они не редкость.

На областном 1991 года совещании фермеров выступил чеченец, даргинец ли, словом, человек кавказский, и с гордостью сообщил, что он уже двадцать лет на этой земле фермерствует подпольно, занимаясь козами, которых у него не десятки, а сотни.

А эти две сотни, три, даже пять сотен коз (я видел такие стада) — где и чем они кормились и кормятся? Один человек в силах ли накосить на 500 голов? Вопросы детские. На колхозных угодьях, на его полях все паслось, с колхозных гумен везлось днем и ночью.

На хуторе Большой Набатов долгие годы проживал всем известный Ибрагим. Скотины держал несчетно. В совхозе не работал. Косы в руки не брал. Таких Ибрагимов на нашей земле — легион.

Выписка из районной газеты: «Поезжайте на хутор Логовский и посмотрите, какие стога стоят у дворов коренных жителей и что запасено чеченцами. А потом сравните количество скота у одних и других. У чеченцев скота в 2 — 3 раза больше, чем у коренных жителей, а кормов или нет вовсе, или в 2 — 3 раза меньше. Как же думают они зимовать? Да так же, как и раньше. За счет совхозного гумна». Поехали, посмотрели, верно-неверно, но посчитали. «В хуторе Логовский 12 чеченских семей, у них — 129 голов крупного рогатого скота и 1479 голов овец и коз. У 92 семей местных — 103 головы крупного скота, 519 овец и коз... Когда некоторым чеченцам был задан вопрос: «Где берете корма?» — никто из них не мог дать вразумительного ответа».

Когда в Задонье, на хуторах Большая Голубая, Евлампиевский, Осиновский и других руководство совхозов убирало овечьи отары, гурты крупного рогатого скота, а

значит, и совхозные гумна, корма, чеченские семьи со всем своим добром сразу же уходили с этих хуторов.

Большинство наших людей помногу скотины не держат. Но корова Манька, бычок, козы, пара-тройка хряков и птица — единственно надежная экономическая основа сельской семьи. Продашь удачно пуховой платок ли, свиную тушу — вот тебе и доход.

Колхозные же заработки в большинстве своем пока что смешные. Их практически нет. Селянин по-прежнему зарабатывает на жизнь, ищача вторую, после колхозной, смену на своем подворье с лопатой, вилами, мотыгой — с тем нехитрым снарядом, какой находят археологи на раскопках древнего Рима, Египта... Он, этот снаряд, и нынче на подворье хутора ли Павловского, Кузнецов или Малой Бузиновки. Но сельское подворье за долгие годы «социалистической аграрной политики» надежно присосалось к колхозному организму. И порой уже не поймешь, где здесь чье: чей трактор у двора? чьи телята пасутся и в чьем зеленом ячмене? чьи это гуси на все лето прописались у колхозного амбара, потом на току? чье это сено в кипах? чье молоко несут с фермы доярки? чью дробленку развозят среди бела дня скотники по дворам? Вопросов не счесть. Ясно одно: все наше общественное сельское производство, разваленное и еще живое, держится на практически бесплатном, а значит, непроизводительном труде многими способами закабаленных людей, которым сегодня и вовсе некуда податься. Города их уже не ждут.

\* \* \*

Распрощавшись с колхозом «Дружба» и его председателем Е. В. Легчило, раскулаченных дедов которого увозили в эшелонах на Север и на Восток (он из тех редких счастливых, чьи матери все же вернулись на родину через годы, разжижив свой казачий замес, отсюда и фамилия — для Дона чужая, но та же кровь), — распрощавшись, отправимся на Бузулук, в бывший колхоз имени Карла Маркса, а нынче «Восход», конечно же, акционерное общество.

Строки из письма: «Наш «Восход» превращается в «Закат». Ушел председатель колхоза в фермеры, за ним — наш заведующий свинофермой. О колхозе они не думали. Летом ремонт помещений на ферме не проводился. Ведро доброго нет, гвоздя не сыщешь. Нечем старые дыры на ферме латать. Ни сена, ни соломы не заготовили. Все под дождем пропало, превратилось в ледяные глыбы. Начался падеж крупного рогатого скота, и свиньи по-другому захрюкали. Решили избавляться от животноводства. Сдаем на мясо, продаем. А значит, готовимся к безработице. Грошовой зарплата, и ту не дождешься. А что будет завтра? Частная собственность, фермерство? Только об этом и слышишь... Да разве можно продавать землю?! Никогда она не попадет в руки крестьянину. За какие шиши я ее куплю? За ваучер? Так я его давно отвез на базар, выменял на аккумулятор. Вовремя успел. На другой выходной уже три ваучера за аккумулятор просили. Землю не мы купим. А значит, готовиться в батраки. Колхозы, один черт, обречены».

Может быть, адресат мой, колхозный свинарь, стущает краски, не видя общей картины? Послушаем, что говорят люди, сидящие выше, из разных краев нашей области:

— Сегодня животноводство переживает трудности, которые сравнить можно только с разгромом, — говорит главный зоотехник сельхозкомитета Суворовкинского района. — Сокращение поголовья из месяца в месяц набирает темп. За год на девять процентов сократилось дойное стадо. От семнадцати до тридцати шести процентов сократились гурты в колхозе имени Суворова, совхозах «Солонцовский», «Бурацкий», «Красная звезда». На двадцать пять процентов снижено свиноголовье. На восемнадцать процентов сокращено поголовье овец. Причин тому много. Руководители хозяйств больше упирают на неразбериху в современной экономической политике. Но на мой взгляд, основная причина: нежелание руководителей всерьез браться. Полученная самостоятельность позволяет сворачивать животноводство. Падеж скота, бесконтрольность, халатность... Район потерял целое хозяйство.

— Четкой перспективы не вижу, спад производства нарастает, — заявляет руководитель районного сельхозкомитета из Котельникова. — Колхозы и совхозы на грани развала. Поголовье дойных коров за год уменьшилось на девятьсот голов, удой снизился на шестьсот литров. Мясное поголовье крупного рогатого скота значительно снизилось. Свиноводство как отрасль идет под нож. На корма нельзя жаловаться, обеспечение выше, чем в другие годы.

Председатель комитета по сельскому хозяйству Ленинского района вторит своим коллегам:

— Колоссальный ущерб несут хозяйства от падежа. Это явление достигло катастрофических размеров. В АО «Степное» из 29 356 овец за пять месяцев пало 4870. В совхозе «Колобовский» из 14 915 пало 4166. Всего по району падеж —

19 703 овцы и тысяча с лишним голов крупного рогатого скота. Причина: недостаток заготовленных кормов. Бывают перебои с водопоем. Не обходится и без халатности. Объективных причин пруд пруди, поэтому установить виновных невозможно.

Так что у рядового ли, колхозного свинаря и у руководителя района песня одна. Теперь личные впечатления.

Хутор Павловский стоит на берегу Бузулука. Просторные подворья, добротные дома. А вот и свиноводческая ферма, от которой остались рожки да ножки. Запущенные строения, на выгульных базах по брюхо в грязи бродят тощие свиньи. Глаза бы на них не глядели.

Но жизнь продолжается. По утрам на работу сходятся люди. Оставшихся свиноматов, поросят надо ведь кормить. Конечно же, все вручную: ведра, лопаты, вилы. Но это дело привычное. Другого не знают. Горше иное: вчера была определенность, а нынче с недоумением и страхом глядят в завтрашний день. Вот-вот последних свиней увезут на бойню — что тогда? Не столько потеря грошовой зарплаты страшит, сколько потеря места работы: плохо ли, хорошо, оно помогает держать хозяйство домашнее, без которого — гибель.

Перед работой сходятся и не первый уже день и месяц гадают: как быть? Ферму забрать на коллектив? С радостью отдадут. Но что от этого проку? От свиней в колхозе одни убытки. Взять бы трактора, землю, на ней корма выращивать, может, тогда бы...

Если бы да кабы... Неподалеку, в соседнем районе, по весне поделили колхоз. Свинарник назвали кооперативом «Озерный», коровник вроде «Надеждой», полеводческую и кормовые бригады тоже как-то красиво. Но по осени оказалось, что кормов вовсе нет. Скот пришлось отправлять на мясокомбинат. Остались пустые стойла и безработные люди.

Может быть, поэтому и здесь, в Павловском, дальше туманных рассуждений «если бы да кабы...» бояться идти. С тоскою ждут, что даст Бог ли, правление или другие власти. И не надо их особо винить. Они прожили жизнь в колхозе. Не хозяева — лишь работники.

Не лучше идут дела и на ферме крупного рогатого скота. И есть ли там выход? Что будет завтра с хутором Павловским и его людьми? Сомнений моих не мог рассеять и молодой председатель «Восхода», по образованию экономист. Да и в помощь ли образование, когда в стране один «экономический» закон: хватай за горло и требуй, тогда получишь. Селяне в таких вещах не больно сильны. Это не шахтеры, не авиадиспетчеры. Они терпеливы, судьбе покорны, легко поддаются на уговоры да обещания.

Может, и впрямь им дорога в батраки, а если помягче и без политической окраски, то — в наемные работники. Какими, к слову, и были они всегда. Лишь хозяин поменяется. Значит, должен прийти хозяин на хутор Павловский. Где он?

С одним из новых хозяев, В. С. Соловьевым, сидим мы и рассуждаем о жизни на селе. В прошлом работал Валентин Степанович экономистом, председателем колхоза, партгором. Весной 1991 года взял землю и стал хозяйничать на ней вместе с двумя родственниками. Работой и результатами он доволен. В 1992 году 75 тонн пшеницы сдали государству, урожай озимки 32 центнера с гектара. Для здешних песков очень хорошо. Для трех работников 120 гектаров — это мало. Но кто еще землю даст? Вся она поделена на паи.

На дверях павловской почты видел я объявление: «Принимаю земельные паи у пенсионеров. Оплата по договору. Обращаться к В. С. Соловьеву». Тут же на почте, под теплой крышей поговорил я с двумя пенсионерами.

— Отдадите свой пай? — спросил я их.

— Не отдадим. Колхоз за газ доплачивает, зерно дает, солому, сено, выписывает мясо, молоко. А отдашь — и останешься с таким.

Все же шесть человек согласились отдать свои земельные паи. Соловьев заключил с ними договор, определив, сколько зерна, сена, соломы даст им осенью.

Сегодня отдали паи. Но ведь завтра могут забрать, как это сделали пенсионеры в Кузнецках. Верит ли Соловьев, что ему долго на этой земле работать? Конечно, нет. Будет ли он эту землю улучшать, удобрять, как положено рачительному хозяину? А ведь Гришин да Штено по 12 — 16 культиваций проводили на своей земле, затратили немалые средства на дорогие химикаты, чтобы избавиться от сорняка, которого и на этой земле хватает. Вложишь деньги и силы, а завтра все это уже не твое. Соловьев это прекрасно понимает. Да и только ли Соловьев?

«Но что в самой России Америка может конкурировать с нами мукой, это уж совсем плохо. Оскудела она... по вине либеральных теорий людей шестидесятых годов, которые ввели безначалие в крестьянской среде под названием самоуправления и систематически разоряли людей общинным владением с присущими ему частыми переделами душевых наделов. Можно ли безнаказанно в течение 1/4 сто-

летия вкривь и вкось вспахивать землю, выжимая из нее все соки и ничего ей не возвращая, а это делается на всей надельной русской земле. Это будет продолжаться, пока не введется подворный земельный надел... не подлежащий отчуждению... земля увидит наконец хозяина, благосостояние которого связано с ее обогащением, а не проходящую душу, которая ее царапает кое-как, зная, что она достанется другому», — писал граф И. И. Воронцов-Дашков Александру III.

С тех пор прошел целый век. Нынче новая земельная реформа. А где земля? У хозяина или у «души проходящей», которая поцарапает ее кое-как, засеет ячменишком и... что Бог даст.

Земли у Соловьева до обидного мало. Хотел он весной взять у колхоза на откорм по договору 130 голов крупного рогатого скота. В колхозе скот беспризорный, некому пасти. Соловьев с напарниками откормил бы его. Не вышло. Колхоз согласен, хуторяне против. Говорят, что выпасов самим мало. Пришлось отказаться. Откармливают полсотни свиней. Так что работают Соловьев с товарищами пока в четверть силы. А будут ли в полную силу работать? Этого не знает никто. Нет земли. Хотя вот она, во все стороны лежит. Но — чужая.

В правлении колхоза вместе с председателем начинаем прикидывать, гадая наперед, у кого из павловских или ольховских может дело пойти на своей земле.

— Братья Березнёвы, — в один голос говорят Соловьев и председатель.

— У Иванова должно получиться...

— В Ольховке есть толковый механизатор...

И смолкли.

Два просторных и людных хутора. Работники есть. Хозяев не можем найти. Наступила пора горестной жатвы. Долгие годы под корень выводили с нашей земли доброго хозяина. Вспомните, как рабочие продотряды под метлу очищали хозяйские закрома. Продразверстка. Начало пути. Потом началось вовсе страшное.

Волгоградский областной архив. «Приоткрытые» фонды. Очевидцы. Спросим их: что творилось на этой земле?

«Коллективизировать все население во что бы то ни стало. Все это выполнить к 15 февраля без минуты отсрочки» (из постановления районной партийной конференции).

Телеграмма из Сталинграда: «Нарследователю. Нарсуд. Срочно поставьте ряд процессов за распродажу кулаками всякого имущества...»

«Сов. секретно... Окончательная цифра по раскулачиванию, утвержденная окружной комиссией по Калачевскому району 6 февраля 1930 года: 1-я группа — 32, 2-я группа — 82, 3-я группа — 40, 4-я группа — 301».

«В 3-дневный срок произвести раскулачивание, оставив минимальное имущество: верхнее и нижнее платье, обувь и продукты питания из расчета по 30 фунтов на едока на 2 месяца» (то есть по 60 — 200 граммов продуктов на день).

За что же их «в 3-дневный срок»?

«Вихлянцева Иван Степанович как кулацкое хозяйство применено кратное обложение участник белой армии и упорно сокрыватель излишков хлеба и во время голода исплотировал батраков и розлагател колхозно строительства...»

«Топилин Илья Иванович как бывший Атаман и участник белой Армии и как активист по розложению колхозно строительства...»

«Свинцов Степан Кондратьевич как кулацкое хозяйство применено кратное самообложение участник белой Армии и бывший жандарм и розлагател колхозно строительства...»

«Щепетнов Митрофан Семенович как активно бело бандит и розлагател колхозно строительства...»

В той же папке заявление Щепетнова М. С. о том, что он служил не в белой, а в Красной Армии. На нем резолюция: «В просьбе отказать, потому что Щепетнов пошел в ряды Красной Армии для спасения наймитого чужим трудом».

«Бубнов Леонтий Киреевич как хозяйство середняка участник зеленой Армии...»

Как видим, в какой бы армии ни служил (белой ли, зеленой и даже в красной), судьба одна, потому что — хозяин. Главный грех — что-то иметь: «...имел с/х машины, косилки, занимался скупкой и перепродажей скота». Последнее обвинение следует объяснить. В наших краях издавна занимались мясным скотоводством: скупали молодняк, брали в аренду землю, попасы, откармливали на ней скот и осенью продавали на Никольской ярмарке в Калаче и станице Голубинской, куда съезжались купцы со всей России. Купца Чертихина из Москвы помнят и сейчас.

Продолжим список «грехов».

«...имел с/х машины, которые давал беднякам в отработку, давал деньги взаимы».

«...расширяет и укрепляет свое хозяйство».

Это, конечно, грех. Но рядом противоположный:

«...систематически сокращал посевы, до революции имел с отцом арендованной земли до 300 десятин, в настоящее время имеет посевы 15 десятин». (Продразверстка и продотряды заставили.)

«...имел сапожную мастерскую, умышленно не имел посева».

«...имел молотилку с конным приводом, аренду земли, сенокоса».

«...имел гурты по 80 голов, привлекался к суду за хищническое разбазаривание своего скота». (С в о е г о, подчеркну, личного; продать значит «разбазарить».)

«...арендовал участки земли, занимался бахчеводством, арбузами, вагонами отправлял их в Москву». (Замечу, что про батраков ли, работников в этом деле ни слова нет, значит, трудился лишь своей семьей. Но Москву кормить арбузами, конечно, смертный грех.)

«...накапливаемый капитал убивал на постройки и часть держал в кубышке». (И то и другое — грех.)

«...разбазарил из 28 голов своего скота 11».

«...арендовал государственные земли до 150 га. Занимался скотом. Занимался Эксплоатацией сельхозмашин и тягловой силы». (Эксплоатация недаром выделена заглавной буквой, потому что это грех вовсе немислимый: использовать косилку, да молотилку, да лошадей с волами в работе.)

«...самораскулачился и пролез в колхоз с целью скрыть свою шкуру».

Расплата была одна:

«...очистить из колхоза»;

«...ликвидировать как класс»;

«...с конфискацией тягла, продуктивного скота, фуража, с/х инвентаря, озимых посевов, сбруй, лишением усадебных земель и выселением из пределов края»;

«...семейство в полном составе немедленно выслать на спекулацкий участок»;

«Ввиду наступления холодов... кулацкие хозяйства выселять. Семейства батраков и бедноты переселить в кулацкие дома»;

«Высланы эшелон № 15, вагон 10 6 июля 1931 года в Казахстан»;

«Краснов С. В., Краснова А. С., Краснов... высланы в Северный край».

У одних было что кулачить:

«После революции хозяйство имело посева 30 десятин: на надельной — 20 десятин, на арендованной — 10 десятин. Снимал лугов на Дубовском острове до 25 десятин, у Троицкого земобщества до 25 десятин. Имел скота: 2 лошади, 2 пары волов, 2 коровы, молодняка — 5 голов, овец 15. Занимался торговлей арбузами. С 1928 года хозяйство значительно сократилось. Состав семьи: Безруков П. Н. — 52 года, Безрукова А. А. — 46 лет, сын Андрей — 18 лет, сын Федор — 14 лет, сын Иван — 7 лет, сын Василий — 5 лет, сын Алексей — 2 года, дочь Александра — 9 лет... Ликвидировать как класс»;

«Опись имущества Рыбакова: дом деревянный, крытый железом, амбар, крытый железом, 2 сарая, крытых соломой, 1 котун деревянный рубленый, крытый железом, 2 плуга, 2 бороны железные, 1 сеялка рядовая, 1 веялка, одна косилка-лобогрейка, конные грабли... Рыбаков государству сдал разных культур до 100 пудов. Упорно не сдает излишки, предположительно до 400 пудов. Контрольную цифру в размере 200 пудов выполнить отказался. Хозяйство Рыбакова раскулачено решением комиссии по ликвидации кулачества».

Здесь хоть было что забирать. Но рядом:

«Турченков М. К., хутор Черкасов, Калачевский район: дом — 1, корова — 1, кадушки — 3, котел — 1, кур — 5».

Устинов, хутор Липо-Логовский:

«...лошадь — 1, коза — 1, кур — 5. Семейство в полном составе выселить на спекулацкий участок».

А вот еще кое-что из имущества, конфискованного у разных людей, что уж больно бросилось в глаза:

«...кальсоны — 1, дулей — 1/2 пуда, плотницкий инструмент... детское пальто — 1, одеяло детское — 1, нитки — 7 катушек... бусы — 3 нитки, шпилек — 6, партмане — 1, зубной порошок — 1».

И последнее. Из имущества, отобранного на хуторе Кумовка у Каргина Алексея: «...крестов медных — 2».

«Признать кулацким. Подлежит ликвидации как класс. Хутор Скворин. Манжин Иван Сергеевич, арендовал до 300 га. 4 лошади, 4 вола, 2 коровы, 6 гуляка, 15 овец, 2 свиньи, доход 544 рубля... сын — Георгий, сын — Михаил, сын — Федор, сын — Иван, дочь — Ксения, сноха — Аграфена, внук — Михаил, внучка...»

И так страница за страницей. За семьей — семья: Переходновы... Калмыковы... Никулины... Камышановы... Дедуренко... Исаев... Каждая страница — горькая судьба.

Кулачество разгромили, искоренив хозяев. Колхозы создали. Записали новые песни, из тех, что поем и сейчас.

Выписки из протоколов колхозных собраний 1931 и последующих годов:

«Слушали: о соцбое. Постановили: включиться в соцбой за зябь и силос»;

«Слушали об агропоходе. Постановили: всем записаться на курсы животноводов, полеводов, огородников»;

«Бицца за переходящий красный флаг»;

«Идти всей бригадой в соцбой»;

«В ответ на вредительство меньшевиков-интервентов объявить себя ударниками на севе»;

«Завтра же, 12 октября, всем бригадам взять себя в руки и также взять все руководство над бригадой и повести работу. Строго соблюдать дисциплину. Строго смотреть за зерном на току. Обратит серьезное внимание на рабочий скот, который часто объедается зерном»;

«Утвердить порядок кормления и ухода за лошадьми и волами: конюх обязан выполнить следующее:

В 6 часов утра — водопой из колодцев.

В 6 1/2 часов — первая дача.

В 8 часов утра — вторая дача...»

Будто люди сроду скота на базу не держали. И лишь порою сквозь пустую трескотню пробивается живой голос:

«Тов. Соков сказал: «Мы от уборки не отказываемся, но работать чтобы отдельно, установить цену каждого гектара»...»;

«Тов. Захаров сказал: «Мы работали весной, а ничего не заработали. То же может получиться в уборку»...»;

«Тов. Атарщик сказал: «Весной заработали мало. Так же в уборочную. На чего же будем существовать?»».

Вопрос был, что называется, в лоб. Только теперь, спустя время, можно на него ответить.

За пять лет коллективизации поголовье скота в стране сократилось наполовину. Сбор зерна в 1932 году упал по сравнению с 1926 годом почти на 10 миллионов тонн. Шел массовый вывоз зерна за границу для оплаты закупок оборудования.

Осенью 1932 года в стране начался голод. Число умерших подсчитать теперь вряд ли возможно. Называются цифры от 1 до 5 миллионов человек.

На село пришла долгая пора советского крепостного права, когда колхозник не мог даже в Юрьев день поменять хозяина или уйти из деревни. Государство заставило его работать впроголодь и бесплатно. Командовали кому ни лень, в грош не ставя крестьянский ум, трудолюбие, опыт. 32 председателя сменились на хуторе Затон-Подлесочном. Нынешний — тридцать третий. Угоди на всех. Не менее двух тысяч постановлений по сельскому хозяйству придумали наши правители. Успевай лишь слушать да исполнять.

Поэтому при первой возможности бежали и бежали с земли умные головы, крепкие руки, молодежь. Село вырождалось десятилетиями, в третьем, в четвертом уже поколения отдавая высокую кровь. Теперь пришла немочь в р а с п л а т у. И еще одним постановлением не поможешь. Ни хутору Павловскому, ни Вихиевскому, ни иным далеким и близким российским весям.

Колхоз ли надо с п а с а т ь, совхоз, акционерное общество? По-моему — просто л ю д е й.

\* \* \*

Колхозно-совхозное, ныне опереточно-акционированное, производство от перемены вывески не стало работать лучше. Кнута нет, да и некому подгонять. И который уже год снижаются привесы, удои, сокращается поголовье. Под нож идет даже маточное стадо, а значит, завтра и вовсе некого будет растить и доить. Все верно: распад Союза, рост цен, разрыв экономических связей.

Но, как и прежде, на личном подворье — сытые коровы, тяжелые хряки, бокастые козы. Крыши у домов не текут, стены не валяются, узорчатый штакетник или глухой забор надежно хранят хозяйское добро.

А что до колхозного, акционерного...

Колхоз имени Ленина. Февраль 1992 года. Молочно-товарная ферма первого участка. В помещении, где содержится скотина, холод, сквозит из многих дыр. Уже более недели на ферме нет воды. Корма — одна озимая солома. Простуженная, с гриппом, доярка Наташа Журавлева рассказывает:

— Вот уже одиннадцатый час, а солому и воду для коров еще не подвозили. Без слез на них и смотреть нельзя. Людей у нас не хватает. Подмены нет. Долгое время без выходных работали.

Буренки действительно вызывают жалость. Кажется, еще чуть-чуть — и потребуются привязные ремни, чтобы удержать их на ногах.

Зоотехник участка Р. Ж. Эшмуханов говорит:

— Кормов нет, рабочих рук не хватает. Начался падеж. В январе пало семь телок. Зарплата маленькая, редко кто из доярок триста рублей зарабатывает. Каковы надои, такова и плата.

За прошедшие сутки в этом коровнике от 90 коров надоено 29 литров молока. В соседних гуртах и того хуже.

— Виноваты все мы, — продолжает Эшмуханов. — Но прежде всего — руководство и главные специалисты хозяйства. Например, можно было организовать летом заготовку сенажа. Рожь у нас неплохая уродилась. Но...

Валили все на отсутствие техники.

— Промашка вышла, — объяснил полное отсутствие кормов главным агроном колхоза, — на орошение понадеялся, а оно не сработало.

А далее разговоры о другом, в том числе и о том, «с какой легкостью вздохнули колхозники, когда в сельском хозяйстве кончился диктат непрофессионалов». Журавлева да Эшмуханов вздыхали о другом, коровы — тоже.

А ведь этот колхоз на неурожайный год пожаловаться не может: осенью почти в два раза он перевыполнил госзаказ по хлебу — больше всех в районе. По встречной продаже получил красавец автобус, грузовые машины, холодильники, телевизоры. Лишь буренкам ничего не досталось. Председатель с главным агрономом радуются, что «диктат» кончился, уверенно заявляют: «Общий настрой людей — на коллективное хозяйствование. От коллективных методов работы нам не уйти».

Когда про «коллективные методы» говорят в совхозе «Волго-Дон», у них на руках весомые козыри: 40 центнеров с гектара средняя урожайность зерновых, 500 центнеров — овощных, 5 тысяч литров — надои. А здесь скотина от голода и холода дохнет, привычная доярка и та в слезах, а у руководителей — никаких сомнений. А ведь это хозяйство по «продуктивности» молочного животноводства от среднерайонного недалеко отстало. Осенью 1992 года, в ноябре, районная газета напечатала сводку по коровьим надоям, иронично озаглавив ее «Козьи надои». В колхозе имени Ленина они составили 1,1 литра на фуражную корову. По району — 1,9 литра на корову. Это даже не козий надои, потому что коза у хорошего хозяина 3—4 литра дает, а это надои «колхозный».

Еще одна картина — из района, отстоящего почти на четыре сотни верст: «...скот прикован цепями к кормушкам, куда вместе с силосом загружаются глыбы льда... Сырой бетон, в проходах сыро, в помещении даже днем полумрак. Скот не выгуливается на площадках, так как они не огорожены. Содержание коровы обходится в сутки в 160 рублей, а отдача — 1 литр молока. Неявки на работу, самовольный уход с фермы, пьянки стали обычным явлением».

Сейчас идут жаркие споры: кто накормит страну — колхоз или фермер? Сторонники колхозов доказательно объясняют, что нужны денежные вложения, государственная поддержка — и все будет хорошо. Скажите: вот этой ферме, где коровы в цепях, впроголодь, в карцерной тьме, под надзором пьяниц, — ей что нужно? Какие «вливания»? Да ее хоть золотом осыпь — пропьют, прогулят.

А какая «государственная поддержка» поможет хозяйствам, где у руководителей за «промашкой» «промашка»: коровы от холода и голода дохнут, а они радуются — кончился диктат. Да и как им не радоваться: ведь во времена «диктата» с них могли и спросить за провал подготовки к зиме, а теперь — свобода. И диктатура пустоголового руководителя.

В прежние годы и теперь не раз я писал о том, что у нашего государства село — нелюбимая падчерица. Пробовал доказывать это документально. Но знаем мы и другое: миллиарды и миллиарды рублей (не нынешних, а прежних, весомых) как в песок ушли, вложенные в село.

33 председателя сменилось на хуторе Затон-Подпесочном. Каждый со своим норовом, со своими «задумками». А в Москве их сколько сменилось, радетелей о селе? Учителя, журналисты, летчики... Пусть порой люди и хорошие. Но беда, «коль скоро сапоги начнет тачать пирожник...».

Животноводческие комплексы, железобетонные крепости, — по всей великой Руси, в каждом районе их две-три и по 2 — 5 прежних миллионов стоимостью каждая. Улетели денежки. Заводы и цехи по производству АВМ? Где от них след?

Помню, как плакала немолодая телятница, глядя на спешно возводимый по очередному приказу сверху Дом животновода на отледе от хутора, возле фермы:

— Шифера бы три листа... Крыша худая... Телятки болеют...

Что она понимала, глупая, в высокой «политике развития села»?

Они и сейчас стоят, «дома животновода», «комплексы — фабрики мяса», «заводы», — заросшие бурьяном, разбитые памятники. Брошенные на ветер деньги. И кто поручится, что новые, уже триллионы, не обернутся каким-нибудь колесом обозре-

ния вроде того, что торчит в степи в одном из колхозов Серафимовичского района? Огромное, выше, чем в Москве в парке Горького. Деньги-то все равно чужие. Дают и будут давать. Придет время — спишут. Будут сопротивляться — нажмем. Шахтеры нас научили.

В колхозах теперь: то — невыгодно, другое — нерентабельно. Свинофермы — в убыток, коровы — без прибыли. Вывод один — ликвидировать. В одном из районов нашей области сумели за восемь месяцев 1992 года произвести 2 тысячи тонн мяса, а продать 50 тысяч тонн. Еще один такой год — и в районе на колхозных фермах установится мертвая тишина: ни мыку, ни хрюканья.

Но на том же хуторе Павловском просил Соловьев 130 голов гуляка на откорм. Он что, хотел разориться, по миру пойти? Нет. Ему бы скотина принесла прибыль. И 60 свиной он все же взял и выкормил. И опять себе не в убыток. В Суровикинском районе четверо фермеров держат коров, получают молоко, продают на молокозавод и особо не жалуются.

Про полеводство я уж не говорю. Завидны успехи Ишкина, Мельникова, Гришина.

Значит, в фермерстве наше спасенье? И разгони мы нынче колхозы, завтра хорошо заживем? Вряд ли...

Новых хозяев мы в области знаем наперечет и повторяем, словно таблицу умножения, одни и те же имена: Гришин, Епифановы, Шестеренко, Шалдонов, Штепо... А новых почти нет. Одна причина: не каждый решится круто изменить свой жизненный путь. Другая: далеко не каждый решившийся способен хозяйствовать самостоятельно. Третья, одна из самых веских, — отсутствие земли. Те, что пошли первыми, успели взять землю из фондов перераспределения. А теперь земли свободной нет. Заводить же серьезное хозяйство с 10 — 12 гектарных паев нельзя. По просьбе областной администрации институты «Южтипрозем» и «Волгоградгропромпроект» подсчитали, что в наших условиях оптимальные размеры хозяйств от 90 до 350 гектаров на одного хозяина. Да и без подсчетов ясно, что 15 гектаров — это для двух лошадей много, а для одного трактора мало. Два дня пахать, день сеять, убрать за день-другой. На неделю работы.

Советуют набирать пенсионерские пай. Этот путь ненадежен. Сегодня дадут, завтра — отберут.

Разделив колхозную землю по-коммунистически справедливо: пенсионерам, учителям, продавцам, — мы отняли ее у работника. А без умелого, сильного пахаря земля не кормилица, а пустыня. К безземелью добавим широкоизвестное: цены на технику, горючее, отсутствие кредитов. Вот и попробуй замани серьезных людей в вольные хлебопашцы. На мой взгляд, надеяться, что уже завтра накормит страну новый хозяин, нельзя. Но сидеть сложа руки, ожидая его пришествия, просто преступно. Где же выход?

Я не экономист, не специалист сельского хозяйства, но уже долгие годы слушаю людей, на земле живущих, гляжу и мотаю на ус... Не я первый сказал о «золотой середине», о правде, которая лежит «по гипотенузе, а не по краям угла».

Горшок треснул. А склеенному — отмеренный век.

В конце концов, есть же чужой опыт: те страны, которые сумели давным-давно решить продовольственную проблему. Не надо изобретать особый русский велосипед то с треугольными, а то и с квадратными колесами. Не надо придумывать новые и новые подпорки к системе, которая за полвека так и не смогла эффективно работать, несмотря на тысячи постановлений ЦК КПСС и Совета Министров. И не помогут тут отговорки от лукавого: мол, все на Западе кооперируются, а мы наоборот. Коллективно работают только кибуцники в Израиле. Но их объединила идея. Все же остальные кооперируются в необходимом: переработка, реализация — и не больше. Еще «довод»: весь Запад дотирует сельское хозяйство. Если и дотирует, то полученный продукт. Никакое самое безумное правительство не будет дотировать буренку с удоом в литр, свинью с привесом в 12 граммов за сутки, а к ним в довесок — полки и полки руководства от хуторского до московского с «волгами», «мерседесами», персональными шоферами, секретарями и секретаршами и прочим, чему нет предела.

К слову, суровикинские фермеры-молочники уже объединились: держат общего бухгалтера и на одной машине возят сдавать молоко.

Горшок треснул. Но выбросить его, не обретя нового, — значит, в пригоршне будешь щи варить. Нельзя взрывать необходимые структуры, замены которым нет: ремонтные службы, подработка зерна, его хранение, склады ГСМ. Они нужны и колхозу и фермеру.

Но о том, что колхозный горшок треснул, помнить все-таки надо. В нашей области 7 тысяч самостоятельных крестьянских хозяйств. Из них около тысячи имеют не клочок земли, не пай, а от 150 до 1000 гектаров. Это уже всерьез, что бы ни заявлял на очередном совещании очередной над селом начальник, будь он даже

вице-президентом. Потому что братьев Епифановых, семью Фроловых из Верхней Бузиновки и других просто так с земли уже не смахнешь — укоренились. И в колхоз они уже не вернутся, «хоть кнутом запови», как сказал Фролов Николай Яковлевич. Их можно лишь вырвать силой, как в 30-х годах. И когда после выступления Руцкого в зале Волгоградского облсовета аплодируют и кричат: «Колхозы победили!» — это, извините меня, не от великого ума. Потому что земля у нас общая и поражение будет — одно на всех. А зловещая тень его уже висит над нами: если производство зерна (в зависимости от погодных условий) останется более или менее стабильным, то производство мяса и молока в течение последних четырех лет у нас в области сокращается ежегодно на 10 процентов. 1992 год: сельское хозяйство области произвело молока и мяса уже на 30 процентов меньше, чем в 1989 году. Падение продолжается такими же темпами. Причем наша область считается относительно благополучной. Общероссийский показатель хуже. И никакой стабилизацией не пахнет, что бы ни заявляли очередные руководители сельского хозяйства страны. Ведь падение производства обусловлено не плохим или хорошим московским начальником, а социально-экономической обстановкой на селе. Сменой вывесок изменить ее не удалось. Идет всеобщее ожидание с поглядом на Москву.

Но светлые, даже колхозные головы уже давно понимают, что старая система на селе отжила. Нельзя, чтобы крестьянин метался, как заяц, между колхозным полем и своим подворьем. Нельзя, чтобы честный работник и вор жили одинаково. И даже вор — лучше. Многие это поняли. И что-то пытались сделать. Вспоминается давнее: опыт колхоза «Панфиловский» Новоаннинского района, звена Гавры из Клетского района и других. Кажется, это называлось бригадным подрядом. Люди там хорошо и ответственно работали: не сразу, но становились почти хозяевами своей земли.

Вспоминается и опыт сравнительно недавний. Арендные звенья. О них протрубили недолго и смолкли. Но были оглушительные скандалы, судебные разбирательства, когда администрация колхозов-совхозов заключала договор с такими звеньями и они, поверив, работали честно. Приходило время получать заработанное, и тогда у бухгалтера ли, директора на лоб лезли глаза. Ведь привыкли копейки платить. А здесь... «Больше директора хотите получить? Не выйдет!» В очередной раз обманутые люди искали правды у прокурора, в судах. Но где она, правда?

Арендное звено в идеале — это уже не огромный колхоз, где все вокруг не твое, а пяток-десяток людей, работающих друг у друга на глазах и знающих, кто чего стоит. Такие звенья (повторяю: в идеале) и создавались добровольно: кто с кем захочет работать. Трудяга к трудяге. Берешь у колхоза по договору технику, семена, горючее или скотину, корма — за все платишь, но и колхозу же продашь произведенное. А потом подсчитывай, с барышом или без последних штанов остался, если плохо пахал и сеял, зря жег горючее (за водкой на «Кировце» ездил), морил голодом скотину, получая по 60 граммов привеса в разгар зеленого лета.

Общий переход к землеробу-хозяину от нынешней системы (без пожара революций), на мой взгляд, лежит в русле аренды. Глубокая аренда, когда каждое колхозное подразделение — полный хозяин на своем участке. А меж собой полеводы ли, животноводы, гараж, зерноток связаны договорными отношениями. Пообвыкнутся, поймут вкус такой работы — тогда с Богом на выкуп.

Путь, конечно, не гладкий, как на этом листе бумаги. И кто-то из экономистов, сельских спецов посмеется над наивностью литератора. Но если есть иные способы не единичного, а массового перехода от всеобщего и чужого к своему, личному, то где они? Ведь теперь мы вовсе никуда не идем. Топчемся на месте, катимся вниз. Как в старые времена, пытаемся залатать то одну, то другую прорехи. Но главное — чего-то ждем. То ли «наших», то ли манны небесной. Все. Начиная от высокого правительства, которое делает шаг вперед, а потом, убоявшись, попытается. Указ президента и постановление правительства от декабря 1991 года оказались во многом лишь пустой угрозой. По-прежнему здравствуют хозяйства, где у коров козы удои, у свиной да гуляка комаринные привесы, а у руководителей, испуганных поначалу, давно отлегло от души: давали деньги и будут давать. Одинаково люди живут в хозяйстве передовом и отстающем, на одинаковых «волагах» катаются их руководители. А фермерам, даже очевидно перспективным, отвечают: «Земли нет и не будет».

Ожидание второго и третьего шагов в земельной реформе затянулось. И если растерянность простима доярке, скотнику или замученному председателю колхоза, то люди, принявшие на свои плечи груз руководства районом, областью, а главное — страной, должны видеть, куда ведут они сельский мир. А если не видят, не знают или изуверились, то честнее уйти, как это сделали четыре председателя в Алексеевском районе. (Пока писались эти строки, кажется, и пятый ушел.) Спасибо за честность. Потому что слепые поводыри слепых у нас уже были не раз. Оглянитесь: куда они нас привели?

\* \* \*

Когда рушатся великие государства, люди остаются и приходят в себя не вдруг. И правят ими тогда не новые законы, а обыденная экономика жизни, указами ее не сразу возьмешь. Обыденная жизнь вековечно мудра и поэтому, будто бы подчиняясь новым законам, приспосабливается к ним, при нужде находя в законах «прорехи» и «дыры», продолжая существование. Житейскую экономику не сломать, не изменить в одночасье.

Колонне танков ли, тракторов можно отдать приказ: в 16.00 всем повернуть на 90°. И послушная колонна повернет. В 19.00 — на 180°! И снова получится. Конечно, будут отдельные недостатки. Но в общем, можно с высоты наблюдательного пункта даже полюбоваться картиной впечатляющей.

Но если вместо тракторов взять отару послушных овец, про коров, а тем более коз не говоря... Кто их пас, тот знает. Даже приученную животину не повернешь вот так разом по команде: в 16.00 — на 90°! Какое там... Будет крик и ор, беготня и скачки, хлопанье кнута, лай собак. Передних криком, дубиной, но вразумишь. А сзади все прут и прут прежней дорогой.

Многоликая, многомиллионная крестьянская Россия, силой согнанная и сбитая в колхозную колонну, год за годом полвека тащилась разбитым сельским проселком под гиканье лозунгов и призывов, под надзором железных законов, с охраной по сторонам, со сторожевыми псами. Путь ее долог. Полвека — позади.

И вот наступило время, когда сначала понемногу, а потом словно разом исчезли сторожевые собаки и люди с винтовками. Уже иное кричат вожди и пастыри. Но слышат ли их?

Кое-кто слышит. Вначале осторожно те, кто посмелей, передовые в колонне да крайние, начали понимать, что «шаг влево, шаг вправо» — уже не побег. Не будет зубов овчарки и выстрела. Можно уйти из колонны, свернуть на обочину, передохнуть, оглядеться или вовсе покинуть Великую Орду, которая все бредет и бредет, не замечая перемен, не поняв, что другие впереди вожатые, к другому они зовут.

Но даже передовые да крайние смеляются не вдруг и провожают отчаянно смелых горькой укоризною. В их памяти долгий опыт пути, когда было всякое: мягчала охрана, на собак надевали намордники, а то и вовсе они отходили вдаль. И тоже такие вот смелые кричали: «Земля! Свобода!» Но через сотню метров, невидимый из-за бугра, строчил пулемет; не успев докричать, падали в придорожную траву самые смелые:

«...на колхозных собраниях всегда против проводимых мероприятий...»;

«...на все мероприятия относился скептически...»;

«...имеет огород свыше 1 га. Отобрать»;

«...имеет личного скота выше установленной нормы...»;

«...совершал незаконный покос на землях, принадлежащих...»;

«...похищала колхозную свеклу в количестве...»;

«О невыработке минимума трудодней: Карпова Евдокия — отдать под суд»;

«...передать в суд»;

«...приговорить... 10 лет исправительно-трудовых...»;

«...8 лет с исправлением...»;

«...15 лет...»

Строчил и строчил пулемет. С довольной ухмылкой смыкались конвоиры, и лаяли взахлеб другие, но сторожевые псы:

«...площадь теплицы превышает...»;

«...количество личного скота не соответствует...»

Год 1939... 1956... 1990...

Поэтому и нынешних смелых провожают настороженно и завистливо; и вглядываются, вслушиваются: откуда застрочит пулемет?

Вслушиваются и бредут вперед.

Долог наш путь...

---

---

# ПУБЛИЦИСТИКА

Помещенная ниже статья социолога Андрея Быстрицкого продолжает полемический разговор о трагических судьбах России и русской интеллигенции, начатый нами в прошлом году (№ 1) публикацией стенограммы дискуссии «Русская идея и новая российская государственность: проблемы, направления, перспективы», проведенной «Горбачев-фондом». В рамках этой темы на страницах нашего журнала появились материалы Д. С. Лихачева «О русской интеллигенции» и Д. Штурман «Остановимо ли Красное Колесо?» (1993, № 2), Ю. Шрейдера «Между молохом и мамоной» (1993, № 5) и А. Кивы «Intelligentsia в час испытаний» (1993, № 8). Уже в этом году мы напечатали отдельные выступления участников новых дискуссий, прошедших недавно под эгидой «Горбачев-фонда»: «Новая Россия на пути к общему дому» (1994, № 1).

Некоторые из стержневых положений, высказанных в работе А. Быстрицкого, находятся в очевидном противоречии с мыслями и суждениями авторов некоторых из перечисленных здесь статей (например, Д. С. Лихачева). Далеко не во всем согласуются они и с позициями нашей редакции. Однако полемика есть полемика. И каждое скольконибудь интересное, аргументированное и взвешенное мнение должно быть в ней услышано. Тем более что тема далеко не исчерпана и разговор будет продолжен.

АНДРЕЙ БЫСТРИЦКИЙ



## ПРИБЛИЖЕНИЕ К МИРУ

Субъективные заметки

**Л**юбимая тема «умных» разговоров в последнее время (впрочем, это тема вечная) — судьба России, сохранение ее своеобразия, поиск «своего» пути, место и роль различных социальных слоев в этом процессе (прежде всего, конечно же, интеллигенции). Спорят, как всегда, истоиво, но при этом не особенно утруждая себя четкой аргументацией и терминологией.

Взять хотя бы такое наиболее часто встречающееся в спорах и полемиках определение, как «свой путь». С одной стороны, очевидно, что не своего пути вообще не бывает, путь Англии не путь Германии, а Бурунди не Сенегал. Ясно, что хочет того Россия или не хочет, а идти ей придется только по своему пути и ни по какому больше. С другой стороны, часто можно услышать: «нельзя слепо копировать западный путь», надо искать собственные, самобытные решения, как это делала и делает, например, Япония. Но вот доискаться, из чего же этот «свой путь» должен складываться, никак не удастся, несмотря на весьма пространные рассуждения о необходимости сохранения российской духовности, культуры, Бог весть чего еще. А хочется все-таки понять, в чем же состоит наше своеобразие. И тут возникает определенное сомнение: а не кроются ли за досужими разговорами о «своем» пути весьма примитивные соображения его апологетов, соображения, замешанные главным образом на корысти и болезненной рефлексивности? Ведь значительная часть российской, и в особенности советской, интеллигенции привыкла к роли некоего посредника между властью и народом, привыкла к своей избранности, элитарности, превосходству над остальными социальными слоями — над рабочими, крестьянами, рядовыми ИТР — за счет своей непосредственной причастности к процессу идеологического обслуживания, декорирования того ненормального, уродливого мира, в котором все мы недавно были вынуждены жить.

Известно высказывание Розанова о том, что образованный человек должен быть крепостным, поскольку он ничего не умеет и ему не так уж много надо. Розанов оказался провидчески прав. Большая часть советской интеллигенции чудесно примирилась с ролью не просто крепостного, а некоего капо, старосты

общероссийского, общесоветского барака. Мало что примирилась — часто и удовольствие от этой роли получала.

Но вот «пришли другие времена». И когда вдруг выяснилось, что на хлеб теперь скорее всего придется зарабатывать собственным вполне конкретным трудом, а общество вряд ли просто так, за здорово живешь станет содержать несметную армию идеологической обслуги при власти предрержащих, равно как и самозванных кухонно-водочных «пророков» и «страдальцев» за отечество, именно тогда крики о российской своеобразности со стороны советских интеллигентов приняли совершенно непотребный — кликушеский, истеричный — характер.

Разумеется, сказанное вовсе не относится ко всем образованным россиянам, ко всем тем, кто традиционно числит себя интеллигентами. Речь идет даже не столько о конкретных людях, сколько о некоторой значимой составляющей этого типа, типа «российского интеллигента» (особенно шестидесятнического толка).

За разговорами об интеллигенции скрываются по меньшей мере две разных проблемы. Первая касается соотношения различных общественных реальностей, в которых живут люди, понимания происходящих в обществе социокультурных процессов. (Интеллигенция здесь выступает как некий «пониматель», соотносителем разных факторов — научных, бытовых, массово-коммуникационных и т. д.). Вторая заключается в определении подлинного социального места, общественного положения интеллигенции. Ясно, что четкого обозначения границ этой группы дать невозможно. Существует некоторое ядро, безусловно относящееся к интеллигенции, и существует периферия этой группы.

Интеллигенция — явно необычная социальная группа. Нет, например, простого, понятного пути попадания в нее.

Высшее образование подтверждается дипломом, и практически любой гражданин в состоянии усвоить, каков должен быть путь к высшему образованию (институт, экзамены, диплом и т. д.). Но понять, как стать интеллигентом, по сути дела, невозможно. Интеллигентами обычно считают писателей и ученых. Но одновременно к интеллигенции очень часто причисляются (пусть условно) и богемные «тусовщики» и даже работяги, пишущие стихи и занимающиеся в каком-нибудь «лите».

Интеллигенция — группа явно мистифицированная, способная к существованию только в иерархизированном обществе с четким разделением на власть и народ. Более того, интеллигенция не соотносится напрямую с классом (или социальным слоем) образованных людей и работников умственного труда. Ее, интеллигенцию, отчетливо выделяют некоторые качества, о которых речь впереди.

Итак, разговор у нас пойдет не только об исторических путях и судьбах России, но и об интеллигенции, ее месте и роли в обществе и еще о многом другом, с интеллигенцией связанном, включая сравнительно недавние политические коллизии.

## 1

Любому обществу важно понимать, куда, как и зачем оно движется, а также свою анатомию, строение собственного организма. Общественное самопознание — процесс трудный, противоречивый, зачастую болезненный. Здесь неизбежно встают проблемы языка, на котором общество себя осознает и описывает, проблемы, связанные с установлением единой и внятной системы терминов и понятий. (Проблемы эти зачастую приводят к спорам и открытым конфликтам между различными общественными слоями и движениями.) Пожалуй, самое сложное в этом процессе — увидеть и определить правила создания и развития основополагающих социальных структур общества.

То, что наша цивилизация переживает сейчас сложный период, и говорить не приходится. Хотя не следует забывать то, что любой исторический период, по существу, переходный и что простых времен просто не бывает. Но как бы там ни было, одно оспорить нельзя — темп развития мировых процессов сильно убыстрился. Сказанное касается не только технологий или уровня потребления, но и социальных структур, уровня образования и многого другого. В связи с этим возникает вопрос: а что будет дальше и какие проблемы нас ждут за ближайшим поворотом? К примеру, профессор Сэмюэль Хантингтон из Гарварда предположил, что на смену межгосударственным конфликтам и столкновениям идеологий придут совсем иные противоречия — конфликты между культурами. С этим можно соглашаться, можно не соглашаться, но в последние сто лет довольно часто обращаются к этой идее. Собственно, высказывали ее и раньше, но, пожалуй, только в конце XIX века она

приобрела какую-то новую значимость, новое качество, принципиально отличающее ее от близкой идеи средневековья.

В идее столкновения культур ничего оригинального нет. Она ясна и понятна любому человеку. Есть люди близкие по образу жизни, привычкам, традициям, истории, а есть чуждые. Разговор в автобусе (сейчас уже, кажется, безвозвратно ушедший в прошлое), исполненный язвительных колкостей, вроде «а еще шляпу надел» и т. д. — яркий и простой пример того, на чем может основываться конфликт культур. Однако ощущения культурного различия мало для того, чтобы противостояние культур превратилось в конфликт эпохи, в движущую силу. Для этого необходимо чувство идентификации со своей культурой, причем чувство достаточно сильное, способное превосходить клановые пристрастия, национальный патриотизм, лояльность своему государству, подчинять эти чувства более высокой и управляющей идее культурной солидарности. До сих пор культурная общность хотя и играла огромную роль, но все же уступала многим другим факторам.

Но за последние сто — сто пятьдесят лет общество, прежде всего европейское, претерпело поразительные изменения, которые позволяют говорить о том, что в социальной организации социумов все большую роль начинают играть объединения по принципам культурной общности, основанной на совпадении образа жизни, духовных ценностей, образовательного уровня и т. д. То есть на место классов заступают субкультурные, по сути, образования. По крайней мере роль этих образований сильно возросла и продолжает расти.

Мне совсем не хотелось бы упрощать ситуацию и, используя термин «субкультура», тем самым поддерживать модный в России, но вообще-то устаревший разговор об отсутствии в западных обществах неких интегрирующих норм, о распаде культуры на субкультуры. Суть дела как раз в том, что субкультуры вполне интегрированы в общие нормативы современной христианской цивилизации, что Запад, пережив кризис, сейчас сумел выйти на некие новые рубежи своего развития, решив — на данном этапе — проблему отношений личности и общества. Высокая автономия личности, возможность свободных объединений по субкультурному признаку сумели ужиться с высокой сплоченностью, с четкой ассоциацией большинства граждан с ценностями европейской христианской цивилизации. Эти ценности позволяют вполне достойно существовать, а то и процветать даже тем, кто их вообще не приемлет.

В XIX веке о субкультурах в Европе никто не говорил. К этому времени на Западе оформились монолитные буржуазные общества с присущей им единой иерархической системой ценностей. (Хосе Ортега-и-Гасет очень метко назвал тогдашний строй либеральной демократией, при коей глупые имеют возможность выбирать умных для своего управления.) И в самом деле, стоит открыть книгу любого европейского писателя середины прошлого века, как нам становится очевидной жесткая сословная разграниченность общества того времени, его строгая нормативность и упорядоченность. Причем все это совсем не означало, что социальный статус личности, ее значимость и ценность были низкими. Просто общество было предельно структурированным — каждый имел и знал в нем свое место и свою роль.

Англичане не зря поставили памятник легендарному Шерлоку Холмсу на Бейкер-стрит: Конан Дойл — один из последних писателей, опозитизировавших уходящую эпоху устойчивых и ясных ценностей, исчезающий педантично-регламентированный, иерархический, викторианский мир. (Недаром после первой мировой войны никаких Шерлоков Холмсов уже и не могло быть — жизнь изменилась кардинально. В лучшую или худшую сторону — другой вопрос, но изменилась.)

Герой Конан Дойла действует в совершенно искусственной среде, очень добропорядочной и очень нормативной, в которой существует только один рецепт жизни. Англия, какой она предстает со страниц книг Конан Дойла, страна весьма унифицированная, страна сытых сквайров, высоких, крепких, благородных, добродушных джентльменов с очень устойчивыми, почти до маниакальности, привычками. Конечно, у этих благонаправленных господ есть собственные хобби, привязанности, некоторые различия во взглядах на жизнь. Но вот что характерно — такие подробности не очень-то интересуют Холмса. В его сыскной практике они только докучливая помеха, поскольку для жестко нормативного, иерархического сознания, воплощением которого, собственно, и является герой Конан Дойла, подобные вещи совершенно несущественны, вторичны. Все, что окружает его, все, с чем он сталкивается, непременно интегрируется в единую систему ценностей, расставляется по вертикальным уровням. Ничего одновременно равного и различного не существует. Если

равное, то одинаковое (на уровне значимого: два лорда могут отличаться только тем, что один собирает марки, а другой разводит розы).

Параллельно с этой рассмотренной нами общецивилизационной тенденцией ко всеобщей унификации и монолитности общественных структур и традиций в мире начиная с эпохи Возрождения наметилась и сформировалась другая тенденция — тенденция личностного развития, отстаивания личностной уникальности и суверенности, свободы от всевозможных сословных рамок и ограничений, утверждения самобытности каждого человека вне зависимости от занимаемого им места в обществе.

За сотни лет человеческая цивилизация выработала два основных направления своего развития. Первое шло через слияние всех со всеми в глобальной всеобщей регламентированности. Второе — через все большее возрастание личностной автономности и свободы. Кстати сказать, марксизм в известном смысле был попыткой примирить две эти тенденции. Смысл личностной самодеятельности, по Марксу, в неограниченном общении, которое возможно только при присвоении неограниченных производительных сил. Впрочем, такая модель, поскольку марксизм совершенно не брал в расчет трансцендентность личности, оказалась у основоположников научного коммунизма, по-моему, совершенно умозрительной, лишенной реально-предметного, самобытного основания. Однако характерно, что спустя недолгое время после смерти основателей марксизма мир по-своему решил проблему, столь чутко ими угаданную и обозначенную: прежние буржуазно-национальная монолитность, сословная стратифицированность, пирамидальная иерархичность, присущие XIX веку, рухнули.

Здесь следует оговориться, что понимать под глаголом «рухнули». В данном случае речь идет, во-первых, о существенном изменении общественного сознания и, во-вторых, о распаде, раздроблении одного единого мира, единого организма на несколько более мелких, но вполне жизнеспособных и взаимозависимых пространств и организмов, то есть об изменении характера единства.

Единство общества и культуры в XIX веке означало четкость норм, однозначную иерархию ценностей, жесткую, ступенчатую стратификацию. Единство уже в середине XX века означало корреляцию многообразия. (Аналогией такому изменению представлений может послужить эволюция понятия «тело» в физике. Даже для нынешнего обыденного сознания тело — это нечто твердое, с четкими границами и четкой структурой. Но ведь телом (в физике) можно назвать и газ, устроенный совсем иначе.)

Прежние привычные способы стратификации общества на классы, социальные группы и т. п. начиная примерно с 30-х годов оказались несостоятельными, поскольку перестали вмещать в себя новые, более сложные модельные представления о мире. Конечно, ими пользуются и до сих пор — что поделаешь, если множество людей привыкли воспринимать и описывать мир при помощи старых терминов и схем. Но ведь суть многих происходящих в мире изменений состоит именно в преодолении таких жестких, неуклюжих и внешних по отношению к личности человека разграничений.

Очевидно, что очень многие писатели, ученые и философы еще в начале нашего века отчетливо видели и понимали идущие в мире процессы распада иерархическо-вертикальных структур общества, но как адекватно осмыслить и описать их, представляли себе не вполне. Отсюда столь широкое распространение и популярность получили в Европе всякого рода космические учения и гипотезы (например, учение о ноосфере). Потому же, по всей видимости, появилось и такое понятие, как «субкультура».

Конечно, термин «субкультура» — паллиатив. Он не слишком точно отражает и передает сущность общецивилизационных процессов. Во-первых, уже сам по себе префикс «суб» как бы указывает на некоторую ущербность и вторичность явления, которое термин обозначает; вторичность относительно некой высшей культуры, некой пусть и преходящей, но господствующей нормативности (тут невольно возникает прямая аналогия с субпродуктами). Во-вторых, понятие «субкультура» ассоциируется с процессами, идущими где-то по периферии общества и не затрагивающими его сердцевину, его оснований. Наконец, в-третьих, субкультура может трактоваться (и зачастую трактуется) как явление замкнутое, изолированное, герметичное и самодостаточное. На самом же деле человек принципиально не может принадлежать только к какой-либо одной субкультуре. (Если это было бы так, то любой разговор о культуре вообще потерял бы смысл, да и общество как таковое просто перестало бы существовать.)

Кроме всего прочего, понятие «субкультура» сложилось и появилось в научном обиходе в рамках устаревшего для понимания подобных явлений типа рациональности. Единая нормативность XIX века являлась следствием линейно-рационального мышления, редуцировавшего мир до некоего конечного числа умопостижимых принципов, а затем вновь констатирующего его через множество дефиниций. Не вмещавшееся в эту жесткую конструкцию вытеснялось как иррациональное. Но последнее все сильнее напоминало о себе. И потому рационализм вынужден был потесниться, как потеснилась монархия перед конституцией. Рационализации пришлось допустить непредсказуемость человека как некоторую девиацию. Иррациональное заняло независимую, но все же периферийную позицию. Превалирующие положения в теориях познания и господствующих идеологемах по-прежнему занимал линейный рационализм.

И тем не менее появление термина «субкультура» и осознание законности, «нормальности» существования субкультурных общностей стало колоссальным шагом вперед на пути самопознания и саморазвития цивилизации. Конец сословно-иерархического мира был предрешен. Мир изменился, причем изменился кардинально. Появился новый человек, вместе с ним и новые формы культурного мышления.

Чудесная иллюстрация сказанному — один из рассказов крупнейшего английского писателя и мыслителя Г. К. Честертона, посвященных знаменитому патеру Брауну, — «Злой рок семьи Дарнвей», в котором, может быть, недостаточно полно, зато до отчетливости ясно продемонстрированы особенности новой бытийности и новые формы ее осмысления.

В начале рассказа двое художников приходят в полуразвалившийся замок старинной, но разорившейся и несколько одуревшей от тяжелого и мрачного давления веков семьи Дарнвей. Выясняется, что над семьей тяготеет злой рок: каждый седьмой наследник, а именно таковым должен стать вновь прибывший молодой человек, погибает жуткой и загадочной смертью. Действие рассказа разворачивается в непрерывном ожидании кошмара и гибели. Молодой наследник как может пытается бороться с неумолимым роком. Но в итоге все-таки загадочно гибнет. При объяснении этого события сталкиваются три позиции.

Согласно первой потусторонние силы в самом деле существуют. Они-то и погубили молодого человека. Эту позицию высказывает старый дворецкий. К ней склоняются и художники. Вторая позиция (ее сторонник врач, пользующий семью) сводится к тому, что смерть молодого человека обусловлена его скверной генетической наследственностью. «Все Дарнвей замаспешдши, — говорит врач, — это следствие частых браков внутри семьи в прошлом». Наконец, третью позицию высказывает патер Браун. В процессе расследования случившегося он вообще делает немало интересных замечаний. В частности, при оборудовании фотостудии на втором этаже замка, когда один из художников отмечает, что, мол, стеклянная крыша фотостудии уродует строгий готический замок, патер Браун говорит: «У меня пристрастие к дневному свету, в особенности здесь, где его так недостает. А если вы не понимаете, что я готов сровнять с землей все готические своды в мире ради того, чтобы сохранить спокойствие одной человеческой души, то вы знаете о моей религии еще меньше, чем вам кажется». И может быть, именно потому патер Браун не может принять ни гипотезы об изначальной мистической предопределенности человеческой судьбы, ни плоского линейно-рационального позитивизма врача. «Признаться, я не вижу, чем ваше научное суеверие лучше суеверия мистического. Оба они превращают человека в паралитика, не способного пошевелить пальцем, чтобы позаботиться о своей жизни и душе», — говорит патер Браун врачу. Один из важнейших моментов в этой фразе — точно зафиксированное писателем смещение центра мышления главного героя с внешней, пускай порой и загадочной реальности к внутреннему миру личности, к новому качеству ее объединения и сосуществования с окружающей действительностью. Для Честертонa невозможно провести жесткую разграничительную черту между внешним и внутренним, человек и мир для него — две ипостаси одной единой реальности.

Конан Дойл и Честертон жили в одной и той же стране, почти в одно и то же время. Более того, оба они работали в криминально-детективном жанре. Но разница между ними колоссальная. И дело тут не столько в различии их художественных манер, не только в масштабах писательского дарования, различия о которых всегда спорны. Патер Браун или Фишер, не говоря уж о героях прекрасных романов и эссе Честертонa, совсем не похожи на Холмса, бригадира Жерара и других центральных фигур произведений Конан Дойла. Для персонажей Честертонa в мире мало стабильного, точнее, стабильность-то существует, но она качественно иная, устройство

человеческого сообщества приобретает еще одно измерение, и прежние формулы, описывающие его, не работают, линейно-рациональная картина, четкая аксиоматическая система метаморфозируются.

Прекрасной иллюстрацией обветшалости и бессмысленности прежних словесных рамок, разграничений и порожденных ими поведенческих штампов и клише является рассказ «Скандалное происшествие с патером Брауном». Сюжет его прост — знаменитая красавица Гипатия Поттер бежит от мужа, биржевого маклера, с поэтом Руделем Романесом. Репортер-пуританин Рок, действительно суровый и мрачный, как скала (rock по-английски значит камень, скала), вступает в борьбу за здоровую семью. Естественно, его зашоренному пуританскому воображению рисуется невинная белокурая красавица, соблазненная демоническим субъектом, и несчастный муж, скорее всего не слишком внешне привлекательный человек. Но в действительности все оказывается иначе: биржевой маклер красив как бог, поэт стар и тяжел, а красавице далеко за сорок. Патер Браун, опираясь на простой здравый смысл, объясняет незадачливому журналисту причину его заблуждения. «А-а, не читайте так много эротических романов, — сказал патер Браун и чуть-чуть опустил веки под пламенным протестующим взглядом своего собеседника. — Я знаю, все эти истории часто начинаются с того, что сказочная красавица вышла замуж за старого барона-финансиста. Но почему? В этом, как и во многих других вопросах, современные романы страшно не современны. Я не говорю, что этого никогда не бывает, но этого почти не бывает в настоящее время, разве что по собственной вине женщины... И знаете ли, что обыкновенные бизнесмены иногда бывают красивыми?»

Согласитесь, подобная речь очень не похожа на традиционные монологи Шерлока Холмса, растолковывающего своему другу доктору Ватсону мотивы какого-нибудь раскрытого им преступления или поступка очередного клиента, не говоря уж о том, что в книгах Конан Дойла такой ситуации и возникнуть-то не могло. Показательно и то обстоятельство, что в словах патера Брауна все выглядит как-то неопределенно, неоднозначно, что вполне соответствует той ситуации, при которой понятие своего круга если еще и сохраняется, то уж принуждение, во всяком случае, в этом кругу отсутствует. Таков принципиально новый тип организации общества, где существуют определенные свободные сферы, с более или менее устойчивым составом людей, объединенных общностью интересов, культуры, работы, проживания и тому подобным. Однако в этих сферах нет места жесткой, довлеющей иерархии, грубого, и едва ли не гласного закона, прямо выводящего за пределы свободной личности человека норму его поступков. Проще говоря, ошибка Рока в том, что он принимает субкультурную общность за класс, что руководствуется уже отжившими и потому никчемными предубеждениями, и в том, что для него как архаичного романтика границы сословий могут быть преодолены только путем героического поступка, вызова обществу и миру.

А вот что пишет Честертон о самом патере Брауне: «Видно, так и будут вечно гоняться друг за другом по свету два патера Брауна: один — бессовестный преступник, скрывающийся от правосудия, второй — страдалец, сломленный клеветой и окруженный ореолом реабилитации. Ни тот, ни другой не похож на настоящего патера Брауна, который вовсе не сломлен, шагая по жизни своей не слишком-то изящной походкой, несет он в руке неизменный зонт, немало повидавший на своем веку, к людям относится с теплой симпатией и принимает мир как доброго приятеля, но не как судью своим поступкам». Думается, эта характеристика героя помимо всего прочего содержит одно чрезвычайно важное для нас свидетельство. Оно состоит в том, что прежний строго расписанный свод бытовых установлений и норм навсегда канул в Лету. Но это вовсе не означает, что связь личности с миром теперь прервана. Нет, она безусловно существует, но совсем на ином уровне: м и р — д о б р ы й п р и я т е л ь.

Итак, за время, минувшее с эпохи Возрождения до XX столетия, в мире сформировался новый тип свободной, автономной личности, явно не уместившейся в старые сословные и классовые соты и ячейки и потому ищущей новые, более совершенные способы взаимодействия с окружающей ее действительностью. То, как складываются в наше время отношения человека с миром и чем они отличаются от прежних, я постарался на примерах героев Конан Дойла и Честертона пусть пунктирно и схематично, но все-таки обозначить. Но нас интересуют те новые социокультурные образования, которые постепенно вытеснили из жизни западной цивилизации старые классы и которые выполняют своеобразную посредническую

миссию в процессе диалога человека и мира, личности и общества. Я имею в виду те малые и гибкие формы культурной и общественной самоорганизации людей, которые мы условно определили термином «субкультура».

Вообразим себе, что легендарная Атлантида когда-то все же существовала. Там были свои герои, поэты и мудрецы. Что мы сегодня знаем о них? Да ровным счетом ничего. А ведь им, наверное, хватало их тогдашней аудитории для твердой уверенности в важности и даже необходимости своего дела и подвига, для убежденности в собственной значимости. Ну а сейчас, уже в наше время, что нам известно о поэтах, художниках, мыслителях, живых и, видимо, интересных людях, допустим, какого-нибудь племени банту? Но им самим для ощущения полноты собственной жизни, по всей вероятности, достаточно такой аудитории, как свое племя, и только.

Теперь обратимся к истории Европы. Здесь в период XVII — XIX веков сложились некие политические, экономические и культурные мегаобщности, охватывающие огромные пространства и территории. Естественно, что общее число высокообразованных людей — носителей культурной и научной информации о мире относительно всех остальных жителей, населявших эти территории, заметно уменьшилось. Но сам процесс развития человека тем временем шел в ином направлении: человек становился все более пытливым, все более творческим. Ему требовалась совсем иная система коммуникации, возможность более действенного и непосредственного контакта с миром. Увы, разум человека просто не в состоянии охватить всего богатства мировой цивилизации. Несколько тысяч просвещенных и талантливых людей — едва ли не предел его знаний и внимания. И потому он будет иметь хотя бы какое-нибудь представление о поэзии Байрона, живущего в пределах его культурного пространства, но вряд ли когда-либо услышит, например, о творчестве поэта и пастуха Харуру из племени ашанги, который, возможно, ни в чем не уступал, а может быть, и превосходил своим талантом англичанина, но жил в другой культуре. Вот эту замкнутость и ограниченность больших культурных традиций и помогают преодолевать субкультуры, делающие внятными, доступными для каждого все без исключения культуры и направляющие развитие человечества по более свободному, для всех открытому пути.

В определенном смысле субкультуры как бы возрождают некоторые наиболее привлекательные и поучительные для современной цивилизации культурные традиции средневековых городов и республик с их дробно-мозаичным, праздничным, карнавальным разнообразием, с их радушием и гостеприимством, странным сочетанием наивной мистики и крепкого рационализма. Однако в отличие от средневековых городов субкультуры территориально не обособлены, поскольку существуют куда как в более открытом для познания и взаимообусловленном, взаимозависимом мире, в едином цивилизационном контексте.

Нынешнее состояние западного общества характеризуется очень высоким уровнем развития личности и свободных субкультурных ассоциаций граждан. Связано это в первую очередь с происшедшей и в целом завершившейся на Западе интеллектуальной революцией. По всей видимости, студенческие бунты 60-х годов и многочисленные выступления широких слоев населения западных государств по различным поводам знаменовали заключительные стадии этого процесса, в котором новый тип рациональности, децентрализация духовного мира обрели достаточно массовую базу. Можно предположить, что значительное количество людей, живущих в Западной Европе, освоили новую модель мышления и сумели на ее основе выстроить приемлемую для нормального цивилизованного общежития картину мира. Я почти убежден, что проект объединенной Европы был невозможен еще лет пятнадцать назад, теперь же он стал реальностью. Почему? Потому что сложилось представление о том, что равное и разное может жить рядом, что нет необходимости посягать друг на друга. Совершенно исчезла модель однозначного, линейного мира. Изменилось представление о политике, понимаемой ныне на Западе уже не как беспощадная кровавая борьба за власть, а как взаимное стратегическое планирование, построение общего дома. Один из французских журналистов недавно с некоторым удивлением отмечает уход в прошлое идеологических споров. И, видимо, это закономерно. Ведь спор об идеологии — спор для тех, кто маскирует этим свои властные притязания, кто настаивает на единственности истины, кто воспринимает мир как иерархическую пирамиду, на вершине которой стоит сам спорщик. Для тех же, кто реально понимает всю множественность и равноправность различий, идео-

логические споры бессмысленны. Нет предмета. Есть только тема для общения и диалога, для взаимного планирования.

Упрощенно говоря, современный Запад — край сплошных субкультур. Англия и Франция, скажем, выступают сегодня не столько как мировые державы, оспаривающие друг у друга сферы влияния, сколько как субкультуры, которым необходимо ужиться и взаимодействовать. В известном смысле это свидетельствует, что государства больше не довлеют над своими гражданами и частный человек, гражданин почти что сравнялся в своих правах и своей значимости с государством, что недалек тот день, когда мир будут населять свободные группы граждан, вполне способные к самоуправлению. Но это произойдет совсем иначе, нежели виделось Карлу Марксу: мускулистые пролетарии с отвертками не станут собирать искусственный каркас корабля коммунизма.

## 2

Все те социокультурные процессы, о которых мы пока вели речь только применительно к странам Запада, сегодня несомненно имеют самое непосредственное отношение и к современной России. Более того, постепенное освоение нового цивилизационного пространства и ценностей, присущих западному миру, составляет суть происходящих у нас в последнее время событий. И потому одна из главных насущных духовных проблем сейчас для россиян — это адекватное, здоровое осознание и истолкование наметившихся в стране перемен. И тут так или иначе нам придется говорить об интеллигенции.

Кант писал, что две загадки никогда не перестанут волновать человечество: нравственный закон в душе и звездное небо над головой. Для русского же человека существует еще масса столь же, казалось бы, неразрешимых загадок. Например, в чем тайна русской души? Почему до сих пор все преобразования в России заканчивались крахом, катастрофой, массовым кровопусканием? Действительно ли история России загнана в порочный круг сменяющих друг друга тоталитаризма и хаоса? Верно ли, что у русских рабская психология и они гуще прочих народов любят либо безбрежную волюницу, либо жестокую, беспощадную власть?

Все эти «неразрешимые» вопросы, видимо, все же требуют ответов. Причем ответов не туманных, не общих, но по возможности конкретных, ясных и рациональных, доступных обывателю сознанию. То есть сознанию тех обыкновенных людей, от которых сейчас и зависит судьба российских демократических преобразований — их успех или срыв, могущий обернуться очередным кровавым кошмаром.

Еще в начале нашего века авторы знаменитого сборника «Вехи» констатировали четкое различие между дефинициями «образованные классы» и «интеллигенция».

К первой категории они отнесли ученых, врачей, инженеров, государственных чиновников, военнослужащих, духовенство и даже значительную часть известных писателей и философов, то есть крепких, знающих свое дело и имеющих свою собственную общественную нишу профессионалов.

Вторым понятием — «интеллигенция» — они обозначили некий «орден» (по аналогии со средневековыми орденами странствующих монахов), некую категорию людей, не имеющих сколько-нибудь определенного, значимого и постоянного рода деятельности, то есть непрофессионалов, дилетантов, ставивших главной своей целью социальное переустройство общества на началах им одним ведомой истины. Иными словами, с помощью термина «интеллигенция» веховцы весьма точно определили сформировавшийся именно в России к середине XIX века новый социальный слой (в коммунистической терминологии — «прослойку»), состоящий главным образом из самозванных учителей жизни, неприкаянных устроителей общественного благоденствия, монопольных держателей некой «правды», маргинализированных носителей «прогрессивной» идеологии.

Характерны та антипатия, то презрение, та нескрываемая враждебность и даже агрессивность, с которыми интеллигенты относились к представителям образованных классов, квалифицированным специалистам. Для них, интеллигентов, последние являются консерваторами, мракобесами, беспринципными прислужниками реакционной власти, эксплуататорами забитого и страдающего народа. Неприязненность, с которой «новые люди» воспринимали профессионалов, была точно подмечена многими русскими писателями — Достоевским, Писемским, Лесковым, Чеховым. (Оговорюсь, что обстоятельство это не имеет прямого отношения к спонтан-

ной, импульсивной нелюбви простонародья к «образованным». В данном-то случае нетерпимость к образованным людям проявлялась со стороны, казалось бы, тоже образованных людей.)

В чем же психологические особенности и различия интеллигентов-дилетантов и профессионалов? В поисках наиболее приемлемого способа самореализации интеллигент-дилетант в отличие от профессионала делает ставку не на приращение и углубление личного знания, личного умения и мастерства, а на достижение и увеличение собственного влияния на других людей. Он, дилетант, стремится не сотрудничать с жизнью и миром (как это свойственно профессионалу), но властвовать над ними, подчинить их себе, командовать ими, для чего ему, интеллигенту-дилетанту, требуется изобрести какую-нибудь «теорию», «открыть», а точнее, на скорую руку сконструировать «железную» и механическую внешнюю закономерность. Но жизнь, общество с трудом втискиваются в жесткие рамки искусственных идеологий, что сильнейшим образом раздражает, невротизирует личности, эти теории активно пропагандирующие, делает их предельно агрессивными и фанатичными. Что ж, рассуждают они, если жизнь не отвечает нашим теориям, тем хуже для жизни. Если она, жизнь, не желает подчиниться нам добровольно, мы заставим ее это сделать. Но ведь заставить живой мир подчиниться жесткой отвлеченной и мертвой схеме значит — у б и т ь е г о (что, в сущности, и случилось в России в 1917 году).

Для интеллигента-революционера насилие над жизнью, миром и обществом становится желательным еще и потому, что всякая реформа для него понятие сиюминутное, разовое, одномоментное — революционное. Перманентная трансформация жизни, постоянно идущие в обществе и органичные его природе реформы и преобразования, требующие подлинных знаний и направленных постоянных усилий (регулярно проходящие выборы всех ветвей власти, смена у руля государства правящих партий, политических и экономических курсов, то есть все то, что регулярно происходит в цивилизованных странах), сознанию интеллигента-дилетанта непонятны и чужды.

Вообще говоря, дилетанты в любой ситуации склонны к фальсификации общества. Причем фальсификация должна быть максимально общей, максимально широкой, исключаяющей всякое соотнесенное с реальностью сравнение.

Фальсификация затрагивает не только историю или экономику, она творит еще и псевдоличность, создавая для нее псевдоструктуры. При этом достигается столь желанная для невротизированных дилетантов имитация средств деятельности; фальсифицированная личность отодвигается от средств реализации, она производит псевдодеятельность. Никакого продуктивного выхода уже и быть не может, исчезают в е щ и как коммуникационная основа общества; люди, включенные в такие процессы, погружаются в дикое состояние жизни в псевдоструктурах, наиболее схожее с бредом навязчивых состояний, с полусном-полубодствованием.

Еще одной иллюстрацией к описываемому нами типу может служить отношение (и не только в России) дилетантов к народу. С одной стороны, риторическое народолобие: пафосные декларации богатырских способностей народа, воспевание его выдающихся дарований. С другой — откровенная гадливость, презрение к народу, скрытая убежденность, что народ — «дурак».

И тип дилетанта и тип профессионала существуют и существовали во всех без исключения странах и во все времена. Но для состояния общества важно прежде всего соотношение между ними. У нас в России тип дилетанта занял совершенно особое — главенствующее — место, он добился совершенно феноменальных успехов, на семьдесят с лишним лет навязав свою картину мира практически всему социуму и на протяжении едва ли не столетия подвергая профессионалов нещадной эксплуатации и просто уничтожению<sup>1</sup>.

Но как же случилось, что именно в России маргинальный слой н е п р о ф е с с и о н а л о в - и н т е л л и г е н т о в сформировался, окреп и наконец, породив

<sup>1</sup> Может встать вопрос: а как дилетанты, не проявив никаких профессиональных качеств, могли хотя бы на первых порах удерживаться у власти? Это оказалось возможно за счет использования ими профессионалов предшествующей генерации. В первые послереволюционные годы периоды яростной борьбы со спецами перемежались короткими периодами сотрудничества с ними. Окончательное торжество дилетантов приходится не на 1917 или 1937 год, а на конец 50-х — начало 60-х годов. Именно тогда ушли из жизни чудом уцелевшие в годы большевистских репрессий профессионалы дореволюционной закалки, последние из образованных людей, окончивших университеты еще в царской России. Именно к этому времени халтура и непрофессионализм окончательно стали нормой нашей жизни.

когорту профессиональных революционеров, захватил власть, установив невиданный в истории деспотический режим?

В ситуации цивилизационного кризиса, разразившегося в России на рубеже XIX — XX веков, сфера конструктивного действия в стране оказалась очень узка. Из-за чего возникла чрезвычайно резкая поляризация профессионалов, связанных с правящим режимом, и дилетантов, все более оттесняемых на периферию общества. Оттеснение дилетантов от взаимодействия с конструктивными социальными группами, то есть еще более глубокое погружение их в маргинальность и дилетантизм, по моему мнению, провоцировало и обостряло у них желание кардинально изменить цели общественного развития и само общество. С началом реформ 60-х годов должен был начаться процесс втягивания дилетантов в профессиональную среду, перевод их энергии в созидательное, конструктивное русло. Но если это и происходило (например, в земских структурах), то явно в недостаточных масштабах. Слой интеллигентов стал быстро пополняться. Высший общественный класс, породив в начале XIX века новый субъект действия — шестидесятников, народных, разночинцев, отнесся к нему, как белый хозяин отнесся бы к плоду незаконной связи с рабыней-негритянкой. Отчасти это связано с тем, что этот бастард сформировался раньше самих реформ, что реформы запоздали и пришли в тот момент, когда интеллигент-разночинец оказался уже не в состоянии изменить свою судьбу. Его творческой потенции хватило лишь на то, чтобы сформировать следующую волну воинственных дилетантов-маргиналов.

Иначе говоря, российский мир оказался слишком заиерархизированным, слишком многоступенчатым для быстрого продвижения волевых и энергичных натур из общественных низов. И не случайно один из наиболее ярких дилетантов-маргиналов — Н. Добролюбов писал, что великое дело переворота для него стало ясным с самого начала сознательной жизни. В воспоминаниях о своем детстве Добролюбов говорит, что одно из основных его ощущений — мука, и он уверен, что окружающая его жизнь — одно бессмысленное страдание. Добролюбов не может вполне объяснить, почему он страдает: объяснение он придумывает — гнилость и недемократичность общественного устройства. (Правда, он не пишет, что существо этой гнилости в том, что его не приняли в приличное общество, обуславливающее развитие страны.) Вокруг себя он видит только нищету и рабство. Поэтому он обращается к интеллигенции, призывая ее расшатать государственное здание, обрушить его и выпустить народ на свободу (при этом, правда, интеллигенция должна поставить народу «разумные» и «гуманные» цели его дальнейшей жизни). В работе Добролюбова, писанной до реформы, естественно, нет и намека на хоть малейшую возможность сотрудничества с правительством, чиновниками и дворянством, с этими «душителями» и «вешателями».

Другой гениальный дилетант-теоретик, П. Лавров, считал, что практика — это не предметно-материальная деятельность, а действительная борьба (политико-властная) меньшинства с социальными институтами, переделка их на базе новых целей, а по существу — ликвидация. Например, он считал чрезвычайно полезным постулировать, что современное ему общество целиком и полностью аморально. Таким образом, решительно ставились под сомнение все без исключения общественные сферы и институты, включая семью и брак. Многие современники, комментируя подобные теоретические суждения, определяли их как симптом кризиса интеллигентского сознания (отметим, что для интеллигента-революционера кризис сознания — единственное и абсолютно органичное состояние), указывали на отсутствие у интеллигенции прочных социальных корней в обществе, на ее полную глухоту и нечувствительность к живой жизни.

Все это совершенно верно. И, повторяюсь, является прямым следствием того прискорбного факта, что веками выстраивавшаяся вертикальная пирамида русской имперской государственности являлась слишком монолитной, чрезмерно иерархичной. Именно жесткая нормативность общественной жизни России, консерватизм ее государственных структур, архаичность российской табели о рангах обусловили возникновение, маргинализацию и радикализацию нового «ордена» интеллигенции, ставшего мозгом и главной движущей силой октябрьского переворота 1917 года.

Однако разрушив основы прежнего государства, уничтожив его социальную структуру, профессиональные революционеры (дилетанты, неумехи в повседневной жизни) не смогли создать взамен ничего стоящего. Единственное, на что они были способны, это в конце концов репродуцировать прежнюю систему власти. За одним

существенным различием. Новая власть была властью непрофессионалов, изначально и по существу не способных ни к какому длительному, умелому и конструктивному созиданию и могущих только профанировать его («великие стройки коммунизма», коллективизация, целина и т. д.), держась исключительно на насилии (над людьми ли, природой), страхе да на фанатическом, граничащем с массовой психопатией энтузиазме целенаправленно оболваниваемых ими масс. Сравнительное долгожителство режиму в немалой степени обеспечили и нарабатанный за века экономический потенциал страны, и ее огромные человеческие и природные ресурсы. Когда же последние оказались исчерпанными, началась перестройка.

Впрочем, началась она не только и, быть может, даже не столько в силу этого. Были и иные, весьма существенные, социальные причины.

Цивилизационный кризис, наметившийся и обострившийся в российском обществе к середине — концу XIX века и вызвавший в конечном счете революцию в начале века XX, этой революцией преодолен не был. Пришедшие к власти революционеры-маргиналы только на какое-то время с помощью террора и репрессий подморозили его.

Основные социальные процессы в России после октября 1917 года развивались как бы в двух противоположных направлениях. С одной стороны, в результате варварской коллективизации произошел массовый исход крестьян из деревень в крупные города, что привело к маргинализации городского населения, появлению нового, преобладающего типа оторванного от прежней почвы, но так и не сумевшего до конца адаптироваться к городской культуре низкоквалифицированного работника. Зато, с другой стороны, под воздействием промышленной революции 30 — 50-х годов шло формирование нового корпуса уже советских профессионалов: ученых, врачей, инженеров. Именно этот корпус и создавал основную угрозу для дилетантов, занимавших командные высоты в государстве. Разумеется, правящая бюрократическая верхушка осознавала опасность, исходившую для нее со стороны новых профессионалов. И как могла ограничивала активность последних жесткими рамками сугубо профессиональной деятельности. Всякие попытки профессионалов реально повлиять на государственную политику пресекались (вспомним провал косыгинских реформ в середине 60-х годов). Однако в условиях бурного развития средств массовой коммуникации и мировой научно-технической революции, от которой стало невозможно отгородиться никакими железными занавесами, а также очевидной исчерпанности, бесперспективности экстенсивного развития производства роль профессионалов в советском обществе последовательно возрастала. Опирались только на неквалифицированный труд рабочих-маргиналов становилось уже просто невозможно.

Закономерно, что как раз в это время в обществе постепенно, пусть пока только на бытовом уровне, складывались новые, неформальные ассоциации (субкультуры) профессионалов: младших и средних научных сотрудников, дельцов теневой экономики, мелких и средних государственных чиновников и т. д., а также утративших надежду пробиться наверх и уставших багратить на советской идеологической барщине новых непрофессионалов — мелких и средних партийных и комсомольских работников, журналистов, второразрядных литераторов и артистов. Появление и широкое распространение подобных неформальных объединений, горизонтально — субкультурных общественных структур, разрушали сам фундамент тоталитарной государственной пирамиды.

Советские общественные структуры (а в исторической ретроспективе — веками формировавшиеся имперские иерархические вертикальные структуры российского общества) на рубеже 60—70-х годов начали стремительно разрушаться. Общество перестало быть жестко монолитным.

Таким образом, реформы в СССР (в России) стали не просто неизбежными. У советского (российского) общества, пожалуй, впервые в истории сложилась реальная социальная почва для успешного и всестороннего реформирования всего государственного здания, полной модернизации его основ и реального прорыва порочного замкнутого круга, по которому столетиями как заколдованная ходила Россия — «вольница-деспотия».

С самого начала реформ (1985) вопрос стоял так: кто их возглавит — профессионалы или дилетанты-управленцы? Начали и возглавили их последние. Рефор-

маторы горбачевской генерации были, конечно же, дилетантами. Но дилетантами «новой волны», новой формации, инфицированной вирусом западной демократии. Ясно осознавшие, что в современном техногенном мире «так жить нельзя», они, однако, старались решить изначально неразрешимую задачу. А именно — сохранить прежнюю иерархическую вертикаль, прежнюю пирамиду власти (правда, несколько модернизировав, подновив ее, избавившись от отдельных совсем уже обветшавших, архаичных звеньев) и одновременно распространить свое влияние и контроль на стремительно создающиеся в обществе горизонтальные субкультурные структуры, направить их развитие в нужное тоталитарному государству русло. Именно здесь дилетантизм управленцев-непрофессионалов, их природная генетическая склонность к профанации и фальсификации реальной действительности, абсолютное непонимание органических законов развития жизни общества оказались для них роковыми.

Вспомним, как в свое время правительство бывшего СССР под руководством премьера Николая Рыжкова приняло решение разрешить так называемую индивидуальную трудовую деятельность. Расчет был предельно прост и предельно ошибочен: пенсионеры и студенты, домохозяйки и не слишком загруженные основной работой служащие примутся починять башмаки, печь пирожки, обустраивать собственные кафе и тем реализуют свои частнособственнические инстинкты. И гражданам выгодно и государству прибыль. А главное, все как бы остается на своих местах. Волки сыты, и овцы целы. Но в жизни случилось нечто иное. Граждане хотя и начали довольно активно печь пирожки и открывать кафе, но вскорости возжелали иметь нечто большее — собственные заводы, газеты и пароходы — и вообще жить, не обращая внимания на государство. Как любил говаривать бывший генсек-президент, процесс пошел. Правда, несколько в ином направлении и совершенно не запланированными темпами.

Шаткая и дряхлая социальная пирамида советской государственности, построенная на идеях всеобщего равенства и взаимного принуждения, зашаталась и в 1991 — 1993 годах окончательно рухнула.

Однако было бы величайшей наивностью полагать, что теперь реформы пойдут как по маслу.

Конечно, сегодня мы имеем самое профессиональное со времен Столыпина правительство. (Пока еще не до конца избавившееся от родимых пятен дилетантизма, оно тем не менее чрезвычайно быстро совершенствуется и профессионализируется.) В стране созданы и обретают все больший реальный вес частные экономические структуры (многочисленные банки, ряд успешных акционироваться и приспособиться к новым условиям работы предприятий, фермерские хозяйства), объединяющие энергичных и мобильных молодых людей, значительное число представителей среднего поколения и даже вовремя среагировавших на кардинальные изменения в обществе вчерашних партийных и комсомольских деятелей. Но ведь и огромная часть столетиями по одному ранжиру выравнивавшегося и десятилетиями маргинализировавшегося и люмпенизированного общества никогда не исчезла. Не говоря уж об огромной массе советского чиновничества, за долгие годы стагнации утратившего способности адаптироваться к динамике реальной жизни и не имеющего, по существу, никакой действительной профессии, никаких подлинно трудовых навыков.

Интересно и то, что среди противников радикальных реформ сегодня (в особенности после октябрьских, 1993 года, событий) оказалась и очень значительная часть интеллигенции. (Есть среди этой части и свои «бешеные», есть и просто инертно брюзжащие, за годы коммунистического режима привыкшие всегда наготове держать в кармане известную комбинацию из трех пальцев.) Многие нынешние недовольные ходом реформ фронтеры были в свое время горой за Горбачева. Почему же тогда они сейчас против?

Наверное, все закономерно. Когда-то, в 70 — 80-е годы, они, интеллигентно-дилетанты, привыкшие выступать посредниками между народом и властью, мечтали одним чохом облагородить существовавшее государство, придать ему человеческий облик, демократическое лицо и между делом повысить собственный социальный статус в обществе. С приходом к руководству страны команды Горбачева их цели, похоже, начали осуществляться. Деятели, группировавшиеся на первых этапах преобразований вокруг «Московских новостей» и «Огонька», чувствовали себя в роли прорабов перестройки совсем неплохо, тем более что сохраняли за собой все преимущества дилетантов. Они смело ругали номенклатурных мастодонтов-консерваторов (а кто их не ругал?), ничем не рискуя, оплакивали жертвы сталинизма (так,

будто они только вчера о них узнали) и при этом вполне пристойно, благополучно и респектабельно жили<sup>2</sup>. Их социальная роль в обществе была тогда как никогда раньше высока (иные даже составили себе на своем легальном диссидентстве неплохой политический капитал и сделали хорошую карьеру). Но могли ли они себе помыслить, чем реформы в конце концов обернутся?! Могли ли они подумать, что рухнет былая вертикальная линейная ценностная иерархия и у общества постепенно начнет отмирать потребность в праздных ораторах и трибунах, выполнявших посредническую роль между «тупым» народом и «тупой» властью?! Стало ясно, что придется заново учиться понимать общество, искать принципиально новые формы влияния на него, что время героев и спасителей отечества заканчивается и впереди предстоит кропотливая, будничная и зачастую малоприметная работа по созданию нового культурного ландшафта.

Может быть, именно этим с трудом и болезненно осознаваемым интеллигентами-шестидесятниками обстоятельством (а вовсе не грядущей мифической «кровавой диктатурой Ельцина») обусловлены недавно вырвавшиеся у главного редактора «Общей газеты» Егора Яковлева слова: «В шестидесятые, семидесятые годы думающие люди России собирались на кухнях, где вели политические разговоры, пели песни, что передавались из уст в уста. Что ж, вновь соберемся на тех же кухнях, споем теперь уже новые песни. Сегодня уже стучится в дверь тот, кто, признаться, давно не заходил» («Общая газета», 1993, № 17).

Самостоятельная жизнь общества потребовала и самоорганизации новых интеллектуальных слоев. И тут-то появилось сомнение в том, что многие «проробы перестройки» и «глашатаи реформ» в состоянии принести что-либо ценное в новое общество и в новые интеллектуальные слои.

Сильной стороной многих интеллигентов-шестидесятников всегда считалось «знание народа». Но мало кто из них в состоянии это знание, даже если оно и существует, преобразовать в операциональную форму, пригодную для использования. Сразу оговорюсь: речь идет не о философском, высоком знании, которое не всегда может быть дано в квантифицированном виде. Нет, имеются в виду простые вещи. Такие, как, скажем, эффективность и действенность рекламы. Глупые «экспертные» заявления, что рекламу у нас не примут, оказались просто несерьезными.

Еще более показательны исследования профессора Грушина и его службы «Vox Populi». Эта маленькая организация проводила исследования так называемых лидеров общественного мнения (почему Грушин их так назвал, трудно сказать). Опрашивались те, кого профессор считал элитой общества, — министры, журналисты, депутаты и т. д. Так вот в большинстве случаев опрошенные дали совершенно неверные оценки общественного мнения. К примеру, «элита» полагала, что Руцкой очень популярен у россиян, тогда как подавляющей массе обыкновенных людей, как потом оказалось, не было до него ровным счетом никакого дела.

Не менее забавны и интеллигентские разговоры о какой-то особой духовности, якобы присущей только нашей интеллигенции. При попытках же выяснить, в чем, собственно, эта самая духовность проявляется, нередко сталкиваешься просто с невротической рефлексией, страхом перед жизнью, порожденными собственной нереализованностью и только. Так что присущая российской интеллигенции «особая духовность» на поверку зачастую оказывается обычным неврозом.

Российское общество постепенно обретает новую структуру, в которой должно быть и наверняка будет место и для высокой культуры, и для науки, и соответственно для тех профессионалов, кто их творит, обслуживает и праву представляет.

Не станем забывать, что наша интеллигенция в значительной мере обязана своим чрезвычайно высоким социальным статусом вековой забитости, сравнительно низкому уровню светского образования, гражданского и личного самосознания значительной части россиян. Теперь, когда информация (в том числе научная и культурная) и образование (равно как и различные способы и пути самореализации личности) становятся для большинства людей куда более доступными, чем прежде, интеллигенция волей-неволей оказывается в ситуации реально складывающейся

<sup>2</sup> Разумеется, я не имею в виду многих известных диссидентов-правозащитников, таких, как А. Сахаров, А. Солженицын, и многих других крупных ученых, выдающихся писателей, художников, лишенных советскими властями из-за своих политических убеждений возможности заниматься у себя на родине своим непосредственным делом.

интеллектуальной конкуренции. Нашу интеллигенцию, включая и ее художественные слои, без сомнения ждет то же, что и интеллектуалов Запада: существование в условиях своей субкультуры и жесткая конкурентная борьба за своего читателя, зрителя, слушателя. И это хорошо. Поскольку будет способствовать профессионализации интеллигенции, росту ее мастерства и интеллектуального потенциала.

Субкультурный принцип самоорганизации общества предоставляет многим интеллигентам хороший шанс найти себя в новой российской жизни.

\* \* \*

Как бы там ни было, реформы в России продолжаются. Тяжело и не всегда последовательно, но продолжаются. Не берусь сейчас определенно говорить об их необратимости. И тем не менее другого пути кроме кардинального и фундаментального реформирования российского общества у нас нет. Либо мы научимся жить в едином ритме, в едином социокультурном пространстве со всей европейской цивилизацией, либо неизбежно превратимся в третьестепенную, отсталую страну на ее задворках.

Безусловно, у нашего государства сложная и драматическая судьба. Но ничего загадочного и предрешенного в ней нет. Все, что происходило в России и с Россией, в общем и целом вполне укладывается в рамки общеевропейской истории. И сегодня в нашей стране проходят те же процессы, которые шли и идут в остальном христианском мире: более свободным и независимым чувствует себя человек, возрастает степень самосознания личности, постепенно повышается общий образовательный уровень, быстро развиваются средства коммуникации, реальностью сделались свобода торговли и передвижения, общество становится все более автономным, все менее зависимым от государства и главное — все большее число людей проникаются (пусть пока и на подсознательном уровне) идеями и ценностями современной цивилизации. Таким образом, неизбежно возрастает, повышается способность России к скорейшей и самой широкой интеграции в мировое сообщество.

Россия приближается к миру. Переосмысливая свое прошлое и осмысливая настоящее, осваивая новые и вспоминая, воскрешая старые ценности, она ищет себя, свой новый образ и вместе с тем собственное — новое и достойное — место в сегодняшней истории...

Ноябрь 1993.



**ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ  
СТАТЬЮ НАШЕГО ПОСТОЯННОГО АВТОРА  
ДОРЫ ШТУРМАН (ИЕРУСАЛИМ)  
«В ПОИСКАХ УНИВЕРСАЛЬНОГО СО-ЗНАНИЯ  
(Перечитывая «Вехи»)».**

**ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1994 ГОДА  
«НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ  
НОВУЮ КНИГУ ДОРЫ ШТУРМАН  
«ДЕТИ УТОПИИ  
(Фрагменты идеологической автобиографии)».**

---

---

# РЕЛИГИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР

АЛЕКСАНДР ШМЕМАН



## ДУХОВНЫЕ СУДЬБЫ РОССИИ

**В** последние годы все больше россиян начинают осознавать, что в течение семи-десяти с лишним лет их вынужденной изоляции от остального цивилизованного мира существовала другая Россия — Россия, искусственно оторванная от родины.

Это была Россия, разбросанная по многим странам и континентам, сформировавшаяся и обогащенная средой, в которой она жила, но остававшаяся тем не менее Россией — со своим духовным и литературным наследием, своей историей, своими традициями и поисками, с давно сложившимся делением участников никогда не прекращавшихся мировоззренческих споров на западников и славянофилов, демократов и монархистов, консерваторов и радикалов. Эти русские называли себя эмигрантами, хотя многие из них и в России-то никогда не были. Советские власти называли их отщепенцами, отпрысками белогвардейцев, предателями и делали все что только возможно, дабы помешать им распространять свое «тлетворное влияние» на «нового, советского человека».

Но несмотря на все препоны и железные занавесы, даже в самые мрачные периоды холодной войны между этими двумя группами русских, между российской диаспорой и метрополией, всегда существовала связь — через зачитанные до дыр и подпольно распространявшиеся копии самиздатских книг и материалов, через всевозможные «радиоголоса». Одним из наиболее часто звучащих, узнаваемых и многими любимых голосов был голос о. Александра Шмемана, чьи «Воскресные беседы» на самые различные темы — от теологии до литературы — передавались по «Радио Свобода» в течение более тридцати лет и чьи книги перепечатывались и распространялись по каналам самиздата.

Протопресвитер Александр Шмеман был удивительно светлым, разносторонне образованным, открытым миру и отзывчивым человеком. Православный священник, известный теолог, историк, литературный критик, преобразователь Православной Церкви в Америке, он на протяжении всей своей жизни чувствовал глубокую связь с Россией и ее судьбой.

Александр Шмеман родился в 1921 году в Эстонии, где его семья оказалась после революции. Его дед был членом Государственного совета и сенатором, отец — гвардейским офицером, мать — дочерью костромского помещика. Он рос и учился в Париже, где судьба свела его с выдающимися русскими духовными мыслителями, оказавшимися там после революции, — о. Сергием Булгаковым, Антоном Карташевым, Владимиром Зеньковским, о. Киприаном Керном, о. Николаем Афанасьевым, о. Георгием Флоровским и другими. В 1951 году молодой о. Александр уезжает в США преподавать в Академии Святого Владимира и в 1962 году становится ее деканом.

Человек живой идеи и действия, о. Александр никогда не ограничивал свои интересы чистой теорией, чистым богословием. Публикациями, частыми выступлениями и преподаванием он всячески старался претворить в жизнь свое понимание Церкви в первую очередь как евхаристического собрания. Во многом благодаря его подвижнической деятельности Православная Церковь в Америке заняла одно из наиболее заметных и достойных мест среди других Церквей и конфессий.

Но о. Александр никогда не терял интереса к миру своих предков. Он разделил судьбу своей нации благодаря своим радиопередачам, книгам, знакомствам, любви к русской литературе. О. Александр был одним из первых людей, с кем искал встречи А. И. Солженицын после высылки из СССР. Многие диссиденты в то время находили поддержку в его книгах и радиопередачах.

Сегодня в России одна за другой выходят замечательные, глубокие и яркие книги о. Александра: «Исторический путь Православия», «Водюю и духом», «Великий пост»,

*«Воскресные беседы», пользующиеся большой и заслуженной популярностью как среди верующих, так и среди тех, кто еще только ищет свою дорогу к Храму.*

*О. Александр умер 13 декабря 1983 года от рака. Всего за две недели до этого он завершил свой последний труд «Евхаристия», написанный на русском языке. Его цель, по словам самого о. Александра, заключалась в том, чтобы возратить Церковь к тому видению, к тому опыту, которым она изначально жила. О своей последней книге о. Александр говорил:*

*«Я писал ее с думой о России, с болью и одновременно с радостью о ней. Мы здесь, на свободе, можем рассуждать и думать. Россия живет исповеданием и страданием. И это страдание, эта верность есть дар Божий, благодатная помощь.*

*И если хоть часть того, что я хочу сказать, дойдет до России и если хоть в чем-то окажется полезной, я буду считать, с благодарностью Богу, дело мое исполненным».*

*Доклад, публикуемый ниже, был прочитан о. Александром на русском симпозиуме в Церкви Казанской Божьей Матери в городе Си-Клифф, штат Нью-Йорк, в апреле 1977 года. Печатается впервые.*

**С**ейчас идет и, наверное, будет еще долго идти страстный, горячий спор о России. Надо сказать, что спор о России есть одно из постоянных измерений русской истории. Россия принадлежит к числу тех стран и наций, которые спорят о самих себе. Никогда француз не просыпается утром, спрашивая себя, что значит быть французом. Он совершенно убежден, что быть французом очень хорошо и это совершенно ясно. Тогда как русским свойственно пребывать в постоянном напряженном искании смысла своего существования. И тем более в наши дни, после того чрезвычайного, страшного по своей глубине обвала, который совершился с Россией в 1917 году. Этот спор идет, и, хотим мы этого или не хотим, он будет идти и дальше. А это значит, что неизбежно возникает вопрос о смысле и духовной судьбе России. Я думаю, что именно в этом контексте, из-за того, что спор идет и в нем мы все так или иначе участвуем, имеют право на голос и такие, как я, часть моего послереволюционного поколения, которое хотя и никогда не было в России, не было причастно ее непосредственной жизни, тем не менее (даже родившись за рубежом) не растворилось до конца в западном море, но осталось обращенным к России...

Особенность моего эмигрантского поколения заключается в том, что мы начали свою жизнь с некоторого парадокса. Если понятие «эмигрант» предполагает, что человек откуда-то эмигрировал, то я, например, ниоткуда никогда не эмигрировал, я просто уже родился эмигрантом. И всегда, с тех пор как я себя помню, хотя никогда не жил в России, осознавал себя безусловно русским. И это несмотря на то, что находился около тридцати лет во Франции, ощущая французскую культуру близкой, почти своей. А последние годы, могу сказать без всякого преувеличения, я не только принял Америку, но и посвящаю большую часть своей жизни тому, что считаю бесконечно важным, более важным, чем все остальное, — это не без воли Божией совершившееся распространение на весь мир православной веры, которая и прежде отождествлялась главным образом с востоком, с Балканами и Малой Азией, со славянскими землями. И вдруг в XX веке, в эпоху умаления Православия, уничижения его в тех местах, где оно цвело, Господь Бог каким-то таинственным образом распространил его по всему миру. Я всегда ощущал это как некоторый зов и обязанность. И тем не менее ни моя миссионерская деятельность, ни французское образование никогда не ощущались мною как отход, как забвение России. По всей вероятности, и умру я в этом сочетании, как говорят на богословском языке, разных воипостазирований — соединении нескольких природ в одной ипостаси. Итак, с этого я начал, потому что люди моего поколения, те, которые это осознали — может быть, их очень мало на самом деле, но они есть, — прошли, по-моему, через некоторые разные стадии отношения к проблеме «Церковь, Православие, духовная судьба России».

Я помню с первых лет своей жизни, может быть, буквально с пеленок, одну из ключевых формул: «Церковь — это все, что осталось у нас от России». Я просто вырос с этим постулатом. Хотя должен сказать, что довольно рано мне стало казаться, что для определения Церкви его явно недостаточно. Что кроме этого есть в Церкви еще нечто. Тем не менее в этом постулате была и своя глубокая правда.

Эмиграция помнила о России, думала о России, спорила о России, работала для будущего России. Помнить, думать, спорить — все это в эмиграции возможно. Одно невозможно в эмиграции — это быть в России. Исключением из такой

невозможности с самого начала и стал храм, церковь. Входя в церкви (я говорю главным образом про свой детский, юношеский опыт), в эти наши знаменитые церкви, переделанные из гаражей и подвалов, из квартир, русский эмигрант, какого бы он ни был возраста, отдавал ли он себе в этом отчет или нет, несомненно входил, вступал в Россию. Отсюда и такая сосредоточенность эмигрантской жизни вокруг храма. Вы могли не знать, где вы — в Белграде, Париже, Берлине или еще где-то, — когда входили в русские православные храмы, которые были одновременно и храмами как таковыми, и местом, куда можно было прийти, чтобы прикоснуться к тому, чего эмигранты в своей катастрофе отделения от России были лишены. И таким образом, даже те, кто никогда не бывал в России, тоже получали возможность через храм, через жизнь храма, церковную жизнь и связанную с нею жизнь бытовую приобрести опыт русскости, опыт России.

Русские эмигранты всегда много спорили, потому что у них даже воспоминания о России были разными. Кто вспоминал свое служение в Бородинском полку, а кто вспоминал, как он в каком-то студенческом кружке готовил революцию. Были люди, которые вспоминали, как они 9 января 1905 года гнали демонстрантов с Сенатской площади, и те, которые с теми же слезами умиления вспоминали, как их гнали. Но и те и другие соединялись в наших храмах. И для тех и для других храм был один. И тут происходило нечто похожее на идеологическое примирение (хотя оно нам, русским, в общем-то, несвойственно).

Я вспоминаю себя мальчиком, учащимся французского лицея. У меня было как бы две жизни. Сидишь в лицее, в классе, и знаешь, что сегодня вечером, скажем, Похвала Богородице. Слава Богу, лицей был недалеко от кафедрального собора. В классе были Расин и Кварнели, Столетняя война и Жанна д'Арк, а потом начиналась другая жизнь. Именно жизнь, а не просто и не только религия. Вот, например, в Великую пятницу выходил старенький митрополит и, отдавши долг Христу во Гробе, переходил затем уже к нашей жизни, к России. Подобно Христу, говорил, и Россия во гробе лежит. И вот Христос воскрес, и Россия воскреснет! И это не казалось богословской натяжкой.

Или когда начинался Великий пост и пели в церкви удивительный псалом «На реках Вавилонских, тамо седохом и плакахом...», изгнание из рая многими воспринималось как изгнание из своей страны, из России, которая чем больше проходило времени, тем больше казалась потерянным раем.

Церковь, Православие мы получили вот от этой, утраченной России, и получили прежде всего как некую ее (России) частицу. Я помню старушку — учительницу математики в русской гимназии, где я одно время учился. В этой гимназии Великим постом было общее говение. И один мой приятель пришел к учительнице и честно сказал: «Я не хочу приобщаться, я не верю в Бога». А она ему ответила: «И дурак, это же добрый, старый русский обычай». И мы вынесли из гимназии представление о вере главным образом как о части старого, доброго русского обычая... Россия, Церковь, Православие представляли собой для нас одно неразделимое целое. Это был первый этап нашего приобщения к Церкви.

Но вот получивши от России Церковь и Православие, мы стали задумываться о самой Церкви. Или, вернее, Церковь, вера сами стали жить в нас, требуя какого-то углубления, требуя ответа на вопрос, о чем мы вспоминаем, когда поем: «На реках Вавилонских, тамо седохом и плакахом...»? Или можно ли в Великой пятнице видеть только символ смерти и воскресения России?

И вот я попал в Православный богословский институт. В то время в нем преподавали настоящие корифеи. Я принадлежу к последнему классу, который еще слушал отца Сергия Булгакова; я был ассистентом по кафедре Антона Владимировича Карташева; слушал нравственное богословие у Бориса Петровича Вышеславцева; историю христианства и философию у профессора Мочульского. Все эти деятели были чрезвычайно русскими людьми, цветом России. Но главное в институте было то, что Церковь, Православие и вера зажили для нас своей собственной жизнью. Если раньше мы воспринимали их в основном как часть русского опыта, может быть, лучшую часть, то теперь на этом новом для нас этапе в душах наших стала выстраиваться некая иерархия ценностей. И мы начали задавать себе вопросы — что значат слова, сказанные Христом: «Ищите прежде всего Царствия Божия, а остальное все приложится вам»? что к чему прикладывается? что из чего следует? и что составляет тот религиозный центр, который делается центром жизни? Центром всего, потому что все в мире с ним соотнесено.

Помню, как я сидел с открытым ртом первые три года из пяти лет моего богословского образования, когда мне все время открывались абсолютно не пос-

тижимые прежде горизонты... Я и не предполагал раньше, что существует такой замысел, такой потрясающий божественный замысел о том, что такое мир, что такое человек и к чему он призван. И что за пределами всех наших религий и конфессий открывается человеку. Я вдруг понял, что каждый человек, что бы ни случилось с ним в жизни, всегда про себя может сказать: я изгнанник на этой земле. Нет и не может быть никаких зарубежных Церквей. Потому что христианская Церковь — это всегда «зарубежная Церковь». Дело вовсе не в том, что мы, христиане, за рубежом мира сего, а в том, что Церковь, почувствовавшая, ощутившая где бы то ни было, в какой-либо конкретной географической точке свою единственную, раз и навсегда уготованную ей обитель, забыла бы, предала бы свое призвание, которое положительно делает ее пришельцей и странницей на этой земле. Все мы не имеем здесь своего града, но грядущего взыскуем. Осознание этого и стало для меня обретением самой сущности Православия. Той сущности, к которой с середины XIX века начало возвращаться русское религиозное сознание через первое поколение славянофилов, через возрождение монашества от Паисия Величковского до преподобного Серафима, когда что-то такое засияло в Православии, нечто такое, что было как будто забыто со времен Византии и святых отцев.

Итак, сначала мы получили Церковь от России, вместе с Россией. Затем Церковь, Православие стали для нас центром жизни. И уже не Церковь определялась по отношению к России, как во фразе «Церковь — это все, что у нас осталось от России», а Россия стала соотноситься с Церковью: «Какой ты хочешь быть, Россия, — Россией Ксеркса или Христа?» И наконец, погрузившись в православное богословие, в православную историю, в православную иконопись и так дальше, мы по-новому начали относиться к России: путь России, ее настоящее, прошлое и будущее стали нами восприниматься по-другому. Повторю еще раз: прежде Церковь была для нас только частью России — теперь же у нас появилась потребность понять, почему, по каким причинам именно в России, где на рубеже XIX — XX веков произошло возрождение Православия, случился такой страшный социальный обвал, восторжествовали те бесы, о которых писал Достоевский. Как мы презирали Запад — я говорю «мы», имея в виду всю Россию, — сколько издевались над бельгийскими и французскими буржуа, над немцами (кто только их, бедных, не крыл!). Но случилось так, что они как-никак, но живут-то свободно, а мы... Вот и возник вопрос: отчего это произошло, как возможно? Взлет преподобного Серафима, Достоевского и Хомякова, с одной стороны, а с другой — кровавая каша, в которую погрузилась Россия.

Понятным это стало для нас лишь в свете Церкви.

В мире сем Россия требует такого критерия, который был бы вне ее и выше ее. И этим критерием является полнота Церкви. Не может быть какая-то часть критерием целого. Поэтому формула, что Церковь есть лишь проекция России, должна была быть навсегда отброшена. Так начался и продолжается наш поиск ответов на вопросы о прошлом, настоящем и будущем России, наш спор о ее духовных судьбах.

Теперь, после этого небольшого автобиографического резюме, я хочу сказать о том, какими я вижу духовные судьбы России, о том, какие возможности перед Россией открываются.

Понятие «Россия» мы употребляем здесь как некоторый образ, ведь понятие это можно по-разному трактовать — и в плане экономическом, и в планах политическом, географическом и т. д. Когда мы говорим «Россия», все мы чувствуем, что говорим не о судьбе населения, живущего на Восточно-Европейской равнине, восходящего к норвежскому племени рос. Не об этом мы говорим. Мы говорим о некоем духовном образе, к которому мы можем быть причастны, а можем быть и не причастны.

Говорить о духовных судьбах России — это прежде всего делать выбор: какой России мы взыскуем. Но выбор наш не может быть чисто субъективным: дескать, эта страна мне просто больше других нравится или мне близок ее фольклор. Нет. Наш выбор должен исходить из того главного духовного источника, каким является для нас христианство, а также из понимания того, что наша вера, наше исповедание есть только фрагмент единого и всеобъемлющего замысла Бога о мире. И стало быть, мы должны постараться увидеть и понять, к какому выбору этот замысел Россию обязывает.

У нас, русских, есть тенденция, которая мне кажется очень сомнительной (она, правда, есть не только у русских, но у нас она особенно ярко выражена), —

трактовать собственную историю как некое органическое развитие. (Вообще единственное, что мы, русские, хорошо усвоили у немцев, это шеллингианское и гегельянское представление об органическом.) И одновременно мы постоянно ищем в нашей истории некий золотой век, с которым хотелось бы себя соотносить, о котором можно было бы сказать: «Вот — это была настоящая Россия!»

Одни выбирают себе в качестве идеала Московскую Русь: обетованные времена, тишайший царь Алексей Михайлович. (А сколько при нем старообрядцев сгорело, при тишайшем-то царе!)

Другие берут себе за пример западничество, Россию петербургскую, ее блестящий культурный взлет, где-то между Петром Великим и Александром III. (Опять здесь люди расставят ударения по-разному.)

С некоторых пор появились у нас еще любители Киевской Руси. Георгий Петрович Флоровский назвал ее золотым мерилом русской истории.

И действительно, в прошлом всегда можно при желании отыскать некий «золотой век», относительно которого мы изменились в худшую сторону, исказили его традиции и к которому необходимо вернуться (как будто в истории этого мира вообще можно к чему бы то ни было вернуться). Но сейчас речь не об этом. А о самом видении и понимании истории.

Мне кажется, что русская история всегда была поляризованной, не органической. Никогда не было в ней момента какой-то устойчивости и равновесия. Изначально в российской истории присутствовало некое противоречие, существовало внутреннее борение. Прежде всего в чисто духовном плане.

В России параллельно формировались и развивались две, в общем-то, противоположные духовные и нравственные традиции.

Первую я бы определил как традицию некоей исторической гордыни. Митрополит Киевский Илларион в свое время так примерно ее обозначил: да, конечно, мы последние вошли в историю. Последние, в одиннадцатый час. Но последние будут первыми! Да, конечно, куда нам до греков, куда нам до Византии! Но, братцы, уж если мы покажем, то покажем! И тут очень кстати пришла идея третьего Рима — первый взлет русского самодовольства.

Затем имперский взлет при Петре, которому до третьего Рима никакого дела не было — жила бы Россия во славе. Появляется понятие славы. Древняя Русь хотя бы знала то, что мы и теперь говорим после литургии: «ибо Тебе подобает честь и слава», и только Тебе. Но тут явилась слава как нечто самодовлеющее: слава русского оружия, слава того, слава сего.

Потом самодовольство и гордыня стали расти, все дальше и дальше распространяться, уходить в такие глубокие и рыхлые пески нашей души. Мы ведь как привыкли рассуждать: конечно, мы так себе люди, но душа-то у нас не такая, как у всех! Никогда не подождем, пока другие скажут, что душа у нас хорошая; нет! Мы это сами объявили, сами себе назначили, декларировали, догматом сделали! У нас особенная статья, в нас можно только верить! Не можем мы себя, точно немцы какие-то, нравственными мерками мерить. (Блок вот писал, что сначала наплюем на Бога и потом целуем иконы — и в этом вся Россия.) В таком бахвальстве воспитывалась и русская армия. Русская армия, дескать, непобедима. Хотя она не один раз проигрывала войны. При Аустерлице побили, в Севастопольскую кампанию побили, в русско-японскую кампанию опять побили — все равно мы непобедимы. Что нам до фактов — факты нам только помеха!

В общем, национальная гордыня наша имела всевозможные измерения — от исторического до психологического. Но одновременно с этим самодовольством существовала и развивалась и другая линия русской духовности, русского самознания.

В чем же она проявлялась?

Мы, русские, всегда оглядывались, засматривались на Царьград, на Византию. Но душа Руси с момента ее крещения мистически пребывала все же не там, а в Иерусалиме, у евангельского Христа. Там, где игумен Даниил ставил свечку за Русскую землю.

«Всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь Небесный исходил благословляя...» — этот образ Христа полюбился России больше всего, больше всех византийских мозаик. Это было большим, чем все помыслы о земном величии, о мирской славе. Здесь угадывался поиск почти невозможной свободы. Свободы не только, как мы теперь думаем, от агрессии, от государства (хотя и от государства, конечно, тоже). По существу, это было искание свободы от тяжести земной жизни, свободы от мира сего.

И это чувство постоянно присутствовало в русской литературе. «Много нас по свету бродит, правды ищет...» — помните? Или Касьян с Красивой Мечи из «Охотничьих рассказов» Тургенева?.. Наш писатель — западник, но и он чувствует это! Жил в Баден-Бадене или Бужевале — и все-таки чувствовал. Или печальный агностик Чехов в своем «Архиерее» разве не то же самое чувство выразил?

Как же далеки эта духовная неуспокоенность, это подвижничество, зачарованность высшей Правдой, эта традиция иерусалимско-евангельского христианства от всякой суетной гордыни и агрессии, от лозунгов вроде «гром победы раздавайся», «горжусь, что я русский!», «мы русские — с нами Бог!» и т. п.

Россия получила откровение такой красоты, такой духовности, что после него просто даже нелепо было всем этим державным славам предаваться. И тем не менее она предалась.

В постоянном сталкивании, противоборстве этих двух традиций — высокой, неземной почти духовности и национального самодовольства, прельщенности грезами о земном теократическом царстве — и проходила история Российского государства. Так что пора уже перестать искать какой-то органичности в нашем прошлом. И вместо этого начать всерьез над ним задумываться и выбирать: каким путем из названных России следовать дальше?

И здесь я должен употребить формулу бесконечно затертую, избитую, очень часто неверно понимаемую, которую я стремлюсь как можно реже произносить, знаменитую формулу «Святая Русь».

Коль скоро мы говорим о духовных судьбах России, давайте попытаемся найти для этой формулы, этого словосочетания соответствующее — истинное, а не надуманное — содержание.

Что же такое Святая Русь? Утверждение ли это факта?

Помню удивительную статью Антона Владимировича Карташева «Судьбы Святой Руси». Он пишет, что Англия вот называет себя старой доброй, Франция — я сейчас не помню, ну, допустим веселой, Германия еще как-то, и только Россия назвала себя Святой. Когда народ называет свою страну — Святая Русь, то очень важно знать, в каком смысле он это говорит.

Понятие «святость» имеет два смысла. С одной стороны, оно применимо к сравнительно небольшому числу тех людей, которых Церковь канонизировала. С другой — апостол Павел и Православная литургия именуют всех нас, христиан, святыми: «Святая святым». Святость — святым. «Вы святы, потому что вы освящены». Я думаю, что вот по этому критерию — нашего реального соответствия изначальной святости каждого христианина — мы и будем судимы Богом на Страшном суде. «Разве вы не знаете, — говорит апостол Павел, — что вы куплены дорогою ценой, что тела ваши суть храм Святого Духа и «вы не свои». Вот для нас изначальное понятие святости. Поэтому когда мы произносим «Святая Русь» — следует ясно отдавать себе отчет, что именно мы имеем в виду. Если мы твердо верим в то, что русское государство, историческая Россия, которая существовала прежде, и есть Святая Русь и нам остается только вернуться к ней (кому в Киев, кому в Москву, кому в Псков и Новгород, кому в Петербург, на выбор, кто что под Святой Русью подразумевает), тогда мера нашей гордыни безусловно превышена и Бог заслуженно посрамил нас нашим страшным историческим падением. Хотели бы мы и дальше при всех наших падениях и блужданиях мерить себя только этим критерием? К чему мы все-таки стремимся? К Босфору и Дарданеллам? К тому, чтобы наш русский флаг по всему миру развеялся? Но тогда как раз советская власть и есть предел всех наших желаний, уродливая их карикатура. Ведь прежде Россия никогда не была так внешне сильна. Ни при Петре, ни при Екатерине, ни при Пушкине, ни при Достоевском, ни при одном из русских святых. Только при Сталине. Вот как оказывается все просто. Советский флаг был почти на стенах Царьграда. Если наши желания только этим ограничиваются, тогда давайте раз и навсегда забудем о Святой Руси. Ибо ничего святого в том, чтобы богатеть земной славой, земным могуществом, нет. Демоническая, страшная сила большевизма и была направлена на то, чтобы установить свою власть над всем миром, чтобы весь мир перед ней дрожал. (Как сказал один из американских президентов: «Брежнев чихнет — и весь мир волнуется».) И если мы выбираем этот идеал, то у России нет будущего.

Святая Русь неотделима от свидетельства и опыта русских святых, от влюбленности в Истину, той влюбленности, в которой Семен Людвигович Франк видел хроническое заболевание русского духа. Пока же мы будем продолжать твердить: только Россия, все только для России, — мы свою гордыню не изживем. Вы знаете

прекрасно, что гордыня — это то, что из ангелов света сделало дьяволов. И там, где есть гордыня, там никогда не будет Христа. И самый страшный дьявол тот, который принимает облик ангела света. Дьявол никогда как дьявол не является, а всегда стремится облечься во что-нибудь такое прельстительно-светленькое. Критерий же различения духов был и остается всегда один: там, где есть гордыня, там нет и не может быть Христа.

Ибо в этом и есть сущность первородного греха. Это первое.

Второе. Отказ от гордыни (который для нас очень непросто) предполагает покаяние. Я говорю не о простом перечне двух-трех исторических национальных грехов и не об истерическом биении себя в грудь, которое никогда не бывает настоящим покаянием, но часто оказывается формой самоуслаждения. Когда ко мне на исповедь приходит человек и говорит: «Я нагрешил как никто другой!» — мне приходится его разочаровывать: «Вы знаете, максимум как все». Не надо так — чтобы и в грехе кого-то переплюнуть. Необходимо трезвое покаяние. И если говорить о нашей истории, я его понимаю прежде всего как отказ от всех «золотых веков», вместе взятых. Не надо любоваться тем, чем не надлежит любоваться.

Что такое истинное духовное покаяние? Это попытка увидеть себя глазами Бога. Есть такое греховное кокетство — мы кокетничаем своими грехами. Это наша слабость. А вот увидеть себя в свете Божиим, и каждому увидеть в ту меру, в которую ему дано, — это наш общий исторический долг и путь. В свете божественной правды что было злом, то было злом, что было хорошим, то было хорошим. Только при таком подходе возможно в конечном итоге богопознание. Но без духовного очищения невозможно не только богопознание, но и вообще какое бы то ни было познание. Мы видим мир лишь внешний. Изнутри можно все увидеть и понять только в Боге. И нам дана эта возможность. Говоря о покаянии, я говорю не о чем-то коллективном, внешнем, общественном. Я вообще боюсь коллективных покаяний, так как не понимаю, в чем они выражаются. Но если бы каждый из нас, русских христиан, перестал бы жить в состоянии истерической гордыни (только покаяние и делает возможным духовную трезвость), это был бы огромный шаг на том духовном пути, который ведет к Святой Руси.

Третье. Нам необходимо освобождение Церкви.

Никогда Церковь в России не была свободной. Она была официальной. Между тем Церковь есть то, что выходит за все земные рамки. Что сказано о церкви в Символе веры: Единая, Святая, Соборная и Апостольская. Если мы пойдем еще дальше, то скажем — Тело Христова. Если еще дальше и глубже, то скажем — Храм Святого Духа. Если мы хотим взглянуть в нее, давайте посмотрим на образ Божией Матери Оранта, на Ту, к Которой обращена вся тварь: «О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь». Так и в Церкви мы можем увидеть Жену, облеченную в солнце. А главное, через Церковь во всем мире присутствует тайна Божия, присутствует свет Божий.

Но что же происходит в действительности? Я никогда не был в Церкви, которая являлась бы Святой, Соборной, Апостольской и Единой. Нет, я всегда был либо в Русской, либо в Албанской, либо в Греческой, либо в Румынской и т. д. А разве не свидетельствует это о раздроблении Тела Христова? Что же мы делаем? Скажу просто (хотя боюсь, я все же в этом храме вырос): мне абсолютно не нужно прибавления к слову «Церковь» определения «Русская». Мне нужно прибавить «христианская» и «православная» — и все. Апостол Павел ведь никогда не обращался к Греческой Церкви. Он писал Церкви, пребывающей в Греции, Церкви, пребывающей в Коринфе, и т. д., ибо Церковь странствует. И Церковь Русская — это значит Церковь, пребывающая в России для спасения русских людей и России. Но что такое Русская Святая Соборная? При чем тут определение «Русская»?

И вот я говорю про освобождение Церкви, не только в смысле юридическом. Хотя и юридически хорошо бы было ее освободить раз и навсегда. Антон Владимирович Карташев очень точно говорил, что тонкий организм Церкви похрустывал в объятиях византийской теократии. Этот хруст ребер церковных мы слышим уже на протяжении веков. Так что пора бы уже сказать государству то, что когда-то сказал Максим Исповедник, когда его привели в тюрьму: «Не ваше дело заниматься Церковью». И не кому-нибудь, а блаженнейшему, благочестивейшему христианскому императору сказал. И пора понять, что никакой опеки Церкви никогда не было нужно. Не было нужно в прошлом. Не нужно в настоящем. Не нужно будет и в будущем. Не надо нам обер-прокуроров победоносцевых, куроедовых. Оставьте Церковь в покое, поймите, что от Церкви нельзя требовать: так, вот тут послужи миру, там послужи миру. Церковь тем служит миру, что являет в нем неотмирное

Царство. Это и есть ее служение миру. Она служит миру только в ту меру, в какую она от мира абсолютно свободна. И в ту минуту, когда она себя миру хоть в чем-то порабощает, она изменяет своему призванию. Поэтому так много было сказано русскими мыслителями об освобождении Церкви. И нам не нужно выдумывать нового, нам нужно вернуться к тем, кто это с такой остротой почувствовал и пережил.

Но вернемся к теме будущего России.

Если нет покаяния, если нет трезвого видения самих себя и своей истории, то нет и христианства, нет Церкви. Потому что не бывает веры и Церкви без смирения и духовной трезвости. Больше всего в мире меня сейчас пугает не только разлив зла, открытого зла, но и появление всюду и везде страшных вещей — ложного максимализма, апокалиптизма и кликушества во всех его формах. Многим сейчас, видите ли, недостаточно называть себя просто православными, надо обязательно еще добавить «подлинные» или «истинные». А уж если кто-то «истинно православный», то ему точно известно время второго пришествия Христа. А Христу было неизвестно, между прочим. Но зато у нас знают миллионы людей. Я могу вам дать телефоны в Нью-Йорке, где вы можете узнать, когда точно будет конец света и по каким причинам. И из России довольно часто доходит до нас та же мутная волна этого ложного максимализма: что-то произошло, все, братцы, завтра ждите! Каждый год какой-нибудь пастор объявляет о втором пришествии, все выезжают в пустыню, надевают белые рубашки и вечером возвращаются обратно.

Есть христианский эсхатологизм и есть святая истина христианства: «Да придет Царствие Твое!» Да придет! Пусть сейчас придет — или через два миллиона лет. Все равно. Я живу в свете этого конца. Потому что этот конец во Христе придет. Потому что Истина объявлена. А есть ложный максимализм, апокалиптизм, есть страдания. Это навязывание всем и каждому какого-то надрыва, какой-то истерики. Меня всегда это заставляет вспоминать слова Василия Васильевича Розанова. Он писал, что Православие — для очень гармонического типа людей, а не для истерических людей. У нас же есть люди, которые, не понимая до конца диалектики Достоевского, останавливаются на чем-нибудь вроде следующего: «Ты веришь в Бога? Я, — прохрипел Шатов, — я буду веровать в Бога!» До этого он уже полтора часа о Боге говорил. А оказывается, не верил. Здесь есть эта тональность, к которой очень многие сейчас склонны. Я очень часто встречаюсь с людьми, которые приходят в Православие. И какой же мы, православные, наносим часто духовный вред! Обращая их не в святую православную истину, а, простите, в православную истерику! В какое-то сплошное бесконечное преувеличение, которое ничего общего не имеет со светом, входящим в мир (и в образе преподобного Серафима, и, в общем, в бесконечно трезвой христианской литературе, которая порождена этим Православием).

Я уже говорил о необходимости воспитывать в себе умение различать духов. «Братья, различайте духов, от Бога ли они». «Не всякий, кто говорит Господи, Господи, входит в Царствие Божие». Не всякий, особенно сейчас, в эпоху ложного «духоносничества», всяких сект, харизматиков. Как трудно становится различать, какие духи от Бога... И это относится прежде всего к России, к будущей России. Нужно, конечно, бояться и других опасностей — кровопролития и сведения счетов. Но я больше всего боюсь другого: как бы обретя наконец свободу, мы из-за нашего неумения различать духов не поругали бы ее.

Сейчас более всего нам нужен подвиг, подвиг сосредоточенности, подвиг медленного собирания души, вглядывания.

Верность России состоит не в том, чтобы просто о ней все время говорить, а в том, чтобы собирать свое знание вокруг ее благодатных и грешных, прямых и извилистых путей и постепенно создавать тот образ, к которому нужно не возвращаться, а который будет началом нового, наверное, такого же трудного, такого же трагического, но свободного развития русского пути.

Сегодня перед всеми нами по-прежнему стоит все тот же сакраментальный и пока еще неразрешенный вопрос: какой ты хочешь быть, Россия, — Россией Ксеркса или Христа?

У нас, у русских-христиан, есть сейчас две путеводные звезды. Одна — это русские святые и русская святость. Конечно, все святые святые, и я молюсь святому не потому только, что он русский. (Святость Николая Чудотворца воплощается в любом народе.) Я говорю про русскую святость в ее целом. Святость как некое

видение Бога, жизни, мира. Я только намекну на то, что это означает. Профессор Вейдле писал о греческом храме Святой Софии, что снаружи он не производит никакого особенного впечатления. Но вступишь в него — и обмираешь от того, что внутри открывается твоему взору. В русской же архитектуре часто присутствует другое — взор сразу должен на чем-то останавливаться (есть даже чисто декоративные купола, ко внутреннему убранству храма никакого отношения не имеющие). Эта, казалось бы, незначительная деталь многое объясняет. Антоний Великий или Пахомий уходили в какие-то страшные пустыни со скорпионами и т. д., а русский святой, хотя и называл место своего уединения пустыней, шел в какую-нибудь благословенную рощицу с березками. Что это такое?..

Есть, есть в русской святости нечто с трудом определяемое, но явственное. Оно и в русском почитании Божией Матери, и в почитании святых выражается. Может быть, это наши иконы (вспомним Серафима, умирающего перед образом Умиления)? Так вот, это — главный наш золотой запас. Его нужно изучить и знать. Не только для того, чтобы раз в год праздновать День всех святых, в земле Российской просиявших, а потому, что здесь мы находим некий камертон для настроя всей нашей духовной жизни.

Другая наша путеводная звезда, может быть, не в духовном, но в душевном, сердечном плане, — это русская культура. И как высшее, наиболее яркое ее проявление — русская литература.

Русская литература в лучшем, что ею создано, в основной своей тональности очень соответствует всему тому лучшему в русской истории, о чем я говорил. В ней нет гордыни. Зато всегда присутствует острое чувство греха и покаяния. Есть в ней настоящая, осуществленная духовная свобода человека, но нет кликушества. Странно даже. В стране, в которой было столько преувеличений и пережестов, в которой мысль металась, как наш великий насмешник Набоков писал, от Канта к Конту, от Гегеля к Шлегелю, — и вдруг русская литература с потрясающей трезвостью, скромностью и любовью. Вот, например, в Пушкине вы не найдете ни безмерности, ни кликушества, ни апокалиптики. Есть, правда, национальная гордость, но и та не без меры, а с какой-то даже прохладной отстраненностью.

Русской культурой, русской литературой во многом будет мериться наше прошлое.

Итак, говорить сегодня о судьбах России вовсе не значит готовить себя к возвращению в прошлое — это погибель. То, что случилось с Россией, было дано ей и нам как ужасное испытание и одновременно как возможность для пересмотра всего нашего прошлого и для очищения. Слово «кризис» означает суд. И суд совершился. Поэтому всем нам сегодня надо напрячь до предела совесть. Именно совесть. Конечно, нужны ясные знания. Мы должны уметь анализировать, изучать, любить. Но совесть все же требуется прежде всего. Совесть объединяет все. Она позволяет заново увидеть Россию в ее прошлом и настоящем и, может быть, начать чувствовать, в чем должно состоять ее будущее.

На каждом из нас, русских христиан, лежит долг подвига — в меру своих сил кто здесь, кто там, кто больше, кто меньше, но способствовать тому, чтобы духовная судьба у России была. И чтобы эта духовная судьба хотя бы в какой-то мере соответствовала тому удивительно чистому и светлому определению, которое кто-то когда-то произнес и которое осталось как мечта и чудо, как замысел, как желание: Святая Русь.



# ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

## «...ПИШУ Я ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС...»

Письма К. П. Победоносцева к сестрам Тютчевым

Почти наугад можно открыть любые воспоминания об эпохе Александра III — и убедиться, что все мемуаристы, за крайне редкими исключениями (о них речь впереди), поразительно единодушны в оценке Победоносцева и если обращаются к впечатлениям от личных встреч, то не скупаются на мрачные краски: чудовище, бессильно размахивающее «желтым кулачком» и выговаривающее «бескровными сухими губами»: «Неву трупами запрудить! Брюхами вверх! Не время сентиментальничать...»<sup>1</sup> Фанатичный враг прогресса, воплощенная ненависть к вольной мысли, коварный и циничный, жестокий и бездарный — таким он нарисован в мемуарах либералов и консерваторов, литераторов и придворных дам, мелких чиновников и влиятельных министров. И хотя этот портрет наделен чертами фольклорного злодея, таким Победоносцев вошел в нашу память — репутация его непоправима. Не в том смысле, конечно, что аналитической мысли не над чем трудиться. Речь идет о заведомой бесплодности усилий по превращению дьявола в ангела, рисующих все ту же знакомую картину — лишь с обратным знаком.

Реставрационный курс Александра III, вдохновителем которого был Победоносцев, привел к кризису власти, а в конечном — отдаленном — итоге к общенациональной катастрофе. Уже в эпоху первой русской революции современники склонны были винить в происходящем в ряду прочих и Победоносцева, его запретительную политику, форсировавшую социальное брожение. События последующих десятилетий лишь укрепили подобные настроения. Политика Победоносцева способствовала национальной трагедии — и этот непреложный факт навсегда определяет его место в русской истории.

Тем более кажется странным, что личность такого масштаба остается в тени — совершенно непознанной именно как личность, в индивидуальных своих качествах. Что за человек он был? Чем питался его жесткий консерватизм? Что сделало его идеологом крайней реакции, отпугивавшей даже союзников? И в какой мере вообще он был самостоятельной политической фигурой, в какой мере его личные качества важны для понимания исторических событий?

Обыденное сознание проявляет жадное любопытство к природе инноваций, к их психологическим и социальным истокам. К консервативной идеологии общественное внимание традиционно глухо: консерватизм кажется легко выводимым из прошлого, укорененным в отжившем и объясняется то интеллектуальной беспомощностью, то моральной ущербностью носителей. Некоторая вялость мысли в самом деле была свойственна Победоносцеву: гибкость и восприимчивость, способность впитывать чужое — в особенности книжные впечатления — явственно преобладали над творческими потребностями, и этот особый склад ума должен быть не осужден, но осмыслен. Что же касается мифа о Победоносцеве-чудовище, то он меньше всего порожден моральными качествами знаменитого обер-прокурора Синода. Ведь не кровожадностью же, в самом деле, диктовалось требование казни первомартовцев и не злобой — гонения на сектантов.

Победоносцев был чужим в той среде, в недрах которой совершил свою ошеломительную карьеру, превратившись из скромного, хотя бесспорно умного и талантливого юриста, преподававшего право наследнику и его братьям, во всесильного обер-прокурора Синода, простиравшего свою власть далеко за пределы ведомства православного исповедания и обладавшего громадным влиянием на Александра III. Человек довольно низкого происхождения (внук дьячка, как злословили современники, на самом деле внук священника и сын московского профессора, недаровитого и скучного, не любимого студентами), ученый вполне академического склада и темперамента (автор обстоятельных и ценных специалистами работ по гражданскому праву в России), опытный и хваткий чиновник, знаток бюрократических механизмов — этот человек в ближайшем окружении Александра III вызывал недоумение и враждебность. В чем только его не обвиняли — и в интриганстве, и в предательствах, и в казнокрадстве.

<sup>1</sup> Публикация, составление, вступительная статья и комментарий ОЛЫИ МАЙОРОВОЙ.

<sup>1</sup> Н е м и р о в и ч - Д а н ч е н к о В а с. И в. На кладбищах (Воспоминания). Ревель, 1921, стр. 58.

Сохранились, конечно, свидетельства противоположного толка, но они оставались и остаются маргинальными. Приведу, например, любопытный комментарий А. Г. Достоевской к адресованным ей письмам Победоносцева, опекуна ее детей, человека, по ее словам, «добротою и отзывчивого сердца»: «Я знаю много фактов его безграничной доброты»<sup>2</sup>. О благородстве обер-прокурора (очевидно, со слов В. В. Розанова) писал С. Н. Дурылин<sup>3</sup>. Проникновенный отзыв о молодом Победоносцеве оставил его университетский коллега, знаменитый юрист Б. Н. Чичерин (позднее, однако, в Победоносцеве разочаровавшийся): «...это был прелестный человек. Тихий, скромный, глубоко благочестивый, всею душою преданный церкви, но еще без фанатизма, с разносторонне образованным и тонким умом, с горячим и любящим сердцем, он на всем существе своем носил печать удивительной задушевности, которая невольно к нему привлекала»<sup>4</sup>.

Примеров подобных можно выискать еще немало, но они никак не могут служить противовесом негативным характеристикам, в таком изобилии рассыпанным в мемуарной и даже исследовательской литературе, что нетрудно составить сборник мрачных анекдотов о Победоносцеве.

И все же эта разногласица, эта несовместимость впечатлений интригует. Одни поражались «китайско-приказной дикости» Победоносцева (выражение П. А. Валуева), другие изумленно признавали, что «мумиеобразный Победоносцев способен писать <...> тепло и дельно»<sup>5</sup>; одни видели в нем лишь «благонамеренного чиновника», другие — человека «великого ума» (Ф. М. Достоевский); для одних он был ловким интриганом, для других — «фанатиком из XVI столетия». Наиболее пронизательные современники, точнее люди, более свободные от диктата общественного мнения, видели его как бы двойным зрением. А. Ф. Кони с недоумением останавливался перед «загадкой двоедушия» Победоносцева, сочетавшего душевную тонкость и сердечность с неумолимостью и даже жестокостью<sup>6</sup>. И самую, пожалуй, развернутую характеристику со всеми pro и contra, дал С. Ю. Витте: «...выдающегося образования и культуры человек, безусловно, честный в своих помышлениях и личных амбициях, большого государственного ума, нигилистического по природе, отрицатель, критик, враг созидательного полета, на практике поклонник полицейского воздействия, так как другого рода воздействия требовали преобразований, а он их понимал умом, но боялся по чувству критики и отрицания <...>»<sup>7</sup>.

«Нигилист», но «выдающегося образования и культуры», «отрицатель», но «человек большого государственного ума» — характеристика верная и глубокая и вместе с тем парадоксальная. Хотя Победоносцев на многих производил впечатление цельного человека и, по-видимому, усиленно это впечатление культивировал, печать раздвоенности, психологического разлома чувствуется во всем, не только в противозаконном союзе подлинной культуры и нигилистического склада ума.

Победоносцев с отвращением брал в руки газеты, видя в них сатанинское изображение для штамповки обывательского сознания: «...увы! правде нет места в газетах, к которым можно достойно применить слова Спасителя: „ваш отец — ложь и отец лжи“»<sup>8</sup>. Однако он всю жизнь, и довольно интенсивно, сотрудничал в ежедневной прессе, воздействуя на редакторов близких ему изданий, печатая заметки по самым злободневным вопросам даже в периоды максимальной загруженности. «Все хочу сказать б а с т а, — писал он Ф. М. Достоевскому, посылая очередную статью для «Гражданина», — и продолжаю покуда могу»<sup>9</sup>.

Победоносцев был опытейшим юристом, почти два десятилетия прослужившим в различных департаментах Сената, автором «Курса гражданского права», и тем не менее он с большим подозрением относился к «букве закона» — «бездушной, отрицательной, карательной силе», — отдавая безоговорочное предпочтение «обычаю» как «силе живой, свободной и способной к самостоятельному развитию»<sup>10</sup>. Те либеральные преобразования в судебной системе, которые совершились в середине 60-х годов при

<sup>2</sup> ОР РГБ, ф. 92/II, карт. 7, ед. хр. 966, л. 21 об.

<sup>3</sup> См.: Дурылин С. Н., «В. В. Розанов» (публикация В. А. Десятникова; «Начала», 1992, № 3, стр. 48).

<sup>4</sup> Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина. Земство и Московская Дума. М. 1934, <т. 4>, стр. 102 — 103.

<sup>5</sup> Дневник А. В. Жиркевича (Государственный музей Л. Н. Толстого, ф. А. В. Жиркевича, тетрадь 13, л. 64 об.).

<sup>6</sup> Кони А. Ф. Собрание сочинений в 8 томах. М. 1966, т. 2, стр. 264 — 265.

<sup>7</sup> Витте С. Ю. Воспоминания. М. 1960, т. 2, стр. 260.

<sup>8</sup> ОР РГБ, ф. 126, карт. 8479, ед. хр. 10, л. 3 об. (письмо к О. А. Новиковой от 4 января 1889 г.).

<sup>9</sup> «Литературное наследство». М. 1934, т. 15, стр. 127.

<sup>10</sup> Победоносцев К. П. Московский сборник. М. 1901, стр. 105.

ближайшем участии Победоносцева, вскоре стали объектом его беспощадной критики. «Во всей России, — утверждал он, — из народа поднимается вопль ропота на судебное устройство <...>»<sup>11</sup>.

Победоносцев любил уединение, тихую кабинетную работу «в своем углу», ценя поглощенность своим делом. «О себе что сказать вам? — писал он в 1864 году А. Ф. Аксаковой, тогда еще Тютчевой. — Работаю и кроме того, что до работы моей относится, людей мало вижу. А когда схожусь с людьми в обществе — редко чувствуешь, что прибыло, — по большей части чувствуешь, что убыло»<sup>12</sup>. Десятью годами позднее — не менее знаменательное признание: «Вообще как-то мало интереса видишь вне дома. Мизантропом я не расположен быть, но пошлость, которой нынче так много развелось, сильно надоедает мне» (Е. Ф. Тютчевой. 31 октября 1874 года). И все же он принимал любые поручения, вмешивался почти во все сферы государственной жизни, даже абсолютно чуждые его основным занятиям, постоянно пребывая на виду, в ненавистной ему суеде.

Победоносцев обладал вкусом к анализу, умел глубоко проникать в чужую мысль — но панически боялся любой свободной дискуссии. «Эта статья, — писал он редактору «Московских ведомостей» С. А. Петровскому о выступлении одного из иерархов церкви против Владимира Соловьева, — вполне православная, и всякая полемика по поводу ее о православии будет только с о б л а з н о м для православной церкви и уронит ваше издание в глазах благомыслящих людей»<sup>13</sup>. Опасным ему казалось не только обсуждение конфессиональных проблем. За любой неортодоксальной идеей мерещился соблазн. Так, прочитав биографию Ф. И. Тютчева, написанную И. С. Аксаковым, Победоносцев делился сомнениями со свояченицей автора: «Я счел нелишним — по дружбе — написать ему <...> и указать на одно место, которое благоразумнее было бы выкинуть, где он излагает какую-то теорию и формулу русской самодержавной власти, — теорию, но правде сказать, фантастическую, — в которой на каждом слове, на каждой фразе легко поскользнуться <...>» (Е. Ф. Тютчевой, 11/23 августа 1874 года). Не только публичная полемика с ее многочисленной аудиторией, но и живой, непосредственный спор между всерьез ценимыми им людьми казался ему никчемным: «...у Федора Ивановича (Тютчева. — О. М.) с Тургеневым завязался кипучий спор о славянофильстве и западничестве. Говорили, конечно, оба вместе и так, что некуда было вставить слова, а когда кончился продолжительный спор, можно было спросить: о чем они спорили?»<sup>14</sup> Нельзя сказать, что Победоносцева не волновала обсуждаемая проблема — она была связана с самой сутью его воззрений. И дело вовсе не в том, что у него все ответы были предreshены. Очень точно его охарактеризовал В. В. Розанов, вспоминая первое впечатление от знакомства: «По натуре <...> Победоносцев был спорщик, который и внутренно, в себе, и молча продолжает начатый вслух спор. Этим полным спора человеком он и вышел ко мне»<sup>15</sup>. Его статьи в самом деле пронизаны тайным духом полемики, что, однако, парадоксальным образом сочеталось с маниакальной боязнью открытого диалога, с болезненной жаждой безмолвия. «Повсюду только слова, — писал он Е. Ф. Тютчевой, — жалкие, обманчивые, — и совсем не видно дела. Приходится самому удерживать в себе мысль и слово, ибо явственнее, чем когда-нибудь, теперь «мысль изреченная» становится ложью, как только слышишь себя в этой атмосфере безделья и пустоты» (22 ноября 1870 года).

Всю жизнь Победоносцев страдал из-за вялости правительственной политики, всю жизнь тосковал по энергичным деятелям. «Отчего это совсем людей нет? — жаловался он А. Ф. Аксаковой в 1864 году. — Отчего все кажутся так мелки, ни в ком не слышится силы <...>». Более десяти лет спустя, уже заняв видное место в структурах власти, он предавался точно таким же размышлениям в письме к Е. Ф. Тютчевой: «Ищешь Русской души, деятельной, горячей, и обретаешь разве только — хоть и русского склада людей, но дряблых, нерешительных, умеющих только кричать и пустословить» (30 декабря 1876 года). А между тем на каждого деятельного, тем более самостоятельного человека он смотрел с подозрением, наводил сокрушительную критику, опасаясь любых инициатив. По меткому замечанию В. В. Розанова, Победоносцев «всегда и всю свою «говорящую фигуру» ложился поперек всякого живого течения воды <...>»<sup>16</sup>.

<sup>11</sup> «К. П. Победоносцев и его корреспонденты». М. — Пг. 1923, т. 1, полумом 2, стр. 486.

<sup>12</sup> ОР РГБ, ф. 230, карт. 5273, ед. хр. 2, л. 8. Далее при цитировании писем к сестрам А. Ф. и Е. Ф. Тютчевым указывается в тексте только адресат и дата (все эти письма хранятся: ОР РГБ, ф. 230).

<sup>13</sup> ОР РГБ, ф. 224, карт. 2, ед. хр. 24, л. 5.

<sup>14</sup> «Литературное наследство». М. 1989, т. 97, кн. 2, стр. 415.

<sup>15</sup> Розанов В. В., «М. П. Соловьев и К. П. Победоносцев о бюрократии» («Начала», 1991, № 1, стр. 49). (Впервые: «Новое слово», 1910, № 1.)

<sup>16</sup> Розанов В. В. Когда начальство ушло... 1905 — 1906 гг. СПб. 1910, стр. 146

Эта двойственность жизнеповедения отнюдь не была безотчетной, Победоносцев прекрасно понимал внутреннюю противоречивость своей позиции: «Мне кажется, когда утомленный отхожу я ко сну, что все как-то не так я живу и не то делаю <...> Но, видно, то следует, что Бог послал, и послал, может быть, для того, чтобы мы не забывали, „яко не имамы зде пребывающего града“» (Е. Ф. Тютчевой, 25 июня 1869 года). Очень характерный для Победоносцева поворот мысли: фальшивость положения объясняется недостижимостью идеала — и несовершенством собственного «я», и искажающей силой жизни. Ни изменить эту убогую реальность, ни игнорировать ее законы нельзя, если не впасть, конечно, в мечтательность и утопизм — самый распространенный в XIX веке грех, нашедший в Победоносцеве глубокого обличителя. Единственное спасение для человека, единственный возможность быть верным себе — это автономное существование, замкнутая духовная жизнь, где можно не прилаживаться к обстоятельствам и не прислушиваться к шуму житейского рынка. Потому Победоносцев всегда так любил «рамку», всегда старался ограничить себя непроницаемыми стенами, культивировал одиночество: «Я не могу пожаловаться на свою ежедневную жизнь — она вся наполнена трудом и исполнена того, что я почитаю долгом: я живу постоянно в р а м к а х, и, если хотите, это всего лучше» (А. Ф. Аксаковой, 12 февраля 1864 года).

Живя в «пропитанном миазмами» Петербурге, Победоносцев находил спасение в самоизоляции. Во всяком случае, свою интимную жизнь он замкнул в семейном кругу и в беседах — по преимуществу эпистолярных — с немногими близкими ему людьми; любопытно, что в основном — с женщинами умными, восприимчивыми, очень его ценившими и, как правило, заражавшимися его настроениями. Читатель легко представит себе его окружение, знакомясь с публикуемыми ниже письмами.

Как бы высоко ни поднимался Победоносцев по служебной лестнице (фактически управлял страной в первые годы царствования Александра III), как бы ни засасывала его придворная суета, он всегда держался особняком и всегда чувствовал себя отшельником в бюрократическом и светском Петербурге. «Я стою в стороне от всего <...>, — сообщал он М. Н. Каткову летом 1881 года, вскоре после того как написанный им манифест развернул правительственный курс к реакции. — Делаю свое дело с утра до ночи — то, что могу делать сам, не справляясь с другими. Как ни загажено церковное поле, но оно все-таки гораздо чище всего прочего <...>»<sup>17</sup>. Для нас здесь важна не адекватность его самооценки, а убежденность в спасительности «рамок», причем в универсальной спасительности.

То, в чем Победоносцев находил успокоение, он предписывал и другим. Каждый человек, каждая «живая душа», может сохранить себя только в «рамках», причем не в тех, что сконструированы самостоятельно, как это приходилось делать всю жизнь Победоносцеву, но в преднаходимых, в предначертанных. Личность должна жить по незыблемым законам сложившегося социума, следуя предписанным заранее правилам и не порывая с исконной средой.

За этим требованием ощущается драматичный опыт человека, из своей среды выпавшего. Жесткая социальная концепция Победоносцева опиралась на его психологический опыт; в личности Победоносцева, в его нравственном складе, в контексте биографии может и должна быть осмыслена его политическая концепция.

Вот почему публикуемые письма — фрагменты долгого и доверительного диалога с сестрами Тютчевыми — представляют уникальный интерес. В беседе с обеими — сначала с Анной Федоровной (1829 — 1889), старшей дочерью поэта, затем с Екатериной Федоровной (1835 — 1882), как бы по праву близкого родства получившей от сестры способность вызывать корреспондента на откровенность, — Победоносцев не скупился на признания, раскрывающие его интимную духовную жизнь. Но всегда за этими признаниями сквозит характеристика общества, социальной атмосферы, в которой он живет.

Победоносцев вообще склонен был понятия душевной жизни распространять на жизнь социальную. Этот его несколько наивный антропологизм, как, впрочем, и непримиримый, уловатый морализм, вполне в духе времени и обнаруживает сходство как с Чернышевским, так и с Львом Толстым, — то есть с теми, кому его принято безоговорочно противопоставлять и в ком он сам видел своих антагонистов.

И это глубинное родство закономерно. «Чудовище» Победоносцев был крайней своеобразной, болезненной реакцией на проблемы века. Очень точно Лидия Гинзбург охарактеризовала самочувствие человека второй половины XIX столетия: «...они были людьми потерянного рая. Недавно, у всех на памяти, рассеялся рай абсолютов, раз-

<sup>17</sup> ОР РГБ, ф. 120, карт. 9, ед. хр. 47, лл. 47 — 47 об.

ных — от католической догмы и Декларации прав человека до Гегеля»<sup>18</sup>. Через искус традиционных для XIX века верований, и в частности через искус гегелевской системы, Победоносцев прошел — и тем острее он страдал от дисгармонии настоящего, тем решительнее восставал против реформ Александра II, тем более страстно искал спасения в церкви и тем более рьяно защищал главную ценность утраченного рая — цельную, «простую», в его терминологию, душу.

Неудивительно, что центральной категорией «Московского сборника», главной книги Победоносцева, его политической декларации, стала душа — верующая, мыслящая, страдающая от разрушительного напора цивилизации. Незыблемость традиционного социального уклада — единственный залог душевной цельности человека. И это главный аргумент победоносцевского консерватизма, глубинное оправдание охранительной политики.

Здесь Победоносцев с очевидностью приближается к славянофильской идеологии — к апологии «цельного сознания верующего разума» (И. В. Киреевский). Но это лишь точечное соприкосновение: Победоносцев подменял «верующий разум» «мыслящей душой», поскольку всегда испытывал крайний скепсис в отношении постижения мира силою разума. Мерой истинности для него служили понятия душевной чистоты, искренности, сердечной полноты. Отсюда размытость и произвольность его построений. Отсюда и предельная удаленность от острых политических проблем, требовавших незамедлительного решения.

Любопытно, что душа, к которой Победоносцев апеллировал и в «Московском сборнике», и в письмах к Александру III как к высшей инстанции, эта душа лишена конкретности. Она вроде бы во плоти, но до того стерта, до того избавлена от индивидуальных проявлений, страстей, заблуждений, что кажется схемой души, а не душой. Это душа-норма, далекая от жизни. Самый пронизательный рецензент «Московского сборника», В. В. Розанов, очень точно определил природу этой книги: «...как бы листки записной книжки, но без небрежности изложения: все статьи одушевлены и чистосердечны именно как страница дневника». «Страница дневника» в устах Розанова — высшая оценка, знак родства, но за ним — сознание глубокой бездны, отделяющей рецензента от Победоносцева: «Это отвлеченная книга, и отвлеченность тем более мучительна, что это не отвлечения ума, а отвлечения сердца»<sup>19</sup>. Розанов хорошо знал Победоносцева и, возможно, писал не только о книге. «Отвлеченности сердца» пронизана и дружеская переписка Победоносцева.

Он почти в каждом письме делится своими переживаниями, много и подробно рассказывает о своем душевном состоянии — как правило, мучительном, объясняющемся несоответствием реальности идеалу. Откуда бы Победоносцев ни писал — из-за границы, из Петербурга и даже из Москвы, игравшей в его мечтах роль земного рая (Петербург — это «толкучий рынок», Москва — «тишина, простор и досуг»), — наличная действительность всегда его оскорбляет, душа везде бесприютна. Лишь церковь — ее прибежище, лишь в обряде она находит отраду. Однако при всей насыщенности писем признаниями, из них мы очень мало узнаем о жизни Победоносцева. Один и тот же круг переживаний, не зависящий от меняющихся обстоятельств, господствующая интонация, повторяющиеся мотивы, образы и даже слова. Крутые повороты судьбы Победоносцева если и отражаются на страницах переписки, то совершенно внезапно, ничто их не предвещает. Так, неожиданно после нескольких лет доверительной эпистолярной беседы с Анной Федоровной Победоносцев вдруг сообщает ей о намерении жениться, причем на девушке, уже давно занимавшей в его жизни огромное место. Ни в одном из предыдущих писем он не обмолвился о ней ни словом. Жизненную конкретность Победоносцев как бы выносил за скобки, обнажая суть, — но суть то ли размытую, то ли универсальную. В этом смысле письмо Победоносцева-женщика — совершенно уникальный документ. Здесь нет ни одной живой черты невесты, ни намек на ее внутренний мир, ни слова о любви (которая, судя по множеству свидетельств, связывала этих людей многие годы), ничто не выдает страсти, которую, наверное, испытывал зрелый мужчина к семнадцатилетней девушке редкой красоты. Выдержан обычный для Победоносцева, несколько «плаксивый», по удачному выражению одного современника, тон. Единственная живая деталь — материнское отношение к невесте («...дитя мое милое, которое я на своем сердце взрастил») — вроде бы по недосмотру прорывается в это письмо (заставляя, правда,

<sup>18</sup> Гинзбург Лидия. Человек за письменным столом. Л. 1989, стр. 195.

<sup>19</sup> Розанов В. В., «Скептический ум» («Новое время», 22 ноября 1901 г.; включено в сборник его статей «У церковных стен», т. 1).

задуматься о женственном душевном складе Победоносцева), а в остальном он все такой же: вроде бы откровенный, но застегнутый на все пуговицы.

Не менее поразительно, что Победоносцев десятки лет писал Екатерине Федоровне Тютчевой о том, что не доверил бы другим своим собеседникам (именно к ней обращены слова, вынесенные нами в заглавие), однако о стремительной карьере, которую он совершил именно в годы переписки с ней, мы узнаем очень мало — лишь о результатах, но не о пружинах, то есть не о том, что составляло его обыденную жизнь. Изредка у Победоносцева прорываются сетования вроде следующего: «Мне положено мешать и загораживать всячески дорогу» (20 октября 1868 года), — но как он пробивал себе эту дорогу, остается для нас загадкой.

В письмах к сестрам Тютчевым мы не найдем совершенно неизвестного Победоносцева — каким он был «на самом деле», но скрывался от посторонних глаз. Он предстает здесь таким же, как в публицистике, как в официальной переписке, — регламентированным в своих душевных движениях, «условно анонимным», как очень удачно выразился самый глубокий истолкователь Победоносцева Г. Флоровский. Язык писем — это язык его статей, раздражавших многих выпренностью и елейностью; это язык его переводов (любопытна в особенности стилистическая однородность писем даже самого бытового содержания и победоносцевского перевода «О подражании Христу» Фомы Кемпийского). Тематика писем — это все та же знакомая читателю «Московского сборника» яростная критика разлагающейся государственной системы, «хаотического состояния общества», ничтожества «великих мира сего». Общая логика писем отражает эволюцию человека, ведомого в идеологическом пространстве негативными импульсами: общественная позиция Победоносцева выросла из критики самых разных течений и идей (это к вопросу о тайном духе полемике, пронизывающем его статьи). Критический анализ прочитанного и пережитого — может быть, главное в письмах к сестрам Тютчевым. Причем особенно интересен скрытый в этих письмах диалог Победоносцева со славянофилами: обе корреспондентки входили в их круг (сначала через отца, потом через И. С. Аксакова, мужа А. Ф. Тютчевой), и в беседе с обеими просматриваются как силы притяжения, так и — в еще большей мере — силы отталкивания от славянофильства.

Близость «Московского сборника» и дружеской переписки — иногда даже текстуальная — симптоматична. То, что первоначально выливалось из-под пера в частной беседе, приобретало затем качество публичности, сохраняя и стиль и интонацию. Победоносцев был верен себе, самостождествен в различных своих проявлениях, оставаясь, однако, всегда замкнутым, пребывающим «в рамках» — и сохраняющим потому свою тревожащую загадочность.

Помещенные ниже письма охватывают досинодальную эпоху жизни Победоносцева — наименее изученный период его биографии. Наставник цесаревича, сумевший внушить ему оппозиционные настроения, и в те годы уже был наделен властью (с 1868 года сенатор, позднее член Государственного совета), но еще не подавлен своим положением — его репутация в обществе держалась личными качествами, на политическом горизонте он смотрелся сильной и одинокой фигурой, вызывая интерес окружающих и — самое главное — сознательную собственную неординарность, отсюда неустанная саморефлексия и глубинный, уводящий от эмпирики автобиографизм его писем.

Все публикуемые письма хранятся в 230 фонде отдела рукописей Российской государственной библиотеки (карт. 4408, ед. хр. 2—12; карт. 5273, ед. хр. 2—5; в комментариях ссылки даются далее только на номер картона и номер единицы хранения).

Во фрагментах, иногда довольно крупных, публикуемые письма к сестрам Тютчевым (в особенности к Екатерине Федоровне, диалог с которой длился почти двадцать лет) давно известны в печати. В извлечениях их впервые ввел в оборот Ю. В. Готье, снабдив документы не устаревшей по сей день характеристикой личности и взглядов Победоносцева (Готье Ю. В. Победоносцев и наследник Александр Александрович. 1865 — 1881. — В кн.: Публичная библиотека СССР имени В. И. Ленина. Сб. II, М. 1928). В дальнейшем к ним не раз обращались специалисты. Из работ последнего времени следует выделить прекрасно подготовленную, единственную на сегодняшний день научную биографию Победоносцева, где эти письма широко цитируются: *Y u r n e s R o b e r t F. Pobedonostsev. His Life and Thought. Bloomington—London, 1968.*

Публикатор приносит глубокую благодарность сотруднику ОР РГБ Т. Т. Николаевой за помощь в работе.

## А. Ф. АКСАКОВОЙ

## 1

Христос Воскрес! в первый день праздника пусть и мое поздравление дойдет до вас, добрейшая Анна Федоровна. Будьте здоровы и радуйтесь. Мне Бог дал возможность проводить эти дни в ожидании праздника, спокойно и в уединении своей комнаты — около вас, я знаю, шум и заботы, которые смущают душу, и нет вам тишины и покоя в своей комнате — точно в ту пору, когда комнату убирают и изо всех углов поднимается пыль, и нет угла, где бы можно было усесться спокойно с своею думой. Но иногда, по милости Божией, праздник внезапно вторгается в душу и приводит с собой тишину торжественную. Дай Бог вам — в тишине и в радости встретить Светлый Праздник. На Праздник отворяются двери храма — одному теснее, другому шире, — и нечего рассчитывать, что в отворенные двери все мы взойдем и останемся, слава Богу, когда придется постоять на пороге отворенного храма и постоять минуту в спокойном созерцании. Потом двери затворятся, но в душе останется светлый след, и одно воспоминание о том, что видела душа в эту минуту, возбуждает в ней трепетное ожидание нового праздника, ожидание, которое само по себе есть уже радость<sup>1</sup>.

Поздравляю вас еще с днем вашего рожденья и радуюсь за вас, что на этот раз в день своего рожденья вы еще услышите «Христос Воскрес» на Светлой неделе. В прошлом году я был у вас в этот вечер; и теперь, когда соберутся к вам друзья ваши, вспомните, что и я хотел бы, когда бы мог, к ним присоединиться. Зато в этот день постараюсь увидеть и поздравить ваших, у старого Пимена<sup>2</sup>.

В последний раз вернувшись из П<етер>бурга, я, по желанью вашему, в тот же день был у сестрицы вашей Дарьи Федоровны, но она была больна и не могла принять меня, так что я недавно только, на шестой неделе поста, мог с нею увидеться<sup>3</sup>.

Еще раз: Христос Воскрес! Еще раз — радуйтесь. — Прошу вас не забывать от всего сердца вам преданного

К. Победоносцева.

Москва

17 апреля 1864

Вел<икая> Пятница

<sup>1</sup> «Как я вам благодарна за ваше доброе письмо, — отвечала Победоносцеву Анна Федоровна. — Я его получила на утро светлого воскресенья, среди суматохи, визитов, поздравлений и раздачи фарфоровых и стеклянных яиц, и оно было для меня единственным тихим и отрадным впечатлением в течение этого утра» (карт. 4406, ед. хр. 2, л. 3 об.).

<sup>2</sup> То есть Сушковых — литератора и мемуариста Николая Васильевича Сушкова (1796 — 1871) и его жену, родную сестру Ф. И. Тютчева Дарью Ивановну Сушкову (1806 — 1879). Их салон был одним из самых оживленных в Москве, средоточием интеллектуальных сил. В доме Сушковых жила Е. Ф. Тютчева, с которой уже тогда у Победоносцева завязались добрые отношения, переросшие позднее в духовную близость.

<sup>3</sup> Т ю т ч е в а Д. Ф. (1834 — 1903) — вторая дочь поэта от первого брака, фрейлина императрицы Марии Александровны, в 70-е годы постоянная собеседница Победоносцева.

## 2

Москва

8 ноября 1864 г.

Итак, Ницца не удовлетворяет вас, в Ницце вам скучно, в Ницце вы вспоминаете с завистью о Крыме, из Ниццы вы рветесь — пожалуй — даже под серое небо Петербурга. И я совершенно вам сочувствую. Я не могу себя представить вне родного воздуха, и одна мысль о том, чтобы *усесться* где-нибудь за границей — подвергает меня в ужас. Мне кажется, это значило бы порвать самые дорогие, самые крепкие и задушевные связи. Бывают тяжкие минуты, когда человек теряет все, что называл своим и для чего жил на свете, — тогда прежняя среда, в которой лилась — и пролилась жизнь его, кажется ему невыносима, и хочется ему убежать куда-нибудь в такое место, где у него ничего своего нет — и не бывало. Вот когда, я понимаю, можно усесться где-нибудь за границей, но — какое печальное сиденье! Правда — на вас лежит долг, — но сердцу все-таки не легко<sup>1</sup>.

И кроме того — правда ваша — оскорбительное чувство входит в душу. Теперь — кажется — нам нужнее, чем когда-нибудь, тот «гордый покой»<sup>2</sup> ввиду неприятелей, который происходит от самосознания. А когда видишь, что этого

самосознания нет, и горько и стыдно становится. Кажется, не может быть сомнения в том, что нас «ненавидят», хоть и не смеют еще презирать, и играют с нами в темную игру то ласково, то насмешкой, как светский эгоист играет с простым человеком, попавшим в его общество, когда не смеет прямо его вытолкать. И так больно видеть, что простой человек этой игре поддается<sup>3</sup>.

Скажу вам, что когда бы не работа, которая не дает мне много досуга, сердце наболело бы без меры — и так оно уж болит ото всего, что видишь и слышишь. Я молчу — мне говорить больно, да и терпеть не могу бесплодных речей, — но я не могу не чувствовать всеобщего разложения и пустоты в домашних делах. На всем написано одно: *пошлость*; как ни бережешь себя от негодования и раздражения, не убережешься.

Но довольно об этом — в ваш огонь мне еще не приходится подливать масло<sup>4</sup>.

Вы мне пишете: «Если у меня есть *Doppelgänger*<sup>5</sup>, то его можно встретить около Кремля». И я даже улыбнулся, вспомнив об ваших словах, когда на другой <день> был в Кремле, в крестном ходу, и там неожиданно-негаданно вдруг встретил — Гр<афино> Блудову<sup>5</sup>. Она, верно, рассказала уж вам об этом. Это было торжественное утро, которое я стараюсь всякий год проводить в Кремле, — в это утро встает из Соборов наших вся история со всею святыею и идет ходом вокруг стен московских — целый лес древних хоругвей, целый полк духовенства, целый хор колоколов московских, целое море — молящегося народа. И все это в память всероссийского события изгнания из Москвы тех двенадцати язык, под сению коих вы теперь отчасти проживаете, добрейшая Анна Федоровна.

Живу я — так тихо и однообразно, что, если б вы могли видеть, вас из вашей суеты вдвое сильнее потянуло бы в покой московской. Утром — работа в сенате, вечером — работа дома, но кроме работы и книги — и кое-когда живые люди. Время не идет, а бежит, и вот уже — скоро запоют «Христос рождается» на введенев день, а там — Никола Зимний, а за Николою Спиридон, когда по московскому счету уж зима поворачивает на лето<sup>6</sup>. В последнее время я никуда не выезжаю — боюсь выезжать именно потому, что в разных домах — особенно у Н. В. Сушкова — производится агитация по поводу какого-то вопроса и всех приглашают присоединиться к заявлению образа мыслей — чего я крайне избегаю<sup>7</sup>. Я был там недели 2 тому назад, по приезде Катерины Федоровны. До сих пор у нас здесь самый капитальный предмет разговора — Шедо-Ферроти и его книга, которую вы, верно, давно уж прочли и оценили по достоинству<sup>8</sup>.

Отчего это совсем людей нет? Отчего все кажется так мелки, ни в ком не слышится силы, не за кого ухватиться — есть только через кого получать награды и казенные деньги и разные степени власти! Отчего самая власть так потеряла свои громадные размеры и с каждым днем все мельчает и мельчает? Или — для современника великих людей не бывает? Когда б вы знали, как мне хочется иногда встретиться и поглядеть великого человека, человека с силой, с кем бы слиться, с кем бы вместе поработать крепкую работу! Нет — нет — всю<ду> видишь только блеск казенной позолоты костюма, всюду слышишь звон — казенных денег. — Или пришло на нас по воле Божией такое время, когда, говорят, великие дела сами собою делаются. Не знаю — не знаю, — но мне часто делается страшно — что еще придется видеть и пережить. Испытали ли вы это чувство — за себя и за других! Человек живет не так, как надо, слабеет, малодушествует, забывается, лжет сам себе, то есть говорит одно, а делает другое — и, веруя в любовь Божию, знает, что ждет его *наказание*, то есть явится событие, которое — вопреки ему — покажет ему правду, болью и печалью восстановит в нем равновесие сил, встряхнет его не в мысли только, не в чувстве и фантазии, а в самом корне жизни, правдою Божией. Так иногда страшно делается за будущее, когда видишь в настоящем признаки разложения и слабости и неправды. Людей нет крепких, которые служили бы представителями идеи, — но видишь, как в недостатке людей и идей — проникают в массу и бессознательно прививаются к ней разные мнения и борются одно с другим тайною борьбой, причем ни одно из них не принимает определенной формы, ни в одном из них, при всем упорстве, даже при ожесточении, не слышно той глубокой веры в идею, которая созидает и перерабатывает. Но эта борьба, глухая борьба мнений, конечно, имеет свое значение и, перемешивая элементы, готовится почва — для какого-то неведомого события, готовится поле для какой-то неизвестной силы, которая еще явится. Вот отчего иногда страшно становится жить, и из этого страха разве только опять это слово выводить: «Господь Бог».

Спутники нашего Вел<икого> Князя пишут, что им очень скучно, что они с грустью вспоминают о прошлогоднем путешествии<sup>9</sup>. И как не вспомнить — тогда

\* Двойник (нем.).

все чувствовали себя дома и, может быть, не умели ценить, как хорошо быть дома, между своими, своим духом дышать, свою силу в себе чувствовать. Не заживайтесь долго между чужими — вышли вас Боже скорее в свою землю! И — новую принцессу привозите с собою: правда ли, что свадьбу хотят устроить в Москве? Это было бы очень кстати — да вряд ли это правда.

Будьте здоровы, добрейшая Анна Федоровна, и да благословит вас Бог во всяком вашем деле. Благодарю вас от всей души за добрую вашу память обо мне  
ваш К. Победоносцев.

9 ноября. Вы меня балуете, как малого ребенка, добрейшая Анна Федоровна. Сегодня нежданно-негаданно получил я от вас посылку с конфетами из Ниццы. Это напомнило мне не знаю кем пущенное про меня слово, что я лакомка. Ничего — быть так — когда так сказано, — и я от всего сердца вам благодарен за эту присылку — на чужой стороне вы подумали обо мне настолько, что захотели мне сделать это удовольствие. Я очень этим тронут — в первую минуту мне как будто было совестно, но потом я очень просто обрадовался, когда подумал об вашем добром желании. Спасибо вам за него от всего сердца.

<sup>1</sup> Долг — воспитание младшей дочери Александра II, великой княжны Марии Александровны (1853 — 1920). Анна Федоровна писала Победоносцеву о тоске по родине, выражая настроение своего окружения, о чем тогда же сообщал из Ниццы ее отец (см.: «Литературное наследство». М. 1988, т. 97, кн. 1, стр. 385).

<sup>2</sup> Неточная цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Родина».

<sup>3</sup> Имеется в виду реакция Европы на подавление польского восстания и на проводимые в Польше преобразования. «Все улицы битком набиты народом, — писала Анна Федоровна Победоносцеву 13 октября 1864 года, — и все с любопытством и с насмешкою на нас смотрят, точно преступников везут» (карт. 4406, ед. хр. 2, л. 12).

<sup>4</sup> Подразумевается горячность адресата. В 1867 году Победоносцев писал ей из Петербурга: «...рад я за вас, что вас теперь нет здесь — но для них (то есть для императорского двора. — О. М.) — сколько раз приходится пожалеть, что замолкло около них ваше прямое и горячее слово» (карт. 5273, ед. хр. 4, л. 6).

<sup>5</sup> Графиня Б л у д о в а А. Д. (1813 — 1891) — фрейлина императорского двора, писательница, дочь государственного деятеля и литератора Д. Н. Блудова. Твердая сторонница «русского направления» в политике, дружившая со многими славянофилами, умная и влиятельная, она стала опорой Победоносцева в последующие десятилетия, когда он жил в Петербурге. В 70-е годы он регулярно посещал ее салон в Зимнем дворце.

<sup>6</sup> Крестный ход в память победы над Наполеоном ежегодно совершался в Москве.

<sup>7</sup> В в е д е н ь е в д е ь (введение Богородицы во храм) — 21 ноября (здесь и далее даты приводятся только по старому стилю), Н и к о л а З и м н и й (день памяти святителя и чудотворца Николая) — 6 декабря, С п и р и д о н (память преподобного Спиридона Тримифунтского) — 12 декабря (в этот день, по пословице, солнце поворачивает на лето, зима на мороз).

<sup>8</sup> Возможно, речь идет об а г и т а ц и и в пользу М. Н. Каткова, намеревавшегося отказаться от редактирования «Московских ведомостей» вследствие цензурных репрессий. Не исключено, однако, что Победоносцев имел в виду адрес московского дворянства, обратившегося к царю с ходатайством о созыве «общего собрания выборных людей земли русской».

<sup>9</sup> Летом 1864 года вышла написанная по заказу министра народного просвещения А. В. Головнина брошюра барона Ф. И. Фиркса, выступавшего под псевдонимом Д. К. Шедо-Ферроти «Que sera-t-on de la Pologne?» («Что будет с Польшей?»). Автор поддерживал предложение предоставить Польше ограниченную автономию и полемизировал с М. Н. Катковым, отстаивавшим политику русификации края. В письме Б. Н. Чичерину (18 сентября 1864 года) негативное отношение Победоносцева к этой книге выражено определенно: «...тут <...> вереницей всякие события. Последнее из них — это история новой книги Шедо-Ферроти, которую Головнин рассыпает по всей России, с рекомендациями, по университетам и учебным заведениям. У нас в прошлую субботу Совет решил возратить ему 10 экземпляров, присланные в Московский университет» (ОР РГБ, ф. 334, к. 4, ед. хр. 4, л. 2 об.).

<sup>9</sup> Наследник престола находился в это время за границей, среди его спутников был Б. Н. Чичерин, с которым Победоносцев состоял в оживленной переписке. Поездка преследовала, в частности, матримониальные цели: в Копенгагене великий князь Николай Александрович стал женихом упомянутой далее Победоносцевым датской принцессы Дагмары (1847 — 1928), впоследствии жены Александра III, русской императрицы Марии Федоровны. П р о ш л о г о д н е е п у т е ш е с т в и е — путешествие по России наследника Николая Александровича, в свите которого находился Победоносцев.

Христос Воскрес — добрейшая Анна Федоровна, — дай Бог, чтобы в радости праздничной застало вас это праздничное слово! Пишу к вам в Вербную Субботу, вернувшись из церкви от всенощной — вы знаете, как хорошо у нас в России в эти дни повсюду, где есть храмы Божии, где есть молящийся народ. Сегодня день

такой торжественный — сегодня церковь зовет каждого взять на себя крест свой и с этим крестом встречать идущего на страдания Спасителя — что за торжественный вход! И подумайте — что если бы точно каждый в эту минуту всем сердцем взял на себя крест свой — о, как их много, и каких крестов, — и так все вместе стали бы перед Богом, что за чудный, что за торжественный вышел бы хор! Но довольно и то, что мысль эта во всех есть — что эта мысль всеми поется в церкви. — Какой чудный праздник!

Есть ли у вас там, в Ницце, такие праздники? Была ли у вас русская вербная всенощная, русская Страстная неделя? Радуюсь за вас, когда были, — но слышу, что Ницца вам надоела и что вы рветесь под серенькое небо баденское. В добрый час — чем ближе к дому, тем лучше — вот, я слышу, что между целыми горами фиалок южного края вы вспоминаете о северной фиалке, — и все южные кажутся вам без цвета и без запаха. Возвращайтесь же скорее в родную землю — нет ее краше и милее. — Душа наболела от здешнего безобразия и уродства, от всяческого кривлянья и ломанья, от кукольной комедии, в которую, кажется, обратилась вся наша деятельность и в которой поминутно узнаешь старого уличного знакомого — Петрушку, — переодетого чиновником-либералом, — душа наболела от всего этого, душа устала расхаживать по пустырям недостроенным, покрытым обложками и мусором, заросшим крапивою, — и все-таки эту землю она любит и все-таки верует в нее, и все-таки находит здесь, именно здесь, на больших пустырях и в диких лесах, те поэтические березы, те скромные и душистые фиалки, о которых вы мечтаете на берегу Средиземного моря, — и все-таки над этими пустырями — из конца в конец носится гул тех колоколов московских, которые вот скоро-скоро населят глухую ночь и темную пустыню — целым миром идеалов, звуков и образов, — на который не променяешь никакого европейского рынка.

Благодарю вас за доброе ваше письмо, которое я получил, за добрую память обо мне, за карточки, которых я не получил еще, но которые, знаю, что вы мне посылаете<sup>1</sup>. Но вчера я получил такое грустное, грустное письмо от бедного Боголюбова<sup>2</sup> — у него умерла жена, 22 лет, которую он любил горячо, — и я не знаю, чем его утешить. —

Что сказать вам об себе? Я работаю рук не покладывая — и в этом все мои дни проходят — и в этом я вижу покуда одно средство — жить и избавиться от тоски обо всем, что видишь и слышишь на нашем житейском рынке. Правда — работа эта одолевает, работа эта изнуряет, — но вот, слава Богу, грань ей поставлена — сегодня, на пороге Страстной недели, я бросаю свою работу и хочу отдаться празднику — авось Бог поможет. Благословляю судьбу свою, что я в Москве, где еще можно это сделать.

Вчера я был у ваших, и мне рассказывали об вас, как к вам приставили казака, который рвет вместе с вами фиалки и носит за вами корзины с цветами, — какая воинственная идиллия! То ли дело, как бывало Хренов провожал вас и подбирал камешки и обчищал ножиком зеленые грецкие орехи в Гурзуфе. Точно сон — представляются мне теперь все эти картины Южного берега — что за очаровательный сон! И все эти имена беспрестанно возобновляются у меня в памяти, потому что каждый день проходят у меня через руки судейские дела тех же местностей и беспрестанно люди оттуда ко мне являлись. Но в другой раз всего этого уж не переживешь.

Все новости вам, верно, рассказывают многие — а я всё говорю про старое — я, признаюсь, и не знаю никаких новостей, и забываю их, и не умею рассказывать, и что-то боюсь их. Все хочется, чтобы новым духом от них повеяло, чтобы правду и силу, в деле открывшуюся, почуяло в них сердце, — но слышишь всё только новые слова, а новых слов и у себя самого так много на мысли, что мысль иногда от них пугается. И вот в такое время, как теперь, все эти новые слова хотел бы из головы выбросить и всю ее наполнить одним старым — и вечно новым словом: Христос Воскрес! Посылаю его вам от всей души, добрейшая Анна Федоровна, — перескажите его от меня и добрейшим соседкам вашим Гр<афине> Блудовой и Евгении Сергеевне<sup>3</sup>. Будьте здоровы — и радуйтесь, радуйтесь! Господь с вами!

Ваш К. Победоносцев.

Москва  
27 марта  
1865.

<sup>1</sup> Речь идет о фотографиях принцессы Дагмары.

<sup>2</sup> Художник, профессор Академии художеств А. П. Боголюбов (1824 — 1869) в 1863 году вместе с Победоносцевым сопровождал наследника в его путешествии по России. Очевидно, с тех пор и в течение многих лет они поддерживали добрые отношения.

<sup>3</sup> Речь идет, вероятно, о Е. С. Шеншиной (урожд. Арсеньевой), входившей в свиту императрицы.

## 4

О, какое горе — Анна Федоровна! Какое горькое и страшное горе!<sup>1</sup> Такая тоска, такая тьма напала на душу — всю Светлую неделю прожил я в агонии, от одной телеграммы к другой, — и все еще таилась надежда, — а сегодня страшная весть всё унесла, всё разбила — нет нашего милого царевича — и всякую минуту его точно живого видишь перед собою. —

А вчера мы молились и плакали — на Кремлевской площади, во всенародном моленье, со всею святыней московскою, — и я ушел с площади с тихим чувством надежды — но Богу не угодна была грешная молитва. — Знали мы, что она грешная, и молились: Боже! воздвигни праведника, чтоб он помолился Тебе. Но, видно, не нашлось праведника, и судьба Божия на нас пала. Буди имя Господне благословенно отныне и до века.

Третьего дня, утром, после тяжелой, бессонной ночи, я пошел к ранней обедне. — Потом хотелось еще помолиться — я пошел в соседние церкви — думал, что застану еще молебен. — Вошел в одну — вижу гроб — поют погребальные, Воскресные песни. — Стал и я на молитву — но сил не было — поднялся отчаянный вопль — старуха-мать билась, оплакивая юнопу-сына, лежащего во гробе. Я вынести не мог и выбежал из церкви. Вхожу в другую — соседнюю — и там вижу гроб и слышу стон и слезы. У меня все сердце перевернулось.

Но вчера вечером — думалось — будет утешенье. А сегодня — Боже мой, какое горе и тьма какая!

Кого и что оплакиваю — не умею сказать. — Его ли молодую жизнь, его ли погибшую силу и счастье, только что распустившееся, — или милое, дорогое свое отечество — одного не умею отделить от другого. Но — холодом веет на меня и страхом — мысль о будущем. Всем горько, все притихли и приуныли от страшной вести, — но мы, знавшие его, всего сильнее чувствуем, что значит для всех потеря нашего царевича. — Я верю, я чувствую всей душой, что судьба Божия совершается, что этот час — роковой час в судьбах России. На него *была* надежда, и в каждом из нас, знавших его, эта надежда оживала тем более, чем темнее становился горизонт, чем сильнее стали напирать темные силы, чем безотраднее казалась обстановка судеб наших. На него была надежда — мы в нем видели противодействие, в нем искали другого полюса, и глаза наши привыкли от мрака, все больше и больше сгущавшегося на северной точке нашей, обращаться в Ниццу, к нему и к Государыне. Его мы знали — и народ его знал и на него надеялся и бессознательно на нем покоил свою надежду на лучшее будущее. И эту надежду Бог взял у нас — что с нами будет? Да будет Его святая воля!

Боже мой! Так молод, — посреди всей роскоши южной природы, под блестящим солнцем, в яркий весенний день, из золотой чаши выпил он смертельное питье! А мать — бедная мать! Чем ей тьму просветить, чем ее горе измерить. — О, благослови ее и утешь ее, Боже!

Я знаю, как вам тяжело, — и ничем не умею вас утешить, потому что сам себе не вижу утешенья. — Только хочу свое горе приложить к вашему и слить с ним. — Господи! как пусто и горько все кажется! Силы нет больше писать вам — и о чем еще писать! Судьба Божия наступила и весь мир накрыла! Господь с вами! Дай Боже вам сил и утешенья!

Ваш К. Победоносцев.

Москва 12 апр<еля> 1865 г.

<sup>1</sup> Речь идет о смерти наследника Николая Александровича, скончавшегося в Ницце в ночь с 11 на 12 апреля. Видимо, немедленно по получении этого известия Победоносцев сел за комментируемое письмо. Причины трагедии Победоносцев связывал с царившей при императорском дворе обстановкой: «...скажите, Анна Федоровна, зачем столько приставников и слуг между сыном и родителями, в одной семье, где надо, чтобы сердце было к сердцу и рука к руке? Вот об чем горько подумать — вот в чем судьба Божия сказывается. <...> О когда б они возненавидели теперь эту цивилизованную чужбину, о когда бы перестали от нее ждать себе и света и радости и исцеленья от всяких недугов» (карт. 5273, ед. хр. 3, л. 7 об.).

На следующий день, 13 апреля, в салоне Сушковых Победоносцев развивал те же мысли о наследнике: «Придворная атмосфера и всякая ложь того мира, где он жил, оскорбляли его нежную, чистую душу, которая лишь изредка высказывалась; потому что он был запуган всей этой лживой средой царедворцев с высохшим сердцем <...>» («Из памятных тетрадей С. М. Сухотина». — «Русский архив», 1894, № 2, стр. 259).

Добрейшая Анна Федоровна! Сколько вы показали мне доброго расположения и участия сердечного, что я без боязни спешу к вам сказать вам радость великую, которую послал мне Господь. О, порадитесь вместе со мною и благословите мою радость. Со вчерашнего дня я жених, и невеста моя — та, о ком десять лет не переставал я думать с трепетом — одному Богу сказывая глубокую мысль свою.

Я всегда любил детей, любил с ними знакомиться, любил соединяться с ними в их детскую радость. Десять лет тому назад — Бог послал мне милого ребенка — Катю мою, семилетнюю девочку, племянницу товарища моего Энгельгардта, к которому я ездил летом в деревню<sup>1</sup>. Я подошел к ней как ребенку и распознал в ней душу глубокую и привязался к ней всею своей душою. В этой душе хотелось мне пробудить все высокое и хорошее — я говорил ей о Боге, я молился с нею, я читал с нею и учил ее, целые часы и дни просиживая с нею, и она росла и развивалась у меня на глазах, и чем больше я вглядывался в душу к ней, тем больше и глубже отдавал ей и в нее полагал свою душу. Она любила меня крепко и нежно всею своей детскою душой, и первое счастье мое было смотреться в эту душу, и стоять над нею, и оберегать ее, и радовать. Годы проходили, и Катя моя вырастала, и страх нападал на меня: что будет дальше, когда ребенок мой вырастет передо мною в девушку. Она выросла, и было время, когда, казалось, Катя моя далеко от меня отходила и вышла из руки моей. Это было тяжкое время, то время, которое прожил я в Петербурге и в Царском Селе. — Мне казалось уже, что Катя моя для меня потеряна, — но теперь я вижу, что Господь этим временем испытывал меня и наказывал. — Наказать наказал Он меня — а смерти не предаст<sup>2</sup>. Не знаю, как — не от меня это было, а от Бога — Катя моя опять ко мне воротилась, — и вот, прошлый год весь прошел в недоразуменье, в робости — между нами завязались новые отношения в тихой тени отношений прежних, завязались тогда, когда я уж думал, что все кончено, и стал все двери запираю около себя и отрезывать всякие надежды. Я чувствовал, однако же, что я для нее необходим, что мне одному сердце ее вполне верит, что на меня одного она полагается и опирается, — но может ли она полюбить меня — вот чего я не знал и знать не мог. Я приехал сюда 4 июля и провел целую неделю тревожную! оба мы чувствовали, что уж не можем ни о чем спокойно и свободно говорить, покуда одно между нами не объяснится и слово об этом одном не будет сказано. Положение становилось невыносимо, и я со страхом решился сказать все своей Катюше — и потом был еще целый день тревоги и волнения, и наконец — услышал я то слово, которого ждала душа моя. И радость моя перед всеми явилась. О, на какое широкое место вывел меня Господь из тесноты и скорби и отчуждения!

Что вам говорить про нее — и вы мне на слово не поверите, — но, если Бог даст, вы когда-нибудь увидите ее и узнаете, вы ее полюбите — все ее любят, кто только знает. Спросите у Эдиты Раден<sup>3</sup> — она ее знает.

Но вы поверите, какого новою кажется для меня теперь жизнь — и какая радость в душе у меня. — Вспоминаю, как был бы рад услышать об этом милый мой, возлюбленный Николай Александрович<sup>4</sup> — он так часто говорил мне: «Как бы я хотел, чтоб вы женились, — отчего вы не женаты?» И теперь, вспоминая эти слова, мы молимся за него горячо с милою Катей, потому что и она, по мне, знала и любила его.

Порадитесь же за меня, добрая, милая Анна Федоровна, — от вашей души столько добра я видел. Порадитесь той радостью, которой «радуется друг женихов, когда слышит его голос, и стоит и внимает ему»<sup>5</sup>, и благослови вас Боже всяким миром и всякою радостью. — Скажите мне словечко от себя и об себе — адрес мой: губернский г. Могилев на Днепре, на имя Александра Андреевича Энгельгардта. — Господь с вами. Поминайте в любви и в мире всей душою преданного и благодарного

К. Победоносцева.

15 июля 1865

С. Польшковичи.

<sup>1</sup> Екатерина Александровна Энгельгардт, «очень милая и умная», по словам Ф. И. Пюгчева («Литературное наследство», т. 97, кн. 1, стр. 479), была много моложе Победоносцева и отличалась красотой, особенно обращавшей на себя внимание по контрасту с внешностью мужа. «Очень красивая молодая фигура <...> Весьма грациозная, с великолепными локонами <...> я впервые увидела и сейчас же отметила Екатерину Александровну Победоносцеву, недавно только вышедшую замуж за Константина Петровича. Внешность ее была живописна и оригинальна. Легенда о ее браке с известным профессором <...>

Московского университета <...> была у всех любимым разговором. Она была им воспитана, кажется, он был опекуном и с детства руководил всем ее развитием» (Сабурова Е. В., «Воспоминания». — ОР РГБ, ф. 667, карт. 3, ед. хр. 1, л. 79). Их брак был благополучным, но бездетным, что стало предметом глубокого огорчения Победоносцева.

<sup>2</sup> Псалтирь, 117:18.

<sup>3</sup> Баронесса Раден Э. Ф. (1825—1885) — фрейлина великой княгини Елены Павловны, одна из центральных фигур в ее влиятельном политическом салоне, женщина незаурядного ума, относимая Победоносцевым к редким «светилам, силою коих держится, движется и обращается целый мир малых светил» (<Победоносцев К. П.> Для немногих. Воспоминание об Эдите Раден. СПб. 1893, стр. 2). Позднее Раден была постоянной собеседницей Победоносцева, одним из самых близких ему людей светского Петербурга.

<sup>4</sup> То есть покойный наследник.

<sup>5</sup> Иоанн, 3:29.

## 6

Добрейшая Анна Федоровна. От всей души благодарю вас за добрые ваши слова, которыми вы отозвались на мою радость. — Вы ее почувствовали, — благослови вас Боже радостью во имя Христово. — Не знаю, о чем говорите вы, но когда у вас на душе хорошо стало, дай Бог, чтоб не отступало от нее светлое чувство<sup>1</sup>. В эту минуту у меня больше, чем когда-нибудь, душа просит, чтобы всем, кого я люблю, хорошо было: мне самому хорошо. Не знаю, что принесет мне жизнь, но теперь больше, чем когда-нибудь, чувствую себя под милующею рукой Божией и чувствую, что есть у меня *своя* душа, *свой* человек в этом мире. Сколько раз, бывало, душа в нетерпении готова была сказать себе: умереть хочу, — а теперь говорит: не умру, но жив буду<sup>2</sup>, потому что есть в ком душу свою отразить и жизнь свою почувствовать.

Доживаю здесь последний день и завтра отправляюсь в Москву от своей невесты и стану ждать ее зимою<sup>3</sup>. Подумайте, какое счастье мне Бог посылает: дитя мое милое, кого я на своем сердце взрастил и в кого свою душу положил, станет моей женою — и я в нее верю больше, чем в кого другого на свете, потому что больше и ближе, чем кого-нибудь, ее знаю и она меня. Только молюсь, чтоб Бог нас не оставил и дал нам полный и совершенный дар любви: я верю, что сам по себе, одну своей душой человек и любить не может, а любовь, связующая души, воистину от Бога дается. Пусть бы она была, а все остальное приложится!

В эту минуту, когда судьба моя поворачивается и жизнь обновляется, с мною приходится с собою раздумывать. Уезжаю теперь — в смущении. Мне пишут из дому, что Гр<аф> Перовский в бытность свою в Москве меня разыскивал и взял у Аксакова мой адрес, чтобы писать ко мне. Поневоле припоминаю разговор наш с вами в Москве и думаю, не к тому ли относится, что Гр<аф> Перовский меня ищет<sup>4</sup>. Вы знаете, что я говорил с вами — мне тяжело и больно подумать о том, что вы мне говорили, — но вам известно, как я смотрю на долг свой. Если мысль ваша, от которой вы никак не хотели отступить, пошла в ход, если нельзя, чтоб мимо меня прошло дело, вами задуманное, вы знаете, мне трудно будет уклониться. Однако ж еще раз я прошу вас, если можно, поберечь меня. Не скрою от вас, что я боюсь, хоть и говорю себе: да будет воля Господня — лишь бы мне узнать наверное, что есть воля Господня! Прошу вас, напишите мне в Москву, если что об этом знаете, — для чего меня спрашивал Гр<аф> Перовский: в эту минуту больше, чем когда-нибудь, мне надо около себя осмотреться.

Еще раз — благодарю вас, добрая Анна Федоровна, за вашу сердечную дружбу! Кроме всего остального, не могу я забыть, что меня соединило с вами в последнее время общее горе, горе, которое и у вас, и у меня так живо сказалось сердцу: с вами я мог открыто душой говорить об миллом, о возлюбленном цесаревиче. Еще живо это горе у меня в сердце, и теперь тоны его так страшно, так торжественно сливаются в душе с тонами радости моей, — и Катя моя милая была, кроме вас, один человек, с кем я говорил об нем и при жизни, и по смерти открыто душой, и она, узнавши его через меня, вместе со мною его оплакивала, и мы теперь вместе об нем молимся здесь в прекрасной нашей деревенской церкви, где за всякою службой его поминают.

Посылаю вам карточку своей невесты — знаю, что вы сердцем обо мне порадовались, и думаю, что вам приятно будет эта присылка. Господь с вами, добрая Анна Федоровна — пошли вам Боже совершенную радость!

Ваш К. Победоносцев.

21 августа

1865

С. Польшковичи.

<sup>1</sup> Возможно, А. Ф. Тютчева намекала на свою предстоящую свадьбу с И. С. Аксаковым. «Оба мы в одну пору готовимся вступить в новую жизнь, — писал ей Победоносцев месяц спустя, — точно мы себя самих в одно и то же время испытываем и готовим перед великим таинством целой жизни» (карт. 5273, ед. хр. 3, л. 19).

<sup>2</sup> Псалтирь, 117:17.

<sup>3</sup> Свадьба Победоносцева состоялась 9 января 1866 года.

<sup>4</sup> Б. А. П е р о в с к и й (1815 — 1881), воспитатель великих князей Александра Александровича и Владимира Александровича, интересовался Победоносцевым, очевидно, для того, чтобы пригласить его к ним в качестве преподавателя. Победоносцев принял это предложение, и вскоре корреспонденты поменялись ролями: Анна Федоровна переехала в Москву, Победоносцев — в Петербург, где погрузился в придворную жизнь. Теперь Анна Федоровна все меньше могла выполнять роль собеседника-единомышленника, поскольку росло отчуждение между Победоносцевым и его московским окружением, в частности — И. С. Аксаковым. Постепенно укреплялось влияние Победоносцева на будущего царя и цесаревну. «Отношениями своими к молодым я вообще доволен, — писал он А. Ф. Аксаковой в феврале 1867 года, — оба они, по-видимому, доверяют мне, и я люблю их обоих. Не поверите, как много успел А<лександр> А<лександрович> с тех пор, как стал сам по себе. Сравнивая прежнее время, до жениховства, я его не узнаю. Он стал яснее, свободнее, и душа у него поистине прямая и честная — к нему привязаться можно. Сердце у него русское» (карт. 5273, ед. хр. 4, л. 5 об.). Победоносцев влиял на круг чтения наследника, в определенном свете преподносил и многие события общественной жизни.

## Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

### 1

Добрейшая Екатерина Федоровна. Будьте здоровы и радуйтесь. Поздравляю вас от всего сердца — за себя и за свою Катю — с завтрашним вашим праздником<sup>1</sup>. Завтра гостиная ваша наполнится множеством посетителей. Но мне грустно думать, что к этому дню нашло на ваш дом облако, которое, верно, и на вас бросило тень свою — не говорю уже о добрейшем Николае Васильевиче. Кончина Митрополита Филарета и меня поразила, как должна была поразить всякого русского человека, кто любит свою родину и желает ей добра<sup>2</sup>. Время наше — грустное время во многих отношениях, и всего грустнее то, что мало, очень мало *людей силы*, которых хотелось бы слушать, перед которыми молчать хотелось бы. А видеть таких людей — потребность для всякой души серьезной — когда не чувствуешь их возле себя, — это унижает душу и ставит ее в фальшивую пропорцию относительно мира и целой жизни. Так хотелось бы уважать человека — но возможно ли уважать пигмеев, которые движутся посреди всякой пошлости. — Тогда поневоле у слабого человека душа сама в себе запирается и развивается в уважении к себе самой. Кто только умеет думать, тот знает, какое зло от этого. Вот почему так грустно видеть, как звезды падают и на горизонте виднеются глазу одни мишурные блески. Кто знает, может быть, там, в беспредельной синеве ночного неба, рождаются туманными пятнами новые звезды и созвездия — но глаз их не видит, сердце их не чувствует: остается ему только величие бездны небесной, охватывающее душу торжественным страхом; и глаз тонет в этой бездне, покуда не встретится со светилом сияющим.

Но виноват — грустный тон не приличен праздничному дню, и я опять скажу: радуйтесь. Скажите от меня сердечный поклон всем вашим и добрейшей Анне Федоровне передайте от меня и от жены моей сердечное слово. Оба мы чувствовали, как ей тяжело было — пошли ей Боже утешенье<sup>3</sup>. Впереди — еще много милости.

Не забывайте старого друга. Христос с вами

ваш К. Победоносцев.

23 ноября 1867  
П<етер>бург  
Кирочная № 10.

<sup>1</sup> То есть с именинами.

<sup>2</sup> Митрополит Московский Ф и л а р е т (В. М. Дроздов, 1783 — 1867) скончался 19 ноября. Н. В. Сушков поддерживал давние дружеские отношения с митрополитом и вскоре выпустил о нем книгу, написанную частично по его собственным воспоминаниям (С у ш к о в Н. В. Записки о жизни и времени святителя Филарета, митрополита Московского. М. 1868).

<sup>3</sup> Речь идет о неудачных родах А. Ф. Аксаковой.

## 2

Благодарю вас от сердца, добрейшая Катерина Федоровна, что вы про меня вспомнили и написали мне. И я тотчас ответил бы вам, когда бы письмо пришлось в тихую минуту. Но последние эти дни были для меня днями усталости. Вы знаете эту петербургскую нездоровую усталость от пустоты и принуждения, когда день проходит и спрашиваешь себя: что я делал? с кем и что я говорил? о чем я думал? А я так впечатлителен, что иногда один обед, на котором придется быть, наполняет целый день усталостью — утром от ожидания, вечером от оставшегося дурного вкуса. Не поверите, как мало нынче осталось свежести и интереса во всем, что видишь и слышишь, — кажется, все это слышал, все это видел столько раз прежде — и всегда одно и то же. Вообще, кажется, уставать мне нельзя от выездов, потому что у меня их очень немного, и, может быть, оттого именно они, когда случаются, сильно утомляют меня. Что касается до моей Кати, то она и совсем почти не выезжает — выезды нам и не по средствам, и ее утомляют очень — она не осмотрелась еще в обществе и едва ли когда усвоит себе искусство говорить обо всем и со всеми — она умеет говорить только вдвоем и еще не понимает возможности поднимать и спускать петли светского разговора. Вместе мы бываем иногда только у Эдиты Раден и у Гр<афини> Блудовой. В последнее время Графиня несколько раз читала нам свои детские воспоминания и еще — рассказы о впечатлениях своих во время поездки в Острог<sup>1</sup>. В этих произведениях Гр<афини> Блудовой я с удовольствием заметил талант особого рода — и, право, нам очень приятно было слушать ее письма. От них веет каким-то благоуханием простоты и доброго — религиозного и национального чувства. Мне рассказы и письма ее напомнили «Sketch book»\* и манеру Вашингтона Ирвинга<sup>2</sup>. Графиня печатает эти письма и скоро выпустит в свет в пользу своего братства.

Чем я занимаюсь здесь *официально*, в этом и себе самому не умею хорошенько дать отчета. Веры нет у меня в то дело, которое *обязан* здесь делать, и оттого положение мое тяготит меня. Успокоиваешься только на том, что не я этого хотел — а меня призвали. Но похоже на то, как будто по пустыне странствуешь. А по своей воле — я занят теперь печатанием своей книги о *гражданском праве*, — которую надеюсь скоро выпустить в свет<sup>3</sup>. Затем примусь печатать перевод «Подражания», который окончен уже совершенно<sup>4</sup>. — Петербург не люблю я по-прежнему — душно в здешнем воздухе, очень душно: до того, кажется, все измельчало здесь — и дела, и люди, и манеры, и формы общежития. Оглядываюсь на Москву — и не поверите, с какой тоскою, — все еще не могу привыкнуть к мысли о том, что старое гнездо мое опустело и охладело<sup>5</sup>. А нового гнезда — Бог не дает еще завести нам с женою, и кажется нам иной раз, что мы странствуем — в землю обетованную, и душа просит той же веры, какая была у Авраама, когда он ждал до самой смерти исполнения слова Божия!

Чувствую — по письму вашему, что мысль работает в вас крепкою и иногда тяжелой работой. Дай Бог вам проложить дорогу к свету — тяжело пробивать ее — камни, которые разбивает работник, отрываются от плоти и крови — но, видно, так уж надо — только простым людям просто живется на свете — задача у них несложная, круг у них маленький, горизонт у них невелик, и звезды у них сияют всё те же потом, какие сияли и вначале. А мы, на своем горизонте, ищем новых звезд и созерцаем таинственные сферы. Благослови Боже и их долю, и нашу.

Катя моя просит сказать вам ее душевный поклон, и от нас от обоих передайте слово сердечное добрейшей Анне Федоровне — к которой надеюсь сам писать вскоре, и Ивану Сергеевичу. Добрейшему вашему дядюшке и тетушке усердно кланяемся — жду нетерпеливо, когда книга его появится, — и радуюсь заранее, что ваша работа в ней будет<sup>6</sup>.

Не знаю, когда ждать вас в Питер, — не знаю, когда и самому придется увидеть Москву белокаменную — люблю ее всюю душою. Вот скоро Пасха будет — право, и понять не умею, как я такой великий праздник здесь проводить буду, а не там — никогда еще этого не случилось. «Как воспою песнь Господню на земле чужой?»<sup>7</sup> —

Но — до свидания, добрейшая Катерина Федоровна. Благослови вас Боже на мир и на радость.

Вам душевно преданный

К. Победоносцев.

12 февр<аля> 1868  
П<етер>бург.

\* «Книга эскизов» (англ.).

<sup>1</sup> Эти рассказы А. Д. Блудова вскоре анонимно напечатала отдельной книгой, выпущенной в пользу организованного по ее инициативе Кирилло-Мефодиевского братства в Остроге («Пять месяцев на Волыни. Острожская летопись 1867 г. (Для немногих)». СПб. 1868).

<sup>2</sup> В а ш и н г т о н Ирвинг (1783 — 1859) — американский писатель, автор сборника новелл «Книга эскизов» (1819 — 1820).

<sup>3</sup> «Курс гражданского права». СПб. 1868.

<sup>4</sup> Свой перевод «О подражании Христу» Фомы Кемпийского Победоносцев выпустил в следующем, 1869 году, а затем многократно переиздавал.

<sup>5</sup> Победоносцев имеет в виду смерть своей матери, умершей в сентябре 1867 года. «Она была у нас точно святыня в доме, — писал он А. Ф. Аксаковой, — точно живая благодать, Богом посланная в благословение. Всегда кроткая, тихая, ясная, всегда на молитве за нас за всех, она как свеча горела перед Господом Богом — как свеча и погасла, на 81-м году жизни, в одно мгновение, одним ясным утром <...> Она всех собирала около себя, и теперь, без нее, старый дом, где все было так тепло, и ясно, и полно, — стоит без нее пуст и холоден — и Бог знает, долго ли еще простоят он» (карт. 5273, ед. хр. 4, лл. 10 — 10 об.).

<sup>6</sup> О книге Н. В. Сущкова см. прим. 2 к предыдущему письму.

<sup>7</sup> Псапгирь, 136:4. Победоносцев в самом деле не стал проводить Пасху в Петербурге. «Мы с женою придумали уехать из Питера, — сообщал он Е. Ф. Тютчевой 14 мая 1868 года, — и всю Страстную провели, и праздник встретили в Сергиевой пустыни (недалеко от Петергофа. — О. М.), в совершенном удовольствии и тишине. Вот самое замечательное из событий, которое со мной случилось, — остальное все, что видишь и слышишь здесь и в чем участвуешь, — истинно, медь звенящая и кимвал бряцающий» (карт. 4408, ед. хр. 3, л. 6 об.).

## 3

Добрейшая Екатерина Федоровна. Я написал вам свой отзыв об адресе под первым впечатлением по прочтении его, никого еще не видав и ни с кем не говорил об нем<sup>1</sup>. После того еще два дня об адресе не было слышно. Наконец об нем заговорили повсюду, говорят до сих пор, и с первого раза стало очевидно, что *неловко* говорить об нем, что он сделался, подобно Прусской войне, соблазнительным предметом, о котором мнение выражается с задней мыслью: *что обо мне подумают*?<sup>2</sup> Скажешь одно — подумают: он красный. Скажешь другое — подумают: он ласкатель и сторонник официального мнения. Есть, вы знаете, такие сюжеты, на которых все ловят не столько прямую мысль о предмете, сколько *тайные помышления сердец*<sup>3</sup>. Мое первое мнение об адресе составилось прежде, чем я мог приметить в обществе и допустить в себе какое-либо раздвоение мысли.

Но вскоре, встретившись с некоторыми приятелями, своими и вашими, я увидел, что некоторые из них получили совсем противоположное впечатление и выражают его очень категорически. Это заставило меня возвратиться на свою мысль и проверить ее, нет ли в ней ошибки или пристрастия.

Но сознаю, что эта проверка не поколебала моей мысли и оставила меня при первом впечатлении. Хочу вам пояснить ее. Я все-таки не понимаю этого адреса, в его сущности, а по форме своей он все-таки не нравится мне и просто огорчает меня. Мне кажется, посылка этого адреса была неверным, неблагоприятным поступком.

Много делают на него комментариев<sup>4</sup>. Есть в их числе одно, только одно объяснение, которое я могу понять. Некоторые из *одобряющих* адрес как поступок объясняют его так: «Кн<язь> Черкасский знал и уверился вполне, что в настоящую минуту ему заперта дорога всюду. Он рассчитал очень умно и верно, что теперь для него всего выгоднее — сжечь свои корабли и произвесть сильное впечатление. Будьте уверены, что он не ошибся. Впечатление произведено где следует действительно сильное. На первый раз оно отбросило Черкасского назад, к другому полосу, но это ничего не значит. Придет — и, может быть, скоро — трудное время, когда будут искать людей, и тогда, именно вследствие такого впечатления, — вы увидите, вспомнят прежде всего о Черкасском»<sup>5</sup>.

Вот что говорят иные. Такой маневр я могу еще понять, но мне не верится, чтоб это объяснение было верно.

Напротив, я думаю, что бумага написана и послана была совершенно искренно, и в этом отношении отдаю ей полную справедливость. Но по содержанию своему она поразила меня отсутствием *политического смысла*. Не понимаю, как возможно было рассчитывать, что она получит сколько-нибудь серьезное значение у тех, кому была адресована. Центральный смысл ее сводится к *отвлеченностям*: вот в чем главный ее недостаток. Свобода печати, свобода церкви, свобода совести — как

можно было думать, что мысль Государя или его советников, вообще мало доступная отвлеченностям, уразумет или примет эти положения или формулы сразу, и не соблазнится ими?

Но — скажу еще того больше. По моему мнению, крайне не политично употреблять эти общие положения — для убеждения или увлечения умов. Это прием, которого я всегда чуждался и никогда не одобрял, и неудивительно, что он неприятно поразил меня. Я люблю прямое слово, которое, помимо известной формулы, вполне ясной только для адептов, берет вопрос в его насущной действительности, ставит его на реальную точку. Спросите себя по совести — что значат сразу эти три слова? Они означают — три политических учения, преисполненные всевозможных контраверсий, — которые издавна означали все партии на своих знаменах и которым все партии изменяли, толкуя их по-своему. В истолковании и в применении этих учений не оберешься лжи и пустословия, которое само себя облыгает в деле. Скажите эти три слова — и с первого разу масса принимает их с восторгом, как *идею*; но едва приходится применять ее к действительности, возникает вопрос: *как?* и на этом неизбежном вопросе все расходится в стороны. В этих понятиях, — в этих словах: *свобода...* всех увлекает без рассуждения *отрицательное* их значение — устранение стеснения, снятие границ. Но без границ никакое право не бывает, и когда приходится намечать их, созидать что-нибудь *положительное*, все разбегаются, колеблются, изменяют. После этого спрашиваю: серьезное ли, практичное ли дело — такие слова ставить в основу адреса, подаваемого Государю, нынешнему Государю и в нынешнюю пору? Это показалось мне мечтою, которой я не понимаю. —

И изложение не понравилось мне. О вкусах нельзя спорить — многие в восторге от изложения. Мой вкус не понял его. В нем прежде всего поразили меня знакомые слова, выражения и обороты, к которым я привык в передовых статьях «Дня» и «Москвы» и которые там не всегда мне нравились — в них чувствуется какой-то лиризм — совсем не свойственный, по-моему, характеру бумаги, адресованной к Государю. Слова эти отзываются поучением, тоном, который тоже не идет. Наконец — окончание показалось мне крайне сухо и обрывисто. Впрочем, об этом вкусе я ни с кем не спорю.

Отгорчило же меня это дело вот почему. Я знал, что оно идет от людей честных, которых я уважаю, и из любезной Москвы. В первую же минуту внутреннее сознание подсказало мне, что эти люди увлеклись и ошиблись, сделали неловкий шаг. Они стали на такую почву, на которой множество гнусных и мелких людей здешней влиятельной сферы будет иметь возможность и повод смотреть на них с улыбкою и показывать на них пальцами подозрительно, выставить их — или мечтателями, не имеющими политического смысла, или — опасными революционерами. Опасения мои и оправдываются.

Пишу к вам обо всем этом, потому что вижу, как горячо разделяются мнения на этом адресе, и хочу устранить между вами и мною недоразумение.

И кстати еще, добрейшая Катерина Федоровна, пожалуйось вам — на вас самих. Я передал вам первое свое впечатление — *по секрету*. Помяная о секрете, я именно имел в виду Анну Федоровну и смутно предчувствовал, что вопрос о том, хорошо ли написан адрес, стал для нее личным вопросом, которого, разумеется, я нисколько не стал бы задевать перед нею\*.

Но случилось вот что. Вчера я обедал у В<еликой> Книгини Елены Павл<овны> вместе с Федором Ивановичем. С первого слова он говорит мне: а я слышу, что *вы нас осуждаете*, — и я уже почувствовал, что у него есть какая-то заноза на меня. Оказалось — пишет к нему Анна Федоровна об адресе: *Pobed. la trouve, detestable*\*. Такого выражения я не употреблял, но из него вижу, какой вид приняла моя критика в мысли у Анны Федоровны. Сознаюсь, что это мне неприятно: в деле вкуса я, конечно, никогда не стал бы оскорблять личное сочувствие Анны Федоровны.

Как трудно говорить с людьми, как редко можно говорить с уверенностью, что вы будете поняты, что заявленная вами мысль не возбудит ни оскорбления, ни подозрения. Говорю с вами, добрейшая Катерина Федоровна, без задней мысли, потому что уверен в искренности вашей мысли и вашего обращения ко мне. Особенно трудно обращаться с спокойным суждением к *восторженной* мысли. Такую мысль встретил я, по поводу адреса, в Эдите Федоровне, и мысли наши столкнулись.

\* Победоносцев его находит омерзительным (франц.).

Едва ли вы найдете в Москве «Society and Solitude»<sup>7</sup>. Посылаю вам эту книжку. Ее надобно читать только в минуты досуга и спокойствия — иначе она не дается. Я прочел ее с наслаждением в деревне. Но предупреждаю вас, что не все статьи в ней равного достоинства: иные слабы. Советую вам читать прежде всего — «Civilisation» — «Works and Days», «Eloquence».

Затем прощаюсь с вами и кончаю длинное письмо. Здравствуйте и радуйтесь  
ваш К. Победоносцев.

5 декабря 1870

Дай Бог, чтоб это письмо застало вас здоровою. Чувствую, что утомителен будет для вас завтрашний день<sup>8</sup>. —

<sup>1</sup> Речь идет о всеподданнейшем адресе Московской городской думы, написанном в связи с декларацией канцлера А. М. Горчакова об отказе России соблюдать статью Парижского трактата 1856 года, ограничивавшую ее права в Черном море. Московский адрес Александру II «совершенно отличался, — писала в дневнике А. Ф. Аксакова, — по тону и по содержанию от всех заявлений подобного рода» (Т ю т ч е в а А. Ф. При дворе двух императоров. М. 1929, т. 2, стр. 207). Москвичи, составившие текст адреса — городской голова В. А. Черкасский, а также А. А. Щербатов, Ю. Ф. Самарин и И. С. Аксаков, — настаивали на углублении либеральных реформ, в которых видели залог успеха внешней политики. Узнав о реакции Победоносцева на московский адрес, И. С. Аксаков писал ему: «...разве не *требование*, а *ожидание* от самого государя и даже не *свободы*, а только большего *простора* мнению и печатному слову, свободы церковной и свободы верующей совести, — разве это есть требование *политических прав*?» («Красный архив». 1928, т. 6 (31), стр. 148).

<sup>2</sup> Победоносцев имел в виду прежде всего происшедшее в ходе Франко-прусской войны (1870 — 1871) восстание в Париже, падение империи и провозглашение республики. «Вопрос Бисмарка и вопрос Франции — это вопрос деспотизма и свободы, — писал в эти дни А. В. Никитенко. — А мы, старые представители деспотизма, тут к стати приложились к Пруссии. <...> Это не пруссаки и французы сражаются: это бьется прошедшее с будущим» (Н и к и т е н к о А. В. Дневник. М. 1956, т. 3, стр. 190).

<sup>3</sup> Лука, 2:35.

<sup>4</sup> «Иные называют его бестактным» (Н и к и т е н к о А. В. Дневник, т. 3, стр. 190). Подробнее о реакции на адрес Московской думы писала в своем дневнике А. Ф. Аксакова: «...в нем видят стремления конституционные и революционные, вообще все на свете, кроме того, что он действительно есть — честная попытка русского народа довести свой голос до слуха русского самодержца сквозь сеть бюрократических интриг <...>» (Т ю т ч е в а А. Ф. При дворе двух императоров, т. 2, стр. 218). Адрес запретили публиковать, и он был официально возвращен в Москву.

<sup>5</sup> Князь В. А. Черкасский (1824 — 1878) в 1871 году вынужден был покинуть пост городского головы, но в дальнейшем о нем действительно *вспомнили*: в ходе русско-турецкой войны он возглавлял деятельность Красного Креста, затем заведовал гражданской частью в Болгарии.

<sup>6</sup> Победоносцев верно угадал, что окончательная редакция адреса принадлежала перу И. С. Аксакова.

<sup>7</sup> Речь идет о книге Рауфа У. Эмерсона (1803 — 1882) «Общество и одиночество» (1870) — одна из ее глав — «Труды и дни» — в переводе Победоносцева была напечатана в 1873 году в сборнике «Складчина», а затем вошла в состав его «Московского сборника».

<sup>8</sup> То есть именины Н. В. Сушкова, собиравшие всегда множество гостей.

#### 4

#### Христос Воскрес.

За себя и за жену поздравляю вас, милая Екатерина Федоровна, и прошу поздравить добрейшую Дарью Ивановну со светлыми днями. Дай Боже вам мир и радость.

Благодарю вас от всей души за карточку, которая очень обрадовала меня в самый Праздник. Благодарю, что вы меня вспомнили. Только боюсь, что вы были в эту пору нездоровы — иначе, верно, прибавили бы к карточке несколько строчек.

Что сказать вам о себе? Слава Богу, я дождался доброго Праздника и освежился душою на Страстной. Всю Страстную неделю провели мы с женою в монастыре, по обычаю (в Сергиевой пустыни), там и говели, там и Праздник встретили. Оба мы имеем церковные вкусы и любим церковь, любим хорошую службу и длинную службу монастырскую. Оттого Страстная неделя доставляет нам истинное и глубокое услаждение и успокоение. Чем дольше живешь, тем больше ценишь приобретенную с детства привычку и любовь к церкви. Про всякое другое ощущение, или почти про всякое, — можно сказать, что сказано о вине у расчетливого хозяина: всяк человек прежде доброе вино полагает, и *еде униются*, тогда худшее. А это

*вино доброе*, которое добрый хозяин соблюдает доселе, т. е. откуда пить можно<sup>1</sup>. В Светлый же праздник, вы знаете, в церкви так хорошо, что выйти не хочется, — и мы с сожалением оставили свой монастырь в первый день Праздника.

С той минуты, как вернулись сюда, на рынок, завертелось опять ходячее колесо и нас завертело с собою. Потом, как ни раздумывал, не мог я выбиться из этого колеса и на два дня, чтобы побывать в Москве, — не знаю, как удастся после. Во всяком случае, теперь у нас в Госуд<арственном> совете до 15 мая самая горячая рабочая пора.

Сегодня видел Эдиту Федоровну: она, кажется, спокойнее, но что будет с нею и как ее положение устроится — этого никто еще не знает. Комиссия занимается устройством заведений покойной Вел<икой> Княгини: будет ли в них соответственное место для Эдиты — как знать!<sup>2</sup>

Много забот, много трудов, милая Екатерина Федоровна. Помогите, Боже, добести и вынести. Будьте здоровы и радуйтесь.

Христос Воскрес.

Ваш К. Победоносцев.

11 апр<еля> 1873

П<етер>бург —

<sup>1</sup> Иоанн, 2:10.

<sup>2</sup> В январе 1873 года, сообщая Е. Ф. Тютчевой о смерти великой княгини Елены Павловны, Победоносцев с грустью писал об ее салоне («...закрылся светлый центр интеллектуальной жизни») и о судьбе баронессы Э. Ф. Раден: «Вы понимаете, что жизнь ее разбита и оборвана. Она стоит как мраморная статуя, с неподвижными чертами, у гроба <...> она потеряла все и в этом доме (то есть в Михайловском дворце. — О. М.) стала *чужая*» (ОР РГБ, ф. 230, карт. 4408, ед. хр. 8, л. 2). Вопреки опасениям Победоносцева положение Э. Ф. Раден не пошатнулось. Она стала фрейлиной императрицы, занималась благотворительными учреждениями покойной великой княгини. «...вся ее деятельность с тех пор посвящена была, по мыслям усопшей, делам общественной благотворительности» (<П о б е д о н о с ц е в К. П.> Для немногих. Воспоминание об Эдите Раден, стр. 12).

## 5

Это письмо застанет вас в Венеции, милая Екатерина Федоровна, — и дай Бог вам в силе, в добром здоровье, в одушевлении возбужденного чувства наслаждаться в Венеции теми чудными, тихими месячными ночами, какие в эту пору висят над Зальцбургом. Но у нас этот месяц уже *холодный*, так что приходится от него прятаться, по московскому обычаю, а у вас он такой теплый, что в лучах его купаться можно без страха, без оглядки на теплую комнату, — и какие узоры расписывает он теперь по мраморным дворцам и храмам, которыми окружены вы!

Жалею *сердцем*, что не увижусь с вами теперь же, на этих днях. Но, скажу правду, жалко только жадным *воображением*, любопытным *умом*, что не увижу Венеции теперь. Теперь я не в состоянии стремиться к дальним чудесам искусства, вздыхать по дальней красавице морей, когда со мною теперь и обнимает и ласкает меня вечная, сжившаяся со мною, ближняя красавица *природа*. Я влюблен в нее в эту минуту и чувствую, что близка минута расставания, и жадно ловлю и глотаю каждую минуту каждую ее ласку. Месяц у нас холодный, зато днем и вечером так ласкает нас солнце и такие праздники готовит нам на вершинах наших гор. Никогда еще на этих вершинах не видал я такой чудной, такой духовной поэзии. Истинно, грусть охватывает нас, когда думаем об отъезде отсюда. Правда, когда минет эта чудная погода, у вас в Венеции будет хорошо, и было бы пора ехать туда, но тут оба мы, и я, и жена моя, связаны всяческими обязанностями и заботами, а проехать назад, через Венецию, нам вчетвером было бы слишком не по нашему дорожному бюджету.

А там, в Питере, ждет целая зима, наполненная невыразимою, гнетущею сердце тоскою искусственной, фальшивой жизни... О, как тяжел зимою Петербург, каким ощущением пустой, бессмысленной призрачности наполняет он душу. Не там где-нибудь в пустыне — а в нашем северном рынке суеты — настоящее *memento mori*, — потому нигде тцета жизни так явственно не ощущается и не гложет так сильно измененную душу. Но что ж делать! Право, когда подумаешь, как трудно дается жизнь каждому человеку и повсюду, — совестно бывает и перед собой, что даешь себе на время эту льготу свободы и беззаботности! И еще — наслаждения! В то время как тысячи и миллионы исполняют Закон, разбивая кучи камней на

пыльном шоссе, под знойными лучами. А жить все-таки везде хочется — как ни уговаривай себя — *e pur si muove!*

Благодарю вас всей душой за милое письмо ваше, писанное из Москвы, в дни прощания с Москвою. Дай Бог вдали от ней не тосковать по ней ни за себя, ни за добрую тетушку, — а главное, дай Бог вернуться с новою силой, на старое место, к старому Пимену.

Катя вместе со мной сердечно кланяется вам и доброй тетушке. Она, еще больше, чем я, грустит об отъезде: ей еще тяжелее, нежели мне, и п<етер>бургское житье, и забота, и натянутость отношений, и то вечное искание чего-то живого и истинного, которым мы все страдаем, а она страдает более многих других, по своей восприимчивости. Что еще сказать вам об нас? Кроме наслажденья природой у нас было еще одно, о котором я поминаю, потому что оно было очень живо и оставило глубокие следы. Мы ездили в Мюнхен и слышали там в первый раз Вагнерову оперу, именно *Lojengrin*, прекрасно оформленного. Это было для нас событием и откровением какого-то нового искусства. — Затем на днях я ездил (30 и 31 авг<уста>) в Прагу, помолиться еще в русской церкви, где все так же хорошо, как было в прошлом году<sup>1</sup>, и повидаться с небольшою русскою колонией, которая, группируясь около церкви, живет очень дружно. — Здесь читаем *часто*, и с новым наслаждением, стихи Федора Ивановича; а в эту минуту я читаю *в первый раз* — как бы вы думали что — «Войну и мир» Толстого, — и очень доволен книгою.

Здравствуйте, — Христос с вами, милая Екатерина Федоровна. 15-го числа думаем быть в Питере. Пишите туда о себе (Больш<ая> Конюшенная, дом финской церкви) и не забывайте старого друга.

ваш К. Победоносцев.

Зальцбург

5/17 сент<ября> 1875.

<sup>1</sup> Годом ранее, в августе 1874 года, в Праге была торжественно освящена православная церковь, созданная усилиями Московского славянского комитета на русские пожертвования. Победоносцев принимал участие в этой акции. В недатированном письме к Е. Ф. Тютчевой он сообщал: «...я много ходил по делу о Пражской церкви, которое все от себя отгаликивали» (карт. 4408, ед. хр. 2, л. 9 об.).

6

<4 января 1876 г. Петербург>

Новый Год! Дай вам Боже, милая Екатерина Федоровна, и тетушке вашей лето благоприятное, здоровое, мирное, да тихое и безмолвное житие поживете. Грустен для меня всегда этот день — и я не совсем понимаю, зачем его так празднуют. Зачем радоваться, что еще капля канула из чаши и слышится глухой отзвук из той, темной бездны, куда она канула! Бывало, в чаше играла такая искрометная влага, так она поднималась до самых краев и пенилась, что чаша всегда казалась полна; а когда пена стала уже оседать и прежней игры нет и можно, заглянув внутрь, видеть, сколько ее на дне осталось, — грустно провожать еще одну одинокую каплю! Где ты, моя юность! Где ты, моя свежесть!

В первый день все в П<етер>бурге, как водится, толковали о полученных наградах и о том, кто остается на месте и для кого колесо фортуны поворачивается. В настоящую минуту главным предметом толков служит министр юстиции Гр<аф> Пален, который имел в конце года серьезные столкновения<sup>1</sup>, так что у всех на устах вопрос: удержится он или не удержится и кого вслед за ним зовет фортуна! — Целое утро продолжалась езда с визитами, в которой я, слава Богу, никогда не принимаю участия.

Вечером я зашел к Эдите и застал у нее приезжего из Москвы Юрия Ф. Самарина. Он очень переменялся с прошлого года, постарел, очень похудел и усердно лечится теперь по системе Белтинга усердным потреблением говядины. На другой же день он должен был уехать в Берлин на два месяца для леченья. Он был в духе и рассказывал с обычным своим искусством и остроумием<sup>2</sup>.

На другой день пришлось опять собирать около нового гроба. Умер старик Гр<аф> Модест Андр<еевич> Корф, еще один свидетель и участник дел минувшего поколения<sup>3</sup>. Сегодня собирают еще на панихиду — к другому, к Краббе,

\* А все-таки вернется! (Итал.)

управл<яющему> морским министерством, который скончался вчера после продолжительной и ужасной болезни<sup>4</sup>.

Как неодинаково бывает впечатленье над новыми гробами, в разных домах. У иного гроба так светло, так тихо и уютно, скорбь выражается с таким торжеством, любовь и вера домашних окружены таким величием скорби и молитва проникнута такой сладостью, — что смерть, кажется, дышит воскресною радостью... А в ином месте так тяжело стоять около гроба: в доме все сторонятся, точно испуганные, пораженные чуждым душе страхом: горе принимает ужасные, безобразные формы; молитва имеет вид обрядности, которую всем хочется миновать скорее; гроб кажется чужою вещью, которую желательно скорее выбросить из дому, и комната превращается в рынок всяких толков...

Но я напрасно уже заговорился с вами о печальном. — Скажу вам под конец, что вчера мы были в Михайловском дворце, где добрая В<еликая> К<нягиня> Екатерина Мих<айловна><sup>5</sup> устроила прекрасную музыку — с Рубинштейном и Давидовым. И жена моя решила выехать, несмотря на нездоровье, ей так тяжело решаться на выезды, что редко случается. Сейчас еду туда к обеду — у них рождение Принцессы Елены<sup>6</sup>. Вы знаете, что есть план выдать ее замуж за В<еликого> К<нязя> Алексея<sup>7</sup> — но ему, кажется, не хочется. Кстати, об нем — он посылает вам горячий поклон и говорит про вас: «Это мой друг, я очень люблю ее».

Но довольно писать. Христос с вами, милая Екатерина Федоровна. — Здравствуйте и радуйтесь на Новый год!

Ваш К. Победоносцев.

4 янв<аря> 1875 г.

П<етер>бург.

<sup>1</sup> Граф К. И. П а л е н (1833 — 1912), министр юстиции в 1867 — 1878 годах, не был сторонником реформированной в 1864 году судебной системы, что приводило к *серьезным столкновениям*, в которые Победоносцев был, конечно, детально посвящен.

<sup>2</sup> Одна из самых ярких фигур в младшем поколении славянофилов, Ю. Ф. Самарин (1819 — 1876), поддерживал дружеские отношения с Э. Ф. Раден, состоял с ней в постоянной переписке.

<sup>3</sup> Барон (с 1872 года — граф) М. А. К о р ф (1800 — 1876), председатель департамента законов Государственного совета, человек «умный, но легкий», как писал позднее Победоносцев («К. П. Победоносцев и его корреспонденты. Письма и записки». М. — Пг. 1923, стр. 68). Дата его смерти позволяет уточнить неверную авторскую датировку письма (скорее всего — следствие механической ошибки — см. дату в конце письма).

<sup>4</sup> К р а б б е Н. К. (1814 — 1876) — адмирал, с 1862 года управляющий Морским министерством.

<sup>5</sup> Великая княгиня Е к а т е р и н а М и х а й л о в н а (в замуж. герцогиня Мекленбург-Стрелицкая, 1827 — 1894) — племянница Николая I, дочь великой княгини Елены Павловны. После смерти матери стала хозяйкой Михайловского дворца.

<sup>6</sup> То есть дочери великой княгини Екатерины Михайловны и герцога Георга Мекленбург-Стрелицкого (ум. 1876) принцессы Мекленбург-Стрелицкой Елены Георгиевны (род. 1857).

<sup>7</sup> То есть за четвертого сына Александра II, великого князя Алексея Александровича (1850 — 1908). Этот план не осуществился.

## 7

Опять известие о болезни вашей, милая Екатерина Федоровна, и слава Богу, в конце о том, что вам стало лучше и что солнце вызывает вас на воздух. Сохрани вас Боже до благополучного возвращения в Москву, в деревню, о которой вы, верно, видите теперь прелестные сны. Пусть они исполнятся и пусть действительность поставит вас веселою и бодрою на любимом вашем месте!

На этой неделе была у нас тревога по случаю внезапной болезни милого Николая Александровича в Аничковом дворце. Бедный мальчик едва жив остался — он был на волосок от смерти, начинался уже дифтерит в горле, и доктор Раухфус стоял бледный и расстроенный у постельки, не смея еще сказать матери, что дело так плохо<sup>1</sup>. Но к счастью, вдруг лучше стало, только мальчик далеко еще не совсем оправился. В тот же день, как миновал страх за ребенка, и Цесаревна слегла в постель — заболело тоже горло, но, слава Богу, и она встала. Благодать мира и домашнего счастья обитает в этом доме — и многие молятся, чтоб она всегда пребывала в нем. Они, как дети; чувствуя в себе силу жизни и молодости, совсем не берегут себя — да хранит их Бог!

Катя моя очень кланяется вам и очень благодарит за добрую память. Только она все еще не здорова, и я все тревожусь за нее. Доктору, который лечит ее, она не верит — он в славе, но он один из тех самоуверенных докторов, которые говорят как оракул и не позволяют делать вопросы — почему? зачем? когда? долго ли? Таков доктор Эйхвальд, один из наименее симпатичных врачей<sup>2</sup>. Лекарства его покуда не приносят пользы и только расслабляют жену мою: этим и она смущается, и я смущаюсь. Об докторе приходится думать то же, что об адвокате: как скоро вы принесли ему ваш казус, он кладет на вас ярлык с формулой и начинает развивать ее по логике своего искусства или своей науки. И вы, с своей человеческою болью, попадаете в какую-то таинственную сеть неизвестных вам формул, выводов и соотношений. Блажен, кто еще не знает медицины и всех ее аггелов!

Третьего дня была у нас Эдита Федоровна, вне себя от негодования на Графиню Блудову, у которой обедала накануне вместе с Дарьей Федоровной. У них вышел спор: зная Гр<афиню> Блудову, вы поймете, как он был забавен. Представьте, что добрая Графиня читала Библию только в детстве с *пропусками*, под руководством своей гувернантки. Как-то на днях она вздумала самостоятельно почитать ее без пропусков и пришла в ужас и негодование, которое и принялась изливаться перед Эдитою Раден, бледневшею от ужаса и негодования. Гр<афиня> Блудова в своей горячности, попав на историю Фамари<sup>3</sup> и т<ому> под<обное>, пришла к такому решению, что это книга вредная, что она соблазнительнее всякого франц<узского> романа. Многоженство патриархов вызывает **самые** горячие протесты ее и жалобы на безнравственность, как будто дело идет о людях современного общества. Прибавьте к этому всегдашнее отвращение Гр<афини> Блудовой от евреев, и вы легко представите себе, как эта сцена забавна. Мысль о *судьбах народа Божия* утратила для нее всякий смысл. Эдита говорит ей о *peuple de Dieu*, а она прерывает: *P'est bien beau, le peuple de Dieu qui oublie son Dieu à chaque instant!* — Какая наивность у доброй нашей Графини! Сам я давно уж не видал ее — по крайней мере неделю. Я так занят в эти дни. У нас в Гос<ударственном> сов<ете> частые заседания по большому делу, которому придано преувеличенное политическое значение: о найме рабочих. Несколько лет работала комиссия, и последняя из них, под председательством Валуева, окончательно запутала все дело, написав до 300 статей, в которых не отыщешь ни конца, ни начала<sup>4</sup>. Все чувствуют, что неладно, но никто не решается высказать, что весь проект не годится: так много уже об нем натолковано и такое важное придано ему значение. Вы слышали, что в эту комиссию приглашали экспертов из разных концов России. Теперь 9 этих экспертов призваны и в наши собрания — в том числе из Москвы — Бобринский, Наумов и Найденов<sup>5</sup>. Мы много слушаем, немало говорим — и Бог знает до чего наконец договоримся. Сидеть надобно долго, долго — и возвращаться с усталостью и с потемками в мысли!

Бывают дни ужасные. — Таков был вчерашний день. Я был сначала на похоронной службе в церкви, оттуда проехал прямо на заседание, где мы оставались с 1 часу до 5. Надеялся отдохнуть, но дома нашел приглашение к обеду в Михайл<овский> дворец. Компания была домашняя, только место Герцога, уехавшего на охоту, занимал гость его, старший брат, Герцог Стрелицкий, слепой старик<sup>6</sup>. Эдита изощрялась в усилиях оживить послеобеденную беседу. Отсюда в 8 часов надо было ехать в заседание Общества любит<елей> дух<овного> просв<ещения>. Я пропустил уже два заседания, и, чтоб избавиться от распросов В<еликого> К<нязя> Конст<антина> Ник<олаевича> — отчего не был, должен был поехать туда. Филиппов читал записку все о том же — о Боннской конференции и о *filioque*<sup>7</sup>. Когда кончилось чтение, я спешил уехать — и все-таки не домой, а к Гр<афине> Протасовой<sup>8</sup>, которая присылала звать на вечер, — надо было показать ей и засвидетельствовать свое почтение. У нее были танцы для молодых Вел<иких> Князей и для Принцессы Елены. На вечера собираются поздно — я нашел маленькую группу гостей и должен был ждать появления пестрой нарядной толпы, чтоб выбраться. Вот вчерашний день — к счастью, такие не часто у меня бывают.

Алексея Ал<ександровича> видел я перед самым отъездом его отсюда, и опять он просил переслать вам душевный поклон его — он надеется еще увидеться с вами за границею. Он уезжает, кажется, на полтора года. Он подлинно хороший малый, с большими силами, и как грустно думать, что силы его тратятся понапрасну. Говорить с ним приятно, и я жалею, что это может происходить только случайно.

\* Хорош этот народ Божий, который только и делает что забывает о своем Боге (франц.).

Здесь, в П<етер>бурге, почти невозможно захватить его на досуге — вечно он спешит куда-нибудь, как ни зайдешь к нему, а разговор только тогда хорош, когда свободен, и я всячески опасаясь навязываться на разговоры.

Кончаю письмо. Благодарю вас, что пишете от времени до времени — а вам иной раз надобно и принуждать себя в переписке, — впрочем, я и без ответов, не дожидаясь их, пишу вам в минуту досуга. Христос с вами, милая Екатерина Федоровна. Здравствуйте!

Ваш К. Победоносцев.

1876 23 янв<аря> пятница

П<етер>бург.

<sup>1</sup> Речь идет о наследнике престола. Раухфус К. А. (1835 — 1915) — педиатр, директор больницы принца Ольденбургского в Петербурге, лейб-медик.

<sup>2</sup> Эйхвальд Э. Э. (1838 — 1889) — профессор Военно-медицинской академии.

<sup>3</sup> Бытие, гл. 38.

<sup>4</sup> Граф Валуев П. А. (1815 — 1890) — министр внутренних дел (1861 — 1868) и государственных имуществ (1872 — 1879), член Государственного совета, позже председатель Комитета министров. Политический противник Победоносцева.

<sup>5</sup> Граф Бобринский А. В. (1831 — 1888) — московский губернский предводитель дворянства с 1875 по 1883 год. Наумов Д. А. (1830 — 1895) — председатель Московской земской управы с 1870 по 1895 год, вице-директор Московского общества сельского хозяйства. Найденов Н. А. (1834 — 1905) — председатель Московского биржевого комитета.

<sup>6</sup> То есть старший брат герцога Георга Мекленбург-Стрелицкого, мужа великой княгини Екатерины Михайловны (см. прим. 5 и 6 к письму от 4 января 1876 г.).

<sup>7</sup> В 1875 году в Бонне состоялся конгресс старокатоликов (группы католиков, не признавших догмата о непогрешимости папы), где обсуждался вопрос об их воссоединении с православием. «В видах содействия осуществлению этой столь желательной цели у нас образовалось, под председательством великого князя Константина Николаевича, Общество духовного просвещения <...> Это общество имело главною целью разъяснение разных богословских вопросов вместе со старокатоликами для приготовления их присоединения к православию» (Тернер Ф. Г. Воспоминания жизни. СПб. 1911, т. 2, стр. 6). Записка Т. И. Филиппова (1825 — 1899), литератора, государственного деятеля, историка церкви, касалась одного из этих богословских вопросов — Filioque (буквально: и Сына, лат.), догмата римско-католической церкви, признающей (в отличие от православной) исхождение Святого Духа не только от Бога-Отца, но и Сына. Победоносцев к этим заседаниям относился с нескрываемой иронией, сквозящей и в комментируемых строках. Несколькими месяцами ранее А. А. Киреев, адъютант великого князя Константина Николаевича (1827 — 1892), записал в дневнике: «Победоносцев говорит, что наши занятия старокатоликами относятся к православной церкви, как занятия алхимией к химии. Зло и остроумно, но едва ли верно» (ОР РГБ, ф. 126, ед. хр. 126, л. 110 об.).

<sup>8</sup> Графиня Протасова Н. Д. (урожд. княжна Голицына, 1805 — 1880) — статс-дама, гофмейстерина императрицы, вдова графа Н. А. Протасова, обер-прокурора Синода.

## 8

Милая Екатерина Федоровна. — Сюда только что приехал г. Висковатов, провожавший в Сербию санитарный отряд из Дерпта<sup>1</sup>. Он ревнитель славянского дела, толковый и рассудительный, и пробыв в Сербии три недели, был везде, видел все и всех и много узнал. Сегодня я провел с ним вечер у Эдиты. Вынесенные им впечатления поистине замечательны, — впечатления во многом грустные, представляющие картины ужасного беспорядка, путаницы, розни — и поразительного безобразия со стороны многих русских деятелей. Во всем этом есть сторона *практическая, чрезвычайно важная* для действий и распоряжений Слав<янского> комитета по отправлению в Сербию. В Москве центр этих отправлений — вот почему очень важно, чтоб его в Москве увидели и послушали<sup>2</sup>. Я убеждаю его ехать в Москву, и он поедет, вероятно, не ранее среды. Он увидит Ивана Сергеевича, но Ив<ан> Серг<еевич> так занят, что, пожалуй, не скоро найдет и досуг вполне переговорить с ним. Признаюсь, я более рассчитываю на вас — ваша мысль способна проникнуть сразу в те *практические вопросы*, которые составляют все в этом деле. Вот почему я позволяю себе адресовать его к вам — примите его, милая Екатерина Федоровна, — вы услышите много интересного и поучительного для настоящей минуты. Всего грустнее то обстоятельство, что там, в Сербии, все перессорились и переругались между собою в русской среде, и путаница идет ужасная — а между тем приезжают уже англичане и устраивают и свои военные, и свои сачитаонные отряды — в порядке.

Вот несколько слов, которые спешу покуда написать вам, чтобы предупредить вас. Здравствуйте и да хранит вас Господь!

Ваш К. Победоносцев.

Петерб<ург>  
5 сент<ября> 1876.

<sup>1</sup> Висковатов П. А. (1842 — 1905) — доктор философии, профессор русской литературы Дерптского университета, автор признанных работ о М. Ю. Лермонтове.

Письмо хорошо передает возбужденное состояние Победоносцева, высказывавшегося еще летом 1876 года за вступление России в военные действия. «Одно ясно, — писал он Е. Ф. Тютчевой о столкновениях на границе Сербии, — что Россия играет в этом деле не ту роль, которой желало бы русское патриотическое чувство <...> Всем кажется, что Россия слишком дорожит тем призраком дружбы и согласия, которым манит ее австрийская политика <...>» (карт. 4408, ед. хр. 11, л. 19 об.).

<sup>2</sup> Славянские комитеты, в то время еще независимые от правительства, в особенности Московский комитет, собирали пожертвования, вербовали и отправляли добровольцев в Сербию, всемерно провоцируя участие России в войне.

## 9

### Христос Воскрес.

Благодарю, милая Екатерина Федоровна, за доброе письмо ваше от 23 числа и от всей души шлю вам привет души христианской. Конечно, мы по обычаю провели Страстную неделю в монастыре и там Пасху встретили. Нечего вам рассказывать, что хорошо было, — вы сами это понимаете. Иностранцы, русские и заграничные, не понимают, как можно так долго стоять в церкви, и говорят об этом всегда с некоторой иронией. Они не знают нашей молитвы «В храме стояще славы Твоея на небеси стоять мним». Не понимают они, что протестантская молитва, которую ныне так восхищаются у нас многие, — холодна и суха для русского человека, который не за тем только ходит в храм, чтобы повторять совокупно формулу молитвы или гимна. Наша рамка и идея молитвы в храме шире этого представления. Наше богослужение есть не одна только формула молитвы, которую, правда, трудно было бы долго выдерживать: это целая священная поэма, составленная из песней, образов, звуков, воспоминаний, восторгов и дум. В ней душа не только молится, но и живет созерцанием и чувством, а вместе и услаждается красотой, которой ничего подобного на земле не находит. Это — тот образ неба, который воздвигнут для нас на горе. Мудрено ли, что многие в простоте своей готовы у нас воздвигнуть в храме Божиим сени для всегдашнего пребывания; в нашем храме чужестранец видит иногда недостаток священной тишины и этим соблазняется. Безобразие везде противно, но если у нас иногда люди ходят, выходят, садятся, готовы иной раз перемолвить друг с другом, — я не соблазняюсь, зная, до какой степени храм для русского человека свое, родное и обычное место. И там именно, где собрание состоит из простого народа, меня поражает в важные минуты глубокое и сознательное благоговение.

И так отраднo было оторваться на неделю от здешнего рынка, на котором стало так скучно, так тоскливо! В первый день вернулся — но, слава Богу, покамест шуму нет, меня не тревожат, и сам я, хотя состою в неоплатных и давно просроченных долгах передо всеми, кому надо делать визиты, — сижу дома, потому что простудился, и никого не вижу, а потому и не слышу о новостях дня.

Добрейшей Анне Федоровне и Ивану Сергеевичу скажите наше задушевное *Христос Воскрес*. Пусть Иван Сергеевич на меня не сердится за то, что не отвечал ему на письмо, писанное на другой день после катастрофы с речью. Тяжело писать, тяжело истощаться в бесплодном негодовании, а новостей по этому предмету не было<sup>1</sup>. Я до сих пор здесь не знаю, что вы, вероятно, уже знаете — чем разрешились на Страстной неделе рассуждения в комитете министров о Славянских комитетах<sup>2</sup>. Вы видите — кажется — волей или неволей, дело идет к войне. Помилуй нас и управи нас Боже. Пошли нам Боже то единство духа, мысли и решения, которого недостает у нас. Мысль останавливается в страхе и недоумении перед грядущими событиями — услышим, что речет о нас Господь Бог.

В монастыре читал я книгу, которая, вероятно, была уже в руках у вас и вас должна была заинтересовать, — переписку Митр<ополита> Филарета с Антонием<sup>3</sup>. Мне она была интересна, потому что здесь рассыпано много тех кротких и многозначных слов и речений, которыми любил и умел выражаться покойный. — Рекомендую вам еще достать 11-й том Архива Кн<язя> Воронцова, изд<анного> Бартеневым<sup>4</sup>. Прочтите здесь письма Воронцова, преисполненные поучительного

интереса. Сегодня посылаю эту книгу Цесаревичу и прошу его прочесть непременно отмеченные мною места, которые для него будут поучительны.

Относительно лета мы еще не устроили своего решения. За границу ехать противно (хотя Мариенбад и мне и жене принес пользу явную), в Ярославле дело не устроилось<sup>5</sup>, — а искать нового места так скучно, и оба мы не умеем. Легко может быть, что поедем просто в Ораниенбаум, куда зовет нас В<еликая> К<нягиня> Екатерина Михайловна<sup>6</sup>. Весной, разумеется, всячески буду рваться в Москву, но такая сеть ежедневных обязанностей опугала меня, что не скоро найдешь возможность вырваться из нее и на несколько дней.

Жена моя всем сердцем кланяется вам и добрейшей тетушке. Она постоянно озабочена, и слишком даже, уроками своего мал<енького> брата, да кроме того есть у нее и сестра, о которой забота немалая. Девушка заскучала — как со многими нынче бывает, — и сладу с нею не стало. Наконец, несмотря на отговоры наши, поступила в Георгиевскую общину сестер милосердия. Она способная и работает там исправно в уходе за больными, и на войну собирается ехать. Не знаю только, надолго ли хватит этого решения<sup>7</sup>.

Еще раз *Христос Воскрес!* Да хранит вас Господь в радости и в мире, милая Екатерина Федоровна. Авось-либо и здоровье тетушки с теплом поправится.

Ваш К. Победоносцев.

31 марта 1877

Петербург.

<sup>1</sup> 6 марта 1877 года, после того как разгромленная Сербия подписала мирный договор с Турцией, Аксаков выступил с речью в осуждение «назойливого миролюбия» русской дипломатии, что вызвало возмущение в правительственных кругах. «Все обстояло благополучно, — сообщал он Победоносцеву 11 марта, — речь появилась одновременно в «Московских ведомостях» и в «Современных известиях», как вдруг, уже после того, как газеты были разнесены по домам и сданы на почту, полиция появилась во всех трактирах и магазинах и даже частных жилищах с требованием этих номеров <...> Говорят, что цензора утром телеграфировали министру внутренних дел, который и сделал распоряжение о конфискации» («Русский архив». 1907, кн. III, стр. 163). Речь в самом деле понравилась Победоносцеву: «Она очень хороша, из лучшего, что писал он, от нее дышит свежестью простого натурального чувства» (карт. 4408, ед. хр. 12). Возмущаясь конфискацией газет, Победоносцев в том же духе настроил и наследника, писавшего Победоносцеву: «Весьма глупая и печальная история с речью Аксакова в Москве; не обдуманно и сторжача все это сделано» («К. П. Победоносцев и его корреспонденты», т. 1, полутом 2, стр. 1018). Замечание Победоносцева о *новостях по этому предмету* объяснялось его нетерпеливым ожиданием манифеста о вступлении в войну с Турцией.

<sup>2</sup> 25 марта в Комитете министров обсуждался вопрос о выработке устава для славянских комитетов, преобразованных во вспомогательные органы официальных учреждений и потерявших свою самостоятельность.

<sup>3</sup> «Письма митрополита Московского Филарета к наместнику Свято-Троицкой Сергиевой лавры архимандриту Антонию. 1831 — 1867». М. 1877 — 1878, ч. 1—2. Архимандрит А н т о н и й — в миру А. Г. Медведев (1792 — 1877).

<sup>4</sup> Бартев П. И. (1829 — 1912) — издатель «Русского архива», сборников исторических и литературных документов, в том числе «Архива князя Воронцова» (кн. 1 — 40, 1870 — 1895).

<sup>5</sup> То есть не устроилась дача под Ярославлем.

<sup>6</sup> См. о ней прим. 5 к письму от 4 января 1876 года.

<sup>7</sup> Сестра Е. А. Победоносцевой С. А. Э н г е л ь г а р д т (1854 — ?) работала в годы Русско-турецкой войны сестрой милосердия на Балканах, впоследствии вышла замуж за полковника А. А. Боголобова.

Милая Екатерина Федоровна — давно хотел писать вам, да духу не хватает писать — в таком я лихорадочном настроении. Вечером, к ночи становится невыносимо волненье. Известия или, лучше сказать, слухи из Болгарии так дурны, что страшно становится. Очевидно, наделали ошибок, которые трудно поправлять<sup>1</sup>. Увы! по последним известиям, турки бьют нас — что если там потеряют голову? что если нас отрежут от Балкан и прорвут нашу линию? Все эти мысли не отходят — а разъяснить их нечем — оттуда упорное молчание. Между тем требуются войска, гвардию велено мобилизовать как можно скорее. Со времени Крымской кампании я не испытывал такого волнения и стеснения духа — никого бы не видел, ни о чем бы не говорил: точно жизнь пропала и испаряется в воздухе.

О чем же буду писать в таком настроении? Вот, посылаю вам вчерашнюю записку от Эдиты.

Да милует вас Господь!

Дай вам Боже продолжать тихое житье в деревне — но где ныне тихо живетса тому, у кого русское сердце бьется в груди!

Ваш К. Победоносцев.

Ораниенбаум  
23 июля 1877.

Благодарю за письмо, благодарю за молитву о. Парфения<sup>2</sup>. Я не знал ее. Книжку свою послал Вам вчера<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> «Мы понесли огромные потери при неразборчивой атаке на Плевну, — записал в дневнике П. А. Валуев несколькими днями ранее. — <...> С тех пор почти никаких известий. Все положение невозможное» (В а л у е в П. А. Дневник. 1877 — 1884. Стр. 14). Паническое настроение Победоносцева, по свидетельству Валуева, дошло до того, что в конце июля он отправил министру внутренних дел письмо, в котором «умоляет похлопотать о возвращении государя и цесаревича, говорит о крушении армий и пр. и пр. Душа этих многоглаголивых господ, — замечал Валуев, — легко уходит в пятки. А как они были велеречивы! <...> Как толковали о том, что люди, не разделявшие их хмеля, бездушны и неспособны подняться на высоту их святых идей!» (там же, стр. 15). Вскоре, после героической обороны Шипки, настроение Победоносцева изменилось. 25 августа он писал Е. Ф. Тютчевой: «По переезде в Петербург стало не так непроходимо мрачно на душе. Мы переезжали в самый разгар Шипкинского дела. Эта история прямо переносит — в Илиаду из современного мира. Какая чудная, какая славная страница в истории <...>» (карт. 4408, ед. хр. 12, л. 30).

<sup>2</sup> «Знаете ли вы эту молитву схииеромонаха Парфения Киевского, — писала Екатерина Федоровна Победоносцеву 11 июля 1877 г. — Очень давно ее люблю, а сегодня захотелось мне с вами поделиться» (карт. 4406, ед. хр. 7, л. 37). К письму приложен текст молитвы.

<sup>3</sup> Речь идет о книге, изданной специально для солдатского чтения: «Прикпчения чешского дворянина Вратислава в Константинополе и в тяжелой неволе у турок с австрийским посольством». Пер. и предисл. К. П. Победоносцева. СПб. 1877.

## 11

<18—19 февраля 1878 г.>

Давно не писал к вам, милая Екатерина Федоровна. Нет досуга. Так быстро пролетают дни, не оставляя ничего кроме усталости в душе и в теле. Негде остановиться, и без всякого преувеличения я смотрю на себя иногда как на вечного Жида, которого отсюда гонят в другое место, не давая нигде засидеться. Впрочем, и еще проще, книга Иова сравнивает человека с поденщиком — «якоже наемника повседневного жизнь его»<sup>1</sup>. Часто это сравнение приходит мне в голову, когда я ложусь в постель. Просыпаешься без свежести в душе, точно кошмар какой-то будит — та же поденная работа, без возбуждения — ломать и возить какие-то камни на постройку какого-то здания. Правда, в высшем смысле «художник и строитель этого здания — Бог», от Него же все мы вышли и к Нему же все идём. Если б не было этой последней мысли, было бы совсем горько поденщику. В последние годы чаще прежнего останавливаешься на этой мысли — о конечной субботе, в которую каждый почитет от всех дел своих.

Бродишь, вертишься постоянно между людьми, большею частью в пустоте, в праздном слове. Бывает, что каждый день приходится выезжать на обед, на вечер — присутствовать при фантазмагории и в ней участвовать. Утро почти каждое проводишь в заседаниях — иного рода фантазмагория — набор слов и совсем не видно дела. Надо всем этим — всегда, без перерыва, жгучая забота об исходе родного, священного дела, которым мы теперь живем и движемся. Я избегаю говорить об нем, как избегают говорить о том, что на душе наболело, и мне больно слышать, как это дело в устах ходячего большинства превращается в вопрос, утром и вечером повторяемый: Что нового? Для меня ясно было до сих пор, что Провидение ведет и направляет все это дело. Теперь оно вступает в острый, критический период глухой, потаенной борьбы с *подлинными* нашими врагами, с людьми хитрого расчета и коварной бесстыдной диалектики. Что из этого выйдет — Единому Богу ведомо<sup>2</sup>.

Приехал наконец Цесаревич — чему я очень рад. Последнее время, проведенное с войском, было для него жестоким испытанием. Говорят, он ходил как темная ночь, и я боялся, как бы не влилось ему в душу слишком много желчи. Но, слава Богу, он прояснился вскоре на обратном пути. Я ездил навстречу ему, в Гатчину, и имел утешение видеть ясную, блиставшую радость супругов, свидевшихся после 9-месячной разлуки. С тех пор я раз только видел его, у него дома, за столом, где наконец явился хозяин. Он ясен по-прежнему, но вернулся, надеюсь, с большим запасом опыта, купленного недешево. Радуюсь, что последние полтора месяца он

провел с Тотлебенем и из беседы с ним, конечно, вынес много полезного для себя<sup>3</sup>. — Царство Черкасского в Болгарии, говорят, решительно кончается, и он сдет сюда (когда оправится от болезни), с решительным, покуда, ущербом для своей нравственной репутации. Говорят, что управление Болгарией, военное и гражданское, сосредоточивается в лице Кн<язя> Дондукова<sup>4</sup>. Грустно, что в этом деле не устояло общее мнение, указывавшее в Черкасском разумного политического деятеля. Трудно согласить с умом его — все то, что об нем рассказывают. Видно, и умы, как характеры, бывают цельные, круглые и угловатые, ломаные.

Здесь, в Питере, все теперь заняты лекциями молодого Соловьева — о философии религии<sup>5</sup>. Я скучаю на всяких лекциях, но эти — слушаю с удовольствием, не пропуская ни одной. Дело, задуманное им, — новость в России, приятная и многообещающая в будущем. Конечно, он еще очень молод, не успел вполне выносить в себе и обработать пропорционально предмет своих чтений для нашей публики. Рамка его — по содержанию своему слишком широка, необъятна для 12 часов, в которые он должен втиснуть свой сюжет. В ней не остается места широкому, ясному развитию тех философских начал, которые он должен изложить, — и это недостаток заметный. Притом он не привык к публике — и аудитория покуда угнетает его более, нежели возбуждает. Он конфузлив, не владеет вольною живою речью и должен либо говорить утомительно медленно, с большими паузами, либо читать по бумаге. Но то, что он говорит или читает, связно и толково, и до сих пор ни разу не вырвалось у него ни одно из тех бестактных выражений, которые слышатся у нас всякий раз, когда бывает попытка *секуляризировать* в аудитории для публики священные предметы. Слушателей очень много, и число их возрастает — изо всех классов общества — впереди целая фаланга дам из высшего общества. Конечно, многие понимают очень мало, иные понимают вполнину, но все-таки все стараются понять — и это много значит. Я высоко ценю это возбуждение интереса к идеальным предметам и понятиям. Соловьев, неоспоримо, — молодой человек с талантом и знанием<sup>6</sup>.

Но вот — комическая сторона дела. Вы знаете, здесь есть кружок дам, поставивших себя на ученую ногу, — Л. Волконская, Кокона Барятинская, с ними Зизи Нарышкина<sup>7</sup>. С первого же раза Соловьев произвел в этом кружке сильное возбуждение — своею фигурой, физиономией, своею задачей и речью, построенною на философских терминах. Только стало и речи что о Соловьеве. Кн<ягиня> Волконская и Кокона обе не дают ему проходу. После первой же лекции позвали его на вечер к Евгении Макс<имилиановне><sup>8</sup>, в тесный кружок. Я тоже был тут и внутренне смеялся, видя юного философа, сидящего промежду двух этих дам у чайного стола. — Хотели, чтоб он разговорился между ними о своей философии. Но он молчал упорно, изредка проговаривая. Неловкое положение для философа — и потом, слыша, что его принялись каждый день звать к себе то та, то другая, я искренно пожалел об нем и, принимая в нем участие, стал себя спрашивать, как молодой человек вынесет это испытание. Авось-либо устоит. Вчера нас с женою звала на вечер Кокона, шепнув, что будет Соловьев. Приезжаем — тут Кн<ягиня> Волконская, тут Зизи, потом Эдита приехала — вот и всё. В тесном кружке хозяйка рассчитывала показать себя и гостей своих — даже двух разом философов, по<тому> что у Соловьева есть еще приятель, моложе его, Кн<язь> Цертелев<sup>9</sup>, который готовится тоже читать лекции о Шопенгауэре (и представьте — все это под патронатством Алекс<ея> Киреева, который играет роль Корнака на всех чтениях<sup>10</sup>). И какую же, однако, штуку выкинули философы? Они занесли поутру свои карточки, а вечером — не пришли! Хозяйка была, разумеется, этим сконфужена, хотя не подала виду, и вечер обошелся без философов. Но вместо одного представления — нам дали другое, и прелюбопытное. Я подивился, до какой глупости могут дойти умные женщины — без меры и с аффектацией того или другого рода. У этих — аффектация учености. Разумеется, в этом салоне, как, впрочем, и всюду, помину нет о *causee* или об общем разговоре, вольном, умном, бескорыстно внимательном. Все превращается в монолог или дуэт — одной умной аффектацией или двух. Дуэт разыгрывался между хозяйкою и Кн<ягиней> Волконской. Монологи вела Кокона — и еще какие, — обращаюсь к Эдите. Чего, чего она не помянула, чего не коснулась с ученым видом знатока, который обо всем судит по источникам непосредственного знания. Через две-три минуты предмет меняется — высыпается новое имя, новый термин. Гёте, Карлейль, Милль, Вагнер, Лейбниц, Спиноза, Будда, Шопенгауэр, Теннисон, Макс Мюль-

\* Непринужденный разговор, беседа (франц.).

лер — чего, чего тут не было сказано. Оказалось, между прочим, что Кн<ягиня> Волконская занимается с ученым профессором — этюдами над клинообразными надписями, санскритским языком, и еще вновь открытым аккадийским наречием. Я хохотал в душе, а жена моя, сидя все время молча, решила, что она дура и ни о чем не имеет понятия! Кокона сыпала такую премудростью, как будто она всю жизнь проводит в библиотеке. А она в этот день, встав во 2-м часу и проездив все утро, обедала во Дворце, а нас принимала в бальном туалете, потому что, проводив нас, должна была ехать на бал — и таковы все дни у нее. И как она все цитирует *de plain pied*! По поводу Милля вдруг спрашивает: читали ли вы у Жоффруа, это удивительное, раздражающее душу описание того дня, когда вдруг у него пропала вера в душе?<sup>11</sup> Никто, разумеется, не читал, и все более или менее устыдились своего неведения. А сегодня я взял последнюю книжку «*Revue des D<eux>Mondes*» и стал читать статью (рекомендую) д'Оссонвиля о Жорже Занде — и что ж? вижу, он по поводу Ж. Санд приводит это место у Жоффруа. Наверное, подумал я, Кокона как раз здесь и не далее как вчера все это вычитала! Словом сказать, вчера видели мы *сущую комедию*. И не любопытно ли, что недели 2 тому назад у Кн<ягини> Волконской был семейный спектакль, и хозяйка вместе с Коконю (говорят, в совершенстве) разыгрывали сцены из «*Femmes savantes*» Мольера.

Кстати — к одной болтовне еще другая. У вас в Москве вышла книжка Арх<имандрита> Саввы «Воспоминания о Леониде». Тут в конце напечатан дневник Леонида, веденный им со свойственной монахам наивностью, во время последней его поездки в Петербург<sup>12</sup>. Он описывает все свои впечатления и посещения, в том числе о супругах Исаковых говорит так: «Николай Вас<ильевич> столь же молчалив и сдержан в слове, сколь супруга его словоохотна»<sup>13</sup>. Дм<итрий> Серг<еевич> сделал из этой книги урок своим воспитанникам<sup>14</sup>, о которых Леонид тоже поминает: смотрите, как надо всегда разумно говорить и вести себя: вот, умирает человек, и публикуется, что он записал про вас!

Сегодня звала к себе Гр<афиня> Блудова *перед обедом* пить чай. У нее встретил Дарью Федоровну, от которой узнаю по временам известия об вас. Она говорит, что теперь, слава Богу, вы выезжаете, но что встревожила вас болезнь тетушки. А ось-либо теперь уже она поправилась, и вы успокоились. В Москве волнуются по случаю мира — и, верно, больше, чем здесь у нас. В верхних сферах все стремятся к квиетизму, и, право, когда б не Государь, давно бы мы сидели в болоте. Вижу, что в последние дни все расположено к успокоению. Во многих домах открылись танцы, — и Вел<икие> Князья Сергей и Павел ездят на частные балы, были у Гр<афини> Пален, у Гр<афини> Крейц<sup>15</sup>. Уверяют, будто и при Дворе будет бал на масленице. Не хотелось бы этому верить. Хотелось бы, чтобы хоть в этих сферах, откуда все к нам спускается, поудержались веселиться. Как-то страшно и подумать об открытии этих рынков суеты и роскоши в такую пору, когда враги наши куют на нас оружие и тиф гуляет по России. Но — у нас находятся люди, которые еще летом проповедовали, что ездить в такую пору на балы и в театры — некоторым образом долг гражданского мужества!

19 февраля. Вот, все ждали на нынешний день выхода и известия о мире. Выхода нет, стало быть, и мира нет. На горизонте очень мрачно. Что ожидается, на что имеются расчеты в дипломатии, — неизвестно. Увы! видно, мы слишком много полагались на справедливость, на силу слова, на расположение друзей и союзников, на крепость взаимных обязательств. Теперь, кажется, видно, что мы можем рассчитывать только на свои силы. Что будет теперь — Господу известно. Сердце мое сжимается и мысль цепенеет, когда думаю о жертвах и бедствиях, которые еще ожидают Россию до совершенного окончания войны. Странно и дико видеть, что в такую-то пору, с приближением масленицы, поднимается у нас общее веселье, как у язычников. Боже! как тяжела становится жизнь — со всех сторон — так все неверно, так все призрачно. Только в церкви хорошо. Вчера, за всенощную, пели «на реках вавилонских» — я так люблю это пение и этот псалом — вспоминаю прошлую жизнь, когда было весело, ясно и пелись в душе песни, которые теперь страшно запеть.

Но вот, в ту минуту, как я пишу, в 8 часов вечера, стали стрелять с крепости. Это значит — мир заключен! Благослови Боже — быть миру вместо брани, крепкому и славному. Завтра будет выход, но, без сомнения, радость о мире будет еще неполная, неясная, омраченная заботами о том, как нам выйти на широту изо всех

\* Без разбора (франц.).

\*\* «Ученые женщины» (франц.).

сетей, которые на нас отовсюду раскинуты. Дай Боже исполниться на нас и на врагах наших пророческому слову: «совет, егоже советаете на нас, разорит Господь, яко с нами Бог»<sup>16</sup>.

Здравствуйте, милая Екатерина Федоровна. Катя моя сердечно вам кланяется. Кланяйтесь от нас добрейшей тетушке — да хранит ее Господь. Христос с вами!  
Ваш К. Победоносцев.

<sup>1</sup> Книга Иова, 7:1.

<sup>2</sup> Тревожное настроение Победоносцева объяснялось враждебной позицией Англии и Австро-Венгрии, опасавшихся усиления России в результате победы над Турцией. Победоносцев боялся, что реакция европейских держав предопределил невыгодные для России условия мирного договора (подписан 19 февраля 1878 г. в Сан-Стефано) и оказался прав: позднее на Берлинском конгрессе условия договора были пересмотрены в ущерб России. Эти размышления Победоносцева, как и другие упомянутые им факты, позволяют датировать письмо.

<sup>3</sup> Граф Т о т л е б е н Э. И. (1818 — 1884) — генерал-адъютант, участник обороны Севастополя, в 1877 году руководил осадой Плевны, в 1878 году — главнокомандующий армией.

<sup>4</sup> Деятельность В. А. Черкасского на Балканах (см. о нем прим. 5 к письму от 5 декабря 1870 года) вызывала общее недовольство. Его обвиняли в самоуправстве и злоупотреблении властью. Князь А. М. Дондуков-Корсаков (1820 — 1893), генерал-адъютант, в апреле 1878 года, после смерти Черкасского, был назначен российским комиссаром в Болгарии.

<sup>5</sup> *Молодого Соловьёва* — то есть Владимира Соловьёва, сына историка. О необычайном успехе, аудитории и общественном резонансе лекций В. С. Соловьёва, напечатанных позднее под названием «Чтения о Богочеловечестве», см.: Ф л о р о в с к и й Г. В. Чтения по философии религии магистра философии В. С. Соловьёва. — ORBIS SCRIPTUS. Dmitrij Tschizewskij. Zum. 70. Geburtstag. München. 1966. Г а л ь ц е в а Р. А., Р о д н я н с к а я И. Б. Раскол в консерваторах (Ф. М. Достоевский, Вл. Соловьёв, И. С. Аксаков, К. Н. Леонтьев, К. П. Победоносцев в споре об общественном идеале). — Неоконсерватизм в странах Запада. Ч. 2. Социокультурные и философские аспекты. Реферативный сборник. М. 1982; Н о с о в А. А. Реконструкция 12-го «Чтения по философии религии» В. С. Соловьёва («Символ», 1992, № 28).

<sup>6</sup> Очень скоро отношение Победоносцева к этим лекциям, а позднее и ко взглядам Соловьёва в целом круто изменилось. Уже 2 апреля 1878 г. Победоносцев сообщил Е. Ф. Тютчевой: «Сегодня последняя лекция Соловьёва. Я не поехал слушать его — эти лекции мне надоели <...> Выступать с такою программю — большая претензия для молодого человека. Но всему есть мера. Есть сюжеты столь возвышенные, что неприятно, когда их касаются поверхностно» (карт. 4408, ед. хр. 13, л. 69).

<sup>7</sup> Княгиня Елизавета Григорьевна В о л к о н с к а я (урожд. светлейшая княжна Волконская, 1838 — 1897), жена М. С. Волконского, попечителя С.-Петербургского учебного округа. Княгиня Мария Аполлиinarieвна Б а р я т и н с к а я (урожд. Бутенева, 1835 — ?). Елизавета Алексеевна Н а р ы ш к и н а (урожд. княжна Куракина, 1840 — ?), обергофмейстерина императрицы Марии Федоровны. Эти дамы высшего света и в дальнейшем опекали Соловьёва, защищая его от преследований Победоносцева. В январе 1887 года А. А. Киреев записал в дневнике: «Хлопотал снова у Победоносцева о том, чтобы не стесняли деятельности Соловьёва, добился того, что «интердикт» будет снят за исключением тех статей, в которых Сол<овьев> будет слишком хвалить католицизм в ущерб православию! Сообщаю это Е. Волконской» (ОР РГБ, ф. 126, ед. хр. 10, лл. 214 — 214 об.).

<sup>8</sup> Принцесса Е в г е н и я М а к с и м и л и а н о в н а (1845 — 1925), жена принца А. П. Ольденбургского, дочь герцога Максимилиана Лейхтенбергского.

<sup>9</sup> Князь Ц е р т е л е в Д. Н. (1852 — 1911) — поэт, публицист, позднее редактор «Русского обозрения» и «Русского вестника».

<sup>10</sup> К и р е е в А. А. (1838 — 1910) — адъютант великого князя Константина Николаевича, публицист славянофильской ориентации. К о р н а к — возможно, от ф р а н ц. сопас — погонщик слонов.

<sup>11</sup> Возможно, Ж о ф ф р у а Жюльен (1743 — 1814) — французский публицист.

<sup>12</sup> С а в в а (И. М. Т и х о м и р о в). Воспоминания о высокопреосвященном Леониде, архиепископе Ярославском и Ростовском. Харьков. 1877. Упомянутый дневник архиепископа Леонида (Л. В. Краснопопова, 1817 — 1876) включен в книгу как приложение: «Поездка преосвященного Леонида в 1873 г. в С.-Петербург».

<sup>13</sup> И с а к о в Н. В. (1821 — 1891) — генерал-адъютант, попечитель Московского учебного округа, затем начальник военно-учебных заведений.

<sup>14</sup> Речь идет о генерал-адъютанте Д. С. Арсеньеве (1832 — 1915) — воспитателе великих князей Сергея и Павла Александровичей.

<sup>15</sup> Графиня Л. С. К р е й ц (урожд. Колпашникова, в первом браке Бобринская, 1836 — ?) — жена сенатора, генерала Г. К. Крейца. Графиня Е. К. П а л е н (урожд. Толь, ум. 1910) — жена министра юстиции графа К. И. Палена.

<sup>16</sup> Иезекииль, 20:26.

# ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

## САПОГИ ВСМЯТКУ

**Е**сть у Василия Аксенова замечательный рассказ. Вроде как притча. Напечатали его, кажется, лишь однажды. В конце 60-х, в «Юности». Суть вкратце в следующем. Оказавшись по чистой случайности в одном купе, Гроссмейстер (по шахматам) и его попутчик, давненько не бравший в руки даже шашек, вздумали разогнать железнодорожную скуку за шахматной доской. Как и следовало ожидать, маэстро сделал любителю шашек мат. Чуть ли не на втором ходу. Но шашечник этого и не заметил. Продолжал сражаться. Кончилось победой. Увы, не Гроссмейстера. И он, чемпион мирового класса, выдал счастливому сопернику золотой жетон с гравировкой: «Моему победителю». А нам на ушко нашептал: таких-де медалек у него много. Впрок, на будущее, запасся.

Угадал Аксенов, умница. На четверть века вперед роковую для совкового менталитета ситуацию смоделировал. Профессионалы начинают. Делают любителям мат. А те как ни в чем не бывало прут себе дальше, вытесняя-выдавливая мастеров. Из эпицентра игры — на обочину. Что вверху, что внизу. Что в политике, что в искусстве. Вот и с русским Букером-93 то же самое вышло.

Семен Липкин — виртуоз переводческого дела, прекрасный поэт (его поэма «Техник-лейтенант» стоит романа), неутомимый мемуарист и дилетантствующий прозаик — в обнимку с двумя литературными дамами, сладкой и полусладкой, развернулись боевым треугольником супротив команды мастеров: В. Астафьева, Вл. Маканина, О. Ермакова.

Самой важной — «сюжетообразующей» — фигурой в предфинальных газетно-журнальных сшибках вдруг оказался бойкий деятель Гуманитарного фонда Ефим Лямпорт, которого поначалу никто всерьез не принимал: мели, Емеля, твоя неделя...

Не оказалось (почему бы это?) ни одного реально практикующего диагноста и в головном составе Букер-жюри: находчивый и остроумный эссеист Александр Генис, ученый лингвист Вячеслав Вс. Иванов да легендарный Булат Окуджава. Нежно-преданно его люблю, у него масса достоинств и бездна обаяния. Но — при полном отсутствии и способности, и склонности, и охоты к «критической рефлексии». Что, право, ничуть не умаляет его как поэта. Наоборот — способствует.

Жаль, что Аксенова не было с нами. Наверняка выдал бы нынешним букерменам по золотому жетону. Каждому. А не один на троих.

Впрочем, и без Аксенова обошлись. Андрей Немзер наконец-то всерьез рассердился. Залепил-таки пощечину общественному, точнее — тусовочному, вкусу. А заодно и кстати продемонстрировал чудеса оперативности. 16 октября 1993 года, ввечеру, в питерском Доме ученых, под полусухое шампанское, Букер-жюри объявило свое р е ш е н и е. А 21-го, поутру, вся Москва уже читала, посмеиваясь, его язвительные комментарии к финальному шортлисту (подвал в газете «Сегодня» — «Страшная месть, или Упраздненный случай»).

Все предсказуемо, считает Немзер. Настолько, увы, предсказуемо, что до последней минуты не верилось, что вот так, запросто, можно превратить Букерралли в Букер-сговор и разыграть сию комедию нравов по оскорбительно банальной, литбытовой, а не литературной схеме — для проворачивания окололитературной политики.

Равнодействующей всех этих составляющих и явилась, по Немзеру, объявленная граду и миру реникса, чепуха то есть, — «финальный список претендентов на премию Букера».

Боюсь, однако, что быстроперый, легкий на подъем обозреватель «Сегодня» сильно преувеличил и хитроумность, и злокозненность, и стратегическую дальновидность (по части сознательной установки на тусовочную мифологию) Букер-тройки-93. Ну о какой политике — да еще лихо закрученной и просчитанной на много ходов вперед — может идти речь, ежели, желая угодить всем: реалистам и модернистам, архаистам и новаторам, славянофилам и западникам, мужчинам и

женщинам, молодым и старым, — жюри в итоге не угодило никому. А главное, и само себя загнало в патовую ситуацию. В этакий бесконечный тупик, из которого есть только один, да и то мнимый выход: дать Букер-приз Виктору Петровичу Астафьеву. Но вряд ли они этим запасным выходом воспользуются (кислой миной при плохой, в свои ворота, игре), потому как и простофилю ясно: автор «Чертовой ямы» втиснут в Букер-полуфинал в качестве фигуры-ширмы, которую, при любом раскладе, ничего не стоит вывести в положение вне игры по «уважительной», «не обидной» для замечательного прозаика причине: роман ведь не кончен, опубликована лишь первая часть трилогии, вторая объявлена «Новым миром» на 1994 год!..

Зачем это было сделано — ума не приложу. Зачем выдавать крупным планом обманность широкого жеста — этакий общий поклон в сторону «русской партии», если проще было свалить проблему Астафьева на букерменов следующего созыва?

Еще тупиковой сюжет с Маканиным. Обойти еще раз зубастого, умеющего постоять за себя мэтра уже обещанным блюдецком с золотой каемочкой — значит: открыто-прилюдно расписаться в тайной недоброжелательности к автору «Предтечи» и «Утраты», еще живому почти классику.

Можно, конечно же, и не обойти: дать. Но в таком разе воленс-ноленс, а придется своими руками притузить своего же туза, сведя полугодовую работу к одной-единственной технической задаче: исправить досадную оплошку прошлогоднего жюри.

Не лучше и вариант с Ермаковым. Казалось бы, самая подходящая — примиряющая все партии и вкусы — фигура. Но выбрать «Знак зверя» все равно что пойти на поводу у самонадеянной критической братии. Больше того: признать правоту Немзера, еще на заре предвыборного Букер-марафона предсказавшего: Олег Ермаков — «претендент номер один, и размыто видится круг его ближайших соперников». Согласитесь: вариант этот в нынешних обстоятельствах, после скандального подвала в «Сегодня», где разгневанный Немзер, забыв о политесе, отказал букерменам в профессионализме, — не в интересах жюри.

Словом, как ни крути шестизначный шортлист, а в дураках, хотя и при «золотых жетонах» с надписью «Победителю», оказываются в первую очередь сами же букермены. С Машей Слоним в придачу. И не настолько же они все недалковидны, чтобы этого не понимать и не предвидеть?

Нет, нет — убеждена: и в самом деле не ведали, что творят! И тупик — в конце беговой дорожки — образовался по одной простой и конфузной причине. По причине того, что сапоги взялись тачать пироженники. Кроили-прикалдывали, строчили-вертели, и на колодку натягивали, еле-еле наскребли на левый сапог — да и тот всмятку! Возьмите хотя бы казус с Улицкой. Хотите верьте, хотите не верьте — проверить-то все равно нельзя, но в тот самый момент, когда я, развернув «Сегодня», узнала по процитированному там отрывку вещь, явно читанную еще в рукописи, но не запомнившуюся, не наследившую ни в памяти ума, ни в памяти сердца, раздался телефонный звонок. Звонила молодая критикесса Н. С., умменькая и начитанная. И что же она мне предложила? Интервью с Людмилой Улицкой! Слегка оторопев от такого совпадения, спросила: неужто и в самом деле понравилось? Очень — отвечивал взволнованный голос. Особенно та сцена, в библиотеке, когда герой повести впервые увидел героиню, Сонечку-душечку, настоящую женщину, и с первого взгляда понял: ж е н а! «Это же так шикарно!» Текст А. Немзера во все время разговора лежал перед моими глазами. С отчеркнутой цитатой из этой именно сцены...

Делать нечего — пришлось перечитать оказавшуюся яблочком раздора повестушку. Да, конечно, к литературе в строгом смысле слова, а уж тем более к большой романной прозе простая эта история (констатирующая: т а к б ы л о, но на распутывание причин и следствий и не претендующая) отношения не имеет. Однако ничего «сопливого» и ужасающе «безвкусного» в тексте Улицкой не обнаружилось... Больше того, допускаю, что незатейливое это повествование угодило в Букер-корзинку отнюдь не в результате затейливой комбинации интересов, что «Сонечка» и в самом деле приглянулась кому-нибудь из членов жюри. Приглянулась — и все тут, особенно если учесть, что читалась наверняка одновременно, в один заход, с «Поселком кентавров» А. Кима (опубликованном в том же номере «Нового мира» /1992, № 7/) и тоже выдвинутого на с о и с к а н и е. С вещью, может быть, и значительной, но умозрительной, холодно и расчетливо жестокой. А тут, в «Сонечке», все так человечно, симпатично, читабельно. А пуше всего любопытно: с какой н а т у р ы списано? и из какой избы вынесен пестрый сор отшумевшей жизни?

Скучно, кто спорит. И за номинаторов обидно. Уж так расстарались! Все закоулки-ниши обшарили! И какой богатый и смыслом и качеством материал для Большой Игры выудили!

Соснора с его серебром и его гордыней.

Астафьев с его шумом и яростью.

Ермаков с его лирической дерзостью.

Галковский с его нелирической наглостью.

Ну и далее — уже с вариантами: либо Алешковский в контрастной паре с Пелевиным, либо Гареев в парадоксальном тандеме со Слаповским.

Номинаторы, конечно же, перебьются: не впервой. А вот мистера Букера искренне жаль. Так, видно, ему, капиталисту-романтику, хотелось внести в нашу скучную, вялую, замордованную экономическую паникой и плавающей тревогой литжизнь азартный дух соревновательности. Дух легкости и веселости!

Не вышло. Обыграли пашечники-доминошники и этого Гроссмейстера.

И идею замотали.

И песню — испортили.

PS. Так кто же получит Букер-приз?

Липкину не дадут. За то, что свой. Астафьеву — потому, что чужой. И Ермакову сделают — кыш; хоть и удал, да молод: все впереди. И Улицкой с Нарбиковой откажут: «дамы-с». Маканин, выходит, остается?..

Впрочем, доживем до декабря — увидим.

Алла МАРЧЕНКО.

Итак: Маканин, обойдя четырех конкурентов (В. Нарбикову сняли с беговой дорожки еще раньше по техническим причинам), получил-таки Букер-гранд-при. И мне вроде как полагается выйти в ПОСТСКРИПТУМ с приличным случаем лицом: «А что я вам говорила?»

Но каюсь: говорить — говорила, а про себя подумала: чур меня! Чур меня! То есть, конечно же, не меня — Ермакова! Игру испортили — ну и шут с ней! Зато польза будет. Маленькая, да польза. Авторитет Букер-выбора, единственной на сегодняшний день литературной премии ЗА ТЕКСТ, а не за имя (уже известное, уже обеспеченное солидным счетом в национальном банке и де й), удержал бы высокую планку, а молодая наша проза получила бы ШАНС.

Увы нам: сработал железный — вживленный, вшитый? — в сознание советского человека механизм: в затылочек, в затылочек — по росту... К тому же, судя по «Взгляду на русский роман 1992 года» — этот реферат широко раздавали всем желающим на торжественном вечере по случаю окончания Букер-гонок-93, — автору «Взгляда...» и председателю Букер-жюри Вяч. Вс. Иванову «Знак зверя» сильно не приглянулся: длинно, неслаженно, нероманно-фрагментарно.

Что же — и это мы уже проходили. См. отзыв Ник. Языкова на перво-публикацию «Героя нашего времени»: «А роман Лермонтова мы было начали читать — да нет, как не идет! Вяло, растянуто, неинтересно, незанимательно!»

А. М.

*От редакции. Новомирцы, естественно, вправе не согласиться с высказанными здесь оценками романов и повестей, принадлежащих нашим уважаемым авторам — кандидатам на Букера-93. Но независимое мнение критика, ведущего рубрику, нам также дорого, и мы не считаем возможным его стеснять.*

---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВИКТОР КАМЯНОВ

\*

## КОСМОС НА ЗАДВОРКАХ

Око зрит — невидимейшую даль,  
Сердце зрит — невидимейшую связь...

*Марина Цветаева.*

### 1. Искал гармонию? Получай...

**В**озможно ли окарикатурить космос, высмеять упорядоченный ход светил либо спародировать северное сияние? Верховному Творцу подобное, видимо, по силам — под настроение. Нам — нет, ибо не отыскать точку возвышения над предметом насмешки. А потешаться снизу ввысь мало радости.

Но есть у вселенской шири и рукотворные аналоги — художественные миры, где, по Блоку, из хаоса, «из безначалия создается гармония». Они-то, эстетические аналоги космоса, теперь становятся мишенью острот и колкостей.

Множеству нынешних авторов, сравнительно недавних дебютантов, как раз близка эстетика безначалия, презревшая хлопоты о слаженности и взывающая к мастеру: воссоздай насевший на нас хаос! И мастера ли, подмастерья, расслышавшие такой зов, будто соревнуются с новейшей реальностью, где из всех углов нахально лезет на глаза беспорядок. А что? Даром ли в головы советских сочинителей вбивалась пресловутая «теория отражения»? Войдя в раж бесцензурного и неприкрашенного отражательства, насмешливые наши творцы передразнивают действительность, поменявшую «громадь» планов на суету реформаторских проб и ошибок. Передразнивают демонстративной расстыковкой эпизодов, потерянным видом персонажей, пробующих один ли, другой путь от завязки к финалу, будто робкий купальщик — воду.

Впрочем, завязки, финалы все больше делаются условностью — как элементы заведомо рутинной поэтики, на смену которой спешит эстетическая новизна, свободная от многих забот, завещанных традицией. В частности — о внутренней слаженности образа. Его организация и саморазвитие духовно значимы? Разумеется. А может ли быть значима дезорганизованность? Попробуем разобраться, взяв свежие примеры, к тому же тесно сдвинутые календарно.

Для начала сошпось на бурно стартующего прозаика Виктора Пелевина. Открыв недавний его роман «Жизнь насекомых» («Знамя», 1993, № 4), мы попадаем в особое рода «зазеркалье», где людские повадки честно копируют жуки, комары и мухи. В оперативном (и весьма саркастическом) газетном отклике на этот роман памятный Андрей Немзер назвал ряд наших и зарубежных авторов, чьи энтомологические фантазии увидели свет прежде пелевинских. Все верно: в избранном жанре сочинитель «Жизни насекомых» не первопроходец. Однако безусловный новатор.

Так уж повелось, что любой автор, населив свое «зазеркалье» необычными существами, старается не разорвать ненароком покров тайны и не разрушить иллюзию: раз с первых же строк уговорились, что небывалое бывает, автору строже строгого и соблюдать уговор. А в «Жизни насекомых» волшебное кино нам показывают при ярком свете и мельтешении публки перед экраном. Техника биологических метаморфоз тут не слишком сложна. Мы и глазом не успеваем моргнуть, как козявка, пожужжав над зеленью трав, садится и, освободившись от крыльев, присоединяется к стайке обычных курортниц, помахивая сумочкой. Для обратного превращения ей надо освободиться от красных туфель и приступить к оборудованию земляной норы — для себя и супруга. Майора. Тот — существо составное: верх явно

человечий, ибо майорские руки сводят и разводят мехи баяна, низ — муравьиный. Образ? Нет, полуфабрикат образа, с которым дальше справляться мне, читателю.

Но случается, что и до стадии полуфабриката еще далеко. Толкает, к примеру, жук-скарабей навозный катыш. Лапками? Отчасти, ибо тут же упомянуты чьи-то руки, погруженные в вязкий шар аж по локоть (читателю надлежит вжиться и внюхаться в столь заманчивую процедуру). Налицо полная и мгновенная взаимозаменяемость биологических рядов. Потайная дверь в «зазеркалье» словно на шарнирах мотается туда-сюда, шаркая о косяк и не мешая любопытным следить за манипуляциями сочинителя, который обнажает прием: «У меня от вас секретов нет!»

Нет секретов — нет и сказки. И когда на моих глазах иллюзия, едва возникнув, разрушается, я с объявленного сюжета поневоле переключаюсь на необъявленный: а что это вытворяет автор со своими букашками и зачем? За рассекреченными жуками и мухами теперь уж следишь вполглаза, за автором — во все глаза. Ведь над обрывками лопнувшей сказки он трудится все больше вхолостую, словно накачивая пробитую камеру. А от меня-то ему что нужно? Догадываюсь — взаимности. Точнее, так: взаимности в нелюбви — к закрытым, аккуратно проработанным художественным мирам или миркам.

На взгляд нашего постмодерна, любая ушедшая в себя, внутренне уравновешенная система (образов, поэтических мотивов) — ложная модель мира, построенная для отвода глаз от всей мировой нескладицы. И постмодерн не устает пародировать образцы прекраснородушной систематики, ставя их в контрастную связь с наглым оскалом хаоса. Так что вряд ли стоит попрекать сказочника-энтомолога В. Пелевина его выходом на протоптанные пути. На этих путях ему удобно настигать и конфузить слишком сбалансированную эстетику, сближать далекие биоряды до минимальной их различимости. И еще: дезорганизованность структур (образных) отлично рифмуется с бесструктурностью того удобительного вещества, к которому липнут руки-лапки персонажей и кучками которого усеяна вся стройплощадка пелевинского мироздания, будто нашлепками связующего раствора.

Что ж, славно живем. И не хуже того пахнем. А между тем, если смотреть глазами постмодерна, повествовательные сюжеты у нас полны избыточного склада и лада. Порядок ли? В недавней вещи (жанр автором не обозначен) признанного мастера постмодерна Евгения Попова «Магазин «Свет», или Сумерки богов» («Дружба народов», 1993, № 4) можно прочесть, что даже у далекого от эстетической рутины Маркеса «сковано все, безжизненно, а у нас — дрожание и маревом». Едва отзвучало это признание, как увидел свет «маленький роман» Александра Бородини «Спички», где крупно «дрожат» главные линии сюжета и повествовательное пространство окутано «маревом» («Новый мир», 1993, № 6).

У В. Пелевина дрожит и зыблется грань между майором и муравьем, стильной девицей и мухой, у А. Бородини — между разными версиями одного происшествия: выбирайте, братцы, по вкусу! Нет, автор не намерен, подобно создателям популярного фильма «Супружеская жизнь», доверять трактовку события сперва одному, потом другому персонажу, оценивая меру их субъективности. Варианты случившегося, о чем надлежит рассказать, он перебирает хозяйской рукой, разгораживая свою стройплощадку и усмешливо обнажая прием.

Значит, что же нам тут поначалу дано? Погибла в своей квартире молоденькая путана Жанка. При загадочных обстоятельствах. Дабы их распутать, является милицейский чин. Но по неловкости да неумению обращаться с газом тут же испускает дух. Теперь другого пришло? Нет, этот воскреснет, потому что о его смерти автор объявил нам понарошку. В порядке пробы. Ну а Жанка-то хоть вправду померла? Признаюсь, до конца чтения я ждал, когда же и она воскреснет, ибо автор приучил меня не очень-то доверять своим сообщениям, отменяя их одно за другим. Отчего бы и Жанке не очнуться? Право же, при «дрожании» сюжетной канвы лотерея какая-то выходит: кому жить, кому помирать. И похоже все это на шахматный поединок, когда партнеры каждый второй ход берут назад, или на киноленту, куда вошла половина бракованных дублей.

Но ведь я, консервативный читатель, привык и в поэтическом беспорядке искать порядок. Внутреннюю оправданность видимых разрывов и нестыковок. А тут мне ясно дают понять, что в своих привычках я закоснел и упорядоченная эстетика, любезная моему сердцу, архаична.

В пику нашим привычкам как раз и обнажаются п р и е м ы. Вовсе не к тому клонится дело и у сочинителя эпоса про человеко-козявок В. Пелевина и в «Спичках» А. Бородини, чтобы добыть хоть крупицу неведомой нам правды о сдвинутом

мире (постмодерн вообще демонстративно антианалитичен), а к тому, чтобы разворошить, взбуровить залежи эстетических канонов, по сильнее встряхнув замороженную ими публику: оглядись вокруг, планета давно стоит на ухах!

Но как нам сфокусировать зрение на «дрожащих» картинках? Допустим, некий гражданин по фамилии Телелясов, задумав обновить запас электролампочек, двинулся к магазину «Свет» (нарочно ссылаюсь на тот же рассказ, а может, и повесть, откуда сделана выписка про Маркеса и «дрожание»). Значит, идет гражданин, конечно же петляя, сбиваясь с ориентиров, теряя из виду цель, ибо спрямленный маршрут к «Свету» отклонял бы от «Сумерек богов» (второе название текста). То есть петляет и он, Телелясов, и едва обозначенный сюжет, где очередной отрезок проведен наискосок к прежнему, а житейские подробности сбежались в одно место словно из далеких углов. Что же тут устойчивого? Вынесенный в заголовок контраст Свет — Сумерки да благодушно-усмешливый тон всей байки про светоискателя в потемках. Впрочем, благодушие тона весьма относительно, ибо искатель ненаходимой торговой точки успел досадить автору настырностью, своей постной миной. За что и понес физический урон. Последнее объяснено без сантиментов: «Искал гармонии, а слюпотал, как олень, палкой по морде».

Свет ли, гармония для этого литературного отряда — как штандарты над вражеским укреплением, под которое ведется подкоп. Знаки то ли самообольщения, то ли глобальной лжи. Иное дело — сумерки (богов), разброд и разлад, собачий пробег по клавиатуре. Тошнотовато, зато никаких миражей. Если, конечно, не считать легенды о крутом новаторстве наших дисгармонистов.

## 2. Вместо беспределности — беспредел?

Ясное дело, что подкопы под неавангардистскую эстетику ведутся параллельно с выпадами против старых классиков. Нередко одними и теми же лицами. Не станем касаться упреков корифеям минувшего века, будто они раздражили демонов революции: это уведет нас в сторону. Скажем о другом — о недовольстве новейших наследников-протестантов учительскими нотами у Толстого ли, Щедрина, Достоевского и еще — слишком уравновешенной картиной мироустройства на страницах прославленных книг.

Что до морализаторства или наставительности, подобный укор лукав, ибо предполагает подъем нашего ценителя на самый верх классической постройки, где им обнаружен венец этого творения — этическая максима, водруженная там вместо шпиля. Такими литпамятниками век XIX нас не одарил. Если же моральный пафос расслышан в сплетении многих тем, то с эстетским «фи» надо хотя бы подождать, пока не разгадан секрет этого сплетения. Нет, ждуть как-то не по нраву.

Между тем недовольные мины при виде архитектурных совершенств века XIX вроде бы по-своему оправданны: нам-то достались котлованы, треснувшая кожа планеты в местах мегатонных выбросов энергии, долгострой-недострой совэкономиики — неважные смотровые площадки для любования чудесами словесного зодчества старых мастеров. А если в пику раздражающе гармоничным образцам смоделировать, допустим, руины, поросшие логухом, — это будет торжеством прямодушия и вызовом почтенной архаике? Не дубликатом ли руин, и то при удачном исполнении?

Нынешний мир так мало похож на вчерашний и так мало благообразен, что многие убеждены: прежние портреты ему льстят. Их можно повернуть лицом к стене. Какое же, собственно, время у нас на дворе? Неповторимое. О том не уставала твердить советская пропаганда. И казенная эта наука оседала в подкорке. Звонкоголосые энтузиасты былых десятилетий, покорявшие пространство и время, не подозревали, что они — в коконе уникальной эпохи, пораженной недугом социального нарциссизма, и вопрос поэта: «Какое, милые, у нас тысячелетие на дворе?» — представлялся им до колик уморительным. Кокон наконец-то прорван, но потомкам энтузиастов еще долго разминать затекшие члены.

Когда сегодня нас уверяют, что толстовская идея по р я д к а не выдержала испытания «реальностью, мало представимой в толстовские времена» (слова Льва Аннинского, на которые мне уже приходилось ссылаться), то есть когда идею Толстого жестко прикрепляют к минувшей поре, тут поневоле вспомнишь о родимом нашем коконе, его твердой фактуре и поежишься от фантомного чувства стесненности. Но на Толстого-то нашу стесненность стоит ли распространять?

Все же для автора «Войны и мира» с его образами людского роя, муравейника, приливов, отливов, штормов, затиший на историческом море время двигалось по-

иному, чем для Фадеева или Вишневского с их парадными портретами партактивистов. Вообразим ли мы толстовского Хроноса вдруг рванувшимся вперед по призыву очередного съезда, если как раз в пору работы над эпопеей Толстой писал П. Д. Боборыкину насчет жгучих вопросов дня (земства, литературы, эмансипации женщин...): «...эти вопросы в мире искусства не только не занимательны, но их нет... все эти вопросы трепещутся в маленькой луже грязной воды, которая кажется океаном только для тех, кого судьба поставила в середину этой лужи»...

Вообще большое искусство, отмеряя дольки текущего времени, держит в уме время немеренное. История литературы в нашем восприятии подобна окрестному ландшафту при быстрой езде: вблизи мелькание придорожных построек, кустов, тех же луж, о которых писал Толстой Боборыкину (с фигурой оперативного баллетриста в центре каждой), вдали — медленный разворот «толпы соплеменных гор», если по Лермонтову, как бы с перемещением одной возле других по мере нашего отдаления.

А литературные вершины, господствуя над пространством, и впрямь тяготеют друг к другу, собираясь «толпою» вопреки разделяющим их расстояниям и временам. Что и не удивительно: таких духовных тружеников, как Данте, Шекспир, Гёте, Толстой, сближает не только творческий масштаб, но и творческие склонности. Художники этого ряда словно приглядываются к работе самого Создателя в первые дни творения, беспокоя его многочисленными «зачем» и «почему», пробуя даже подражать ему в приемах и размахе собственных работ.

Сходным образом случалось поступать и средним талантам, иногда добываясь полууспеха. А художественные миры Шекспира или Толстого в культурном обиходе существуют наряду с подлунным как достоверные его аналоги, уже неподвластные календарному времени, сколь бы оно ни пеклось о своем чрезвычайном статусе.

У образов, оставшихся в нашем обиходе навсегда, особое небезразличие к всегдашнему. Ближние планы картин здесь — предмостье к дальним и горным планам, куда будто взбегает все прилегающее пространство.

Есть свидетельства новейших литераторов, что при чтении чеховской «Степи» им хотелось пощупать, разглядеть на свет страницы книги, дабы понять мистику ее воздействия, когда описание знойного дня, марева, степных голосов, текучих терпких запахов становится вдруг галлюцинацией твоего зрения, слуха, обоняния. Да, образ степи, приближенный к чувственному восприятию путников (и читателей), — одно из чудес словесной пластики. Но он, этот образ, и приближен, и отдален. Чеховская степь широка, как жизнь, и многое говорит слитному чувству ж и з н и, тревожа его видом могильных курганов, россыпи выбеленных костей вдоль шляха, глухим ворчанием грома на горизонте, наконец, нахмуренным своим ожиданием и зовом: «певца! певца!» А мужики, бредущие возле подвод, будто расслышав этот зов, пробуют голоса — хриплый, сишный, залихватски-дикий...

Развертывается и крепнет безнажимная метафизика сюжета, где действуют вольная степь и вереница путников с их смутной завистью к ее воле. А замечательные словесные краски, перенесшие нас в зной июльского дня, не просто верны натуре. Это особые светящиеся краски. И каждая хоть слабым бликом, да помогает обрисоваться обобщенному дальнему плану, впрямую никак не обозначенному.

Теперь той вольной степи больше нет. На ее месте — терриконы, копры, жилы нефте- и газопроводов, задымленный индустриальный ландшафт вперемежку с угольями подсобных хозяйств. И некому воззвать к путникам: «певца!» Так, значит, вся гармония чеховской картины теперь помечена знаком архаики вроде толстовской идеи порядка, которая, согласно авторитетному мнению, забракована столь строгим экзаменатором, как век XX? Но в таком случае, иллюзорен весь опыт большого искусства, где миру предъявлены его совершенные, на диво слаженные подобию.

Возражают: дивные подобию равны лишь себе, а нынешний мир со свежими шрамами майдансков, хиросим, колымских лагерей, чернобылей вывернут наружу своей бесструктурностью. Значит, взбьем за неприятную картину с великих искателей гармонии? Но Толстому с его исторического рубежа открывался вид на Мамаев разор, и на Варфоломеевскую ночь, и на запруду из мертвых тел на Волхове после набега Великого государя с опричниками, и на стрелецкую казнь, и на яacobинский террор...

Умея «сопрягать значение всего», Толстой панорамировал земные и космические просторы, не связывая себя календарем. Тут свойство духовного зрения. Если же на месте толстовской беспредельности и порядка обнаружен беспредел, понятый как правда века, отсчет времени приходится начинать с себя. Не великий

ли почин? И чего в нем больше — отчаяния, цинизма, гордыни? А может, неистребимой духовной лени?

Итак, сложился некогда художественный канон. Исключительно, кстати, демократичный: любому читателю, согласному выслушать Толстого ли, Гоголя, Чехова, находилось дело по запросу. Кто-то прочитывал ту же «Степь» без затей — как «Историю одной поездки» (подзаголовок повести) с интересными путевыми подробностями, кто-то отдавал должное переживаниям мальчика Егорушки и колоритности обозников, кто-то особенно проникался мелодическим ладом повествования, а кого-то захватывала его метафизика. В общем, душа — мера. Или так: мера читательской пытливости есть и мера обретенного. А в своем пределе система открыта и для безмерных запросов.

Вслед названному канону теория (см. статью Н. Лейдермана и М. Липовецкого «Жизнь после смерти» — «Новый мир», 1993, № 7) уже прощально машет платочком, прилепляя к восточному «реализму» отдаляющее его «пост». Чем оправдан прощальный жест? Среди прочего, возможно, и тем, что у нас вовсе разладилась та оптика, при которой за ближним порядком подробностей вырисовываются контуры надбудничного порядка вещей, вызывающего к пониманию; больше не в ходу поэтика, верная принципу «за далью — даль». С чего бы такое?

### 3. В обход «лабиринта сцеплений»

На самом виду обстоятельство простое и грубое: ментальность, усвоенная на протяжении казарменных десятилетий.

У нас под шум споров о сопреализме и его наследии (многие из участников склонялись к такому итогу: если служилый литератор был даровит и заблуждался искренне, ему — охранную грамоту!) куда-то задевалась аксиома, не помня которую и спорить-то нечего: между искусством, присягнувшим партии, и собственно искусством — пропасть.

Говоря строго, это разные виды человеческой деятельности при сходстве многих приемов и методов. Для наглядности мысленно поставьте рядом два памятника Гоголю — тот, что на Арбатской площади, и другой, андреевский, задвинутый во двор неподалеку от нее (не глубоко ли символична сама акция замены второго первым?), — получите представление, о какой именно разнице речь.

При полном примате ответов над вопросами в выигрыше оказывалась политизированная лирика, припадавшая «воспаленной губой» к реке «по имени — Факт». Воспаленность губы передавалась строке — уже момент искусства. А проза, даже перенимая у фактов их повышенную температуру, привыкала к умственной прохладе, к уделу послушницы, не приученной залетать мыслью дальше монастырских стен. Совместимо ли с идеологической схимой наших эпиков-послушников пушкинское «ты сам свой высший суд»? Странно спрашивать, ибо условие высшего суда — высота духовных установок взыскательного художника, его внутренняя независимость от «толпы», в особенности руководящей.

Такое условие удавалось соблюдать (с различной мерой последовательности) Платонову, Бабелю, Булгакову, Замятину, Пришвину — маргиналам при воцарившейся системе. А художественные миры покладистых эпиков были изначально приплюснуты сверху.

Да только ли покладистых? От нажима державной руки не дано было отвлечься и протестантам. Предупредительный отпор нажимам оставлял след в их текстах, отяжеляя старт художественной мысли, мешая ей набрать высоту. Случалось, что до крутых подъемов дело и не доходило. Все кончалось зубовым скрежетом сатиры на шариковых и швондеров.

Мне известен лишь один русский прозаик, который в условиях свирепой молодой диктатуры сохранял аналитическую невозмутимость, широту обзора и верность той поэтике, когда художественная мысль движется «лабиринтами сцеплений». Однако первая книга этого прозаика увидела свет на пороге 90-х, почти через сорок лет после его смерти. При жизни он так и остался не востребован, даже Лубянкой не взят под опеку: чужак не от мира сего! Речь идет о Сигизмунде Кржижановском, арбатском анахорете, чья губа избежала лихорадочных воспалений, и если уж припадала к реке, то не по имени Факт, а скорей по имени Стикс или Лета.

А между тем разрешенная проза долгие десятилетия хлопотала, так сказать, по хозяйству (подсобному при Политбюро и Совмине), едва разгибаясь над лоханью или гладильной доской. И нажила сутулость.

Припомните появление во второй половине 50-х разогнувшегося Юрия Казакова. Охранительная критика, едва приглядевшись к его новеллистике, издала рефлексаторный клич: «Ниже голову!» Антиказакровский критический навал обескураживал несоответствием поднявшейся суматохи и повода к ней: ну, открылся читателю свежий пласт лирической прозы, а в рельсу-то зачем бить? Но охранители знали зачем: казакровский камертон звучал угрозой для казенных трубачей и барабанщиков, приводя на память пушкинское «Не для житейского волнения, / Не для корысти, не для битв...». Возникал искус переналадки читательского слуха на совсем иную, не лауреатскую тональность. То есть угроза всей казенной эстетике.

Нервозность критики оказалась, однако, чрезмерной: те музы, которые были впряжены в воз повседневности, и дальше двигались накатанной колеей, кивая в такт шагам, что походило на знаки согласия с погонялой. Когда же на пороге 90-х номенклатурный погоняла, бросив вожжи, метнулся с воза прятать партказну и сговариваться с дельцами, музы затоптались, путаясь в постромках. С той поры они начальству уже не кивают. Но тягловые навыки, потертости от хомутов не так скоро исчезнут.

Годы неволи долго будут напоминать о себе хотя бы той планиметричностью, цепкой деловитостью сознания, какими украшена нынешняя проза, в том числе вызывающе деструктивная. Не станем, однако, все сводить к наследию тоталитарных десятилетий. Важны и другие воздействия, для которых госграницы или несходство политрежимов не преграда.

Не трудно заметить, что искусство XX века стало практичным и хватистым при вторжениях в сферу трансцендентного. Не в пример веку минувшему. Если тот очень деликатно, можно сказать, перстами легкими, как сон, раздвигал завесы обыденного, дабы приоткрылись «области заочны», то у новейшего мастера часто такой вид, будто он прямо сейчас оттуда, из тех самых областей, и явился пригласить туда читателя.

Не в пример старым классикам упомянутому мастеру не терпится выговорить свое заветное, не оставляя его между строк (заметят ли?). Но с другой-то стороны, «мысль изреченная есть ложь». В минувшем веке ее путь лежал через «лабиринт сцеплений» («в котором и состоит сущность искусства», по Толстому). Теперь же она привыкла двигаться, не заходя в «лабиринты», и если не пробивается в открытый текст как мысль «изреченная», то прежде всего благодаря системе логических разрывов, сломов, мистификаций, интригующих недомолвок, инверсий, иносказаний, когда искомая суть изобретательно зашифрована.

Во владениях муз упала температура сердечности, зато крепко повеяло духом рационализма, который хорошо осведомлен, что здесь ему не место, и не упускает случая повернуться оборотной стороной — иррациональностью, окутаться мистическим туманом, оставаясь все же самим собой. В обгон традиционно-неторопливой эпике («Будденброки», «Жан-Кристоф» и «Очарованная душа», «Сага о Форсайтах», «Семья Тибо») пустились философическая притча, роман-парабола, антироман, роман-эссе, абсурдистская проза, напористые образчики постмодерна, предполагающие в читателе азарт разгадчика интеллектуальной тайнописи.

Примем к тому же в расчет: на протяжении многих столетий утописты вынашивали свои радикальные планы, но именно в веке XX динамичные наследники утопистов дружно напряглись, дабы приподнять и опрокинуть весь земной уклад. Опершись на краеугольные камни теории, позволяющей не церемониться при выборе средств. Удивительно ли, что большевистский, затем нацистский, маоистский эксперименты сопровождался великой сущью рассудочности (совсем не исключавшей массовых психозов), казарменной шагистикой для умов, культом державного силлогизма? Причем одолеть такого рода культуры можно, лишь богатырски напрягшись, дробя краеугольные камни и клин выбивая клином. То есть и в час большой крамолы опять же командует парадом рацио.

Так и выходит одно к одному: коммерческий меркантилизм новейших времен, веяния технического прогресса, успехи прикладных наук, пропагандистская муштра и либеральная контрпропаганда дружно поощряли и поощряют к активности расчетное сознание, воздействуя на эстетический климат.

Музы не то чтобы посуровели, но в их осанке обозначилась угловатость, черты заострились, напевы, утрачивая сокровенность, стали сбиваться на суховатый речитатив. Что-то важное исчезло из художественных миров — наверно, блоковская «очарованная даль» или есенинская «синь», которая «сосет глаза»; застыла на отмеренной версте линия горизонта, взамен распахнутых миров — выгородки, набитые умственным реквизитом.

В статье «Гипсовый ветер» («Новый мир», 1993, № 12) И. Роднянская удачно применила к текущей прозе психиатрический термин «философская интоксикация», показывая на ряде примеров, как авторы недавних повестей и романов пробуют укрепить шаткие свои постройки философскими подпорками. Что ж, термину, повторяю, в меткости не откажешь. Но если по строгому счету, то многим мудрствующим повествователям он льстит, ибо атаке токсинов обычно подвержен живой организм, а в сюжетных построениях, скрепленных на живую нитку, органикой и не пахнет. Хоть опрыскивай их токсинами сверху донизу, перемен не будет. Эта проза рождена не столько творчеством, сколько схемотворчеством и тем охотней предается головным спекуляциям, чем меньше у нее за душой.

Между тем искусству свойственно не пережевывать сухомятку абстракций, а переживать полноту бытия. В конце концов, именно на художнике мир испытывает степень своей открытости человеческой душе, свою сердечную постижимость. Мастер-шифровальщик художника миру не заменит.

Пишущей братией широко растиражированы излюбленные платоновские сочтения: «чувство существования», «чувство жизни». Слово Платонова передает пульсацию этих мирообъемлющих и миропроницающих чувств. Но именно они — основа художественного космоса у крупных мастеров, преодолевших барьер злободневности.

Духовная озадаченность тайной бытия делает в этом случае недолгого путника под звездным небом вечным спутником остальных живущих, ибо он труженик за всех. Отсюда и упомянутый прежде оптический эффект перемещения литературных вершин относительно друг друга по мере нашего движения.

Но в основании вершин не посылка или логическая конструкция — переживание. А искусству новейшего подстегнутого времени тем чаще случается ломать голову над чувством бытия, чем реже оно его испытывает. Добавим: и чем реже умеет выразить.

Между тем литературные репутации (не сезонные, конечно, и не официозные) прямым образом связаны с «космической» отзывчивостью художников. Движет ли ими пушкинское «я понять тебя хочу, смысла я в тебе ищущу» или их побудительные мотивы проще? Иерархия таких мотивов — эстетическая реальность, данная нам в ощущении.

#### 4. О Пегасах из породы бескрылых

Вообразим, что перед нами не совсем обычный читатель нашей современной прозы. Ну, хотя бы вернувшийся на родину эмигрант, избежавший вдали от родных осин воздействия ударной и маршевой советской литературы от Гладкова до Сартакова, вообще не знакомый с сюжетными постройками казарменного типа и гуляющими здесь запахами. Не по-советски свежий человек, он воспитан на русской классике и сейчас полон интереса к ее наследникам, литераторам обновленной России.

С чего бы ему лучше начать? Нет, только не с бойких образчиков андерграунда, соц-арта и постмодерна, не то мигом перебьет аппетит. И потом, как человеку, не овянному духом «Молодой гвардии» или «Вечного зова», понять острую реакцию тошноты наших недавних дебютантов на всю лауреатскую кухню, которая (реакция) многое объясняет в их поэтике? Вряд ли поймет. А чем бы мы на первый случай попотчевали гостя, дабы не отбить у него охоты к пробам? С какой полки стали бы раньше всего передавать ему книги (если они у нас разобраны по жанрам и темам)? Наверно, все-таки с той, на которой рядышком поместились Фазиль Искандер, Виктор Конецкий, Наталья Ильина, Андрей Битов как эссеист или полуэссеист, Сергей Довлатов, изданный у нас лишь накануне 90-х, Геннадий Головин (сошлюсь на его недавнюю повесть в «Юности» (1993, № 4) «Покой и воля», где подхвачена традиция лирических отступов к недавнему прошлому, когда автору-дебютанту еще туго поддавались двери издательства), то есть на первый случай порекомендуем сочинения, в которых авторы не слишком стеснены сюжетной дисциплиной и общаются с публикой через головы персонажей.

Отчего такой почет именно этому отряду повествователей? Набирается сумма причин. Во-первых, тут, что называется, товар лицом: к нашей полуэссеистской-полумемуарной раскованной прозе вполне применимо оценочное триединство — умно, талантливо, благородно. Во-вторых, читателю с ее авторами не соскучиться: ни громоздкого разъяснительства, ни унылой череды второстепенностей; подробности рассказа увлекательны, язык выразителен, точен, нередко афористичен, тон дружески доверителен, но без тени амикошонства, юмористические, подчас эстрад-

ные вкрапления нигде не коробят вкуса. В-третьих, эта проза представительна в силу ее популярности, а сама раскованная эстетика притягательна для новейшей новеллистики, романистики, для потока мемуаров, в том числе на лагерно-казематную тему (характерна, к примеру, стилистическая окраска воспоминаний неунывающих Льва Разгона или Григория Померанца).

Но при всем том нетрудно заметить, что жанрово раскованная проза у нас несколько закомплексована и с собою не в полном ладу. То Битов-эссеист сложит вдохновенный гимн «молчанию слова» у его настоящих мастеров, гимн во славу предельной плотности, многозначности текста — качества почти реликтового (книга «Статьи из романа», М., 1986), то Виктор Конецкий запечатлится: «Года к суровой прозе клонят. Пора расставаться с путевой. Ей слишком недостает суровости. В нее уходишь, чтобы не остаться лицом к лицу с трудным величием мира...» (роман-странствие «За доброй надеждой»).

И тот предполагаемый читатель, которого мы по своему выбору потчуем текстами, может в тон Конецкому заметить, что путевая, мемуарная, полуэссеистская проза, при всех похвальных ее свойствах, — сомнительная заместительница прозы «суровой» и годится лишь как дивертисмент к титульному спектаклю. А что в нашем случае считать титульным?..

Хорошо. Пододвинем к настольной лампе приезжего читателя еще несколько книжно-журнальных стопок. Пусть вблизи от его локтя ждут очереди мемуарные или взошедшие на мемуарных дрожжах повествования о лучших в мире застенках и лагерях (для несовершеннолетних в том числе), а также автобиографические вещи Семена Липкина, Леонида Лиходеева, Наума Коржавина о детских годах в одном из уголков юга России под набрякшим социальными грозами небом (сюда же подверстываются романы А. Львова «Двор» и Д. Маркиша «Полошко-поле», опубликованные «Дружбой народов» в 1991-м). При серьезном, даже «суровом» материале поэтика здесь не слишком «сурова», мало что знает о почтенном принципе «молчания слова», потому что для автора пробил час наконец-то донести до читателя груз пережитого, облегчить сердце, а не переплавлять в многозначный образ тугоплавкие факты.

В самом деле, температура подробностей пережитого чаще всего такова, что воспоминателям не терпится выпустить их из рук на волю и подуть на пальцы: горяч, ой, горяч истекающий век XX!

Что там на очереди в приготовленных нами стопках? Разумеется, армейские хроники. Отчего разумеется и отчего хроники? По причине структурной и жанровой близости литературы отдышавшихся (после казармы) дембелей к той, что уже упомянута. Обширный массив повествований о стройбатах, ста днях до приказа, марш-бросках на подмогу труженикам полей, отчасти об Афгане по эстетическому своему составу — несколько приструненная сюжетностью мемуаристика, а по душевному импульсу, каким поощрено сочинительство, — реакция вытеснения из памяти казарменных трудов и дней.

Конечно, не так уж одноцветны и не сплошь обличительны хроники срочной службы. И у Ю. Полякова, и у А. Терехова, и у совсем юного, рождения 1969-го, М. Смоляницкого — цикл его талантливых рассказов из гарнизонного быта напечатан журналом «Соло» (1993, № 9) — изображение казарменных будней полихромно, инвективы в адрес армейских паханов и партнаставников-бормотунов как-то уравновешены лирико-юмористическими или водевильными вкраплениями. Но общий тон «такие порядки не для белого человека» господствует. Мало того, на лицах повествователей — выражение людей, обвитых каким-то упругим гадом, лишь минуту назад ослабившим хватку. Да они просто герои, раз способны хохмить и улыбаться в такой-то позиции. Но заветное устремление каждого — освободившись от уз, найти сочувствие в людях. Ведь за спиною — что? Суший беспредел.

Тематически смежные вещи о гарнизонных буднях, Афгане, о лагерях и застенках обладают особым эмоциональным красноречием. Помимо эстетики или сквозь эстетику они удостоверяют, что постсоветская проза обречена на реакцию вытеснения скопившихся моральных шлаков. На том и сосредоточена. Оттого ей пока недосуг «остаться лицом к лицу с трудным Величием Мира» (В. Конецкий). И это вряд ли ускользнет от нашего гипотетического читателя, обложенного грудой новинок.

«Да ведь у ваших авторов, — резонно заметит он, — аврал. Они как могут управляют с обломками рухнувшей глыбы и прагматичны сообразно заботам». То есть полоса прагматизма, навязанного искусству режимом, добавим мы, протянулась дальше его господства. Виден ли ей конец? Если в поисках ответа подопечный

наш читатель полистает еще и прозу о горячке перестроечных процессов, вряд ли впереди забрезжит просвет. Даже при накладных узорах мистики (как у А. Курчаткина в «Стражнице») или умело закрученной этико-криминальной фабуле (как в повести «Большой Хинган» И. Долиняка — «Нева», 1992, № 10) повествования про младенческое агуканье нашей демократии и старческие хрипы партократов рассчитаны на политизированную аудиторию, взыскивают с нее тех же самых навыков, какие изо дня в день упражняются плотанием газетных новостей, просмотром телепрограмм, пересудами в очередях и курилках.

Внутренний человек остается, по сути, не востребован текущей словесностью. Среди Пегасов возобладали пороки бескрылых (успехи селекционной работы пегасоводов со Старой площадки).

Спросят: а куда же у вас задевались наши лидеры, вокруг которых главная ошибка мнений? Придется ответить, что лидеры — вне рубрик и над общим потоком. На остальных мало похожи. На то и лидеры. Это во-первых. А во-вторых, заметьте, до чего непросто нашим лидерам пробивать свой путь, оставляя в стороне владения публицистики с очеркистикой (заодно и с мемуаристикой). В чем же сложность? Хотя бы в совмещении высокой временной точки отсчета с плоскостью быта — совкового.

Например, Владимиру Маканину на этой плоскости открывается чересполосица обстоятельств, среди которых плещут призадумчивые люди. По оценке автора, «чувствующие невнятно» («Река с быстрым течением»). При невнятице чувств есть где разгуляться инстинктам.

Случается, переохладившийся купальщик просит о подмоге: руку ли, ногу свело. У маканинских пловцов по «реке с быстрым течением» сводит душу. Рефлексом-судорогой. И надолго. Один судорожно заносит кулак над первым встречным выскочкой либо трепачом и бахвалом («Антилидер»), другой запойно многоженствует, носясь по окраинам державы и сбивая со своего следа оставленных подруг и детей («Гражданин убегающий»), третий, получив бревном по темени, бросается лечить и учить страждущих («Предтеча»), четвертый рвет жилы, подкапываясь под русло реки (догадываемся: с быстрым течением — «Утрата»)… При смутности их (героев) духа и раздрыге чувств наперед не скажешь, какой и кого одолеет бзик. Царит слепая лотерея рефлексов.

Не глумится ли автор над рядовым человеком как нелепым навигатором среди стремнин? Вот уж нет. И если в голосе Маканина всегда различимы насмешливые модуляции, то комизм тут знатного, онтологического рода: не-ет, не скучен на диво сложенный мир, где граждане то ли друг за дружкой бегают, то ли от себя самих убегают. А за левым-то плечом — кто?

Идет двойной отсчет времени: державински величавого, обтекающего островки краткосрочных судеб, и — прищипоренного, чьи ритмы распорядительны для беллетров от самих себя. Скажете: такое вот двойное хронометрирование — в самой природе искусства. А если «мы не можем ждать милостей от природы» и если державинский «глагол времен» не вытеснен тугому уху? Тогда художники типа Маканина или Людмилы Петрушевской вынуждены пробивать шурф к внутреннему человеку, способному что-то важное расслышать сквозь треск и галдеж в эфире. Но залегание внутреннего человека аномально глубоко: семь красноказарменных десятилетий тяжелым катком прокатились по душам.

Какие характеры у казенной критики числились эталонными? Целные и нацеленные на свершение (то есть спрессованные упомянутым катком). А какие характеры перед глазами Маканина и Петрушевской? Дробные, бесстержневые (внутреннее безначалие как итог вождистско-начальственной опеки — феномен, предвиденный Достоевским, но знакомый на практике его отдаленным преемникам), если не приписывать цементирующей роли рефлексу-судороге, каким «сводит» душу-расстрепу. Так что неизбежен удел наших видных повествователей — угадывать структуру бесструктура, закон посреди хаоса.

Удивительна ли слава Маканина как знатока «срединного» человека, а Петрушевской как собирательницы самого мрачного негатива о своих бестолковых, часто вздорных, неврастеничных неудачниках и неудачницах, до живой души которых так же трудно добраться, как до Кошпеевой иглы? Такой молвой точно схвачено лишь одно: залегание искомой иглы глубже сказочного.

И Маканин и Петрушевская, при их верности натуре, обречены на долгое путешествие за край хаоса, который овладел душами их людей, настроены заглянуть за этот край: не вовсе ведь погасла отзывчивость живых-то душ на вселенскую бескрайность! Но сама протяженность таких маршрутов чревата читательским за-

блуждением: очередная, мол, чернуха изложена про «срединного» человека. Момент сопряжения дольного с горным, выходит, ускользнул от внимания: наверно, база между двумя осями зрения получилась слишком широка. А ведь в самой энергетике текстов двух прозаиков есть волевой посыл и порыв — преодолеть стихию хаоса, раздвинуть его толщу. Тем как раз тексты и примечательны. Многие же соседи наших лидеров попросту вдавлены, вляпаны в эту толщу и не слишком порываются на простор — адаптировались. Горды своим статусом. И классическую гармонию объявляют архаикой, глумливо при том осклабясь. А наши теоретики, листая продукцию новейших реформаторов искусства, веско провозглашают: «постреализм». Рано, однако, посылать в сторону реализма прощальный жест.

### 5. По выходе из казармы

Помнится, свой журнальный отклик на роман «Жизнь и судьба» чуткий стилист Лев Аннинский озаглавил «Мироздание Василия Гроссмана». А что! Все верно. Новый российский эпос, показав партидеологии корму, взял курс на открытый космос. А время рождения романа — 60-е, когда подневольные музы впервые уловили странную рассеянность погонял.

Дыхание героя поднадзорной литературы стало понемногу выравниваться. Еще бы. Вот вольный дух гор (Матевосян), просторы Сорокской степи, овечьей легендами (Друцэ), то ли земной, то ли космический ветер, организатор внутреннего зрения рассказчика (А. Битов, «Жизнь в ветреную погоду»).

Помимо прочего, а может, и более прочего поражал интонационный строй этой прозы, передававший состояние повествователя, абсолютно несозвучное всему укладу идеократии. За десятилетия ее господства читатель привык к набору мимических выражений на авторских лицах, которые глядели на него из текста, как из ванночки с проявителем. Какие из этих наборов преобладали?

Партийная строгость, осложненная героической ностальгией: «Нас водила молодость...»; та же партийная строгость, но с колючим прищуром в сторону сомнительных социальных элементов: «Спуску не дадим!»; искательный взгляд на гегемона и одновременно — контрольная самооглядка: «Не переборщи ли в искательстве?»; букет из натянутой лояльности к властям и осторожного фрондерства...

Есть черта, которая роднит привычные читателю мимические выражения. Обозначу ее так: полнота авторского присутствия здесь и сейчас, ввязанность в общественную ситуацию, озвученную треском в эфире и газетной многоголосицей.

Помните дежурный девиз, адресованный работникам культуры и глядевший на нас заголовками сотен передовиц: «Жить идеями и страстями своей эпохи!»? Тут слышен стон души партократов: пусть мастера пера, кисти и пр. варятся в одном котле со всеми, пусть даже сбиваются с ноги, идейно хромают (либо поправим, либо рты заткнем), лишь бы не тыкали нам в глаза свою мерзкую вечность!

Так ведь и впрямь варились и в глаза не тыкали. За самым редким исключением. А в 60-е без всякого шума явился отряд отступников от партийного правила «Жить идеями и страстями...». Затверженные «идеи», подконтрольные инстанции «страсти» мало занимали этих художников. Гораздо больше — круг непрактичных вопросов. Допустим, об экзистенции человека, захлестнутого «сплошной лихорадкой буден»: как он, пленник календарного времени, располагает себя во времени немеченном? Не нарочно ли зарывается в суету, спасая душу от неподъемных нагрузок?

Впрочем, дело не в самих вопросах (они могут выскакивать в процессе компьютерной игры ума), сколько в особом, так сказать, тепловом излучении текстов, которым передалась авторская пристальность к горячечным ли, ознобным состояниям героев, когда те ненароком упираются в предельность своего бытия посреди вселенской беспредельности.

Такое выражение авторской пристальности явилось совершенной новостью для советского читателя-позитивиста, наталкивая его, помимо прочего, на догадку, что он онтологически обобран пастырями-цекистами, вдавлен в тину либо рутину очередных задач и даже лишен утешения глотнуть горней свежести через камышинку искусства: заткнута.

По сути, воспринимая произведение литературы (к авантюрным, фантастическим, научно-популярным жанрам — особый счет), мы, как при любом несуетном разговоре, прислушиваемся к интонациям, всматриваемся в игру мимики автора-собеседника, ибо желаем быть в курсе: чего ради он слова-то тратит. И если открываем, что приглашены к разгадке извечных загадок, то и доверием польщены, и автора не упрекнем в праздномыслии.

Видно, к 60-м искусству просто не терпелось выбраться на волю из эстетической казармы. Появились книги, где участник сюжета стряхивал с себя морок совковости. Но истекли 60-е, и над запросившейся было в тексты онтологией вновь стали смыкаться хляби беллетризованного очеркизма да едкой психоаналитичности пополам с фрондерством. Из тогдашних дебютантов, пожалуй, лишь Матевосян полностью сохранил то, с чем пришел, — панораму и вольный дух вечных гор, со спокойным величием которых сверен ход сюжетного времени.

Та недолгая встреча дальнего с горным раззадорила и имитаторов художественной глубины. Онтология, стянутая на сей раз книзу, хитро выглядывала из монологов, философических экспромтов у самых разных авторов, которым важно украсить тексты, как елку, звездными блестками и галактической канителью. Нынче это модно. Метафора, которую И. Роднянская вынесла в заголовок своей недавней статьи, в нашем случае прозвучала бы чуть пространнее: «Гипсовый космический ветер».

Не трудно предвидеть, что и среди завтрашних дебютантов, получивших доступ к трудам запретных прежде философов, богословов, мистиков, найдется немало охотников украшать свои построения гипсовой эмблематикой с намеком на галактическую неохватность образного их пространства. И каким же будет гнев таких творцов, если подобные операции с «гипсом» мы рискнем объяснить совковой ментальностью, привычкой подпрыгивать вверх, «все выше, и выше, и выше», на упругой сетке из силлогизмов!..

На своем ли поле резвится хваткая рассудочность и не пиррову ли торжествует победу? «Проза занимает место в литературе только благодаря содержащейся в ней поэзии», — заметил как-то Акутагава. А если поэзия ущемлена деловитой бойкостью рассудка? Тогда первым с его игровой площадки будет вытеснено чувство бытия, не уловимое сетью выкладок и умозаключений. Мало того, сама эта сеть станет ползти и вращаться, ибо не там заброшена.

Если теперь беду трудно одолеть, отчего бы ее не вывернуть изнанкой наружу, представив благом? А нынешняя бесструктурность собою горда и строит публике глазки. Оттого я целиком согласен с Андреем Немзером, когда тот не без едкости пишет о «неразличении игрового и реального» в прозе А. Бородыни, о его затейливых, но и самоценных приемах-«обманках» («Лучше больше, да лучше» — «Сегодня», 24.08.93), и с некоторым недоумением встречаю у И. Роднянской (в той же статье «Гипсовый ветер») слова приветов В. Пелевину, у которого идея глобальных деформаций рвет и треплет структуру образа.

Что ж, стихии хаоса нынче удобно глядеться в литературные зеркала. Правда, полноте такого удобства мешает одно обстоятельство, которое описал С. Чупринин, разбирая роман Е. Попова «Накануне накануне» («Сбывшееся небывшее» — «Знамя», 1993, № 9): литературные зеркала не вполне чисты, ибо у авторов есть слабость к шлевкам; так, Попов Евгений Анатольевич «плюет прежде всего в зеркало: недаром же едва ли не самого отвратного из персонажей поповского романа — байбака, обжору и приживалу — так и зовут Евгением Анатольевичем».

Тут, знаете ли, поневоле запросишь «архаики» (вместо «дрожания и марева» в заплеванных зеркалах). Если вести речь лишь о новинках истекшего года, то особенно сильно на меня повезло «архаикой» от повествования Игоря Куберского «Пробуждение Улитки» («Звезда», 1993, № 1). Поразительной всего тут выражение авторского лица, на котором нет следа мезифистельской ухмылки, или мстительного ожесточения «житухой», или саркастического высокомерия, или натужной беспечности жуира поневоле, или готовности оплевать свое же отражение, а есть доверительное «выслушайте!», которое рассчитано на сердечную нашу отзывчивость.

Сразу же твой слух настраивается на полузабытую или полуЗАБИтую (позднейшими шумовыми раздражителями) тональность, близкую к мелодике «Скудной истории» Чехова, бунинских «Темных аллей», лирической новеллистике Ю. Казакова. Причем важнейшая, даже сюжетоорганизующая роль здесь досталась переживанию, которому посвящены известные строки: «Дар напрасный, дар случайный...» Если же конкретней, здешний герой-рассказчик как бы наделен способностью духовного самоосознания, когда «дар случайный», собственная жизнь, словно ушлотноена, целиком открыта внутреннему зрению и поминутно ревизуется: так что же она такое посреди миллионов жизней, какими окружена, и посреди вселенской неохватности?.. По отношению к позитивистской рассудительности такого рода ревизии — сплошь инакомыслие.

Пониже заголовка обозначен жанр повествования — «роман в романе». Между тем не вдруг и разглядишь, что во что в л о ж е н о. Даже обычной перебивки

романных планов и той нет. Герой-рассказчик, немного поэт, немного живописец, излагает историю своих отношений с юной художницей, именуемой в приятельском кругу Улиткой. Излагает строго по порядку, без композиционных зигзагов или сдвигов. Итак, у него с нею — роман. А романного объема, куда эта любовная история была бы вдвинута, вроде и нет, если, правда, отрешиться от особой застрочной фабулы, где против — и окрест — мира души вселенский неуют.

Для прорисовки застрочной фабулы ни разу не использованы пояснительные монологи, вставные пассажи-речитативы, другие средства «накладной» философичности. Второму плану романного действия отданы лишь усилия стиля.

«Пробуждение Улитки» вообще можно прочесть как текст-исследование, где в перекрестии всей оптики — один лишь заглавный характер, на диво ограниченный брежневско-андроповско-горбачевской цивилизацией. Рассказчик повествует о вчерашней своей подруге как об утраченной части собственной души, которая и спустя время не избавилась от фантомных болей. А у недавней возлюбленной и имени-то людского нет. Улитка, да и только. Тут и у И. Куберского некий сдвиг к анималистике. Но в отличие, допустим, от В. Пелевина нет беллетристической хирургии с пересадкой (межвидовой) органов и эпатажных нажимов на наш вкус.

Правда, И. Куберский не вполне взял под контроль эмоциональный ореол скользковато-прохладного прозвища. Да, возлюбленная героя, можно сказать, носит на себе свой домик-раковину, при случае втягиваясь вовнутрь; да, велико ее умение пускать в дело присоски, гибко обтекать преграды. Но ее ум, красота, талант, телесная пластика, восприимчивость к чужим душевным сигналам отторгают от себя прилипчивую клычку.

Возможно, что тут вовсе не просчет, а реакция рассказчика на эстетику, которая вдруг про буд л а с ь (бросьте взгляд на заголовок романа) в Улитке. Сам-то он, рассказчик, условно говоря, старомоден; к примеру, на «Мону Лизу» не может глядеть без слез. А его подруга современна. В каком смысле? Во-первых, она этически невменяема — послушное дитя эпохи, когда нравственные абсолюты почитались открыжкой поповщины. Во-вторых...

Представьте себе Мону Лизу, которая, разомкнув тронутые улыбкой губы, вдруг проскрежещет в вашу физиономию: «Пошел вон, козел!» Для героя-рассказчика такого рода эффектом вся любовь и кончается.

Бывает солнечный удар, тепловой... Здесь любимая девушка обрушила на милсердечна друга (а тот, не забудем, — поэт) удар с т и л я, который скрыто бродил или до поры подремывал в ней, пугая рассказчика мелкими своими вспышками-приметами.

Стиль этот, от которого веет ароматом задубелых портянок, дан нам в ощущении и как свидетелям-современникам затяжной гражданской смуты, и как потребителям искусства смутной поры. Верный спутник ломпенизации общества, он — везде: в легкой полемике покупателя с продавцом, тирадах государственных мужей, ворковании влюбленных, публицистике крутых патриотов, в поэтике романов и повестей, где космос отнесен на задворки. Культ телесного низа, смакование сальностей, готовность не улыбкой отозваться на что-то забавное, а это забавное «оборжать», не возразить, а «вмазать» — его неперменные элементы.

У И. Куберского тема одиночества героя-рассказчика сплетена с темой нахрапа и экспансии стиля «ломп», от которого тот пробовал укрыться вдвоем со «сложной и тонкой» Улиткой.

Мона Лиза — этим именем начинается роман, а концовку его венчает «Пошел вон, козел!». Стиль — и стиль. В противоборстве. Своеобразное преломление антитезы реализм — «постреализм». Первому (реализму), кажется, иного не остается, как пробивать путь сквозь толщу второго.

А что прикажете? Нынешний русский роман, если он действительно о любви, вынужден всей своей структурой противостоять глумливо-безлюбовной эстетике-«ломп», чьи выбросы и выхлопы, того гляди, загазуют сам космос. Что до образных подобию вселенной, поэтических аналогов (без которых искусство и на себя-то не похоже), о том сейчас и упоминать рискованно: «оборжут»...



# ЖИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## ДАР ПРИСТОЙНОГО СТИЛЯ

Юз Алешковский. Перстень в футляре. Рождественский роман. «Звезда», 1993, № 7.

«Товарищ Сталин, вы большой ученый...»<sup>1</sup> Помните? О-о!.. Юз Алешковский — это в своем роде легенда. Раскрываю июльский номер петербургской «Звезды», добравшийся до столыцы только в октябре — ноябре. Юз Алешковский. Роман. Новый. Дата: декабрь 1991 — май 1992. Редакционная сноска: «Печатается впервые». Не перепечатка. Только что из США. О-о-о!..

Читаю и себе не верю. Это надо видеть собственными глазами. Любой пересказ бессилён перед лицом оригинала. Нет, говорю я себе, не может это быть так нелепо, так провально. Может. Увы, так оно и есть.

Герой романа — преуспевающий научный атеист Гелий, опекаемый нечистой силой (и постоянно по этому поводу недоумевающий: Бога нет, а бесы почему-то есть). Но рассказчик не он. Это в «Кенгуру»<sup>2</sup>, в «Николае Николаевиче», в «Маскировке», не говоря уж о «Книге последних слов», рассказчиками выступали сами персонажи, какие-нибудь Фан Фанычи, чем оправдывались намеренное косноязычие и форсированная грубость текстов Алешковского: это их язык, их, фан фанычей, манеры. Но «Перстень в футляре» написан от третьего лица, и это лицо не прячется под чью-либо маску. За исключением случаев, когда мы имеем дело с внутренними монологами, косвенной речью Гелия, мы — так уж получается — слышим голос самого автора.

Ну кто, например, говорит, что Вознесенский (поэт Андрей Вознесенский) — мудила? Буквально так. Не верите? Вот Гелий «протягивает похабно гыгыкающему шефу пятерку, с которой мудила Вознесенский, скорей всего по наивно-авангардистской, но, тем не менее, угоднической глупости, умолял

<sup>1</sup> См.: Юз Алешковский, «Не унывай, зимой дадут свидание...». Предисловие Сергея Бочарова («Новый мир», 1988, № 12).

<sup>2</sup> Эту книгу Ю. Алешковского очень высоко оценил Андрей Немзер в статье «Несбывшееся» («Новый мир», 1993, № 4).

некогда дебила Брежнева убрать Ленина». Ну можно при желании с очень большой натяжкой предположить, что таково «видение» персонажа, но этому психологически достоверному предположению, увы, противится само строение фразы.

Юз Алешковский, именно автор, а не его герои, не чувствует языка, на котором пишет, просто не владеет им. Признаться, для меня это было неприятным открытием. Если бы он работал короткими, простыми фразами типа «он вошел», «она сказала»! А то даже относительно простые грамматические конструкции даются ему с трудом: «...у тощего котенка, общая жалкость которого достигла совсем уже невыносимой для сердца апофеозы, торчала в зубках у кисаньки золотая рыбка-шпротинка...» У кого торчала — у котенка или у кисаньки? Когда же ему приходится выразить мысль, требующую причастных, придаточных и вводных, возникают дебри, непроходимые не только для читателя, но, похоже, и для самого прозаика: «Должно быть, Гелий, как многие люди, чувствующие неотвратимое приближение конца, пытался бессознательно докопаться до причины, что-то и как-то извратившей в не такой уж порочной его душе или не в таком уж бесконечно циничном уме, что и привело его несчастную личность к необыкновенно жалкому итогу».

Но, может быть, он так шутит? Конечно, он и шутит тоже. «Скажем только, что вырос он в семье не то чтобы хорошо обеспеченной, — представляет нам писатель своего героя, — но с первых же дней после октябрьской катастрофы умело обогнавшей время и обосновавшейся в одной из номенклатурных нишечек партаппаратной хазы материальной базы первой фазы». Хазы — базы — фазы... Это юмор такой. Чтобы мы посмеялись. Героя же зовут Гелий Револьверович Серьез. Тоже юмор.

А вот сатира:

«В той нишечке Гелий с рождения и ошивался. Правда, это обстоятельство не сделало его пижонем и вовсе не сообщило его натуре черт омерзительно плебейского снобизма, столь свойственного чуть ли не всем представителям быдловской касты властительных лысых клопов, усатых тараканов, навозных жучков, лобковых вшей, постельных блох, трупных червей и прочих многочисленных паразитов Системы». Это не только сегодня неловко читать. Даже изпод запрета застойных лет было бы неловко. Что бездарно, то бездарно.

А вот психология:

«Чаще всего Гелий обращал какой-либо выбор в игру. Психика его, то есть ум и душа, вкуче с тайными интригами гормонов, стычками сантиментов, сменами телесных настроений, — психика его целиком отдавала себя во власть расчета. Целью при этом становился не конечный результат — он бессознательно отодвигался куда-то на задний план, — а смакуемое продлевание самого расчета. Такого рода расчет как бы дробил один выбор чего-либо или кого-либо на несколько совершенно неожиданных, самостоятельных проблем, от которых просто совсем уже опускались руки». Да... «просто совсем уже» — это стиль, ничего не скажешь!

А вот психология, изычно перетекающая в критику сталинизма:

«В такие минуты вечно ни в чем не уверенный разум воображал самого себя <...> Сталиным, продувшим Гитлеру дебют омерзительной обоюдозащитной игры и малодушно закрывшимся в сортире в первые дни Отечественной войны. Обдриставшимся со страху, но все же так — Сталиным».

А вот мистическо-политический гротеск:

«Ясно было, что погрузка их (чертенят. — А. В.) в поросляче чрево осуществляется солидно, по строгому расписанию, в соответствии с какими-то явно туфтовыми спецраспоряжениями и фармазонскими гарантиями. Внешность всей этой партийной группы была явно синтетической, но в общей ее бесовской, полурастекшейся красновато-гноевато-зеленькой массе можно было все же так частично различить:

глуповатую, мокричную одутловатость фанатичной мадам, выползшей на свет Божий из-под химически смрадной Санкт-Петербургской дамбы;

безнаказанную лакейскую наглость жиренького потомка «юристов»;

нечто авиаторское, совиноглазое, инженерно-полковничье, словно про-

плотившее во время сухопутной аварии секретный черный ящик паровоза, который, как говорится в народе, говно возит;

безобонятельное прохиндейство бездарно трепливого соловья имперского заднего прохода;

мошонкообразность одного амбициозного, но фригидного прозаика, полностью обнесенного даром пристойного стиля, способностью свободного воображения и, как дряблый, импортный лимон, выжатого газетно-митинговой, подворотной, оральной страстишкой...»

Самое замечательное в этом фрагменте — как бы случайно проскочивший упрек в отсутствии дара пристойного стиля. Бедный Юз Алешковский! Ему мнится, что его стиль пристоеен.

И вот точно так на протяжении восьмидесяти трех журнальных страниц, очень мелким шрифтом, по моим прикидкам — не менее десяти авторских листов. Дальнейшая фабула романа (а именно — как Гелий Револьверович Серьез освободился от чертенят, нравственно переродился и даже религиозно возродился, попав сначала в снежный сугроб, а потом под своды церкви) в данном случае уже не имеет значения. Скажу только, что возвышенно-сентиментально-романтический стиль Алешковского стоит его иронии, а Алешковский философствующий стоит Алешковского похабствующего, тем более что слова «Небо» и «Храм Божий» (все с большой буквы) он употребляет с той же непринужденностью, что и любимое им слово «говно» и производные от него. Читать это уже поистине не выносимо. Цитировать тем более.

Да, на прежних книгах Алешковского, изданных за границей и перепечатанных позже у нас, лежала чуть ли не сакральная печать опалы. Все мы знаем, какие чудеса в читательском восприятии может сотворить эта презумпция запретности. И вот наконец ура, свобода! — Алешковский пишет новый роман, отправляет в Санкт-Петербург, роман свободно выходит в свет и... Триумф? Помоему, срам. Впервые книжка Юза Алешковского вышла в России на общих основаниях и не выдержала этого испытания.

«Да он всегда так писал», — хладнокровно обронил на ходу мой коллега, видимо, не пожелавший согласиться с А. Немзером. Неужели? Ну, тем хуже. Значит, и дальше будет то же.

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ.

## ДРУГОЙ АЛЕШКОВСКИЙ

Петр Алешковский. Жизнеописание Хорька. Повесть. «Дружба народов», 1993, № 7.

**В** самом первом знакомстве с именем Алешковского есть какой-то забавно-символический привкус. «Алешковский? Который? Юз?» — «Да нет, это — другой!» Или так: «Читали Алешковского? Не путать с Юзом!»

Пожалуй, оставаться тенью своего знаменитого однофамильца (кажется, даже родственника?) — не слишком почетная обязанность. Скорее всего это обидно. «Да не Юз я, не Юз, не Юз... другой!» Конечно, есть классические примеры: «третий Толстой» и проч. Леонид Андреев вначале подумывал о звучном псевдониме (а то, мол, что такое «Л. Андреев» — тьфу!), пока не согласился все-таки сохранить свое прелестное нежно-московское литературное имя, правда, с неременным сочетанием имени-фамилии: «Леонид Андреев» — так лучше звучит!

Петр Алешковский — опять же другой случай. В этой красивой фамилии — с момента появления в нашей печати «Николая Николаевича» (сочинение Юза) — неизбежно присутствует легкий, но прочный элемент «псевдонимности». Между «Юзом» и «Алешковским» не осталось ни малейшего зазора, как между бильярдными шарами в точке их счастливого пересечения (и досаду вызывает случайно возникшая помеха: зачем тут вклинился какой-то Петр!).

Юз Алешковский — звучит смачно и вызывающе. Петр Алешковский — разочаровывающе. Первое имя — веселая литературная «маска», горчица с уксусом, обжигающие небо. Второе — просто обозначение факта: папа с мамой называли Петром, а могли бы Иваном. И это не игра слов. Это — ключ к прозе другого Алешковского.

Я боюсь, что этот писатель или не совсем понимает законы литературной карьеры, или сознательно их игнорирует, то есть, в любом случае, являет собой тот тип литератора в XX веке, который выходит к своему читателю (весьма, в сущности, размытое понятие) без посредников, без легенды.

Что такое легенда?

Можно написать целую книгу о том, как создаются в наше время писательские имена, о том, сколь часто подлинники и даже великие художественные таланты пребывали в тени, а их место замещали несомненные эрзацы или же просто прозрачные проходимцы. И вовсе не прозрачный сюжет «Солженицын — Бабаевский», который и дураку понятен, определил бы причудливую фабулу этой книги, но гораздо более

«темные» истории, без которых, однако, нельзя представить себе настоящую литературную жизнь XX века.

Этот век с беспощадной ясностью показал, как без легенды, хотя бы и куцей, без «маски», хотя бы и самой нелепой, даже очень крупный по внутренней творческой возможности писатель обречен влачить полупризрачное существование, будучи лишен более или менее отчетливой читательской аудитории (Шергин, Вик. Курочкин). И наоборот: талант незначительный, сознательно или по воле случая обретший свою легенду, способен вырастить свое маленькое художественное зерно до гигантского общественного баобаба (Эренбург, Евтушенко — называю наугад).

Сегодня возникают уже новые легенды. Например, писатели старшего поколения, вроде Андрея Битова и Владимира Маканина, несколько лет со странным уважением рассматривали фигуру Валерии Нарбиковой, этой Жанны д'Арк русского постмодернизма, пока однажды утром мы с изумлением не обнаружили, что она «известная в Европе» писательница... Думаю, нечто такое случится в свое время и с Егором Радовым, и с Вл. Шаровым, и даже с Вяч. Курицыным, «срамную прозу» которого со снисходительной улыбкой печатают в престижном «Знамени».

Почему бы и нет?

Оказаться в эпицентре литературных событий сейчас, в общем, весьма просто. Для этого нужно выбраться на краешек огромной воронки, всасывающей все без разбору, каковою мне видится нынешняя литературная жизнь. Дальше все происходит как-то само собою, оставшихся в стороне просто не замечают.

Я говорю это не для того, чтобы выгоднее «продать» Петра Алешковского, чей путь в литературе, не стану скрывать, мне глубоко симпатичен. Дело в том, что в его лице я вижу не просто писателя — хорошего или не очень (как раз частных претензий к его прозе можно выдвинуть достаточно, и это нормально), — но и нечто большее: возможность органической жизни в литературе даже в сегодняшних условиях, когда старые законы уже не работают, а новые еще не возникли. Присутствие Алешковского и ему подобных молодых «традиционалистов», как ни странно, больше убеждает в победе свободы, нежели самые ошеломительные выходки из лагеря «другой литературы», давно ставшей, в сущности, весьма заурядным явлением.

Алешковский наделен неким как бы генетическим чутьем, позволяющим ему ходить в нынешнем литературном море с небрежностью старого лодмана, который минует любые опасности и ловушки, даже не взглянув в их сторону. Мне кажется, что он прежде словесного мастерства или так называемого жизненного опыта обрел главное писательское знание, а именно: все подлинное в литературе развивается только «путем зерна». Между прочим, это опровергает любые «концептуальные» принципы, о неизбежной победе которых столько мечтали наши литературные либералы.

Алешковский живет в русском реализме как в своем доме, если не сказать высокопарно: в своем отечестве. Поэтому почти невозможно предугадать его литературное поведение, а тем более — схватить за руку на постоянном использовании какого-либо своего или чужого приема. Для любителей развязывать узелки постнабоковской прозы Алешковский — чтение скучное и, пожалуй, даже досадное. Цикл его первых рассказов называется «Старгород». Гоголевская мета здесь, однако, обманчива; эта тропинка приведет критика в никуда. Вернувшись назад, он с огорчением обнаружит, что «Старгород» — всего лишь вывеска на воротах, а вовсе не «аллюзия», что автор не предлагал никакой «игры», тем самым поставив критика в положение рядового читателя. За воротами же — провинциальная Россия, какой ее видит Алешковский, не забывая, впрочем, что когда-то ее видел и такой писатель, как Николай Васильевич Гоголь.

Иногда кажется, что Алешковский смеется над своим потенциальным критиком. Назвать вторую, после «Старгорода», вещь «Чайки» значит или чего-то не понимать, или что-то сознательно не замечать. Между тем повесть эта — о северных рыбаках, о странном, непостижимом мире, который живет вроде бы вопреки законам цивилизации. Чехов вспоминается здесь постольку, поскольку реализм Алешковского, как и подobaет истинному реализму, «возвышается до одухотворенного и глубоко продуманного символа».

Если бы он назвал свою новую повесть как-нибудь «литературно» и снова нас обманул, я бы заподозрил его в сознательном лукавстве. Но называется она удивительно странно — «Жизнеописание Хорька» — и являет собой тип обыкновенной авантюрной вещи, о которой в журнале в разделе «Summary» для непонятливых иностранцев сказано, что ее герой — «a young man from a small

provincial town, who has opposed himself to his social surroundings...» («...молодой человек из провинциального города, противопоставивший себя своему обществу окружению...»).

Самое поразительное, что это — верно и «глупый иностранец» в своих ожиданиях не обманется. Повесть Алешковского можно и так прочесть, как, впрочем, читали и так русские повести XIX века (через призму общественного критицизма). Алешковский не боится быть заподозренным в увлечении «натуральной школой»; скорее сознательно это чувство провоцирует, но... делает маленькую и почти незаметную поправку к слову, которое вдруг обретает первичный и уже не «французский» смысл (natura, то есть природа). Natura районного города, где все изучено полудивилизацией, и natura российской деревни, в которой хотя бы отчасти успокаивается душа главного персонажа, и natura таежного озера и леса, где герой впервые чувствует себя в родной стихии и куда его приводит какой-то древний неистребимый инстинкт...

Алешковский не выбирает. Городские сцены описаны с таким же художественным увлечением, как и деревенские и таежные, — жизнь волнует его в своей пестрой неразрывности и неслиянности; он понимает, что в органическом течении этой жизни заключен какой-то недоступный смертному порядку и смысл; и поэтому его Хорек столь болезненно отвечает на любые попытки со стороны людей (даже священника) вовлечь его в «идейное» понимание мира и как следствие в какую-либо общественную активность.

Недаром его настоящее имя — Данилка, Даниил (то есть «Бог мой судья»). Будь он избран Богом, он, наверное, сумел бы на валтасаровом пиру нашей жизни прочесть странные, роковые надписи, возникшие перед глазами пирующих. Но Данилка — не избранный. Вот это понимание своей избранный (в сущности, драгоценное, чего так не хватает сегодня кучке общественных «пассионариев») и приводит его к смирению, к выбору той natur'ы, которая не противна его душе. «По прописи звался он теперь Даниил Анастасьев, а меж деревенскими — Сонечкин, по имени присвоившей его бабы... Сонечкин Данила, или просто Сонечкин, живет легко, поколачивает свою брюхатую уже бабушку и грозитя время от времени сбежать от нее в лесники — там больше платят».

Впрочем, бабу его зовут Софья (мудрость).

Павел БАСИНСКИЙ.

## ПО ФЕНЕ БОТАЕШЬ?

С л о в а р ь т ю р е м н о - л а г е р н о - б л а т н о г о ж а р г о н а (Речевой и графический портрет советской тюрьмы). М. «Края Москвы». 1992. 526 стр.

Что такое «акула»? Человек с большим сроком наказания. Кого называют «кырла-мырла»? Основателя научного коммунизма Карла Маркса. «Алая роза» — пьяная, опустившаяся женщина. «Баклажан (Укроп) Помидорыч» — заключенный-фраер с Кавказа. «Кип-кодром» — столовая. «Зеленый раст-стрел» — работа на лесоповале в ИТУ. «Вермутский треугольник» означает: винный магазин — отделение милиции — спецмедвытрезвитель. «Белинский» — свежий белый хлеб. А кто такой «барон фон Тришпербах»? Человек, хронически больной гонореей. «Лампаду задуть» — значит убить человека. «Лебедей чесать» — обворовывать пьяных...

О великий, свободный, могучий... чем ты провинился и как дошел до жизни такой? Есть мнение, что татары с монголами во всем виноваты, а также всякая литовско-тевтонская сволота. Те, что нас игом обложили. Охмурили, дескать, доверчивых мужичков-русичей, напели, нащептали им в уши мерзкие словеса, а те vareжку раскрыли и — рады стараться! — понесли их по векам и поколениям.

Все другие языки как языки — в меру пристойные, вежливые, обходительные. А тут одно крепкое, соленое словцо из трех букв в сопровождении энергичных глаголов способно воткнуть нас в краску или же вызвать гомерический хохот. Прав был Гоголь: «Выражается сильно российский народ! И если наградит кого словцом, то пойдет оно ему в род и потомство, утащит он его с собою и на службу, и в отставку, и в Петербург, и на край света. И как уж потом ни хитри и ни облагораживай свое прозвище... ничто не поможет: каркнет само за себя прозвище во все свое воронье горло и скажет ясно, откуда вылетела птица. Произнесенное метко, все равно, что писанное, не вырубливается топором...»

Да, было времечко! Цирюльник и извозчик, портной и профессиональный нищий, трактирный половой и банщик, гробовщик и мелкий торговец, бродячий скomorох, барышник и каторжник — каждый российский житель владел своей терминологией, вырабатывал и совершенствовал свою феню. Присказки, балаболки, выкрики, матюки, прибаутки, остроусловицы — весь этот летучий словесный материал рекламировал свой товар, комментировал производственные, коммерческие и любовно-семейные связи, лепил человеческие образы, обличал пороки. Смешил, издевался,

ерничал, огрызался, отправлял в некие потусторонние миры, куда даже Макар телят не гонял («Придуманый язык этот спит многими поколениями исподволь из переименованных русских слов...» — замечал по этому поводу Владимир Даль). И получалось нечто богатое, искрящееся гранями, обладающее магической силой и даром внушения — то, что теперь мы называем неформальной лексикой, а еще точнее — цензурной бранью, матерщиной. Впрочем, Пушкин называл все это живописным способом выражаться.

Старые люди в Архангельске рассказывали мне, что на Маргаритинской ярмарке конца прошлого века разливался шумный океан сочной и не всегда пристойной для слуха речи и ходили туда как сейчас в театр или на стадион. Ярмарка шумела, как шумит загулявший русский мужик, дорвавшись до воли. Всегда было кого послать и куда пойти. Перекрывая визгливый и разноголосый гул, ругались из-за места в торговом ряду вологодские и великоустюжские купцы-охмурылы. Надсаживали плотки цирковые зазывалы, толпы ржанных потешали народ срамными частушками. На воровском жаргоне утрюмый пахан сзывал на переключку своих летунов, карманников, марушников, щипачей, удильщиков и прочую блатную публику. Приходил скomorох Мартын с ручным Михалвангычем и заставлял его пить водку и плясать барыню. И все это сопровождалось таким обильным и образным словотворчеством, что боже ты мой...

Я сам был однажды свидетелем в высшей степени скomorошьего состязания. Это был праздник профессиональных говорунов-импровизаторов, и звучали на нем образцы бытового и тюремного остроусловия, залежи речевой свежести, незаемности, лукавства ума... Спорили два незнакомых человека — пожилой, приклатненного вида отпускич из города и лодочник-перевозчик из села Купкопала, что на реке Пинега, мелкий, увалистый мужичонка, ерник и балаболка («Куда ты прешь, рваный сыч? — орал он. — Ты что, пьяным мешком бит? Вишь, уключину своротил, оглоедина... Всю реку объехал, а дурней дурака не видывал!..»; кой-какие словечки я, конечно же, опустил.) Одному из них надо было срочно переправиться на тот берег, другой от этого упорно отлынивал, выдвигая десятки веских причин. Кто был прав, кто виноват, я так и не

понял, потому что слух мой был настроен на волну случайно вспыхнувшей перепалки, извергавшей такие перлы красноречия, что я тут же схватился за карандаш. И вот что мне удалось записать: «басалай», «балахрыст» — что-то вроде пустозвона, проныра; «артюшка» — про-стак, глупец; «багры» — руки; «база-нить» — ругаться, хулиганить; «искать гниду в портмоне» — заниматься бесполезным делом...

Читатель, наверное, догадался, что эти слова я выудил из верткого на язык мужичка-перевозчика, должность которого в силу многих нервных причин как бы располагала к плетению словес. Но и отпускник тоже оказался достойным партнером. Как я заметил по его говору, он был коренной, пинежский, но за долгие годы неискоренимого бродяжничества и краткосрочных отсидок успел поднабраться воровской фени в ее самой лихой интерпретации. Однако, сам того не замечая, он вдруг стал отвечать лодочнику на языке родной деревни, не забывая при этом и свой лагерно-блатной жаргон («Все люди как люди, а ты — хрен на блоде. Тебе, фраер, не лодкой править, а беременной блохой из порток дяди Кузи. Слышал о таком, нет?»). И отвечал с достоинством и бесстрашным задором, как бы возвращая себя в то прошлое, которое, живя в местах не столь отдаленных, он пытался забыть. И словечки этот отпускник выковыривал иной раз похлеще, чем поднаторевший в житейских баталиях перевозчик. А чем все кончилось, знаете? Блатной махнул рукой, как бы признавая свое поражение, и полез в рюкзак за бутылкой. Они расселись на зеленом берегу и меня позвали в свою компанию.

Кое-что из их «творчества» я нашел впоследствии в «Словаре тюремно-лагерно-блатного жаргона», единственном в своем роде издании, предпринятом в России за все годы советской власти (авторы-составители Д. С. Балдаев, В. К. Белко, И. М. Исупов). Как говорится в издательском предисловии, «чтобы в полной мере оценить объем выполненной работы, достаточно сказать, что самый опытный член авторского коллектива — Д. С. Балдаев посвятил изучению лагерных субкультур около 40 лет жизни».

Да, как ни парадоксально, этот словарь действительно первая после 1917 года серьезная попытка как-то зафиксировать тот пласт современного живого, разговорного языка, который десятилетиями высокомерно почти полностью игнорировался нашей филологической наукой. Ибо вряд ли можно принимать в расчет те единичные (еще

появлявшиеся в 20 — 30-е годы) узко-ведомственные издания вроде «Словаря жаргона преступников (Блатная музыка)» С. Потапова, к стати, недавно выпущенного повторно репринтным путем. Такие справочники закрытого типа, с грифом «не подлежит оглашению», призваны были всего лишь ознакомить лиц, ведущих борьбу с уголовными элементами, с «жаргоном преступников» и тем самым «способствовать успеху предупреждения и раскрытия преступлений».

Зона... шизо... карцер... сизо. При этих словах как-то вздрагиваешь и поживаешься, что-то недоброе в них таится, путающее и отталкивающее. Слово навис над тобой небритый мордovorот с матерщиной на устах, способный и ножичком полоснуть. Впрочем, это нормальная реакция нормального человека. «Зона» была когда-то в о к р у г и о к о л о нас, а сейчас она в н а с, в нашей памяти, и с этим ничего не поделаешь.

Советский лагерно-блатной новояз проник в поры общества, как бы мы ни зарекались от него избавиться. Семьдесят лет насильственных запретов и заклинаний произвели обратный эффект: гонишь эту феню в дверь, а она влетает к тебе в окно. И пользуешься ею, не брезгуешь, потому что словечки эти порой и остры, и красны, и хохотливо-похотливы, а главное — точны, как ружейный выстрел. И не найдешь им, сколько ни тужься, подходящей лексической замены.

Разговорились мы как-то с товарищем по работе, обсуждая «Словарь», и пришли к единому мнению: как минимум половина слов, помещенных в нем, знакомы нам еще со школьной скамьи. Хотя при этом никто из нас «зону не топтал» и вообще мы являемся чадами вполне интеллигентных родителей. Просто среда, в которой мы росли, среда, пропитанная метастазами фари-сейства и официального косноязычия, волей-неволей заставляла нас слушать блатной язык улиц и подворотен и ловить ухом недозволённую речь.

Речь эта (лагерная феня, воровской жаргон, блатное арг — кому как нравится) потому и живет, что не привязана к докладам ораторов, исписанным страницам и фамилиям сочинителей, она живет в самом дыхании людей, в их способе самовыражения, живет, пока она — стихия, не зарегулированная правилами ортодоксального языкознания, зато подчиняющаяся собственным правилам и законам. Здесь, как в художественной литературе, существуют давно сложившиеся традиции, железные каноны и штампы. Но вся эта речь — творчество, личный поиск и изыск. Творче-

ство рассказчика переливается в память слушателя, последний сам становится рассказчиком — и так много десятилетний подряд. Из уст в уста, от поколения к поколению. Даже наши дети, порой еще не способные осмыслить прочитанное и услышанное, являются невольными разносчиками фени.

Беру из «Словаря...» несколько наиболее ходовых выражений: «Хитрый Дмитрий: насрал в штаны, а говорит „ржавчина“» — это о плутоватом, но неумном фраере; «Глаз-ватерпас, ухо зверское» — о смелом и сильном человеке; «Ему надо голову оторвать и дать в руки поиграться» — о враге, мерзавце; «Втыкай глубже, бери больше, кидай дальше, пока летит — отдыхай» — черный юмор по поводу работы в лагере; «Тяжелее стакана в руки не беру»; «Я — раб судьбы, но не лакей закона». И т. д.

«Лагерный язык — затейлив, картинно живописен, орнаментален и щеголеват, — свидетельствует автор повести «Зона» Сергей Довлатов, когда-то служивший надзирателем в уголовном лагере особого режима в таежной Коми республике. — Лагерный монолог — увлекательное словесное приключение... Лагерный монолог — это законченный театральный спектакль. Это — балаган, яркая, вызывающая и свободная творческая акция... Добротная лагерная речь... является в лагере преимуществом такого же масштаба, как физическая сила. Хороший рассказчик на лесоповале значит гораздо больше, чем хороший писатель в Москве... Как это ни удивительно, в лагерной речи очень мало бранных слов. Настоящий уголовник редко опускается до матерщины. Он пренебрегает нечистоплотной матерной скороговоркой».

Вот с этим-то как раз и не могу согласиться. «Блистательные разговорные дуэли», «внезапные фейерверки убийственного красноречия», «отточенные формулировки на уровне Крылова и Лафонтена» (С. Довлатов) — да, все эти орнаментальные языки присутствуют в блатной фене, никто не отрицает. Но не следует забывать о том, что этот летучий материал обильно уснащен самой изощренной, самой густоповой матерщиной, столь почитаемой в кругу пролетариев-маргиналов, торгового жлобья и полупустившейся интеллигенции. Свидетель тому — «Словарь...», откуда я выуживаю цитаты. И выуживаю, заметьте, с очень большой разборчивостью и осторожностью, потому что легко перейти тот предел, когда подзаборная речь узаконивается и приобретает права гражданства. Есть какое-то табу — целомудрие, что ли, или естественный инстинкт самосохранения, нарушив кото-

рые мы рискуем превратить нашу жизнь в привокзальный сортир.

Публикуемая в «Словаре...» в качестве приложения малоизвестная статья академика Д. С. Лихачева «Черты первобытного примитивизма воровской речи» раскрывает прежде всего грубый цинизм большинства блатных субкультур, «чудовищную гипертрофию брани». «К сожалению, — замечает Дмитрий Сергеевич, — откровенно эротический и исключительно циничный характер воровской брани не позволяет нам привести сколько-нибудь убедительную иллюстрацию своим словам... Вор так же, как и первобытный человек, с трудом подавляет свои импульсы, задерживающие центры его работают крайне слабо... Именно отсюда идет «вульгаризация» речи, неприятно поражающая всякого со стороны».

«Неприятно поражающая» — это еще слишком мягко сказано. К несчастью, народ наш сейчас пошатнулся духом, мораль его начала разрушаться. Состояние нашей нравственности — ниже уровня моря. Такова и наша обиходная речь, она донельзя поизносилась, скукожилась и усохла. Или, наоборот, выпшла из берегов, как вешняя река в половодье с ее опасными руслами, завихрениями и подводными течениями. Народ, прошедший через горнило революции, коллективизации, репрессий, тотального идеологического облучения, запутавшийся в тенетах нынешней экономической реформы, словно сдвинулся с орбиты, оторвался от почвы, традиций, освященных веками, и понесло его, горемычного, по самым грязным закоулкам отеческой речи. Сегодня все можно! И язык мгновенно фиксирует эту вседозволенность. Если раньше многие из нас держали свою речевую марку, блюли свое речевое достоинство, то теперь, когда рушатся нравственные и этические табу, опереться стало не на что. И тут уж кто во что горазд, кто каков есть. У кого сохранились, а у кого нет культура души, чувство меры, такта и вкуса.

Как это можно жить — и не ругаться? Ибо пришли такие времена и воцарились такие нравы, о которых еще сказал древний мудрец: «...стыдно не быть бесстыдным». Понятие «приличие» того гляди попадет в разряд неприличных. Вот и наш экс-вице-президент не постеснялся выплеснуть в эфир словесную блевотину. Правда, его еще можно как-то понять: земля горела под ногами, быть или не быть ему на вершине власти. А вот уважаемого мною писателя Андрея Битова понять не могу. С телевизионного экрана он вещал о магической силе мата, о его скрытых художественных возможностях — в деликатной, правда, форме. Он не мог не знать, что

его слушают миллионы неокрепших душ и при этом наматывают на ус: уж коли такому мэтру словесности дозволено снять с греха охранительный покров, то, стало быть, никаких преград. Если можно ему, почему же нельзя нам?

Если задуматься, у неформальной лексики, то бишь горячего русского словца, поистине чудодейственные токи, своя особая аура. Можно легко завязать человеческие контакты, установить деловые отношения. Между прочим, как обронил один фельетонист, мы победили Германию не только боевым духом, числом и умением — мы ее еще и перематерили. (А что? Очень может быть. Нужно спросить у наших ветеранов, они, наверное, подтвердят.) Скрывать тут нечего, с помощью мата были построены все великие стройки коммунизма и Асуанская плотина в придачу. Без мата все валялось бы из рук, застыло, обескровилось, покрылось пылью и тленом. Невольно вспоминается в этой связи старый, но, увы, не утративший своей актуальности сатирический рассказ П. Романова «Технические слова». На одном из заводов в рамках борьбы за новый быт общее собрание принимает резолюцию искоренить в своей среде матерщину. Вскоре, однако, производительность труда резко падает, и дирекция принимает срочное решение: «Ввиду невозможности быстрой отвычки от употребления необходимых в обиходе... технических слов, считать принятую культотделом меру преждевре-

менной и... вредно влияющей на самочувствие и производительность».

Не будем же жанжами! Нынче ругается большая половина СНГ (даже не знающие русский язык и те преуспели), значительная часть прекрасного пола. Но не будем забывать о том, что мат — материал горючий, легковоспламеняющийся, когда попадает на возделанную почву, он бежит так же легко, как лесной пожар. И уж коли мы такие словесно невоздержанные, давайте ругаться цивилизованно — в свое время и в своем месте. Лучше всего в узком кругу друзей и ни в коем случае на бумаге. Чтобы не оскорблять чужой слух и нравственность. Не помню, чьи это слова: мат является составной частью нашего языка и принадлежит всем, но у Пушкина один результат, а у нас совершенно другой.

Ну а к «Словарию...» у меня нет никаких претензий — нужное, полезное издание. 11 тысяч слов тюремно-лагерно-блатного жаргона (причем в большинстве своем это активная лексика) убеждают в том, насколько гибок, подвижен, щедр и прихотливо изменчив наш не вполне приличный язык. Одно только смущает — тираж 50 тысяч экземпляров. Не многовато ли? Зачем «Словарию...» такая прорва читателей? Между прочим, когда я писал рецензию, трое моих сыновей буквально рвали эту книжку из рук...

Олег ЛАРИН.

**Ч И Т А Й Т Е В С Л Е Д У Ю Щ Е М Н О М Е Р Е :**

**ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ОТ ГОСУДАРСТВА**

**I. ВЛАДИСЛАВ КУЛАКОВ. Как это начиналось;**

**II. ГАЛИНА АНДРЕЕВА, ОЛЕГ ГРИЦЕНКО, СТАНИСЛАВ КРАСОВИЦКИЙ, АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ, ВАЛЕНТИН ХРОМОВ, ЛЕОНИД ЧЕРТКОВ, НИКОЛАЙ ШАТРОВ. Стихи.**

# ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

## САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ СПОСОБ ИЗБЕЖАТЬ ВОЙНЫ?

**И**нтервью с академиком Ю. Трутневым в «Известиях» (18.08.92) «Бомба — самый дешевый способ избежать войны» мне довелось прочесть с некоторым опозданием, совсем недавно. Я, агрохимик по специальности, профессионально занимавшаяся проблемой защиты растений от радиационного заражения, стала сосредоточивать в своем архиве и печатные материалы, связанные с пагубным воздействием испытаний атомного оружия на население нашей страны.

Подобных фактов, ранее тщательно скрывавшихся от общественности, в прессе за последнее время стало появляться значительно больше. И вот, разбирая и систематизируя многочисленные газетные публикации, я натолкнулась на выступление академика Ю. Трутнева, которое показалось мне во многом примечательным.

Даже по своей тональности оно отличалось от других публикаций, связанных с экологическими проблемами. Большинство авторов с тревогой писали и пишут о том, какой невосполнимый ущерб причинен здоровью народа, природе России за последние десятилетия ядерными испытаниями на наших засекреченных полигонах или в результате аварий на разного рода закрытых военных объектах, где производилось атомное оружие.

Тон же выступления академика Ю. Трутнева полон невозмутимости, довольства собой: мы все, мол, отлично предусмотрели наперед, все идет как надо и т. п. При этом ученый-ядерщик утверждает (очевидно, от имени своих коллег): «...совесть у нас чиста, так как у нас не было Хиросимы и Нагасаки. И аварий с оружием не случилось ни разу...» Хотелось бы этому утверждению поверить. Но факты, к сожалению, опровергают подобные заверения.

Хиросимы и Нагасаки у нас действительно не было. Но было многое другое. Напомню академику Ю. Трутневу только некоторые факты из почти полувековой летописи создания и совершенствования нашего ядерного оружия. Ведь некоторые страницы этой летописи много лет тщательно утаивались от народа, о них предпочитает умалчивать и Ю. Трутнев. Когда же эти факты предали огласке, стало ясно, почему так поступали Минсредмап, ВПК, Минатомэнерго вкупе с обслуживающей их ведомственной наукой, много лет вели и продолжают вести войну с собственным народом.

Поэтому слова академика Ю. Трутнева о «чистой совести» наших ядерщиков для меня пустая риторика. Факты, повторяю, свидетельствуют о другом. Поэтому перейдем к фактам.

Сразу оговорюсь. Каждый факт привожу со ссылкой на определенный печатный источник. Вынуждена это делать, чтобы мои оппоненты не обвинили меня в предвзятости, подтасовке, некомпетентности и прочих грехах. Пусть же читатель не посетует на мою излишнюю дотошность.

14 сентября 1954 года на Топском полигоне в Оренбургской области прошли воинские учения, на которых впервые опробовалось атомное оружие отечественного производства.

Вот свидетельство одного из непосредственных участников этих учений, ныне пенсионера и инвалида 2-й группы Ю. Сорокина: «За два месяца до взрыва я как начальник разведки оборудовал НП в трех километрах от предполагаемого эпицентра и при нем землянку, где мой взвод мог укрыться от взрыва... Как смертникам, выдали новое, с иголочки обмундирование и снаряжение.

Мой НП посетили и благословили на прохождение через эпицентр министр обороны Н. А. Булганин, маршалы А. М. Василевский, И. С. Конев, генералитет Министерства обороны, министры обороны ГДР, ЧССР, КНР, Польшы, академик И. В. Курчатов с группой ученых. Они разглядывали нас, как стадо перед бойней... Взрыв бомбы был сигналом для короткой двадцатиминутной артиллерийской подготовки. После ее окончания мы бросились в атаку добывать «противника».

После окончания учения дезактивация не проводилась, если не считать выбивания палками пыли из обмундирования, которое мы опять надевали с той же радиацией. Медицинского контроля не было. За этот подвиг маршал Г. К. Жуков объявил мне и всем участникам учений благодарность. Нас снимали в кино... Сразу начались болезни. В 1958 году в возрасте 33 лет меня уволили по сокращению штатов на пенсию в 57 рублей за выслугу. При увольнении, вопреки правилам, военно-медицинской комиссией не был обследован. На гражданке я часто болел... В 1984 году дали II группу инвалидности по общему заболеванию, не дав доработать до пенсии по возрасту. ВТЭК не смогла установить причинную связь инвалидности со службой в армии, сославшись на инструкцию, которая не предусматривает испытания на людях атомного оружия, и отсутствие справки о дозах облучения меня. Жуков не оставил ее мне».

И таких, как Ю. Сорокин, невольных жертв среди рядового, сержантского, офицерского состава — множество (ведь в тоцких учениях 1954 года участвовали 44 тысячи человек). Из них, по свидетельству газеты «Россия» (17 — 23.08.91), сегодня найдена едва лишь тысяча. Тысяча еще живых! К этому следует добавить повышенный уровень заболеваемости и смертности среди окрестного сельского населения, хотя такая медицинская статистика никем не велась, не фиксировалась. По свидетельству газеты «Комсомольская правда» (14.09.90), в Тоцкой центральной районной больнице вся документация по онкологическим заболеваниям после 1954 года уничтожена, ибо по инструкции ее положено хранить не более пяти лет.

Может быть, такое равнодушие медицинской науки к судьбам соотечественников, жертвам атомного взрыва, — следствие нашей обычной неорганизованности, халатности? Возможно, и это имело место. Но главное в другом. Если облученных на тоцких маневрах простых солдат военное начальство обязало дать подписку о неразглашении того, что они присутствовали при испытании атомного оружия, тем самым лишив их своевременной медицинской помощи, значит, армейское руководство меньше всего заботила жизнь подчиненных. Последним, как ни печально это констатировать, отводилась лишь роль подопытных кроликов. И только!

Это вполне сообразуется и со свидетельством тогдашнего председателя Тоцкого райисполкома Ф. И. Колесова, которое приводит та же «Комсомолка». Колесов еще до начала пресловутых учений задавал военным свой «детский» вопрос: «Почему, говорю, не в песках взорвать, мало их у нас, песков? А они, мол, нам надо знать, как будет здесь — тут такой же изгиб земли, как в Германии, и населено так же». Вот, оказывается, в чём дело! Метили в Германию, а пострадали жители десятков и сотен русских, мордовских, татарских и прочих сел Оренбуржья и Урала.

Нет сомнений, что 14 сентября 1954 года войдет в список скорбных дат человеческой истории наряду с 6 и 9 августа 1945-го (даты атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки) и 26 мая 1986 года — днем аварии на Чернобыльской АЭС...

А история другого — Семипалатинского — атомного полигона. Ныне он уже на территории соседнего государства — Республики Казахстан. Здесь, как теперь стало известно, уже с 1949 года проводились ядерные испытания. Общая численность населения одного Алтайского края, соседствующего с полигоном и систематически подвергавшегося радиоактивному воздействию, составляет почти полтора миллиона человек. И за эти годы Алтай по меньшей мере 56 раз накрывало радиоактивное облако, при этом в 22 случаях зарегистрировано выпадение радиоактивных осадков. Ныне с уверенностью можно говорить о губительном воздействии этих испытаний на Семипалатинском полигоне. Только за десятилетие 1975 — 1985 годов смертность от лейкоза возросла в этом регионе в семь раз. Во многих семьях, живущих в поселках вокруг полигона, анемия у детей подскочила в сто двадцать раз, велика и детская смертность, каждый третий ребенок рождается мертвым или инвалидом. Испытания здесь прекратились лишь три года назад, после настойчивых и многолетних протестов жителей Казахстана, Семипалатинской области и Алтая.

Кроме закрытого ныне Семипалатинского атомного полигона продолжает функционировать и самый северный наш испытательный ядерный плацдарм на Новой Земле (бывший секретный «объект № 700»), где отработка новых технологий в предыдущие десятилетия велась наиболее интенсивно. С 1955 года здесь производились атмосферные, подводные и подземные ядерные взрывы. Совокупная мощность их только в атмосфере Новой Земли за шесть месяцев 1961 — 1962 годов составила около 300 мегатонн, что превышает суммарную мощность

всех атмосферных испытаний прочих ядерных держав с 1945 по 80-е годы («Комсомольская правда», 31.10.91).

Так, 30 октября 1961 года над Новой Землей взорвали наиболее мощную за всю историю испытаний водородную бомбу в 58,5 мегатонны. Сколь чудовищной оказалась сила этого взрыва, свидетельствует хотя бы тот факт, что на острове Диксон в 700 километрах от полигона ударной волной выбило стекла в домах. По оценкам специалистов, последствия этих термоядерных взрывов будут сказываться на здоровье многих поколений в течение 5600 лет («Российская газета», 5.11.91)<sup>1</sup>.

Впрочем, сами ученые-ядерщики, присутствовавшие при взрыве своих смертоносных устройств на Северном полигоне, относились к подобным экспериментам с завидным юмором. Вспоминает один из участников этой операции, бывший военный летчик Виктор Журков: «Помню, взрывали водородную бомбу. Присутствовали Зельдович, Курчатov, Семенов, Федоров, другие академики. Одному из них было особенно весело.

— Знаете, — говорит, — что сегодня День защиты детей, а мы рванули! Ха-ха-ха!

Все засмеялись, и мы тоже. Откуда было знать, чем все закончится» («Россия», 27.11. — 3.12.91).

В результате многолетнего и, по существу, совершенно бесконтрольного хозяйствования военных в районе Новоземельского архипелага экологическая обстановка здесь крайне обострилась. Особенно пострадали коренные народы Севера, обитающие в данном регионе. Онкологическая смертность у них в два раза выше, нежели в среднем по стране. Рак пищевода здесь встречается в 15 — 20 раз чаще. По сути дела, семьдесят тысяч человек, населяющих это побережье, оказались на грани вымирания. Так, содержание стронция-90 в организме местных оленеводов превышает допустимую норму в 20 — 40 раз («Комсомольская правда», 31.10.91).

Возвращаясь к выступлению академика Ю. Трутнева в «Известиях», хочу заметить, что его утверждение, будто у наших ядерщиков никаких «аварий с оружием не случилось ни разу», тоже пустая фраза.

Достаточно вспомнить хотя бы аварию 29 сентября 1957 года на закрытом военном предприятии «Маяк», производящем в закрытом же городе Челябинск-65 плутоний для отечественных атомных бомб.

На «Маяке» оборонщики с 1949 года сбрасывали радиоактивные отходы в реку Течь, а затем в соседнее озеро Карачай, облучив таким образом сотни тысяч человек, живущих на берегах этих водоемов. Сброс смертоносных отходов, как всегда у нас, производился воровски, втихую: гражданскому населению не надлежало знать военную тайну про производство плутония. При взрыве одной из заводских емкостей произошло еще и мощное радиоактивное загрязнение атмосферы (чуть менее половины чернoбыльской дозы). Возникшее при этом радиоактивное облако накрыло 23 тысячи квадратных километров, 217 сел и деревень с населением в 270 тысяч человек. Это так называемый восточно-уральский радиоактивный след (ВУРС), который помимо Челябинской задел Свердловскую и Тюменскую области.

Но все-таки больше всего досталось жителям верховьев Течи. Дозиметры здесь показывают 1500 мкр/ч. Два с половиной Чернобыля сосредоточено в отходах, сброшенных в озеро Карачай, и в водной линзе под ним, грозящей влиться в реки Обского стока, а еще почти двадцать Чернобылей хранится в емкостях вроде той, что рванула в сентябре 1957 года. Да плюс к этому 200 могильников с 500 тысячами тонн твердых отходов, полмиллиарда кубов зараженной воды в цепи искусственных водоемов в верховьях Течи. И наконец, «Маяк» располагает 23 тоннами бесполезного теперь, но отнюдь не безопасного плутония.

В итоге в Челябинской области смертность превысила рождаемость. 10 тысяч гектаров земли загрязнены радионуклидами, и восстановить их невозможно («Мегаполис-экспресс», 28.11.91; «Россия», 1.10.92).

В июле минувшего года в Челябинске-65 на «Маяке» произошла новая авария, сопровождавшаяся интенсивным выбросом радиации. Таким образом, экологическая обстановка здесь дополнительно обострилась («Куранты», 22.07.93).

<sup>1</sup> А. Д. Сахаров еще в 1958 году в журнале «Атомная энергия» (№ 6) привел данные, согласно которым атмосферный взрыв в 1 мегатонну вызывает за пять тысячелетий смерть около десяти тысяч человек от различных канцерогенных заболеваний, нарушений генетической системы и защитных иммунных систем организма. Эти данные академик А. Д. Сахаров тогда же довел до сведения высшего руководства страны, однако предостережения ученого проигнорировали.

Уже не раз я по разным поводам упоминала Чернобыль, ставший для нас и для всего человечества таким трагическим словом-символом, своего рода суровым напоминанием. О горьких и страшных последствиях этой катастрофы немало писалось в нашей печати, в том числе и в «Новом мире». Поэтому не хочу повторяться. Ясно одно, что последствия радиоактивного заражения от этой аварии представляются ныне специалистам гораздо более значительными и долговременными, нежели вначале. Пора свыкнуться с мыслью, что негативный «эффект Чернобыля» получит еще немалую протяженность во времени и в пространстве. Несколько поколений людей во многих (не только сопредельных с Чернобылем) регионах будут ощущать его воздействие на себе, на своих детях и внуках, на изменениях, происходящих в окружающей среде. Известный американский ученый, доктор Гейл, вскоре после катастрофы посетивший Чернобыль, заявил, что, по его подсчетам, число человеческих жертв составит около 75 тысяч. И, согласно данным министра здравоохранения Украины Юрия Спиженко, авария на ЧАЭС уже унесла от 6 до 8 тысяч жизней... («Россия», 1992, № 8). Словом, чернобыльская беда будет распространяться по миру. Под угрозой поражения подземные воды и Днепр. Дальнейший разнос радиации (за период от 130 до 2400 лет) вполне реален для Европы, Северной Африки и всех так называемых курортных морей.

...Выше уже говорилось о том, что тяжелая экологическая обстановка сложилась в районе Новоземельского архипелага (там продолжает функционировать наш Северный атомный полигон). Положение в этом регионе еще более усугубилось тем, что в прибрежной его зоне на протяжении двух десятков лет происходило захоронение опасных грузов.

Начиная с 1964 года из Мурманского пароходства сюда шла регулярная поставка ядерных твердых и жидких отходов. Как именно это происходило, рассказывает на страницах «Комсомольской правды» (6.07.91) капитан 2-го ранга в отставке, пожелавший остаться неизвестным. В прошлом он был начальником комплекса перезарядки реакторов атомных подводных лодок на одной из наших северных баз под Мурманском: «Был у нас такой теплоходик — «Володарский». Работали там пьяницы, бомжи — самые неустроенные люди, короче. На этом теплоходике и увозили с базы контейнеры с твердыми отходами. Топили, насколько я знаю, в Баренцевом море. Вообще-то по инструкции положено, чтобы контейнер обладал отрицательной плавучестью, и просту говоря, чтобы тонул. Но иной раз бывает, что этот ящик ну никак не хочет идти на дно. Тогда его простреливают — из пулемета. Утонет он, а что толку? Радиацию-то не расстреляешь... Странно, что только звезды на берег выбрасываются. Чего мы наворотили, сейчас я, конечно, понимаю. На себе испытал — перечень моих болячек, наверное, полстраницы машинописных займет...»

Руководство же Северного полигона при этом клятвенно заверяло общественность, что никаких радиоактивных сбросов в их водах не производится. Недавно, однако, бывший депутат Верховного Совета СССР, инженер-атомщик Андрей Золотков передал представителям международной экологической организации «Гринпис» засекреченную прежде географическую карту с указанием наших ядерных могильников в северных широтах России. Выявилось, что многие годы военные рассматривали эту акваторию как своего рода свалку. Жидкие ядерные отходы попросту сливали в Баренцево море, подчас прямо в тех местах, где производился промысловый лов рыбы («Комсомольская правда», 28.09.91; 31.10.92).

Обращает на себя внимание еще один серьезный источник радиоактивного загрязнения Мирового океана: аварии и катастрофы атомных подводных лодок. Значительный процент среди такого рода ЧП приходится на наши подлодки. На это уже указывал американский адмирал Джеймс Уоткинс. Выступая в конгрессе США в 1985 году, он отметил, что «за последние десять лет в Советском Союзе произошло более 200 аварий с подлодками. Некоторые из них были очень серьезны» («Комсомольская правда», 6.07.91).

Немало подобных аварий имели место и в последующие годы. Достаточно в этой связи напомнить о гибели нашей большой атомной подлодки «Комсомолец», которая затонула у берегов Норвегии 7 апреля 1989 года с 42 членами команды на борту. Снабженная ядерными боеголовками, лодка представляет серьезную опасность для окружающей среды, тем более что за минувшее пятилетие корпус затонувшей субмарины неизбежно разрушается. А значит, возрастает опасность радиоактивного загрязнения морской стихии. По свидетельству наших специалистов, дважды обследовавших аварийный объект, лодка течет, происходит выход цезия и стронция (хотя и в небольших дозах) в океан. Эксперты особенно бес-

покоены разгерметизацией торпедных аппаратов. На ядерных боеголовках обнаружены следы коррозии, то есть оболочка, удерживающая плутоний, разрушается. Первоначальные попытки поднять «Комсомолец» не удались. Сейчас предполагается создать своеобразный саркофаг вокруг носовой части затонувшей подлодки и заново загерметизировать ее...

Вопрос о действенном контроле за ядерными объектами оборонного назначения уже давно назрел. Не случайно Президент России Б. Ельцин 16 сентября 1993 года подписал специальное распоряжение на этот счет. Тем самым внесены изменения и дополнения в существующее Положение о федеральном надзоре России по ядерной и радиационной безопасности. Госатомнадзор Российской Федерации ныне обязан потребовать от Минатома, Роскомоборонпрома и войсковых частей Минобороны России обеспечить таковой на всех соответствующих объектах.

Возможно, таким образом будет наконец поставлена точка в многолетнем споре о введении вневедомственного контроля за ядерными объектами оборонного характера. Но пока об этом говорить еще преждевременно. Ведь ранее военные под разными предлогами нередко затягивали реализацию таких конкретных мероприятий, стремясь сохранить свои ведомственные интересы («Независимая газета», 2.11.93.).

Конечно, можно множить и множить скорбный перечень наших экологических бед, драм и несчастий. В них, понятно, повинны не одни оборонщики. Суровый счет за гибель природы можно предъявить нефтяникам, хищнически хозяйничающим на нашем Севере, большой химии, превратившей ряд промышленных центров в города, губительные для жизни, где год от года растет детская смертность.

Да, мало мы озабочены сохранением среды обитания. А от этого зависит будущее не только нас самих, наших детей и внуков, но и будущее всего человечества.

Ведь на пороге третьего тысячелетия перед человечеством вплотную встает вопрос: выживет ли оно? Не окажется ли грядущее тысячелетие для него последним?

**Т. КОЖЕМЯКИНА.**

Москва.



## **В 1994 ГОДУ «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

**GERMAN ANDREEV.** Не близнецы, но — братья (споры немецких историков о нацизме и коммунизме);

**МИХАИЛ АРДОВ.** Легендарная Ордынка (воспоминания);

**ВИКТОР АСТАФЬЕВ.** Прокляты и убиты (роман, книга вторая);

**ДМИТРИЙ БАК.** Бронзовый век русской критики;

**АНДРЕЙ БИТОВ.** Из книги «Айне кляйне арифметика русской литературы» (эссе);

**В. БОГОМОЛОВ.** Алина (повесть);

**РЕНАТА ГАЛЬЦЕВА.** Борьба с логосом (эссе);

**БОРИС ЕКИМОВ.** В дороге (цикл очерков);

**ИВАН ЕСАУЛОВ.** Сатанинские звезды и священная война (современный роман в контексте русской духовной традиции);

**ЮЛИЯ ЛАТЫНИНА.** Демократия и свобода;

**СЕМЕН ЛИПКИН.** Всё в мире музыка (стихи);

**ОЛЬГА МУРАВЬЕВА.** «Вражды бессмысленной позор...» (ода «Клеветникам России» в оценках современников);

**АНДРЕЙ НЕМЗЕР.** Гоголь и современная проза;

**ОЛЕГ ПАВЛОВ.** Казенная сказка (роман);

**ГРИГОРИЙ ПЕТРОВ.** Костлявая с косой (рассказы);

**ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ.** Д\* элегии (строки разной длины);

**АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ.** Незданные рукописи. Документы к биографии (из архива М. А. Платоновой);

**Н. Н. ПОКРОВСКИЙ.** Политбюро и Церковь. 1922 — 1923 (три архивных дела);

**БЕЛЛА УЛАНОВСКАЯ.** Деревенские рассказы;

**ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ.** Одиссея (роман);

**Е. Л. ФЕЙНБЕРГ.** Сахаров в ФИАНе (воспоминания);

**ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО.** Музыкальные увеселения от Ромула до наших дней;

**ДОРА ШТУРМАН.** В поисках универсального со-знания (перечитывая «Веги»); Дети утопии (фрагменты идеологической автобиографии);

а также новые произведения **ГЕОРГИЯ ВЛАДИМОВА**, **ДАНИИЛА ГРАНИНА**, **ВЛАДИМИРА КОРНИЛОВА**, **ДМИТРИЯ ЛИХАЧЕВА**, **ВЛАДИМИРА МАКАНИНА**, **МАРИНЫ ПАЛЕЙ**, **АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА**, **ВЛАДИМИРА СОКОЛОВА** и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ  
НА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ 1994 ГОДА!**

---

---

# РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ



**ФЕДОР СОЛОГУБ. Собрание сочинений. Составители Бернхард Лауэр, Ульрих Штельтнер. Том первый. Рассказы (1894—1908). Составитель тома Ульрих Штельтнер. München. Verlag Otto Sagner. 1992. 426 стр. (Slavistische Beiträge. Band 291).**

В то время как крупнейшие европейские и американские издательства, специализировавшиеся на выпуске русской книги, вот уже несколько лет фактически прекратили свою деятельность, Otto Sagner Verlag продолжает удивлять русского читателя и мировое сообщество славистов изданием уникальных книг. Аннотируемое издание — первая попытка собрать в с е рассказы Ф. Сологуба (более известного своими стихами и романами), рассеянные по журнально-газетным полосам, малоизвестным сборникам и др. По причине географической удаленности от места жизни и творчества писателя составители вынуждены были отказаться от использования архивных материалов; в некоторых случаях не все тексты оказались доступны и в последней прижизненной редакции. Все это может, конечно, вызвать известный скептицизм у ревнителей текстологической безупречности. Однако количество собранных текстов — более 100 рассказов (к сожалению, более точную цифру мы не можем привести из-за отсутствия у нас второго тома; первый том включает 49 рассказов), то есть в с ех п р о и з в е д е н и й, созданных автором в жанре рассказа (так, во всяком случае, утверждают составители), — несомненно искупает все возможные мелкие текстологические огрехи, а краткий библиографический комментарий к каждому рассказу, где указаны как все его публикации, так и источник воспроизведенного текста, позволяет всем, кто любит посвящать досуг сверке текстов и ловле “блех”, самостоятельно внести те последние штрихи, которые сделают издание окончательно и бесповоротно безупречным для всех и во всех отношениях.

**СЕРГЕЙ М. СУХОПАРОВ. Алексей Крученых. Судьба будетлянина. Редакция и предисловие Вольфганга Казака. München. Verlag Otto Sagner in Kommission. 1992. 166 стр. (Arbeiten und Texte zur Slavistik. 54. Herausgegeben von Wolfgang Kasack).**

Но и продолжающие свою деятельность зарубежные русские издательства в последние годы существенно изменили репертуар, сосредоточив усилия на выпуске либо сугубо некоммерческих (по российским, разумеется, понятиям — в Европе все книги на русском языке давно уже стали некоммерческими), либо узкоспециальных литературоведческих исследований.

Издательству Otto Sagner не пришлось, однако, переживать процесс «мучительной перестройки», поскольку выпуск научных монографий, подготовленных как российскими исследователями, так и западными славистами, является главным направлением специальной серии (коллекции), выходящей под редакцией проф. В. Казака, которая к настоящему моменту насчитывает уже 55 выпусков.

Первая на русском языке научная монография, посвященная творчеству поэта-футуриста А. Крученых, до сих пор известного вне узкого круга специалистов разве что вызывающим стихотворением «Дыр бул шил», — вдохновляющий пример постперестроечного сотрудничества отечественных исследователей, немецкой университетской славистики, европейского капитала и издательства Otto Sagner: автор книги — исследователь из Херсона, посвятивший много лет изучению творческой биографии А. Крученых, с помощью Германского фонда промышленных предприятий для поддержки науки получил возможность приехать в Кёльн, где завершил работу над начатой книгой. Присоединяемся к той благодарности, которую проф. В. Казак выражает данному фонду, и надеемся на продолжение оказавшегося столь плодотворным сотрудничеством.

Небольшая по объему книга богато иллюстрирована графическими работами самого Крученых, М. Ф. Ларионова, Н. С. Гончаровой, К. С. Малевича, В. Е. Татлина и других. Завершающая монографию обширная библиография А. Крученых открывает широкие возможности для новых исследований по истории и теории русского авангарда.

А. Н.

---

## КНИЖНАЯ ПОЛКА

*Под этой рубрикой журнал возобновляет прерванную в 1991 году (рубрика «Книжные новинки») публикацию списков выходящих книг. Редакция ставит перед собой задачу выделить из общего потока издания некоммерческого характера, относящиеся к сфере собственно художественной литературы и гуманитарных наук.*

*Никакого отношения к распространению или продаже этих книг редакция журнала не имеет.*

**Венок русским камням.** Антологические стихотворения русских поэтов. Составление, вступительная статья, комментарии С. А. Кибальника. СПб. «Наука». 1993. 304 стр. 15 000 экз.

**Р. М. Зотов.** Таинственный монах. М. «Пресса». 1993. 624 стр. 20 000 экз.

Однотомник русского прозаика и драматурга Рафаила Михайловича Зотова (1796 — 1871), в который вошли романы «Таинственный монах, или Некоторые черты из жизни Петра I», «Два брата, или Москва в 1812 г.», «Рассказы о походах 1812 года прапорщика Санкт-Петербургского ополчения Зотова».

**Юрий Кублановский.** Чужбинное. Стихотворения. М. «Московский рабочий». Агентство «ПАН». 1993. 287 стр. 4500 экз.

**А. С. Пушкин.** Золотой том. Собрание сочинений. Редакция, библиографический очерк, примечания Б. Томашевского. Издание исправленное, дополненное. М. «Имидж». 1993. 976 стр. 300 000 экз.

Попытка переиздания одного из самых известных крупноформатных однотомников Пушкина, подготовленного в 30-е годы Борисом Томашевским и отличавшегося для своего времени достаточно высокой филологической культурой и редкой полнотой. Современные издатели, решившись на переиздание этого своеобразного памятника истории культуры, попытались улучшить его, исправив и дополнив тексты по более поздним изданиям. Но при этом в выходных данных однотомника значится имя Томашевского, к данному изданию уже никакого отношения не имеющего.

**Русская поэзия «серебряного века».** 1890 — 1917. Антология. Ответственные редакторы М. Л. Гаспаров, И. В. Корсакина. М. «Наука». 1993. 784 стр. 25 000 экз.

**А. Шкляревский.** Что побудило к убийству? (Рассказы следователя). Под-

готовка текста, составление, вступительная статья, комментарии А. И. Рейтблата. М. «Художественная литература». 1993. (В изд. серии «Забытая книга».) 303 стр. 50 000 экз.

Книга знакомит с творчеством широко известного во второй половине прошлого века беллетриста Александра Алексеевича Шкляревского (1837 — 1883), разрабатывавшего новый для русской литературы жанр «уголовного романа» с элементами бытописательства «натуральной школы» и ориентацией на социально-психологическую и философскую прозу.

**Маргерит Дюрас.** Плотины против Тихого океана. Роман. Перевод с французского И. Кузнецовой и М. Архангельской. М. Издательство им. Сабашниковых. 1993. 240 стр. 50 000 экз.

Роман практически неизвестной нашему читателю знаменитой французской писательницы, лауреата Гонкуровской премии 1985 года.

**Оскар Уайльд.** Избранные произведения. В двух томах. Перевод с английского. Т. 1 — М. «Республика». 1993. 559 стр. 75 000 экз.

Т. 2 — М. «Республика». 1993. 543 стр. 75 000 экз.

Первый том нового двухтомника Уайльда содержит наиболее известные его прозаические и драматургические произведения. Во втором томе — поэзия и эссеистика, здесь русский читатель получает возможность впервые познакомиться с более чем сорока переведенными текстами эссе Уайльда.

**Александр Блок.** Новые материалы и исследования. Кн. 5. Литературное наследие. Т. 92. Ответственные редакторы И. С. Зильберштейн, Л. М. Розенблюм. М. «Наука». 1993. 912 стр. 1800 экз.

**В. С. Золотухин.** «Все в жертву памяти твоей...». Валерий Золотухин о Владимире Высоцком. Дневники. Составитель О. Ширяева. М. Центр творческих встреч ТПФ «Союзтеатр». 1992. 240 стр. 50 000 экз.

**К. Леонтьев, наш современник.** Сборник. Составители Б. Адрианов, Н. Мальчевский. СПб. Издательство Чернышева. 1993. 464 стр. 8000 экз.

**Борис Поплавский в оценках и воспоминаниях современников.** Составители Л. Аллен, О. Гриз СПб. «Logos». Дюссельдорф. «Голубой всадник». 1993. 182 стр. 3500 экз.

**А. Ф. Лосев, А. А. Тахо-Годи.** Платон. Аристотель. М. «Молодая гвардия». 1993 («Жизнь замечательных людей»). 383 стр. 100 000 экз.

**Философия русского религиозного искусства XVI — XX века.** Антология. Составление, общая редакция, предисловие Н. К. Гаврюшина. М. «Прогресс — Культура». 1993. 400 стр. 20 000 экз.

**А. Бергсон.** Собрание сочинений. В 4-х томах. Т. 1. Опыт о непосредственных данных сознания. Материя и память. Перевод с французского. М. Московский Клуб. 1992. 328 стр. 30 000 экз.

**С. Кьеркегор.** Страх и трепет. Этические трактаты. Перевод с датского, комментарии Н. В. Исаевой, С. А. Исаева. М. «Республика». 1993. 383 стр. 51 000 экз.

**К. Поппер.** Нищета историзма. Перевод с английского С. А. Кудриной. М. Изд. группа «Прогресс» — VIA. 1993. 186 стр. 10 000 экз.

**М. Хайдеггер.** Время и бытие. Статьи и выступления. Составление, перевод с немецкого, вступительная статья, комментарии, указатель В. В. Библихина. М. «Республика». 1993. 447 стр. 51 000 экз.

**К. Г. Юнг.** Проблемы души нашего времени. Перевод с немецкого. М. «Прогресс Универс». 1993. 331 стр. 5000 экз.

**Борис Гройс.** Утопия и обмен. Статьи. М. «Знак». 1993. 374 стр. 3000 экз.

Автор книги, тот самый Борис Гройс, без двух-трех страничек которого или хотя бы цитирования которого либо ссылок на него как-то уж и неприлично стало издать новый авангардный — постмодернистский сборник, альманах и т. д., — писатель, публицист, теоретик искусства, культуролог, выпускник Ленинградского университета, занимавшийся математикой, философией, лингвистикой, с 1981 года живущий в Германии. Статьи о проблемах теории и истории искусства, помещенные в этом сборнике, на русском языке публикуются впервые.

**В. Гусев.** Искусство прозы. М. Издательство Литературного института. 1993. 106 стр.

**Д. С. Лихачев.** Статьи ранних лет. Тверь. Областное отделение Российского фонда культуры. 1993. 146 стр. 13 500 экз.

**Я. С. Лурье.** После Льва Толстого. Исторические воззрения Толстого и проблемы XX века. СПб. «Дмитрий Булавин». 1993. 168 стр. 1000 экз.

**Леонид Таганов.** «Прости мою ночную душу...». Книга об Анне Барковой. Иваново. «Талка». 1993. 176 стр. 4000 экз.

Книга о жизни и творчестве русской поэтессы Анны Александровны Барковой (1901 — 1976), судьба которой сложилась, увы, вполне в традициях отечественного XX века — вначале яркий поэтический дебют, отмеченный и Блоком и Брюсовым, а затем — более двадцати лет в ГУЛАГе, одиночество, бездомье, позднее внимание и признание читателей.

Составитель С. КОСТЫРКО.

*В связи с отсутствием сегодня надежных источников информации о выходящих в стране книгах журнал обращается к издателям с предложением знакомить редакцию со своими новыми изданиями. Книги можно принести в редакцию для ознакомления (проезд до метро «Тверская», «Пушкинская», «Чеховская», здание бывшей монастырской гостиницы, примыкающее к кинотеатру «Россия», вход со двора, первый этаж, комнаты 7, 10, отдел критики) или высылать по адресу: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2, редакция журнала «Новый мир», отдел критики.*

## SUMMARY



The poetry section contains poems by Constantin Gadayev, Heinrich Saggir, and a selection of the late Boris Slutsky's poems.

Alexander Khurgin's story «The Door» tells about everyday life of contemporary Russia, while history of the Caucasus is the subject of «Mrs. Yenjee the Hapless», a story by Daour Zantaria, Abkhazian writer.

The section «Diaries. Memoirs» presents a triplet of memoirs «The Three Lives», by Boris Gusev, Maria Konisskaya and Mikhail Mamontov.

A series of sketches by Boris Yekimov «On the Journey» continues in the section «Sketches of Our Days».

Publicist Andrey Bystritsky in a polemic essay «Nearer to the World» discusses the problem of intelligentsia in modern society.

In the section «Religion and the Modern World» there is an essay by Alexander Shmeman, «Spiritual Destiny of Russia» (publication of S. A. Shmeman).

The section «Publications and Reports» contains Pobedonostsev's letters to the sisters Tyutchev (publication of Olga Mayorova).

In «Comments» Alla Marchenko criticizes novels nominated for Booker's Prize-1993.

In «Literary Criticism» one finds Victor Kamyanyov's essay «The Cosmos on the Backyard».

In «Book Review» Andrey Vasilevsky reviews a new novel by Yuz Aleshkovsky, Pavel Basinsky — a novel by Pyotr Aleshkovsky, Oleg Larin — a dictionary of prisoners' argot.

**ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ  
КНИГУ ВОСПОМИНАНИЙ МИХАИЛА АРДОВА  
«ЛЕГЕНДАРНАЯ ОРДЫНКА»**

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Главный редактор **С. П. Залыгин**  
Редакционная коллегия:

**С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, А. В. Василевский** (ответственный секретарь), **Д. А. Гранин, Д. С. Лихачев, П. А. Николаев, В. Ю. Потапов, И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, З. М. Фаткудинов, В. Л. Филимонов** (зам. главного редактора), **М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев**

Коммерческий директор **А. О. Петров**

Технический редактор **А. С. Гинзбург**

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г.  
в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 20.11.93 г. Подписано к печати 25.01.94 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютерах редакции журнала «Новый мир». Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л. (22,4 усл.-печ. л., 22,58 усл. кр.-отг.). 28,02 уч.-изд. л.

Тираж 55 040 экз. Зак. 614. Цена: в России — 290 р., в странах СНГ — 500 р.

При участии издательства «Известия». Москва, Пушкинская пл., 5.

Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия».  
103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

«НОВЫЙ МИР» вступил в 70-й год своего существования. Образ журнала, сложившийся у наших читателей, как в России, так и на Западе, вряд ли претерпит в будущем серьезные изменения. Мы будем стараться следовать нашему, не сегодня избранному, направлению, избегая экстремизма любого толка и сочетая художественную новизну с интеллектуальной основательностью и даже со своего рода «академизмом». Мы не намерены существенно менять привычную структуру журнала, сохраняем традиционные рубрики в надежде наполнить их интересными, талантливыми и глубокими материалами (о планах редакции читайте на стр. 252). Не каждый год рождаются шедевры, но русская литература жива, и мы ощущаем себя органичной частью этой живой культуры.

Мы надеемся, что наши постоянные читатели и впредь останутся с нами и во время продлят свою подписку на вторую половину 1994 года.

«НМ»